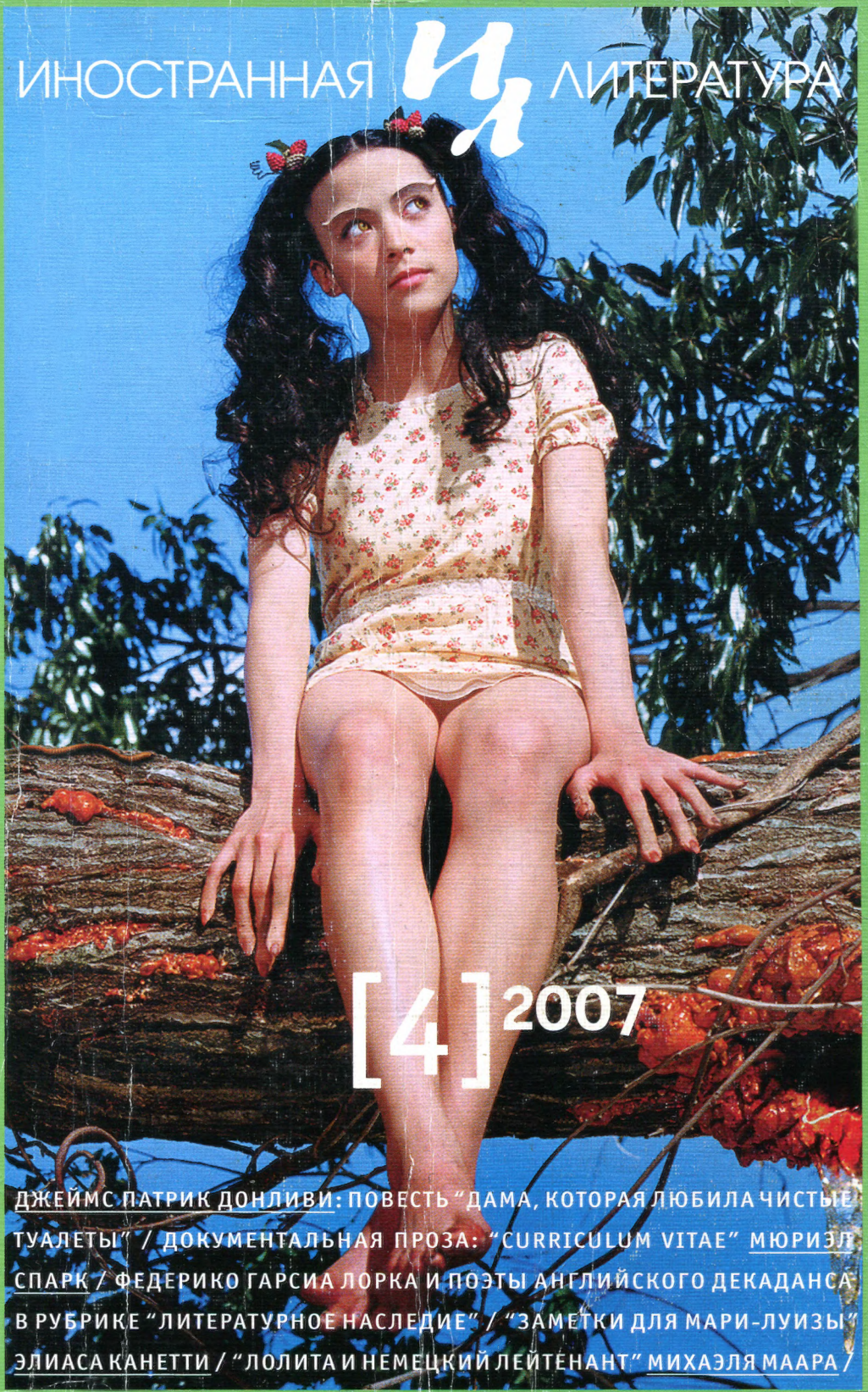
ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[4] 2007

ДЖЕЙМС ПАТРИК ДОНЛИВИ: ПОВЕСТЬ "ДАМА, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА ЧИСТЫЕ ТУАЛЕТЫ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: "CURRICULUM VITAE" МЮРИЭЛ СПАРК / ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА И ПОЭТЫ АНГЛИЙСКОГО ДЕКАДАНСА В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / "ЗАМЕТКИ ДЛЯ МАРИ-ЛУИЗЫ" ЭЛИАСА КАНЕТТИ / "ЛОЛИТА И НЕМЕЦКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ" МИХАЭЛЯ МААРА /

Основан в 1891 году

Поздравляем

нашего постоянного автора

Соломона Константиновича Апта

с получением премии имени отца Александра Меня [2006]

за вклад в развитие германо-российского диалога.

[4]
2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Дж. П. Донливи *Леди, любившая чистые туалеты.* Повесть. Перевод с английского С. Ильина

57 Деннис О'Дрисколл *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

Дебют

61 Стефан Карьер *Давний спор.* Роман. Перевод с французского и вступление Т. Чугуновой

Версия

137 Михаэль Маар *Лолита и немецкий лейтенант.* Перевод с немецкого Е. Ивановой

173 Хайнц фон Лихберг *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Ивановой

Из классики XX века

184 Элиас Канетти *Заметки для Мари-Луизы.* Перевод с немецкого Анны Кацуры

Литературное наследие

194 *"Но я не изменял твоей душе, Кинара".* Поэты английского декаданса. Перевод и вступительная статья Григория Кружкова

211 Федерико Гарсиа Лорка *Небесный балаган.* Перевод с испанского и вступление Анатолия Гелескула

Документальная проза

224 Мюриэл Спарк *Curriculum vitae.* Автобиографические заметки. Перевод с английского Светланы Силаковой

Наши гости

325 *"Китаби Деде Горгут" – фантазия на тему*

Письма из-за рубежа

330 Зиглинде Гейзель *"'Танцевать в цепях': переводчики–музыканты–актеры в поисках своего текста".* Переводческая конференция в "Литературном коллоквиуме Берлина". Перевод с немецкого Т. Баскаковой

Авторы номера

332

© "Иностранная литература", 2007

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

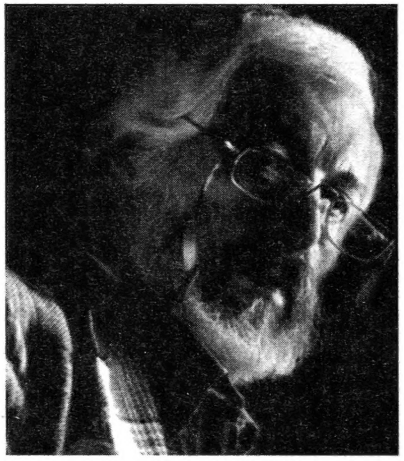
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Дж. П. Донливи



Леди, любившая чистые туалеты

Одна из самых удивительных историй, о каких когда-либо судачили в Нью-Йорке

Повесть

Перевод с английского С. Ильина

Марии Терезии
фон Стокерт-Сейл,
которая, даже копаясь в саду,
не снимала белых перчаток.

КОГДА все и каждый столь рьяно отзываются на моды и веянья, столь усердно следуют им, никак нельзя предугадать, что еще возьмет вдруг да и случится в Нью-Йорке или его окрестностях — и особенно в городишке вроде Скарсдейла. Впрочем, пуще всего ее тревожила возможность потонуть в хандре так глубоко, что уже и не выберешься.

День, в который она ощутила это особенно остро, был сорок третьим днем ее рождения. Она разжилась бутылкой польской водки, охладила ее до того, что стопку, в которую водка переливалась из графинчика, покрывал иней, и, слушая "Реквием" Форе, провела пару часов, попивая ее под сардиновый паштет, который приправила чесноком и сливочным сыром и намазывала теперь на ломти черного хлеба. И так напилась при этом, что посреди ночи обнаружила, что сидит с заряженным дробови-

© 1995 by J. P. Donleavy
© С. Ильин. Перевод, 2007

ком на коленях — это ей померещилось, будто рядом с домом раздаются странные звуки. А после, наблюдая за оравой так называемых знаменитостей, с довольными рожами изливавших в телевизионном ток-шоу свое дерьмо, и вспомнив чей-то рассказ о том, как "чуток" перебравшие жители шотландских нагорий выключают свои телевизоры, она щелкнула предохранителем, прицелилась в середину экрана и влепила в него из двух стволов по заряду дроби № 4. И принялась повторять себе снова и снова, глядя на бьющие из ящика клубы дыма, искры и пламя:

— Все, что мне требуется, — это месть. Ничего, кроме чистой, неразбавленной мести. Вот только мама воспитала меня как леди.

Ее психоаналитик сказал, что в Нью-Йорке все и каждый разносят свои телевизоры вдрызг, и назвал это новое ее поведение, это следование модам и веяньям хорошей новостью. Дело в том, что после развода со своим сильным немногословным мужем, который был не так уж силен и немногословен, но хотя бы не бил ее никогда, она пристрастилась к телевизору и стала, по сути дела, анахореткой. И по мере того как усыхал ее банковский счет, не мешала летом вырастать на своей лужайке высокой траве, а зимой собираться там же грудам опавших листьев. Правда, форму свою она поддерживала, крутя педали велосипедного тренажера и питаясь по преимуществу зеленым салатом и фруктами. Она понимала: душевное здравие ее зиждется на том, что она посещает два раза в месяц аукционы антиквариата и картинные галереи, расположенные в центре Нью-Йорка, а также на созерцании скачущих повсюду местных белок и забавных ужимок, с коими они собирают припасы на зиму.

Кроме белок существовала еще странноватая девушка-затворница, у которой, вероятно, не все было в порядке с головой, девушка обитала в соседнем доме и раза два в день показывалась ей в заслоненном ветвями дерева окне своей спальни — в различных состояниях раздетости, — помахивала рукой, и она в ответ тоже помахивала, ободряя бедняжку. Однако радость этих якобы человеческих отношений с привлекательным, в общем-то, существом, пусть и наделенным кладбищенским чувством юмора, оказалась недолговечной, поскольку в один прекрасный день девушка воздела перед собой сцепленные руки, и на запястьях ее обнаружились наручники. И когда она наконец постучалась в дверь этой своей соседки, с которой ни разу еще лицом к лицу не встречалась, дверь едва-едва приотворилась и тут же захлопнулась под донесшееся из-за нее рычание:

— Займись своими вонючими делами.

Единственное, считала она, что спасает ее от передозировки снотворного, это сокрытый в ее голове полный свод бесцензурных помышлений — таких же, полагала она, как в головах чертовой пропасти прочих жителей Скарсдейла. Особенно ясным становилось ей это, когда она видела их вблизи, на вокзале, утром, отправляясь в музеи. В такие минуты ей казалось, что все они играют в одну игру — "посмотрите, какие мы важные". Главное, не открывать другим людям настоящей твоей мысли: о том, что на самом-то деле ты — лошадиная жопа. Ее аналитик сказал: если ты позволяешь людям понять, что на самом-то деле ты — лошадиная жопа, значит у тебя и вправду эмоциональное расстройство.

Она, как ей уже доводилось рассказывать аналитику, вела свою родословную от тех, кто приплыл сюда на "Мейфлауэре", и даже едва не попала в дерьмовый светский альманах, да только ее выросшая на плантации мать вышла замуж за ее же социально неприемлемого отца — ну и

вылетела из каких бы то ни было альманахов. Тем не менее остаточное превосходство, хоть и отнятое у нее еще до рождения, наделило ее, она всегда это чувствовала, независимым умом, отчего она тоже взяла да и вышла за человека социально неприемлемого. О чем теперь, когда он ее бросил, сильно сожалела, тем более что двое детей их выросли, учились в университете и знать свою мамашу не хотели. Она была сражена, услышав, как сын сказал дочери при их "теперь уж навеки последнем" приезде к ней:

— По крайней мере, папаша получает от жизни удовольствие.

Услышав эти слова, она вся сжалась, точно от нее шарахнулись, как от прокаженной, и плакала от безысходности, пока не заснула. Брак ее подошел к концу, когда муж, телевизионный босс, уже лысеющий и растолстевший, придумал телевикторину из разряда "смейся с нами" и стал поговаривать об устройстве перед домом вертолетной площадки. Впрочем, приземляться он в итоге стал совсем в другом месте — после того как познакомился с молодой помощницей режиссера, которая, если верить колонке светских новостей, не только возглавляла в каком-то миссисипском университете команду футбольных болельщиц, но также состояла в "Фи-Бета-Каппа"[1] и в свои двадцать пять еще сохраняла крепкие титьки, большие белые зубы плюс задница и ноги им под стать.

Не проночевав почти два месяца дома — из-за съемок, как он это называл, — Стив однажды вечером, хлебнув лишку, вошел к ней этакой танцующей походочкой и врезал ей между глаз: сообщил, что снял в городе квартиру на Западной 67-й, что влюбился и желает развода. Она сразу взглянула на вещи здраво, решив про себя, что при ее-то уме дать ему пару раз под дых она уж как-нибудь да сумеет.

— Стив, не стоит так волноваться и страдать из-за того, что ты заставляешь страдать меня. Тебя потянуло на свежее молоденькое мясцо. Судиться с тобой я не собираюсь. И отнимать у тебя все, что ты от меня получил, тоже.

— Слушай, милая, брось, не так уж много я и получил.

— Во всяком случае, ты получил двоих детей, которые одному тебе в рот и глядят. Просто оплати все счета до конца этого месяца, отдай мне сто шестьдесят пять тысяч наличными, дом, выплатив закладную, и всю обстановку, какая в нем есть, кроме твоих личных вещей. Разумеется, столовое серебро, Эдвард Хикс[2] и произведения искусства, которые подарила мне бабушка, и так всегда были моими. После этого, Стив, делай со своим молоденьким мясом что хочешь, при условии, впрочем, что ни ты, ни она и носа не сунут в загородный клуб — до тех пор, пока я в нем состою и пока меня может посетить желание заглянуть туда, чтобы сыграть партию в бридж, надо же мне и моим обвислым сиськам как-то скоротать годы нашей старости. Да, и еще можешь забрать свой аквариум с пираньями, которых я для тебя откормила.

Она сняла с пальцев кольца и через всю комнату побросала их в Стива. Тот посидел немного застыв, точно его уже убило электрическим током, потом стал озираться по сторонам в поисках чего-то, способного убедить его, что он еще на этом свете, увидел на пианино снимки детей,

1. Общество студентов и выпускников университетов, старейшее братство США, основанное в 1776 г. Название — по первым буквам греческого девиза: philosophia biou kubernetes (философия — рулевой жизни). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Эдвард Хикс (1780—1849) — американский художник-примитивист.

стоявшие в серебряных рамках по сторонам от их свадебной фотографии, и, закрыв лицо ладонями, разрыдался. А затем, словно в поисках утешения, прошел по ковру, который она также намеревалась оставить себе, наклонился, чтобы поцеловать ее, и тут она дала ему под дых второй раз:

— Убери от меня свои грязные лапы.

Она всегда полагала, что высокий эмоциональный накал приводит к идиотским претензиям, каковые теперь и полились из уст Стива — не из ее. И мать-то ее никогда не считала, что он достаточно хорош для дочери, и вообще она изо всех сил старалась восстановиться в светском альманахе. Да и вся ее родня кривилась, услышав, какой университет он закончил.

Разумеется, для нее, учившейся в Брин-Море, университете, созданном, исходя из тех соображений, что умная женщина заслуживает образования столь же основательного и побуждающего к активным действиям, как то, которое достается мужчинам, ничего смехотворнее подобных заявлений и быть не могло. И кто в наши дни даст хоть дохлую муху за длинный список никому практически не известных имен, из которых состоит светский альманах, даром что он зарегистрирован в Патентном управлении США? Девочкой она заглянула в старый экземпляр матери и обнаружила в нем крохотное изображение яхты с валящим из трубы дымом, который образовывал слова "на борту" — ниже шли адреса и имена. Это-то и заставило ее понять, что некая категория людей, у которых денег побольше, чем у прочих, могут управляться с миром на собственный лад. Что для нее, отныне и навек, будет невозможным.

Она поразмыслила о том, не перебраться ли ей куда-нибудь поглубже в штат Нью-Йорк, а то и в Коннектикут, в какой-нибудь городишко с добровольной пожарной командой, магазином, торгующим всем сразу, и деревенскими олухами, чьей домотканой естественностью она сможет любоваться. Однако пока, до поры до времени, при том, как все складывается — Стив отдал ей, что она потребовала, плюс принес свои соболезнования, — она решила, что, если не удаляться от привычного окружения, хуже ей, во всяком случае, не будет.

В Скарсдейле она все еще значилась в членах снобистского, чуть более обычного, загородного клуба, где можно было играть в теннис или гольф, обедать с друзьями или встречаться со старыми знакомыми за партией в бридж. Все это могло бы умерить ее набиравшую обороты эксцентричность. Одинокое сидение в большом доме приводит при наступлении ночи к мгновениям, когда ты колеблешься, выбирая между жизнью и смертью, мгновениям действительно очень тяжелым, очень. Только одной мыслью утешаться и оставалось: ну что ты все тревожишься о себе, себе, себе, когда мир вокруг травит себя, уровень радиации растет и венерические болезни распространяются так широко, что остается только содрогаться, содрогаться и содрогаться.

Бывали, впрочем, и дни, когда она вдруг приободрялась и начинала думать, что жизнь, в общем и целом, обошлась с ней не так уж и плохо. По крайней мере, дом, в котором она прожила девять лет, построен из кирпича и известняка, термиты его не сожрали. И самое главное — от него можно доехать до станции, оставить там машину и спокойным поездом, не самым ранним, с утра отправиться в город, посетить галереи

аукционщиков и художественные музеи. И все, что нужно при этом сделать для сохранения душевного равновесия, — усесться с той стороны вагона, с которой не будет видна вывеска фабрики, производящей гробы.

Один деятель, торговец недвижимостью, которого она, нежданно оказавшись в бедственном положении, попросила дать оценку ее собственности, уже попытался, зайдя с ней в буфетную, потискать ее зад, за что она — той рукой, что у нее поувесистее, левой, — вмазала ему по сусалам. Поначалу она думала, что такая реакция знаменует приближение климакса, однако ее врач-гинеколог сказал, что как женщина она пребывает в завидно цветущем состоянии. И может, если захочет, завести новую семью и нарожать детей. На что она с улыбкой ответила:

— Не захочет.

Впав ныне в бедность и с каждым днем впадая в нее все больше, она, недоумевая, спрашивала себя, с какой стати Скарсдейл нередко называют одной из богатейших в Соединенных Штатах общин, обладающей, кроме прочего, весьма пухлым светским альманахом; это заставляло ее гадать, почему все эти люди никак не решатся проделать то, что проделывают в День святого Патрика ирландцы, то есть напялить фраки, цилиндры и бальные платья и пройтись парадом по Пятой авеню.

Однако теперь, после долгих одиноких страданий брошенной женщины, она по крайней мере научилась справляться с ними, в чем особенно помогали новый для нее интерес к архитектуре стиля модерн и привычные, исполненные удовлетворения, выпадавшие, как правило, по два на месяц дни в городе, которые она целиком посвящала созерцанию любимых картин. Эти вылазки, если не считать омрачавшего их отвращения, которое внушала невозможность отыскать приемлемо чистую уборную, спасали ей жизнь: все-таки культура — лучшее из прибежищ и средств самосохранения.

Она начала также читать кое-кого из новых романистов, о которых ходило так много толков, но быстро учуяла в них стадо подсознательных педерастов, использующих свои пенисы в качестве перьев. В сущности, все, что они могли предложить, это по-настоящему и в высшей степени лишенные воображения грязные помышления, которые и сама она, каждую ночь занимавшаяся перед сном мастурбацией, перебирала в уме — и уж ее-то были вдвое грязнее, чем у какого-нибудь нечистого старикашки. Она воображала, как их нашептывает ей на ухо шеф-повар, который однажды в Париже, к большому неудовольствию Стива, вышел из кухни, дабы сказать ей, что она — прекраснейшая из женщин, каких он когда-либо видел, и, если она избавится от общества своего homme nul[1], он приготовит для нее омлет, который она никогда не забудет.

Что и говорить, причащение к искусству неизмеримо усиливало в ней чувство довольства жизнью. И сейчас, уже свыкшись с одиночеством, она страшилась его меньше, чем в пору, когда и впрямь была одинока. Собственно, изолированность свою она острее всего ощущала на людях, среди других. И пока она прогуливалась вдоль полотен великих художников, их цвета и формы окрашивали и обрамляли ее жизнь.

Она произвела доскональную оценку своих средств. И пришла к выводу, что, по крайней мере пока, сумеет продержаться на плаву год, два,

1. Ничтожество (*франц.*).

а то и три. И черт возьми, она может добавить к этому еще несколько лет, надо лишь проявить предприимчивость, не дура же она какая-нибудь. Кроме всего прочего, женщины владеют половиной всех Соединенных Штатов, тем самым доказывая, если это нуждается в доказательствах, что они умнее мужчин.

Сумев оставить за собой обстановку и дом с шестью спальнями, комнатой прислуги, четырьмя с половиной ванными комнатами, зимним садом и квартиркой шофера над гаражом, пусть даже дом этот и был пустее пустого, она чувствовала себя разведенной женщиной, которая все же сохранила определенное положение в обществе. От бабушки она унаследовала произведения раннеамериканского народного искусства и среди них две картины Эдварда Хикса, которого Фернан Леже назвал художником, превосходящим по своему значению Анри Руссо.

По вечерам она разжигала в гостиной камин и слушала Боккерини, и Гайдна, и хор мормонов, распевавший печальные песни Стивена Фостера[1]. Она полагала, что при ста шестидесяти пяти тысячах долларов отступного, которые Стиву пришлось занять у банка, и как раз начавших складываться в ее голове деловых идеях ей удастся хотя бы выжить, если не разбогатеть, — и позволить себе жить в доме, который, надо признать, вполне отвечает тому, что говорил о нем Стив:

— Точно тебе говорю, чтобы содержать эту богом проклятую декорацию в порядке, приходится тратить богом проклятую кучу денег.

И теперь, когда деньги, казалось, просачивались сквозь ее пальцы, сомнений не оставалось — похоже, как Стив сказал, так оно и было. А особенно похоже на это стало, когда не задержавшийся надолго новый поклонник, обладатель слишком большого члена, навсегда излечил ее от любви к опрометчивым свиданиям, наградив лобковыми вшами, заняв у нее пятнадцать тысяч долларов и с ними исчезнув. После чего в доме потекли водопроводные трубы, а с крыши свалилось несколько черепиц, и на ремонт ушла сумма еще и побольше названной.

И вдруг, без всяких предупреждений, на ум ей явились немыслимые, но безошибочные расчеты. Последний банковский баланс глянул ей в лицо поверх утренней чашки кофе, и она с ужасом поняла, что просто не может позволить себе оставаться там, где, как она полагала, сможет остаться, и должна будет принять в скором времени окончательное решение, сводящееся к тому, что этот большой дом с таким множеством черепиц и новыми желобами, нависающими над ее головой, с лужайками и кустарником вокруг них, уход за которым обходится ей столь дорого, даром что занимается им не так уж и много берущий юный недотепа-садовник, придется выставить на продажу.

То, что она норовила сохранить претензии владелицы поместья, заставляло ее теперь ощущать себя такой же прискорбной дурой, как в день, когда к ней заявился с новым телевизором мастер-ремонтник, который при виде старого едва не уронил свою ношу на пол и воскликнул: "Эй, что за чертовня с ним случилась" — а она промолчала.

Впрочем, в день, когда к ней пришел оценщик, сказавший, что ничего в доме менять не нужно, она преисполнилась оптимизма. И действительно, дом, стоявший на пологом холме посреди двух акров леса, с

1. Стивен Колинс Фостер (1826—1864) — американский композитор-песенник.

доставленной из Уэльса, вручную изготовленной черепицей и каменной облицовкой, да еще и окнами со средниками и высоченными потолками, выглядел резиденцией до крайности соблазнительной. Как и описал его агент по недвижимости, сказавший, что продажа дома труда не составит и что лично он добавил бы к объявлению слова "притягивающий взоры и чарующе английский".

Для нее самой важнее прочих были две особенности дома, которых никто больше, похоже, и в богом проклятый грош не ставил. Во-первых, настоящий, привезенный прежними владельцами из Европы камин работы Адама[1]. На коем взгляд ее часто и любовно останавливался, когда она, погрузившись в мечты, сидела вечером у огня. А еще имелся соединяющий комнату прислуги с подвальной прачечной желоб для спуска белья, каковой ее детишки использовали для спуска чего угодно, кроме белья, включая цыплят, однажды наловленных ими под Пасху, а после еще ужей, до икоты напугавших Мэри, их горничную-ирландку.

Ясно же, грустно размышляла она теперь, что ей, с ее сходящими на нет остатками капитала, проще будет продать дом, чем осилить его содержание. Пусть даже ее светско-альманашная мать и говорила всегда, что грандиозность жилища наделяет определенными признаками знатности даже тех, за кем таковая не водится. Однако мысль, что дом уйдет от нее, и, возможно, скоро, а ремонтные работы, которые она заказала, придется временно отменить, снова наслала на нее убийственное ощущение одиночества. И попытки умерить его вели, похоже, лишь к еще большему одиночеству. Она даже колотила ложками по чашкам и тарелкам, и хлопала в ладоши, и закрывала пинком подвернувшуюся дверь, лишь бы произвести хоть какой-то шум. Одиночество смахивало на заразную болезнь, от которой, сколько ни грызи чеснок, не избавишься.

А теперь еще и одна-две из старых подруг по Брин-Мору, с которыми она вместе смеялась, училась и плакала в тех серого камня готических зданиях и которых могла считать чем-то большим, нежели просто знакомые, в последнюю минуту отказались от мысли приехать к ней в гости. Как выяснилось, они вместо этого затеяли нечто, казавшееся ей и опасным, и глупым, — спуск вместе с детьми на плоту по реке Большого каньона.

Уханье совы в ветвях растущего за окном ее спальни старого дуба, обретшего нынешнее свое величие еще в пору индейцев, представляется ей назойливым предостережением. Но худшими, намного худшими были примечтавшиеся ей дурацкие, отчаянием навеянные планы создания чего-то вроде еженедельного, в европейском стиле, салона, в который могли бы приходить молодые художники и писатели. Единственная ее попытка в этом роде обернулась таким кошмаром, что мысль о ней, даже как о предметном уроке, стала навеки невыносимой. Хотя теперь она по крайней мере знала, что такое угроза изнасилования. И, господи боже ты мой, ее затянувшееся воздержание может ведь и спровоцировать оное. Она даже воскликнула как-то раз:

— Дерьмо небесное, какое же это богом проклятое облегчение, когда тебя возьмут да и изнасилуют.

1. Роберт Адам (1728–1792) — английский архитектор-классицист.

Впрочем, любые местные культурные начинания подобного толка умирают, не успев даже пикнуть. Ближайшие окрестности Скарсдейла производят впечатление интеллектуальной пустыни, где всякий, кто еще не стал продавцом облигаций, работающим в деловом центре города в какой-нибудь крупной брокерской фирме, надеется стать таковым, а пока практикуется, расхаживая с черным кейсом. И пуская изо рта пену от желания разбогатеть.

Тот же парнишка — которому она целое состояние заплатила, чтобы он стриг ее лужайку, — когда она как-то позвала его в дом, чтобы передвинуть кое-какую мебель, и упомянула при нем о происхождении одного экстравагантного произведения искусства, решил, услышав имя Шагала, что речь идет о новом спортивном автомобиле. Собственно, ничего другого от него ждать и не приходилось, поскольку, когда она в прошлый раз позвала его в дом, чтобы он снял с чердака швейную машинку, пока сама она будет прибираться в квартирке шофера над гаражом, выдул всю водку, какая стояла у нее в холодильнике, да заодно уж, по довольно забавной ошибке, и бутылку мощного слабительного, принятого им за вино.

— Фу ты, миссис Джонс, мне придется забежать в ваш туалет.

Она смеялась до колик, поскольку знала, что даже капелька этого зелья способна вывернуть человеку кишки наизнанку — трах-бабах, — как сама она вывернула наизнанку кишки телевизора, пальнув в него из дробовика. И забилась в неодолимых конвульсиях, когда он сначала посинел, потом позеленел, а потом ринулся вниз, в дамскую комнату, и, едва до нее добрался, звуки оттуда понеслись такие, словно там никак не могла закончиться русская революция. Что, как выяснилось на следующий день, сделало из юноши пожизненного полуинвалида.

А потом, благодаря одному из то и дело врывавшихся в ее жизнь сумасшедших контрастов, она обнаружила, что получает дьявольское наслаждение, носясь, точно заправский гонщик, на газонокосилке, подстригая траву, а при неудачных поворотах и сшибая кусты. Как-то в полночь после нескольких стопочек водки она попробовала даже погонять по лужайке с включенными фарами, к большому удовольствию девушки, стоявшей у своего окна, подсвечивая себе лицо фонариком, — но не соседей с другой стороны улицы, позвонивших в полицию, с которой она объяснилась, пустив в ход лучший свой брин-морский лексикон:

— Надеюсь, вы не станете мне перечить, если я укажу на то, что шум производжу редко и, исходя из этой простой посылки, питаю надежду, что вы простите мне и проступок, безусловно мной совершенный.

— Вы уже прощены, мэм. Просто давайте постараемся, чтобы ночь прошла без шума.

— И надеюсь, джентльмены, что вы порекомендуете проживающим на той стороне улицы гадам заниматься их собственными долбаными делишками.

— Как скажете, мэм.

Поутру, проснувшись с сухостью во рту и уставившись в потолок, она поняла, что может свихнуться, — вон и аналитик ее в последнее время забеспокоился. Что же ей теперь, жалеть, что она не потребовала от мужа настоящего развода и не заставила его самым милейшим образом выплатить ей алименты по меньшей мере за каждый год, который она

отработала у него в женах. Быть леди — это не окупается. Ну и просыпайся, если спишь, и спрашивай у стен спальни: как я протяну этот день? А если не протяну, кто придет на мои похороны.

Аналитик настаивает теперь на том, чтобы она попыталась сохранить в целости то, что еще осталось от ее светской жизни, предлагая — похоже, ничего другого ему придумать не удается — разослать письменные приглашения и собрать тех друзей, каких она еще сохранила, на чинный обед, быть может, позвав также и его самого с супругой. Когда она отвергла эту идею на том основании, что бывший муж переманил на свою сторону всех друзей, какие у них имелись, и теперь они образуют часть его чарующей телевизионной жизни, аналитик сказал, что она еще увидит — люди на такие обеды слетаются стаями. Ладно, увидит так увидит. Она заказала у "Картье" приглашения, но все гадала, не нарушил ли аналитик, напросившись на приглашение, нормы своего профессионального вероучения, не хочет ли он просто-напросто разжиться новыми пациентами.

Ах, надо все же вернуться в здравый ум и твердую память, иначе она так и будет рисковать тем, что слетит с катушек. При этом, однако, время от времени позволяя себе небольшие причуды. Черта вполне человеческая. Что же касается аналитика, обзаводиться новыми знакомствами любит всякий. В доме ее он ни разу не был, хоть и должен знать все его углы и закоулки, поскольку она рассказывала ему о них месяцами. Не упоминая, конечно, ни о том, что вышибла дерьмо из нового телевизора, ни о юном садовнике, извергавшем из себя то же самое в дамской уборной.

Да и какого черта, может же она рискнуть и спустить пару-другую тысяч своих все усыхающих зеленых и задать званый обед — прежде чем примет чрезмерную дозу снотворного и выяснит наконец, куда определят на жительство ее пропащую душу. И пока что ей, полагала она, вполне можно рассчитывать хотя бы на горстку тех, кто стоит в обществе ниже ее и кому достанет любопытства и злорадства прийти посмотреть, насколько задроченной, задолбанной и задрипанной стала она после развода. Вот и ее бабушка однажды сказала:

— Дорогая моя, всякое предвкушение — возможность не оглядываться с тоскою назад, пока же забудь обо всякой чуши насчет равенства, твой снобизм — это самый драгоценно-бесценный капитал, какой когда-либо будет у тебя в жизни, а потому дорожи им. Избегай трусоватых мужчин и, когда оказываешься вдали от уборной, которой ты можешь полностью доверять, заходи пописать только в самые чистые заведения.

И действительно, если в Нью-Йорке и его окрестностях и существовало какое ни на есть веяние, так состояло оно в том, что женщины искали чертовски чистые туалеты, блеск и лоск которых способны ослепить кого угодно. И вот, совершенно невероятным образом все, кому она отправила письменные приглашения, явились к ней, как и предсказывал аналитик. И двенадцать гостей, приятно гомоня, столпились вокруг шампанского "Луи Рёдерер", и копченого лосося, и канапе с икрой. Она взяла напрокат венгерского повара и людей, коим надлежало прислуживать за столом, а оправившийся от поноса юный садовник парковал автомобили, изуродовав при этом всего лишь половину лужайки.

И все же, при наличии начищенного до блеска бабушкиного серебра и прокатного дворецкого, который прислуживал в буфетной и принимал в прихожей пальто гостей, это был не худший из твоих обедов. Правда, при первой подаче напитков, когда она зажгла в камине огонь, выяснилось, что труба чем-то забита, и дым выкурил гостей из гостиной в ледяной зимний сад. Впрочем, молодой садовник, облачившийся по случаю званого обеда в лучшую свою одежду, сумел, бормоча негромко мать-перемать, прочистить дымоход, не без того, правда, чтобы осыпать сажей и ее саму, и ее лазурно-голубое шифоновое платье.

— Фу ты, миссис Джонс, простите, пожалуйста.

Приглашен, разумеется, был и ее адвокат, пришедший, скорее всего, из чувства долга — вместе с женой-гадюкой, только что подавшей на развод; адвокат тоскливо сообщил ей, что супружница его, разумеется, не такая прирожденная леди, как она, и он, будучи опытным юристом, ожидает, что благоверная обдерет его как липку и по закону, и без оного. Ее же позабавило, что аналитик, едва обменявшись с адвокатом несколькими словами, приобрел вид ошпаренного кота, коему не терпится убраться куда подальше, но после разулыбался во весь рот и начал изводить всех дурацкими разговорами.

Затем "Рёдерер" закончился и, несмотря даже на приемлемо приличное нью-йоркское шампанское, вечер выродился в жуткую скукотищу, едва нарушаемую бесцветно-благочинными разговорами. С постоянным упоминанием школ, в которых ее гости учились, прежде чем поступить в университеты, которые они закончили. Не привнесли особого оживления и мятный соус к бараньим отбивным и шпинат, сколь ни восхитительно был он приправлен сметаной. Она понимала: гости мгновенно учуяли панику, таящуюся в ее чрезмерных усилиях, в отважных стараниях скрыть свое одиночество и жалкую долю. Время прощания близилось, и каждая супружеская чета рассыпалась в обещаниях вскоре непременно с нею связаться. Тем не менее она сознавала: труды, которых потребовал этот обед, потрачены были совсем не впустую, по крайней мере она убедилась, что еще способна шикарно принять гостей. А заодно уж и выяснила, что ни единый из них, и особенно жены, не принадлежит к числу людей, на которых ей можно будет положиться, когда ее прижмут дрожащей жопой к стене, как уже и прижали, оставив для защиты только по ладони на каждую ягодицу.

Катастроф же приключилось только две. Причем почти одновременно. Она возвращалась через буфетную из кухни, куда заходила посмотреть, что поставил на огонь повар, — оказалось, всего лишь растопленное масло, каковое и растеклось, полыхая, по всей плите. И тут давний ее поклонник, с которым она играла в теннис в загородном клубе и почти один только раз гульнула, на пару часов остановившись в мотеле, ухватил ее, прижал к раковине в буфетной и давай целовать.

— Мать честная, Джой, да ты еще хоть куда!

Она и не прочь была бы продолжить и даже немножко его подзадорила, но тут сквозь вращающуюся дверь ввалилась его кислятина-жена, застукала их на самом интересном месте и, поедая обоих свирепым взглядом, залопотала невнятно что-то угрожающее. После этого муж с женой быстренько удалились, а она семенила за ними до вестибюля, жалко оправдываясь, что-де Чарли просто помогал погасить пожар на кухне, однако жена лишь ахнула входной дверью, отчего на пол вести-

бюля слетел со своей подставки и разбился вдребезги керамический горшок.

Однако прием был отмечен и несколькими радостными минутами — когда, например, все гости собрались вокруг концертного "Стейнвея", держа в руках бокалы с вином и совершенно бесценным бренди, поднесенным ей в дар виноторговцем. Она лупила по клавишам, гости распевали свои любимые бродвейские хиты, а после того, как начало сказываться бренди, и старые университетские песенки. Происходившее отливало темно-зеленым блеском "Лиги плюща"[1], бабушка была бы довольна, хоть, правда, и с неодобрением относилась к университетам, распложенным севернее линии Мейсона—Диксона[2].

И все-таки, задним числом, при последующем осмыслении, все это вылилось, как ей представлялось, в довольно убогую лебединую песню. Гости вполне респектабельно надрались, оставшись, однако же, напряженно-напыщенными. И услышав о ее намерении продать дом, говорили с весьма выразительным нервным смешком, что покупатели, хочется верить, не будут людьми нежелательными. А потом, за десять минут до полуночи, все они, точно куклы, встали как один, расселись по машинам и, захлопав автомобильными дверцами, с шумом укатили по домам. Правда, им еще удалось полюбоваться через лужайку девушкой в наручниках, стоявшей у окна и демонстрировавшей с помощью фонарика степень своей раздетости.

О, разумеется, без старого доброго большого сюрприза не обошлось. Кто бы в такое поверил: она обыскала весь дом и пришла к неопровержимому выводу, что украшенная императорским клеймом серебряная чайница Фаберже, столь высоко оцененная "Сотбис", а с нею и еще более изысканная, оправленная в золото майсенская табакерка с изображением сцен медвежьей и оленьей охоты — обе достались ей в наследство от южно-каролинской бабушки и небезосновательно почитались ею невозместимыми, — что обе они исчезли. Вряд ли взятая напрокат прислуга или юный садовник могли иметь представление о высокой, если не астрономической цене этих вещиц, однако она знала немало людей, таковое имевших, и почти все ее гости были из их числа.

Ей-то казалось, что весь смысл письменных приглашений и строгих вечерних костюмов как раз в том и состоит, что ты получаешь гостей, на чужое не падких. Или бабушка говорила это о фраках, а не о строгих костюмах. Первой, на кого пали ее подозрения, была, разумеется, злющая супружница Чарли. Однако, если у этой малоприятной дамы поинтересоваться, хотя бы обиняками, не подворачивались ли пропавшие вещицы ей под руку, дама непременно подаст на нее в суд за клевету, а суд обдерет ее как липку.

Господи боже ты мой, на самом-то деле она просто забыла о том, что перед приемом следовало убрать их с глаз долой. И не убрала, так они на своем месте стоять и остались. На маленьком стеклянном столике. В укромном углу. Но зато под лампой, так что видно их было хорошо. Чайница и табакерка, обе не застрахованы. Фамильные, до блеска начищенные драгоценности, а серебро она так и вовсе отполировала собствен-

1. Группа восьми самых престижных частных колледжей и университетов северо-востока США.
2. Южная граница штата Пенсильвания, которая до начала Гражданской войны символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами.

ными нежными пальчиками. И ведь они были ниточками, которые связывали ее с бабушкой, пусть кто-то и думал, что она просто выставляет их напоказ. Собственно, они и показывали, что, даже лишившись мужа, она все еще владеет вещами, которые всякому их обладателю внушали бы гордость прямо-таки павлинью.

Поймав себя на обращении к эпитету "павлинья", она рассердилась, поскольку слово это отчасти оспаривало изысканность ее южного наследия. Впрочем, она сознавала, что в конечном счете понесла потерю не сентиментальную, но финансовую, да еще и продемонстрировала свою уязвимость. Ладно, пусть их, пропали так пропали, оставив ее с мучительными подозрениями насчет того, кто мог совершить покражу. Самое худшее, что с уверенностью-то она ни черта сказать не могла. И ее безумно соблазняла мысль пасть infra dignitatem[1], сообщив имена своих гостей полиции, что снабдило бы йонкерскую[2] "Геральд трибюн" заголовками наподобие

ПЕРСОНАЖИ "СВЕТСКОГО АЛЬМАНАХА" КРАДУТ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ У ОБЕДНЕВШЕЙ РАЗВЕДЕНКИ

Но ведь ее воспитали как леди. И вот, пожалуйста, ей приходится сражаться за жизнь в совершенном одиночестве. И как знать — тут она рассмеялась, — хорошее судебное дело могло бы снова собрать вокруг нее большую толпу людей. Разумеется, в зале суда. Что уже не смешно. Черт побери, да при определенном везении ее в этой толпе так могут помять, что у нее начнется некроз какого-нибудь там органа. Или она, осматривая, как пристрастилась теперь делать ночами, свои груди, нащупает роковую опухоль. Конечно, это не отнимет у нее всегдашней и неизменной учтивости, зато она сможет умереть трагически медленной смертью.

Ладно, хорошо уж и то, что она знает, где хочет быть похороненной. В лесах Южной Каролины. На старом сельском кладбище, неподалеку от заповедного поля на плантации бабушки — того, где охотились на куропаток, — бок о бок с самой бабушкой, на семейном участке, вокруг которого покрываются патиной времени каменные монументы, напоминающие о героях-конфедератах времен Гражданской войны. И где ступать по высокой траве следует с осторожностью. Поскольку ее временами облюбовывают змеи, возжелавшие погреться на солнышке, а наступив на какого-нибудь медноголового щитомордника, ты можешь мигом воссоединиться с теми, кто уже упокоился здесь с миром.

Имя свое, Джоселин, она всегда недолюбливала, однако во время приема все гости называли ее коротко: Джой. Радость, стало быть. Вот слово, которого она теперь, когда ее жизнь лишилась столь многого, и слышать-то не желает. Утрата этих произведений искусства была не просто последним ударом — во все время супружества она неизменно видела в них финансового туза в рукаве, туза, с которым всегда можно было взять да и смыться из дому, просто-напросто вызвав такси и поки-

1. Ниже своего достоинства (*лат.*).
2. Йонкерс — северный жилой и промышленный пригород Нью-Йорка, имеющий статус города.

дав бесценные безделушки в сумочку. Конечно, потом, отнеся эти вещи в "Сотбис", пришлось бы поселиться в каком-нибудь почтенном отеле и ждать затаив дыхание, когда их выставят на аукционе.

Но черт вас всех подери совсем, если так поступают с тобой твои гости, ты становишься бесцензурной не только в помышлениях, но и во всем, чем станешь заниматься в будущем, включая и выбор друзей. Который, увы, навряд ли представляется ныне возможным, поскольку единственным, с кем она ощущала хоть какое-то взаимопонимание, была закованная девица из окна напротив.

И потому, проразмышляв над случившимся сорок восемь часов, она послала к чертям собачьим всю ораву так называемых старых друзей и сообщила о краже в полицию. Не приходилось сомневаться, что после этого она пала в глазах своих гостей в строгих вечерних костюмах еще и гораздо infra dignitatem. Ну и пусть, люди вообще до того похожи один на другого, что можно обзавестись кучей новых знакомых за те пять минут, в которые поезд проходит четыре мили до Бронксвилла. А после за партией бриджа в загородном клубе, когда она все рассказала своим партнершам, ей вдруг пришло в голову, что ее могли и вправду ограбить, что в ночь, когда она взяла дробовик и вышибла дух из телевизора, кто-то мог и в самом деле осмотреть ее дом, а потом просто вернуться и подождать, пока все гости уйдут обедать в столовую.

Да и хрен с ними. Название "Скарсдейл" всегда казалось ей немного смешным, она даже именовала ближайшие его окрестности "Долиной скАрпионов", и это представлялось ей наиболее точным обозначением того, что их городишко делает с некоторыми из своих обитателей. Кроме того, она по собственному опыту знала, что и кровельщик, и водопроводчик, и электрик поначалу изображают из себя завзятых сердцеедов, потом Эйнштейнов, потом наносят тебе пару бессмысленных визитов, норовя зазвать на свидание, а уж под самый конец пытаются срубить тебя под корень с помощью счета за оказанные услуги.

Впрочем, была, несомненно, и одна дьявольски добрая новость. Цены на недвижимость, как сказал ей агент по продаже мистер Гудвей, не только сохранились на прежнем уровне, но и возросли. Дом и земля вокруг него всегда оставались куском до чертиков лакомым. Сам дом окружали лужайки, огражденные кустами, несколько высоких деревьев давали летом густую тень. А пруд, расположенный рядом с домом, был хоть и маловат для каноэ, но достаточно велик для пловца, жаль только, что в нем обитала большая кусачая черепаха, способная запросто отхватить человеку ногу.

— Миссис Джонс, я торгую недвижимостью вот уж семнадцать лет и считаю дом номер семнадцать по Виннапупу-роуд образчиком sans peur et sans reproche[1] в категории домов, о которых мечтает любой состоятельный деловой человек.

— Что ж, надеюсь, вы правы, мистер Гудвей, иначе нам останется только achever une bête blessée[2].

В итоге рекламную брошюру агента по недвижимости украсила лестная фотография дома, а сам дом был описан в ней как "восхитительно английский, купающийся в очаровании старины". Дальнейшие дета-

1. Зд.: безупречность (*франц.*).
2. Добить умирающего зверя (*франц.*).

ли также излагались в словах, прибегнуть к которым сама она не решилась бы. Но по крайней мере слова были английские и сообщали, что дом стоит посреди мирных холмов Уэстчестера на полных двух с тремя четвертями акрах земли, вмещающих также и собственный небольшой водоем.

Дом удалось продать за семьдесят два часа — два покупателя перебивали его один у другого, отчего он ушел с аукциона по цене на десять процентов больше начальной. Она поплакала. Впрочем, все происходившее с нею было, в сущности, крошечной интерлюдией в игре жизни, исчезающей неведомо куда в совершенно безликом — по ее неизменным представлениям — городишке. За всю историю коего никто не знал и знать не хотел, живет она в нем или не живет. Теперь она поняла, что чем в большее число пустых комнат ты вынуждена заходить, впадая при этом в депрессию, тем в большую депрессию ты при этом впадаешь.

И все же она чувствовала себя достаточно молодой — внутренне, — чтобы получать наслаждение от frisson[1], который по временам насылало на нее безумное ощущение грядущей опасности. Разбогатевшая ныне, она задумала полететь весной первым классом в Париж и остановиться в отеле "Ланкастер", а затем проводить долгие досужие часы в Лувре, из которого она будет уходить на бульвар Сен-Жермен и пить там citron pressé[2]. Читая "Геральд трибюн", она позволит очкам для чтения немного сползти с носа — как будто она до того погружена в свое увлекательное занятие, что ей уже некогда обращать внимание на весь прочий мир.

А оттуда она отправится в Лондон и поселится в "Кларидже", краснокирпичном каретном сарае на тихой улочке Мэйфера. Одинокая, свободная, без особого багажа — такой же была она в пору головокружительного путешествия, которое предпринял изменивший прежним творческим принципам муж ради того, чтобы протолкнуть свое первое шоу, способное угодить низменным вкусам массового потребителя. Стив говорил тогда, что, конечно, эти дела обходятся в целое состояние, однако крупная независимая постановка требует, чтобы ты селился в отелях, облюбованных ведущими голливудскими агентами, — это позволяет оказаться бок о бок с ними в лифте, при условии конечно, что они не улепетывают в Средиземноморье и не расползаются там по яхтам, если не по футбольным полям.

При всей ее любви к отелям, она почему-то чувствовала, что такое отношение Стива к ним выдает его относительно бедное происхождение — точно так же, как привычка мужа выставлять на обеденный стол пакет с молоком. И испытала отнюдь не мимолетную неловкость, когда преувеличенно внимательные и учтивые официанты мигом вернули ему вес, который он попытался было сбросить. И все же, как ни разбогатела она, по ее мнению, после продажи дома, ей все равно казалось, что никто ее теперь и знать-то не хочет. Хоть она и купила новый "ягуар" зеленой гоночной раскраски и начала что ни день играть в бридж со старушенциями из загородного клуба.

1. Дрожь, озноб (*франц.*).
2. Свежевыжатый лимонный сок (*франц.*).

Походило на то, что, обратившись в простую обитательницу квартиры, расположенной в благопристойном доме, стоявшем неподалеку от путей Нью-Йоркской центральной железной дороги, она понизила свой общественный статус прямо-таки до уничижительного. Чтобы иметь возможность выезжать хоть куда-то по вечерам, она пошла на меру отчаянную — подрядила юного садовника, и тот отвозил ее теперь на машине к кинотеатру в Бронксвилле и ждал, когда закончится сеанс и можно будет открыть перед нею дверцу машины и отвезти ее назад. И не потому, что она так уж заносилась, — просто одиночество ее нуждалось в защите.

— Привет, миссис Джонс, не выпьете со мной пива в "Городской таверне".

Если предложение юного садовника выпить с ним пива и нарушило положенный протокол, она мгновенно восстановила его, проигнорировав услышанное и резко приказав отвезти ее домой. И на всем пути туда ей ничего так не хотелось, как выпить пива в "Городской таверне". Пожевать соленый кренделек, ощутить в горле холодок любимого пльзеньского.

Вскоре она покинула эту отвратительно безликую квартиру с двумя спальнями и гостиной, в которую никогда не заглядывало солнце, и переехала в немного более веселую и своеобразную, казавшуюся ей и менее одинокой, что было совсем неверно. Надеясь, что это даст детям повод навестить ее. Чего они не сделали. Казалось, решительно никакой благодарности за полученные от нее денежные подарки они не испытывают. Могли бы прислать хотя бы по письму с формальными "спасибо". Она чувствовала, как растет отделяющее ее от них расстояние — особенно от Иды, которая училась в далеком университете Западной Виргинии и имела кавалеров в полудюжине городов.

Сын, Хью, должен был через год выйти из Йейла, он состоял там в клубе "Череп и Кости" и играл относительно приметную роль в протестах против допущения женщин в этот университет, в чем она усмотрела еще один выпад против нее. Он даже произнес речь, посвященную особенностям женского поведения — в частности, поведения одной молодой леди, распускавшей сплетни касательно тайных обрядов его клуба, сведения о которых она вытянула из своего изгнанного из "Черепа и Костей" любовника, — это публичное выступление сделало роль Хью еще приметнее.

Став теперь более одинокой, чем когда-либо в жизни, она далеко не раз вдруг ощущала себя даже большей узницей, чем та заоконная девушка в наручниках. Как-то вечером ее даже обуяло искушение позвонить юному садовнику и попросить, чтобы тот свез ее в "Городскую таверну" Бронксвилла — попить пива. Сильнее всего изнывала она в дни университетских уик-эндов и каникул ее детей, дни эти проходили тише тихого, даже без телефонных звонков; дети гостили у отца, который, как говорили, пустился, большое ему спасибо, с новой своей вертихвосткой во все тяжкие и объявил о скорой их женитьбе. В самой последней колонке светской хроники эта парочка описывалась как "кружащая в вихре удовольствий", там же сообщалась новость совсем свежая: вертихвостка, прежде чем выползти на нью-йоркскую сцену, вовсе не была южной красавицей, состоящей в "Фи-Бетта-Капа", а служила в отделе невостребованных писем нью-джерсийской почтовой конторы.

Следует все же признать — бывший муж только и располагал, что большим жалованьем, хотя, возможно, и не настолько большим, чтобы перебраться из его не такого уж и дорогого любовного гнездышка на Западной 67-й в роскошные апартаменты на Парк-авеню с их высокой арендной платой. Да еще имея на попечении честолюбивую молодую актрису, несомненную алчную авантюристку, вцепившуюся мертвой хваткой и в Стива, и в собственную актерскую карьеру. К тому же Стив ясно дал детям понять, кто оплачивает их далеко не дешевое университетское образование, и, отказав обоим в карточках "Американ экспресс", которую вертихвостке своей все-таки подарил, выдавал им каждую неделю по сто сорок пять долларов на карманные расходы.

А ей, боже ты мой, приходилось ныне не только оплачивать квартиру, но и отдавать немереные деньги за складское хранение мебели из дома в Скарсдейле. Еще немного, и выяснится, что дешевле будет пустить ее с аукциона или просто кому-нибудь подарить. К тому же теперь у нее не было собственной просторной лужайки, на которой она, смазывая спину цитронелловым маслом, провела столько летних вечеров, а когда комаров было не слишком много, позволяла себе удовольствие пописать на свежем воздухе — бабушка называла это "не спускать азот в унитаз". И однажды попала под луч фонаря, которым посвечивала из своего окна закованная девушка.

Урезая расходы, она теперь посещала своего аналитика лишь дважды в месяц. И в надежде избавиться от приступов депрессии, насылаемой сузившимися границами существования, собрала библиотечку из книг серии "Помоги себе сам" и старалась проделывать кое-что из рекомендуемого в них. Выяснилось, впрочем, что после отказа от мартини главным ее удовольствием, позволявшим снять напряжение, стали два бокала средней сухости хереса, употребляемых под картофельные чипсы, смесь из разных орешков и магнитофонную запись Элгара — слушая его, она воображала себя сидящей на террасе английского загородного дома и озирающей луга с неспешно пасущимися в них оленями и прочим рогатым скотом, луга, в которых не слышно, как на путях Нью-Йоркской центральной взревывает скорый.

Спиртное все еще играло в ее жизни немалую роль, хоть она не желала и вспоминать о том, как держала в холодильнике наготове целый кувшин сухого-пресухого мартини, который они со Стивом привычно высасывали, когда он возвращался с работы, что в конечном итоге привело их примерно к бутылке джина в день и обвинениям со стороны дочери:

— Давай начистоту, твоя с папочкой давняя привычка хлестать перед обедом коктейли понемногу обращает вас в пару запойных забулдыг. Папу она сделает импотентом, а если тебя и это не волнует, так знай, кожа твоя будет ни к черту, зато ты обзаведешься большой жирной задницей.

В особенности уязвило и унизило ее слово "забулдыга", произнесенное с весьма ощутимым оттенком всезнающего превосходства. Впрочем, отвергнутая семьей и вынужденная жить в стесненных обстоятельствах, она еще сохраняла прежние нравственные и духовные качества и даже в минуты самого что ни на есть одинокого одиночества думала, что все могло сложиться и хуже. Хотя, по правде сказать, напасти сыпались на нее как-то слишком уж быстро, со скоростью кувалды, падаю-

щей на большой палец ноги. Приготовьте вторую ногу. Во-первых, когда она пожаловалась, что дети больше не навещают ее, Стив не преминул в свой черед двинуть ей под дых:

— Я тебе прямо скажу, Джоселин. Все считают, что у тебя временное эмоциональное расстройство. И ты, вероятно, нуждаешься в помощи.

— Боже, о чем это ты?

— Ну, пока ты еще жила в доме, туда не раз вызывали полицию. Ты подстригала в полночь лужайку. Выпалила из дробовика в телевизор. Да-да. Мне звонил мастер по ремонту. Суть в том, Джоселин, что дети любят и обожают тебя, но считают опасной, боятся, что ты можешь случайно кого-нибудь укокошить.

— Да умоляю тебя, все, что я делала тогда и делаю сейчас, так это пытаюсь удержать на расстоянии незваных гостей, пока сама сижу в одиночестве и слушаю Элгара.

— Ну, и это, быть может, тоже дурной знак.

— К твоему сведению, это всего лишь удовольствие, уверена, впрочем, что даже ты должен понимать — насильственной смертью теперь никого, в том числе и грабителей, не испугаешь.

И пока она в течение нескольких дней переваривала сообщенные мужем новости, кувалда ударила снова. Деньги, полученные от продажи дома, она отдала в умелые руки сведущего консультанта по капиталовложениям, давнего знакомого Стива, уверявшего, что этот человек возведет для нее высоченный кафедральный собор финансов, который простоит века и даже детям ее позволит вести праздную жизнь. И вот вам, впечатляющая эта постройка, простояв ровно восемь месяцев, рассыпалась в прах.

Провальные инвестиции включали в себя деньги, пропавшие по причине банкротств компьютерной фирмы и геологоразведочной компании; впрочем, это были сущие пустяки в сравнении с ее долевым участием в абсолютно надежном увеселительном бродвейском шоу с танцами, на репетиции которого ее несколько раз приглашали и которое сразу после премьеры было громко обшикано "Нью-Йорк таймс" в рецензии, снабженной броским заголовком

ПРИСКОРБНО ПЕЧАЛЬНЫЙ ПРОВАЛ

Каковое обстоятельство выяснилось сразу после полуночи, когда она оказалась стоящей в полном одиночестве в большом и мрачном зале торжеств, который располагался в глядящем на Центральный парк желтого кирпича здании и опустел ровно через сорок пять секунд после обнародования упомянутой рецензии. Чем и закончилось ее чарующее и романтически волнительное пребывание за кулисами театрального мира. В прорву коего она спустила почти двести тысяч долларов.

Впрочем, еще большим прахом обернулось финансирование службы инвестиционных консультаций, арендовавшей в Эмпайр-стейт-билдинг помещение, в которое сходился десяток телефонных линий, предположительно позволявших клиентам этой службы получать самые что ни на есть распоследние и надежные конфиденциальные сведения относительно сложившейся на рынке ситуации. Службой руководили бывший оперный певец и его любовница-манекенщица — оба страшно нравились ее консультанту, полагавшему, что при их связях среди зав-

сегдатаев модных кафе и познаниях по части движения крупных денежных сумм они способны непогрешимо предсказывать какие угодно тенденции и помогать, не задаром конечно, мелким вкладчикам Среднего Запада заваливать крупную рыночную дичь. И если бы такое название не слишком резало глаз, манекенщица и оперный певец вполне могли назвать свою службу "Анонимные проныры".

Обшикать-то можно было и эту затею, когда б не ее размах. К тому же участники ее, крупные и мелкие, действовали по первости на свой страх и риск. А затем, намереваясь создать условия, которые позволят выкачивать безумные бабки из европейских фондовых бирж, трое руководителей службы вылетели — все расходы оплачивались как служебные — первым классом в Париж, дабы поселиться там в отеле "Бристоль", наладить связи и набраться новых идей, а заодно уж и произвести впечатление крупных воротил, для чего надлежало обедать в самых прославленных парижских ресторанах. И чтобы решить последнюю задачу со всей основательностью, они составили список длиной в руку плюс ногу, в коем указывалось, где именно каждый из их вечеров должен увенчиваться распитием "Шато д'Икем" и поеданием fraises des bois[1].

Когда она сообщила своему консультанту Теодору — в виде консультационной услуги, — что подумывает подать на него в суд за недопустимое разгильдяйство и мерзкое мошенничество, приведшие к тому, что он, вместо возведения кафедрального собора финансов, который простоял бы века, за какие-то восемь месяцев соорудил дерьмовую хилую халупу, едва державшуюся на фундаменте рисковых инвестиций и пожравшую в вихре дорогих обедов, поездок и междугородних телефонных переговоров бóльшую часть ее состояния, консультант пустил слезу и только что не разрыдался прямо под пальмой, росшей в вестибюле отеля "Плаза", где она угощалась булочкой и китайским чаем с лимоном, а он двойными виски, — оплатить все это пришлось ей. Он сказал, что у него двое детишек в университете, а теперь им придется бросить учебу и устроиться на низкооплачиваемую работу.

— Господи, Джоселин, я понимаю, что весь наш сценарий породил довольно-таки унылую тенденцию потерь, но я все-таки вижу в конце туннеля определенные признаки изменения к лучшему, потенциал возврата затрат, тем более что сейчас самое время воспользоваться преимуществами, которые дает по-настоящему низкая цена на инвестиции.

— Я не имею ни малейшего желания вверять вам хотя бы медяк из тех жалких грошей, что у меня остались.

Эти ее недостойные, подлые слова, похоже, перепугали Теодора до потери пульса. Когда она рассказала подробности своему адвокату — а адвокат у нее был, благодаря бабушке, одним из лучших в Нью-Йорке, с большим офисом, из которого открывался вид на нью-йоркскую гавань, — в правом глазу адвоката появилась слеза, но, впрочем, левый остался сухим. И хотя адвокат горбился над своим письменным столом по причине травмы, недавно полученной им на теннисном корте, он все же выбрался из вращающегося кресла, подошел к окну, чтобы поглядеть на гавань и покидающий ее большой лайнер, и сказал через плечо:

1. Лесная земляника (*франц.*).

— Знаете, Джоселин, самое грустное во всем этом, что консультант ваш — человек, по сути дела, настолько порядочный и честный, насколько это можно себе позволить в наши дни. Беда только в том, что при самых лучших его намерениях и таком же большом, как воображение, сердце он просто-напросто ни хера, простите за галлицизм, не смыслит в том, что следует делать с чужими деньгами, но ведь не посылать же его за это вверх по Гудзону в Синг-Синг.

— Это в мои намерения не входит.

— А именно это и может случиться, Джоселин. Можно было, конечно, сообразить, что в компьютерном бизнесе сейчас не протолкнешься, но ведь компания, в которую он вложил ваши деньги, обладала вполне приличной репутацией. Самую-то большую проблему, Джоселин, составляет эта инвестиционная команда — оперный певец с его манекенщицей. Понимаете, они и Теодора обобрали до нитки, просто по миру пустили, а поскольку симпатичный дом Теодора записан на имя его жены, средств, которые позволили бы возместить ваши потери, если вы выиграете процесс о разгильдяйстве, у него попросту не найдется.

Финансовый крах вынудил ее отказаться от новой квартиры, пустить с аукциона всю хранившуюся на складе мебель и по дешевке продать сжиравший четыре, запятая, и две литра бензина "ягуар" зеленой гоночной раскраски. Полученный от адвоката совет не возбуждать судебного преследования обошелся ей в две тысячи семьсот восемьдесят шесть долларов и восемьдесят семь центов. За сумму вдвое меньшую той, что уходила на квартиру, она сняла жилье более чем вдвое меньшее — на задах дома, принадлежавшего некогда самому богатому в городке человеку, а именно, как это ни иронично, бывшую квартирку шофера над гаражом.

И вот теперь до сознания ее начала доходить истинная правда, состоявшая в том, что никто из проверенных, настоящих друзей знать ее больше не хочет. Она стала давней знакомой, сильно обедневшей и навеки выбывшей из игры. Отныне, клятвенно пообещала она себе, она будет строить свою жизнь, основываясь на новой теории, теории мгновенного инстинкта. И делать в точности то, что ей хочется. Поздно уже было постулировать в своих бесцензурных помышлениях, что ты, дескать, никогда, никому — и в особенности твоему финансовому консультанту — не позволишь тебя облапошить. А если он все-таки проделает это, не станешь соваться к адвокату, поскольку тот оберет тебя еще и похлеще — на самый что ни на есть доверительный и премилый манер. И, господи боже, во мне, может, и сохранились еще запасы смешливости, но я никогда, никогда не позволю ей выйти наружу — разве что где-нибудь отыщется человек, в котором она сохранилась тоже и человек этот попробует посмеяться первым.

Однако это было еще не худшим из того, о чем приходилось думать. Думать приходилось и о том, что́ с ней, всеми брошенной и не имеющей работы, будет дальше. Она может обратиться в бездомную женщину, обитательницу скамеек, расставленных по замечательно проветриваемым атриумам Нью-Йорка. Уже обжитым множеством подобных ей, не менее достойных женщин. Два ее дробовика давно были проданы с аукциона по начальной цене, да и в любом случае она не могла больше позволить себе отправить свой телевизор в лучший мир.

Бесцензурные помышления стали теперь излюбленным ее времяпрепровождением, правда, иногда оно перемежалось воспоминаниями о давней юности в Южной Каролине, об одном тогдашнем случае, тоже очень трагическом. Ее пригласили, поскольку она была красивейшей девушкой в округе, на вечеринку старшеклассников, и пригласил-то один из самых смазливых юношей, отчего оба полагали, что станут главным украшением бала. И когда за весь вечер никто не подкатился ни к ней, ни к нему с предложением потанцевать — просто по причине чрезмерной ее красоты, — она почувствовала себя совершенно раздавленной, а кавалер ее и вовсе впал в прострацию, и под конец вечеринки она обнаружила его на террасе льющим слезы на цветущую магнолию. И почему-то решила, что это ее вина: она же никому не строила глазки, никого не пыталась пленить и вообще оставалась, как и всегда — ну разве за вычетом одного-двух случаев, — верной своему мужчине.

Теперь же она была бы счастлива, скажи ей кто-нибудь хотя бы одно лестное слово, пусть даже самое банальное, наподобие: какие у вас красивые туфельки. Меня бы это порадовало, правда, порадовало. А с другой стороны, после размышлений столь грустных и скорбных она с наслаждением думала о том, до какой жестокой вульгарности способны доходить ее помыслы. Ловя себя на мысли: а поцелуйте-ка вы, долбоебы Скарсдейла и Бронксвилла, меня в жопу. Или, еще того лучше, в мою социально превосходящую всех вас дырку. И чувствовала, что, несмотря на катастрофически оскудевшие обстоятельства, она, с ее музыкальным и художественным вкусом, все еще вправе испытывать чувство великого превосходства над всей этой швалью.

Из более чем трех четвертей миллиона долларов у нее, истово экономившей ныне каждый грош, сохранилось на банковском счету ровно тринадцать тысяч четыреста долларов и восемьдесят два цента, на которые ей и предстояло коротать остаток дней. Единственным мотовством, какое она, впавшая в благопристойную нищету, себе еще позволяла, были поездки в Нью-Йорк, в его картинные галереи. Впрочем, сидя в своей пустой квартирке, в одиночестве, которым все плотнее опутывалась ее жизнь, она ненадолго, но вполне серьезно задумалась о том, не стать ли ей лесбиянкой, и даже купила книжку, освещавшую сию важную материю. По крайности, такая перемена позволила бы ей завязать долговременные партнерские отношения, лишенные неопределенности, которая присуща жизни с мужиком, всегда готовым втюхаться в первую попавшуюся хваткую, зловредную вертихвостку.

Вот только она никак не могла понять, какая гомосексуальная роль для нее предпочтительнее. Чего ей уж точно ни хрена не хотелось, так это возиться со стиркой, стряпней и уборкой квартиры после того, как ее компаньонка, напялив мужской костюм и сомбреро и прихватив кейс, отправится в свой офис. Как не хотелось и обратиться в добытчицу хлеба насущного, встающую в шесть утра, в семь оказывающуюся на станции, а в восемь — за рабочим столом на Мэдисон-авеню. И особенно после того, как она полюбовалась на себя, облаченную в один из брошенных ее благоверным, Стивом, костюмов, в зеркале ванной.

— О господи, да я словно вылезла из полинявшего фильма, снятого в двадцатые годы в довоенном Берлине.

Еще ее посещали и мысли о маячившем где-то впереди климаксе, о том, что она, приближаясь к сорока пяти, будет толстеть и раздаваться

в бедрах. А посмотрев взятый напрокат порнофильм, в котором две здоровенные, коровистые лесбиянки терлись одна о другую голыми телесами, она и вовсе прониклась зловещими предчувствиями, от которых ее даже дрожь пробрала. И подумала: может быть, пока у нее еще есть тринадцать тысяч долларов, включиться в благотворительную деятельность, столь популярную в нашем городишке, однако, увидев, на какую широкую ногу эта самая деятельность поставлена, поняла, что скорее уж благотворительность может ей понадобиться, и самое для нее лучшее — найти работу, и как можно скорее.

Вот тут-то ее и ждала новость совсем уж сногсшибательная. Никакая работа ей не светила. Что могла она ответить на вопросы вроде: а сколько вы зарабатывали раньше? А нисколько. Ах, как жаль. И им действительно было жаль. В конце концов она отыскала временное место продавщицы в магазине подарков в Йонкерсе. Самой удивительной городской агломерации, какую она видела в жизни. Попав туда, совершенно невозможно было сказать, куда вы, собственно, попали. И когда она спрашивала:

— Простите, это Йонкерс.

— Господи, мэм, не знаю, что там значится в вашей карте.

— Там значится, что это Крествуд, но, по-моему, все-таки Йонкерс.

— Ладно, мэм, если вы искренне в это верите, так и верьте. Хотя вокруг один сплошной Йонкерс и есть. Правда, многим хотелось бы, чтобы его тут никогда не было.

Разумеется, она неизменно оставалась милой и любезной, да и подарки заворачивала не без изящества, однако ее все же благополучно уволили — и она, и владелец магазина сошлись во мнении, что покупателей отпугивает ее изящество, да к тому же слишком многие из клиентов, живших в Скарсдейле, попросту шалели, увидев за прилавком свою землячку.

— Господи, так это же Джоселин Джонс с Виннапупу-роуд.

Ну да ладно, владелец магазина был человеком обходительным, все понимающим, так что она, получив от него хорошее выходное пособие, вновь приступила к поискам и наконец нашла урочную работу официантки — страшно далеко от Скарсдейла и Йонкерса, так что добираться туда ей приходилось в стареньком, купленном с третьих рук фургончике "вольво". И, господи, как скоро и много узнала она о том, что такое просыпаться в раннюю рань, о жизни вообще и о разнице между людьми обслуживаемыми и услужающими. Довольно быстро поняв, что ей не доставляет ни малейшего удовольствия набивать едой бесконечные рты или наблюдать за тем, как обжираются люди, уже разжиревшие до того, что могли бы преспокойно прожить целый месяц, не имея во рту ни крошки.

Конечно, она старалась делать свою работу как можно лучше, но при этом чувствовала, что смотрят на нее сверху вниз, отчего она быстро-быстро стареет. Титьки ее и всегда-то казались ей отчасти непарными, а теперь еще левая начала обвисать малость сильнее правой. И кончилось все тем, что в один пятничный вечер, когда от клиентов не было отбоя, она, немного переутомившись, перепутала пару заказов, и один из посетителей начал жаловаться, что ему принесли не то вино, а она ответила: сам ты дурак, это "Жевре Шамбертэн" превосходного урожая, я его собственнолично попробовала, — и неторопливо вылила ему

на голову всю бутылку, и он просидел в изумлении достаточно долго, чтобы она успела сказать:

— Я, между прочим, убогая ты деревенщина, закончила Брин-Мор, а ты, похоже, ничего, кроме Бронкса, в глаза не видел.

Собственно говоря, плевала она на Брин-Мор, и все же такое проявление снобизма доставило ей немалое удовольствие. Хоть она и понимала, что Стив или ее аналитик, которого она не могла себе больше позволить, услышав об этом случае, сочли бы его очередным свидетельством ее эмоционального расстройства. И после того как ее уволили, а ресторан еще и судом ей пригрозил за причиненный ущерб, она окончательно убедилась в том, что пора выбираться из ничейной уэстчестерской полосы под названием Йонкерс и попытать счастья где-нибудь еще. Каковое "где-нибудь", как выяснилось довольно скоро, оказалось отдельно стоящим "нигде". Не считая, быть может, Нью-Гэмпшира, население коего хранит, если верить слухам, верность самым высоким нравственным принципам.

Полученное ею воспитание позволяло всего лишь отличать с первого взгляда пышную, украшенную позолоченной бронзой мебель времен Людовика Пятнадцатого от таковой же Шестнадцатого. Возможно, европейские пейзане, от которых произошла большая часть американцев, умели делать это и сами, отчего и обратили своих женщин во вьючных животных, велев им заткнуться к чертям собачьим и не балабонить больше о косметических масках, духах и прическах, а просто, на хрен, тащить свою ношу и дальше. Господи боже ты мой, бабушка, милая бабушка, жизнь становится все тяжелее и тяжелее. Почти непереносимой становится. Что же мне теперь делать. Начала я с того, что субсидировала твоим наследством мужа, а закончила разведёнкой без алиментов. Впрочем, что ответит ей бабушка, она хорошо знала.

— Дорогая моя, зачем спрашивать. Оставайся леди, какой ты всегда и была. Сохраняя, разумеется, неизменную готовность врезать по яйцам сукину сыну, который того заслуживает.

Мечты о спасении от такого существования сопровождались мечтами о новом замужестве. Получила же она, и не так уж давно, письмо от того красавца, что пригласил ее когда-то на школьный вечер, — теперь он стал знаменитым вашингтонским сенатором и интересовался, как она поживает, и с нежностью проставил в конце письма несколько "Ц", означавших, надо полагать, поцелуи. И все же неотвратимая правда состояла в том, что женщине надлежит быть не просто несметно богатой, но богатой до омерзения, обладательницей множества будуаров и ванных комнат, пощипывающей пальчиками копченую семгу или шоколад, привезенный из самого Парижа. И старательно скрывающей все это от мужчины. Которому нравится думать, что ты в нем нуждаешься. Потому что, если ты в нем не нуждаешься, так и шла бы куда подальше. Или он сам пойдет.

Она ощущала себя падшей женщиной, которая, собственно говоря, ничего плохого не сделала. Она и переспала-то за время замужества всего лишь с тремя мужиками, ни разу не выйдя при этом за пределы круга лучших друзей мужа. И все происходило так быстренько, минут за двадцать восемь, самое большее. Она проверяла по часам, которые Стив подарил ей на двадцать девятый день рождения. Да и теперь она находила малое утешение и поддержку в ощущении, что даже при стесненных ее

обстоятельствах другие женщины, мужей еще не лишившиеся, относятся к ней с опаской, подозревая, что мужья их с удовольствием бы ее откорячили, потому что даже при том, что одна ее титька малость провисла, она, благодаря ежедневным приседаниям, все еще сохраняет приличную фигуру, дополняемую умеренно привлекательным орлиным носом, синими глазами, высокими скулами и полными губами.

Когда она, приодевшись, появлялась в городе на аукционе "Сотбис", на недостаток внимания ей жаловаться не приходилось. А самые лучшие из ее давних подружек, которых со времен Брин-Мора осталось всего только две и с которыми она ныне виделась очень редко, полагали теперь, что она, став свободной женщиной, пытается увести у них мужей — просто потому, что в те два раза, когда они приглашали ее отобедать, к столу подавалось хваленое марочное вино.

— Надо же, Джон притащил бутылку, на которой даже шато какое-то значится, да еще и перелил вино в графин за два часа до обеда. Похоже, он думает, что ты по-прежнему способна учуять букет.

— Так оно и есть.

Что было правдой, несмотря на мартини. О котором Стив говорил, будто оно дает образование почище любого университета. Да и кому из жен понравится, что она ест до отвала, а фигуру при этом сохраняет стройную. И мало того, что она способна учуять букет вина. Она отличнейшим образом знала — и каждый из двух мужей знал тоже, — что она, при всей целомудренности ее кашемирового костюма, способна отсосать у них так, что в ушах колокола зазвонят. Каковой навык был доведен ею до совершенства, поскольку отсос почитался в Брин-Море дипломатичным способом сохранения девственности. И более того, каждый из двух мужей положил на нее глаз, осмелясь даже упомянуть околичным манером мотель, в котором можно было бы встретиться после полудня, чайку попить.

Но, господи боже ты мой, она считала себя дамой слишком экстравагантной для того, чтобы перетираться на скорую руку в придорожной закусочной, гигиенические условия которой способны внушить лишь одно чувство — какого дьявола я тут делаю. Тем более что она теперь пристрастилась к чтению современной поэзии, а ни один из этих тупых ублюдков и знать-то ничего не знал о Джоне Бетжемэне[1], не говоря уж о Хьюзе[2] или Хини[3]. Давших ей, наконец, возможность раз и навсегда определять культурный уровень людей, с которыми она общается, выяснять, не являются ли они, при всех их достохвальных ученых степенях, всего лишь академическими козлами, даже и не слыхавшими никогда об архитекторе-пуристе по имени Адольф Лоос[4].

А кроме того, в ней, раз в две недели посещавшей картинные галереи Нью-Йорка, стремительно разрасталось не только понимание искусства, но и любовь к нему. В эти худшие дни ее жизни поездки в Нью-Йорк обратились в заведенный порядок, в предмет предвкушений и в образ жизни. Смысл которой придавало даже приготовление бутербродов с помидорами, огурчиками и плавленым сыром, каковые она укла-

1. Джон Бетжемэн (1906–1984) — английский поэт.
2. Ленгстон Хьюз (1902–1967) — американский поэт и драматург.
3. Шеймас Хини (р. 1939) — ирландский поэт, лауреат Нобелевской премии (1995).
4. Адольф Лоос (1870–1933) — австрийский архитектор.

дывала в сумку, чтобы потом съесть их на скамейке парка, запивая слабеньким китайским чаем из термоса и кормя крошками воробьев и белок.

Женщина, сидевшая в Музее современного искусства за столиком, на котором покоилась учетная книга союза друзей этого музея, оказалась настолько обворожительной, что она, при всей ее нынешней бедности, тут же в этот союз и вступила. Ей всегда нравилось, особенно в холодные дни, проводить самое малое час в вестибюле, наблюдая за входившими и выходившими людьми — и какие же интеллигентные у некоторых были лица. Единственное, не самое, впрочем, страшное неудобство состояло в том, что, едва она по-настоящему углублялась в созерцание какого-нибудь произведения искусства, ее обуревало жгучее желание пописать. И в ушах ее раздавался голос бабушки:

— Дорогая моя, если уж и вправду приспичит, отыскивай только чистые, очень чистые туалеты.

А как выяснилось, на туалетах большинства галерей, хоть и безупречно чистых, сказывалось ближе к вечеру чрезмерное, на ее вкус, обилие посетительниц. Собственно, не большинства, а всех, если не считать галереи Фрика, замечательного старого особняка, в сияющем мраморном великолепии женской уборной коего, даже при том, что располагалась она в подвале, ощущалось нечто уединенно-отшельническое, порождавшее безотчетное чувство доверия.

Вообще же к выбору достойных посещения уборных она относилась с изрядной разборчивостью. Около "Метрополитен" стоял отель с содержавшимся в образцовой чистоте дамским туалетом. Вот только тамошний швейцар, которому она, заходившая в отель в строго определенные дни, успела примелькаться, взирал на нее не то чтобы недружелюбно, но с выражением несколько озадаченным, свидетельствовавшим о том, что он все пытается и не может припомнить ее имя, а это поневоле заставляло ее напускать на себя вид постоянной клиентки. И хотя швейцар, как и прочий персонал отеля, неизменно оставался безукоризненно вежливым, она в конце концов решила, что следует поискать другое место, где можно будет спокойно мочиться.

Ну и пожалуйста, бродя по городу, по его галереям, она обнаружила места попросту идеальные — скажем, отели "Плаза" и "Пьер", в последнем уборная была самой что ни на есть уединенной и укромной. Хотя лучшими из всех оказались две фешенебельные похоронные конторы. До которых из Центрального парка и идти-то было, что в одну, что в другую сторону, всего ничего. С замечательными туалетами, на редкость чистенькими и уютными. С мягкими и толстыми коврами, коробками салфеток для утирания слез и светящимися безупречной чистотой унитазами.

Что ж, в такие дни существование становилась умеренно терпимым, даже при том, что ей приходилось тяжко трудиться, чтобы не остаться совсем без гроша. И даже при том, что ее окружал Нью-Йорк, фондовая биржа мира, город, в котором улыбка и та стоит денег. В котором так много расставшихся с надеждой скитальцев. И так много, вдобавок, никому не нужных, не опознанных покойников, которых зарывают в "землю горшечников" на острове Харта, у берегов залива Пелем. Однако она-то еще оставалась живой и сидела на плетеных, оттертых до блеска сиденьях, влетая со свистом в город по Нью-Йоркской

центральной, предаваясь своим бесцензурным помышлениям, пока ее проносило сквозь Крествуд и Флитвуд, и Вудлон, и осознавая вдруг, как много в этих названиях "удов".

А еще она размышляла о том, что многие женщины не знают, как им собой распорядиться — сейчас, когда они со дня на день превращаются в старых уродин. Сколько ни было у нее подруг и знакомых, каждая ощущала себя жалким ничтожеством. Отупевшим либо от ухода за детьми, либо от супружества с честными и рьяными тружениками, либо от благополучной карьеры, так и не позволившей им выйти замуж. А жалкая ответная женская реакция на существование в этой богом проклятой стране — да это силком подпихивало каждую к идиотской мысли о том, что нужно либо обабить мужчин, либо обратить их в еще больших ублюдков, чем они уже есть. И при этом все старались оставаться дипломатично-умеренными и боялись называть вещи подлинными их именами.

Даже худшие ее со Стивом разногласия казались теперь, когда воспоминания о них повыцвели, не такими уж и худыми. Когда она самую малость переставляла мебель в гостиной и знала, что Стиву перестановка не понравится, то, встав посреди дома, говорила себе: если он, раздолбанный сукин сын, вернувшись из деловой поездки, еще раз передвинет пепельницу хотя бы на дюйм влево, как передвинул ее на прошлой неделе и передвигал во все предыдущие, я врежу ему по сраной башке кухонным топориком и больше этому психопату, этому сексуальному маньяку ни разу не дам. И надеялась при этом, что бабушка не услышит на небесах, к каким вульгарным словесам она прибегает.

Однако теперь, опустившись до уровня рабочего класса, она старалась напоминать себе, что видывала и лучшие времена, сохранившиеся хотя бы в ее воображении. И разница была не только в деньгах. Ведь оплывала же она когда-то огромную бабушкину плантацию по морю, помахивая веслом и ведя свое каноэ среди аллигаторов, рискуя — и как это было волнующе — погибнуть от укуса щитомордника или шершня. Хотя теперь ей и трудно было вообразить, что та же южная бабушка обучала ее кодексу поведения, коего надлежит придерживаться женщине хороших кровей. Всегда говоря ей, почему не следует делать того или этого.

— Потому что, моя дорогая, тебя воспитали как леди. Леди.

Вот ею она и осталась, леди. Но уже не в полном, каноническом смысле этого слова. Теперь она чувствовала себя преждевременно выведенной за штат, добавленный к грудам гериатрического хлама, что навален по всей Америке, от побережья до побережья. А может, даже и по Канаде, где множество подобных тебе женщин пребывают в прекрасном здравии и потому не нуждаются в помощи врачей, лезущих со стетоскопами к их портмоне и кошелькам. В ее же характере стало проступать все больше черт поистине британских, позволявших ей относиться к разного рода неприятностям как к куче собачьего дерьма.

Ей хотелось, чтобы каждый житель страны стер наконец с рожи фальшивую улыбку. Попытка же перемениться самой и снова начать борьбу за то, чтобы вернуться в состояние всем довольной матери семейства, всячески избегающей au blet[1] дородности и отечности, представлялась ей просто-напросто еще одним унижением, которого она не сможет перенести. Уж лучше стать затворницей, держаться от всех в

1. Перезрелой (*франц.*).

стороне. К тому же она начала получать удовольствие от того, что избегала людей, которых знала когда-то, и чувствовала, что удовольствие это по меньшей мере сравнимо с чувством вины, каковое испытывают избегающие ее люди. Вот чего она никогда не ожидала, так это что деньги станут играть в ее жизни столь огромную роль, сводящуюся в конечном итоге к присутствию или отсутствию крыши над головой. Печальное изменение обстоятельств чуть ли не за одну ночь перевернуло всю ее жизнь, превратив ее из ничего не боящейся, деловитой и гордой собою дамы в существо, которому почему-то все время хочется оправдываться. Да и продажа "ягуара", а следом и старенького "вольво" еще пуще подорвала ее независимость, доведя до унизительного состояния человека, вечно ждущего автобуса под дождем. И пока она мокла, ей оставалось утешаться лишь словами, некогда сказанными бабушкой:

— Ах, дорогая моя, даже лучшие из людей и те временами ездят в автобусах. Но, пожалуй, только в Нью-Йорке и только по Мэдисон и Пятой авеню.

Впрочем, два-три мужа вовсе ее не избегали, отчего две-три жены впадали в состояние все более нервозное. Но по крайней мере времяпровождение в их обществе было все же лучше, чем участие в оргиях, происходивших в задних комнатах какого-нибудь печально известного придорожного мотеля, рассказы о котором она выслушивала дорогой, — почтенные, не расстающиеся с кейсами жители города, похоже, предавались в этих заведениях не одним только задушевным беседам. Хотя случившееся там недавно убийство репутацию этого мотеля отчасти подорвало. Да и какую-нибудь мерзостную заразу подцепить в такой дыре было проще простого.

И все-таки разве мог любой многолюдный загул с перепихом быть хуже тех мгновений, в которые одиночество накрывало ее с головой и она просто сидела, вот как сегодня ночью, попивая холодную водку и слушая, снова и снова, Малера. Пока наконец не вцепилась при последних аккордах руками в волосы и не зарыдала над жалкой своей участью. Готовясь таким манером ко сну. И, боже милостивый, в половине первого ночи ее, читавшую, поклевывая носом, и уж было заснувшую, разбудил не Малер, но дверной звонок.

Такое случалось и раньше, и она не подходила к двери. Однако нынче у нее еще горел свет. А в те нечастые разы, когда она к двери все-таки подходила, опасливо интересуясь, кто там, ей, по крайности, доставалось на пару часов хоть какое-то общество, пусть и приходилось при этом терпеть безумное и безмолвное сопение единственных доступных ей мужчин, каковые неизменно были чьими-то мужьями и неизменно заявлялись к ней поздно ночью, когда она уже забиралась под одеяло и пыталась что-нибудь почитать — потому что не каждую же ночь усыплять себя мастурбацией. Сегодня же она по одному только треньканью звонка поняла, что, кто бы ни находился за дверью, нарезался он до того, что еле стоит на ногах.

— Привет, Джой, это я, Клиффорд.

Если ей хватит глупости открыть ему дверь — в ответ на его униженные мольбы именно это и сделать, — он и по лестнице-то подняться вряд ли сумеет. А с другой стороны, свет у нее все еще горит, а значит, он так и будет орать под дверью и ближайшую соседку ее, живущую за стеной, недавно потерявшую мужа интеллигентную старую даму, хватит

удар. И, едва впустив Клиффорда и без особого радушия его поприветствовав, она вдруг впала в воинственное настроение и обнаружила, что без удержу поносит его, пытаясь прогнать домой. Прикидывая к тому же, когда он полез к ней с объятиями и поцелуями, не сбегать ли ей в спальню и не сунуть ли руку под подушку, где она теперь постоянно держала одну из немногих сохранившихся у нее ценностей — нержавеющей стали револьвер смит-вессон М67 38-го калибра с шикарными, красивейшими позолоченными пулями в барабане. А минуту спустя, когда Клиффорд, исчерпав имевшийся у него запас идиотских шуточек, застыл на ковре ее гостиной — она решила вместо этого поделиться с ним кое-какими из своих позолоченных мыслей.

— Что тебе нужно. Зачем явился. Да еще в такое время. Что ты тут забыл.

— Эй, черт, прости, я вовсе не хотел вытаскивать тебя из постели. Время, да, позднее, сейчас сколько, час уже. А пришел я, наверное, потому, что захотел тебя увидеть.

— Ну, замечательно, конечно, что ты наконец нашел куда податься после полуночи. Однако меня это отчего-то к проявлениям гостеприимства не склоняет. Почему бы тебе не убраться домой, к жене.

— Эй, черт, Джой, не хочется в такой поздний час говорить банальности, но ведь, чтоб мне провалиться, это же правда, она меня не понимает.

— А я, по-твоему, понимаю. Ладно, тут ты прав. Хотя услышать мое непредвзятое мнение на твой счет тебе вряд ли будет приятно.

— А, ладно, Джой, давай выкладывай.

— Сейчас выложу. Насколько я понимаю, ты женился на самой поганой сучаре, какую смог создать этот мерзостный мир.

— Чего. Нет, погоди. Господи Исусе, это ты уж слишком, Джой. Она все-таки мать двух милых ребятишек. Хотя пошло́ оно все. Нет, без шуток. Ладно, может, ты и права. Да и слишком я пьян, чтобы с тобой спорить.

— Однако ее неисчерпаемый доверительный капитал помогает вам обоим сохранять священные узы брака.

— Ну, брось. Это уж ниже пояса. Правильно, Силия богата, так ведь она же не виновата, что у нее есть доверительный капитал. А у меня и у самого хорошая работа, и получаю я будь здоров. Правда, я из-за этой работы дома редко бываю. Может, потому она меня и не понимает. К тому же она, черт ее дери, совсем не любит секс.

— И ты нуждаешься в ком-то еще, способном подарить тебе традиционный стандартный домашний уют, а именно лечь под тебя.

— Эй, ну чего ты.

— А если не лечь, так отсосать. Потому ты сюда и явился.

— Эй, погоди секунду, Джой. Господи Исусе, да я просто пришел повидаться с тобой. При чем тут лечь или отсосать. Честное слово.

— Ну, вообще-то говоря, я имела в виду, что этот вариант можно и обсудить.

— Чего.

— Да-да. ты только в обморок не падай. Я могу дать тебе, могу отсосать. Если ты выложишь на стол пятьсот долларов. И при условии, что все займет не больше двадцати минут. Ну, может быть, двадцати пяти. Но лишь после того, как я увижу пятьсот долларов. Только после этого я подумаю, стоит мне в это ввязываться или не стоит.

— Эй, мать честная. Брось, Джоселин, чего ты такое несешь. Что с тобой. Такая была хорошая женщина. Мать честная. Да тебе помощь нужна.

— Давай, мать честная, ближе к делу — чего ты больше хочешь: чтобы я тебе дала или чтобы отсосала. Потому что, если ты не хочешь ни того, ни другого или если у тебя нет пятисот долларов, так я лучше спать лягу. Время позднее.

— Черт, господи, ты же училась в лучших школах. В Брин-Море. Пятьсот долларов.

— Какое отношение имеет Брин-Мор к моей цене. Или она кажется тебе заниженной.

— В Брин-Море девушек такой арифметике не учат.

— Откуда ты знаешь.

— Зачем ты так, Джоселин. Да еще прямо здесь, в Скарсдейле, господи боже. Ну скажи, зачем.

— Если быть географически точным, это не Скарсдейл. Это Йонкерс.

— Черт, ладно, если не Скарсдейл, то почти самая его граница.

— Хорошо, Скарсдейл там или Йонкерс, но я готова дать тебе, потому что нуждаюсь в деньгах. И без них ты мне не вставишь и ничего другого от меня не получишь.

— Черт, погоди секунду. Я хочу сказать, господи, ты меня просто потрясла. Можно я присяду. Надо все это обдумать. Черт, выходит, я просто покупаю тебя, ни больше ни меньше.

— Совершенно верно. Может, и не больше, но уж точно не меньше. Пятьсот долларов за двадцать минут. Извини, я, кажется, сказала двадцать пять. Даю тебе пятнадцать секунд на размышление. Только не устраивайся здесь как дома. Вообще-то хватит с тебя и пяти. Тем более что я торчу тут с тобой в одной пижаме. Одна. Две. Три. Четыре. Пять.

— Черт, Джой, а ты здорово выглядишь в этой пижаме. Правда. Фигурка у тебя все еще прямо спортивная.

— Я сказала: пять секунд. Мы не на базаре.

— Ну да. Ладно. Ладно. Черт, а я-то всегда считал тебя леди.

— Что же, этому и учили меня мама, бабушка и гувернантки. И курс обучения включал основные принципы учтивого отношения к джентльменам, какового наименования мужчины, возможно, уже не заслуживают. Я, впрочем, не нахожу, что моя прямота сколько-нибудь отменяет учтивость. Просто теперешние мои обстоятельства требуют, чтобы джентльмен за это платил.

— Нет-нет. Все нормально. Раз тебе нужны деньги. Но, черт, пятьсот баксов.

— Вот именно.

— Ну, по правде, Джой, я нынче малость на мели.

— Ах, черт, по правде, мне так жаль, Клиффорд. Видишь ли, если ты леди или притворяешься ею, то обязана запрашивать высокую цену, таков закон рынка. До свидания. Я хочу лечь. Мне завтра ранним поездом в город ехать.

— Черт, может, дашь мне глоточек чего-нибудь. Стопочку "Джим Бима" или водки, вон они у тебя стоят. С кусочком льда. А я пока посчитаю, чего у меня с собой есть.

— Если у тебя нет пяти сотен, лучше и не считай. А выпивка обойдется тебе еще в пятерку. И повторяю, не устраивайся здесь как дома.

— Эй, ну брось, Джой, у тебя все-таки не публичный дом с правом продажи спиртного. Ты ж меня знаешь, я не нахал какой-нибудь. Черт, ну и ночка, такой безумной у меня еще не было. И должен тебе сказать, ты меня просто, черт дери, потрясла. Я к тому, что ты же любила искусство, спортом занималась. Стреляла, как снайпер. Помнишь, как мы по куропаткам палили, когда охотились со Стивом и прочими на здоровенной плантации старины Джона в Джорджии.

— К нынешнему нашему делу это никакого отношения не имеет.

— Ладно, ладно. Я ж понимаю, когда и в теннис уже не поиграешь, и в бридж, и не постреляешь, и вообще уйдешь из загородного клуба, хорошего мало. Но только, без шуток, я и не знал, что тебя так приперло. Тебя, наверное, в последнее время никто пообедать там или на свидание не приглашал.

— Послушай, козлик, меня даже на задрипанные прогулки никто больше не приглашает.

— Но, господи, Джой, может, все дело в том, что в нынешнем современном обществе никто просто не понимает, куда ему податься. Вон ведь чего кругом творится. Я к тому, что друзьям, которые уже давно знакомы, лучше друг друга держаться. Мужчине же надо думать, как бы какую заразу не подцепить.

— Женщине тоже.

— Ну, понятное дело. Поэтому и приходится искать для интимных отношений порядочного человека, которому ты доверяешь, на которого положиться можно.

— Аминь, козлик.

— Эй. Господи, смотри, пошарил по карманам, а там только позолоченная пуговица от блейзера. Ладно. Вот. Сто тридцать пять баксов восемьдесят шесть центов. Все, что у меня с собой есть, кроме карточки "Американ экспресс". Не, карточек-то у меня навалом. Видишь. А почему ты меня козликом называешь.

— Девушки называют так своих клиентов, потому что они для них все на одно лицо. И хоть ты с твоими ста тридцатью пятью долларами на клиента не тянешь, звания козлика ты все же заслуживаешь. Так что давай отправляйся домой. Заодно и сэкономишь.

— Черт, ну ты и даешь. Пожалуйста, черт, налей мне еще стопочку, видишь, какой снаружи дождина льет. Господи боже, Джоселин, без шуток. Прямо не знаю, как все это понимать. Это у тебя, наверное, отрицательная реакция такая, извращенная поза девушки из Брин-Мора, привыкшей к жизни в Южной Каролине.

— То, к чему я временно привыкла, находится прямо за границами Северной. Однако я училась не только в Брин-Море, но еще и в снобистской женской школе, и там у меня была склонная к бесцензурным беседам учительница-лесбиянка, которую, к сожалению, уволили после того, как она объяснила своим подопечным, что им следует заставлять мужчин платить за все, что те от них получают, и самый памятный ее афоризм был таким: снобизм даст вам все, что вы захотите иметь, и потому оберегайте его, умнички мои.

— Черт, Джоселин, это уж не снобизм, а проституция. Тебе бы найти мужика да выбраться из этой ситуации.

— А тебе пора бы уже допить то, что я налила.

— Ладно, хотя, может, тебе лучше на йогу походить или обратиться в хорошее агентство знакомств.

— Уже обращалась.

— Правда.

— Да, правда. И познакомилась с сокровищем, а не мужчиной.

— То есть небось с каким-нибудь треклятым богачом.

— Ну, денег у него определенно было больше ста тридцати пяти долларов, однако, что гораздо важнее, он оказался человеком добрым и участливым. При этом еще и вдовцом, потерявшим жену и четырех детей в авиакатастрофе, а поскольку и мои дети знать меня не хотят, отношения у нас с ним сложились почти похоронные. Собственно, и не почти. Мы расстались в слезах. Впрочем, к сегодняшнему дню я уже привыкла к любым экзистенциальным ситуациям, которые возникают, когда имеешь дело с мужиками.

— Господи Исусе, Джой, после такого замечательного замужества да еще при твоем хорошо мне известном происхождении ты превратилась, прости за такое слово, в женщину легкого поведения.

— По-моему, ты имел в виду слово "потаскуха". Которую тебе приспичило отодрать. Но только, должна тебе с искренним сожалением сообщить, что твое "приспичило" меня нисколько не заводит. Я просто вежливо назвала тебе цену, по которой готова тебя обслужить.

— И ничего не приспичило. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу такие слова от женщины вроде тебя. Я мог бы получить все что хочу, ничего, кроме времени, не потратив, от любой из десятка девушек, сидевших в баре, из которого я недавно ушел, им только мигни.

— Ну так и возвращайся к ним с твоими ста тридцатью пятью зелеными. Потому что здесь тебе, козлик, недостает трехсот шестидесяти четырех долларов и четырнадцати центов. Так что я тебе мою старушку и понюхать-то не дам. Даже оттуда, где ты стоишь. И кстати, где стоишь, там и стой.

— Господи, Джоселин, раз уж у нас разговор пошел начистоту, так знай, тебе нужна помощь или еще чего. Ты же понимаешь, при нынешних-то венерических болезнях без осторожности не обойтись. А ты, мать честная, решила делать это за деньги. Черт, просто голова кругом идет, без шуток, ты совсем не та Джоселин, которую все мы знали, когда ты была замужем за Стивом.

— Ты чертовски прав, совсем не та. И меня с души воротит от всякого мужика, полагающего, что, раз я живу одна и без видимых средств защиты в этой квартирке, до которой с улицы рукой подать, значит, мне точно хочется, чтобы он меня отодрал. И кстати, болезни заботят меня не меньше твоего. Да и вообще, с чего ты взял, что я уже не подцепила венерический собачий гранулёматоз и все остальное, что значится в справочниках.

— Господи боже, Джой.

— Ладно, успокойся, не подцепила, это всего только термин, попавшийся мне в медицинской книге.

— Черт, Джой, не надо так шутить.

— А я и не шучу. Мне сорок три года, меня только вчера прогнали с работы. Из официанток. Вот именно. Официанток. Жена Стива и кем я там еще была в Брин-Море, живущая в Скарсдейле... ну, на самой его

границе. Нет, я не против, официантка так официантка. Однако, работая официанткой, я получала малоприятные предложения. А алиментов мне никто не платит. К тому же климакс на носу.

— Ой, сладкая ты моя, поглядеть на тебя — какой на фиг климакс. Просто ты малость чудишь из-за развода, ну и, может, оттого, что долго живешь одна. Но ведь с арифметикой-то ты в ладах. Я хочу сказать, мать честная, что произошло, ты же должна была пару лет назад получить за дом около миллиона, да и обстановка тоже пошла с аукциона, наверное, за приличные деньги. Не могла же ты все угрохать на твои провальные инвестиции.

— А вот это уже не твое собачье дело.

— Ладно. Ладно. Хотя я мог бы, как старый друг, предостеречь тебя от деятелей, которые строят кафедральные соборы финансов. Нет, кое-какие из них и вправду стоят себе и стоят. Но куда большее число обваливается и обращается в груду хлама. Черт, как бы мне хотелось, чтобы ты была со мной подружелюбнее.

— Это было бы очень мило с моей стороны, не правда ли. Да только я теперь проживаю в самых низах общества и не понимаю, с какой стати должна питать дружеские чувства к любому из жителей этого городишки, если в прошлом году один из них, приглашенный мной на званый обед, оказался настолько недружелюбным, что стырил у меня очень ценную серебряную чайницу. Вкупе с еще более ценной майсенской табакеркой.

— Ну нет, не верю. Никто из наших знакомых такого не сделал бы. Я конечно лишен предрассудков, но, наверное, ты пригласила кого-то из Бронкса или еще откуда. Черт, сладкая моя, тебе не кажется, что ты маленько спятила. Без шуток. Ты, по-моему, заговариваешься или еще чего. Хотя говори, пожалуйста. Мне нравится тебя слушать.

— Заговариваюсь, как же. Вон недавно наш новый посол в Лондоне зазвал в гости, чтобы отметить свое назначение, самые сливки лондонского общества, так у него из гостиной все произведения искусства попятили. До последнего.

— Да ладно тебе шутить-то. Я всегда считал англичан честными людьми. Напускаешь на себя бог знает что. Хотя, если по правде, весь наш чертов мир летит псу под хвост. Нравственность, честность, ну всё.

— И потому тебе самое время отправляться домой.

— Черт, Джой, ну хоть ради прошлых времен налей мне еще стопочку и дай пару крендельков, что ли, или другую какую закуску.

— Перестань называть меня Джой. Меня зовут Джоселин. А крендельков у меня нет. Отправляйся домой. Ты переходишь границы приличия.

— Господи, границы приличия. Мать честная. Черт, это самое большое потрясение в моей жизни. Ты — и превратилась в девицу по вызову.

— А у тебя, козлик, так в ней нуждающегося, не хватило денег, чтобы ей заплатить, отчего я в нее пока что не превратилась.

— Хватит называть меня козликом, меня зовут Клиффорд. Черт, дьявольски длинный у нас разговор получился и, если честно, дьявольски честный. Ну ладно, нет у меня сейчас пяти сотен. Ну и что такого. Ты как, цену сбросить не хочешь.

— Нет, сбросить цену я не хочу. И, как я уже сказала, покажи мне пять сотен, тогда и подумаю, что делать дальше.

— Ну так одолжи мне все остальное. Я эти деньги завтра прямо с утра и добуду. И привезу сюда.

— Ни хрена ты не привезешь. Ты здесь больше вообще не появишься. А вот этого делать не надо.

— Да брось. Ты только посмотри. Вот он. Все время тебя дожидался. Твердый, как камень. Полных шесть с половиной дюймов. Давай порадуй малыша. Слушай, какого хрена, ты над чем так смеешься.

— Над тобой. Над самыми оригинальными словами, какие я от тебя когда-либо слышала. Будь добр. Засунь это обратно в штаны, отправляйся к жене и попроси ее порадовать малыша. И мне не придется орать благим и неблагим матом спасите-помогите, а моя вдовая знакомая, живущая за этой тонкой, как бумага, стеной, плюс еще около двадцати любознательных соседей не заинтересуются, кто это меня тут донимает и почему около дома стоит твоя машина, и не вызовут полицию.

— А, ладно тебе, у меня в полиции друзей навалом. Давай. Пойдем. В спальню. Вот увидишь, тебе понравится.

— Стой где стоишь.

— Господи Исусе, да у тебя же этот растреклятый револьвер, самый настоящий.

— Вот тут ты чертовски прав.

— Эй, Джоселин, давай без шуток, отведи его в сторону. Эти штуки иногда стреляют.

— Спрячь хрен в штаны и убирайся отсюда, потому что, можешь мне поверить, если ты этого не сделаешь, он точно выстрелит. Пошевеливайся. Пока я не завопила не только "насилуют", но и "горим". Надеюсь, в пожарной команде у тебя тоже друзья найдутся.

— Ну хорошо, хорошо. Твоя взяла, ухожу, по-быстрому. Уже ушел. Но ты точно не та старушка Джоселин, какую я знал. Господи Исусе, чего я тебе предложил-то, это ж так по-людски.

— А я всего-навсего по-людски попросила тебя катиться отсюда на хер и предложить то же самое кому-нибудь другому.

Клиффорд, выбираясь из гостиной на лестницу, согнулся, застегивая ширинку, и запнулся о коврик. И уж что на нее нашло, она нипочем не сказала бы, но только ей показалось, что нет ничего естественнее, чем нажать на курок — просто взять и сдвинуть пальцем этот кривой кусочек металла. Неуклюжее отступление Клиффорда едва не заставило ее расхохотаться, а пуля, просвистевшая у него над ухом, явно прибавила ему скорости. Да и грохот выстрела и едкий, ударивший в нос запах почему-то показались ей на редкость приятными.

Включив в прихожей свет, она увидела дырку в стене, ровно там, где пронеслась тень от головы Клиффорда, когда он, с головокружительной быстротой сбегая по лестнице, слишком уж налег на перила, выломал одну из балясин и полетел с третьего этажа кувырком, пересчитав, прежде чем остановиться, восемнадцать ступенек. Он нашарил в темноте дверь, распахнул ее и захлопнул так, что содрогнулся весь дом. Без единого вскрика и слова: ну, там, я на тебя в суд подам за моральный ущерб и неисправные перила.

Машина его взревела, завизжала покрышками по гравию. Хрясь. О господи, пьяный урод врезался в замечательный клен, растущий за поворотом подъездной дорожки. О господи боже, он погиб. Или еще того хуже, дерево погубил. И друзьям из пожарной команды придется выре-

зать его автогеном из кучи покореженного металла. О боже милостивый, спасибо тебе за то, что я в это не поверила. Двигатель заурчал снова. А мне самое время сварить себе шоколад и улечься в постель, из которой крохотная моя комнатушка кажется всякий раз еще более крохотной, напоминая о просторности дома на Виннапупу-роуд.

Жизнь способна усыхать, опадать и съеживаться. Совершенно как пенис Клиффорда. Никогда больше не смогу я ощутить свободу пространства. Из королевских покоев — в одинокую койку величиной с блоху. Туалетный столик наполовину перекрывает окно, помогая ему не пропускать дневной свет. Боже ты мой, как это сушит душу. Попробуй тут почитать. Но сколько мучительной радости принесло ей нажатие на курок. Он мог заявить в полицию. Неужели я и вправду хотела его убить. Как в тот одинокий солнечный день, когда я скакала вдоль ручья в Каролине. Лошадь моя встала на дыбы. Свернувшийся в кольцо щитомордник поднял серо-черную голову, готовый цапнуть ее за бабку. С каким удовольствием я снесла ему башку из двадцатого калибра и увидела, как остатки змеиного тела дергаются, извиваясь в шуршащей траве.

Почему мужикам неизменно кажется, будто женщина только и ждет, когда они ее поимеют, между тем как ей хочется прежде всего покоя и мира, долгого лежания в горячей ванной, плюс, может быть, тихих грез над модным журналом. Ну и несколько роз тоже не были б лишними. И ласковый шепоток на ушко. Вот после этого можно и поиметь. Снова визг покрышек. О боже, он что, вернулся. Нет, это мистер Поттер приехал. Который и спать не может, и машину вести не способен даже ради спасения собственной задницы. И всегда норовит въехать на чужую лужайку.

О счастливые дни. Никогда еще я так не наслаждалась наступающей вдруг тишиной. Или далеким громом последнего скорого, идущего в город по Нью-Йоркской центральной. Хотя это может быть и товарный. Под шум которого в голову приходит вдруг бесцензурная и гнетущая мысль, что эту ночь придется посвятить не чтению, но одинокой мастурбации. Если, конечно, мне удастся сосредоточиться на чем-то эротичном. И не видеть, как перед моей физиономией мотается конец Клиффорда. По-моему, и вправду такой большой, как он сказал, что, по крайней мере, позволяет с доверием относиться и к прочим его словам. Насчет того, что он был полузащитником в первой сборной захолустного университета на Западе, в котором получал высшее образование. И, о господи, это во мне снова снобизм заговорил.

Итак, после этого краха придется постараться выдержать долгие и тягучие дни удушливой неудовлетворенности. Совершенно невероятное дело: какое значение приобретает на весь остаток твоей жизни университет, который ты посещала. И как круто может меняться производимое тобой впечатление, когда ты даешь людям понять, что подрабатывала официанткой, дабы оплатить свое образование, что ей и приходилось делать в течение пары скудных семестров — прислуживать тем, кто стоял ниже ее. И, о господи, когда начинаешь приглядываться к представителям средних классов, понемногу смещаясь вверх, насколько же дьявольски самодовольной и оскорбительно снобистской страной представляется вдруг Америка. Которая тем не менее с помощью джинсов, коки и сигарет ухитрилась осуществить культурное завоевание половины белого света и из кожи вон лезет в потугах зацапать и вторую половину.

Дьявол, черт и прочая адская сила, горячий шоколад растекся по всей плите. И будет теперь вонять горелым. А до завтра еще вон какая длинная бессонная ночь. Часы и часы убийственного отчаяния, которые необходимо прожить. В одиночестве, во все нарастающем оцепенении. Значит, так. Возвращаюсь в спальню. Уже переодевшейся ко сну. Стягиваю потеснее шторы на окнах. И погружаюсь в ад совершенной неспособности заснуть. Ладно, по крайней мере память о красках и формах всех тех картин, которые ты теперь полюбила и узнала так, словно давно ими владеешь, дает тебе силы жить дальше — последнее из оставшихся у тебя удовольствий.

Прибежище. Прибежище. Вот все, в чем нуждается человек, все, чего он хочет. Возможность уйти подальше от каждого водопроводчика, электрика и плотника, готовых, после того как ты отвергнешь их завуалированные предложения предаться с ними плотской любви, попытки воспользоваться твоей одинокой беззащитностью и учинить ограбление века, отняв у тебя все, что, по их разумению, осталось от твоих скромных средств. Может быть, позвонить еще раз тому печальному дяденьке. Пока он не женился на своей секретарше, которая, по его словам, была ему так предана. Лицо у него аристократическое. И по одним только глазам можно понять, что он потерял жену и детей. А на тебя он смотрел так, словно ты можешь вернуть их назад.

Все счастье, какое я изведала в прошлом, рассыпалось в прах. Сгинуло, погребенное под нарастающей мукой одиночества. Худшая боль, какую я когда-либо знала. Я ведь и впрямь могла бы стать потаскухой. Делать это за деньги. Дьявольски быстрый бизнес. Только по предварительной договоренности. Тайна гарантируется. Специализация — пожилые мужчины с приметным положением в обществе. Пять сотен долларов за удар или отсос, по субботам — шесть, плюс бутылка шампанского, негромкая музыка, курения и свечи.

— Перестань. Черт. Хватит.

Не надо кричать так громко. Разбудишь бедную старуху, еще более одинокую, чем ты. О господи, а может, я и как потаскуха ничего не добьюсь. Задница у меня пока что в порядке, а вот лицо понемногу становится ни к черту, если уже не стало. Нет, конечно мужики на стройплощадках давным-давно перестали присвистывать все как один, увидев меня, однако пару-другую присвистов я еще получаю, а стало быть, и привлекательность кой-какую сохранила. Все, что положено, при мне, так что вставать на меня у мужиков будет. Всего-то и делов — смотреть на каждый член как на сосиску, с горчицей она там и с квашеной капустой или без. А предварительный массаж заставит их кончать побыстрее, что повысит оборачиваемость клиентуры.

— Ты свое получил, козлик. Следующий.

Когда-то, только еще поступив в Брин-Мор, я первый раз приехала в Нью-Йорк и впервые оказалась в набитом мужчинами скоростном лифте, шедшем на пятидесятый этаж, и ни с того ни с сего ляпнула, что поднимаются они быстрее, чем опускаются. И покраснела, когда все вытаращились на меня, а двое расхохотались, а лифт как раз проезжал десятый этаж, и впереди было еще сорок.

Опять же, сейчас не лучшее время, чтобы подаваться в шлюхи, можно и смертельную болезнь подцепить. И потому, если это занятие не единственное, какое тебе остается, ты, обратившись в шлюху, унизишь

своих детей. Покроешь позором свой университет. Подмочишь репутацию общества его выпускниц, в котором все еще состоишь. А родители твои, и без того уже живущие на таблетках и джине, просто помрут от срама. Зато, господи боже ты мой, с банковским счетом у тебя будет полный порядок. Прошу тебя, боже милостивый, прерви мои не дающие мне заснуть беспомощные бесцензурные помышления. Все, чего я хочу, — сохранить над головой эту напоминающую о Тресковом мысе гонтовую крышу. Спаси вот эту вот дочь американской революции от полиэтиленовой обертки, в которой она будет просиживать целые дни в наилучшим образом проветриваемых атриумах Манхэттена, поедая йогурт из пластмассовой баночки. Пока еще жизнь не врезала мне по титькам, как врезает она мужикам по простате.

В этот холодный солнечный день она едва не проспала поезд, которым собиралась отправиться в город, в музеи. И поймала себя на том, что напевает за завтраком. Шагайте, воины Христовы, — это при том, что в Бога она не верила. Ладно, покамест ты хоть запорами не обзавелась. Давай, намазывай масло на поджаренный хлеб. Капай на него мед. Пей свой сок. Отхлебывай кофе. Теперь у тебя каждый пенни на счету. Хотя там и считать уже нечего. Что я делаю. Я. Я. Неторопливо коплю. Коплю таблетки снотворного. Таблетки снотворного. В ожидании ночи. Чтобы спать, спать и спать. Навеки упокоиться с миром.

Кто из Скарсдейла приедет на мои похороны в Каролину, кто придет в высоких — для защиты от змей — сапогах, по высокой траве, на мою могилу. Я унесу с собой в гроб ужасную, ужасную правду. Мой блеф тогда, с Клиффордом, вовсе не был бы блефом, найдись у него еще триста шестьдесят четыре доллара и четырнадцать центов. Я и вправду могла позволить ему вставить мне и пыхтеть, обдавая меня мерзким дыханием, просто ради того, чтобы оплатить квартиру за следующие несколько месяцев. Стать шлюхой. Взглянуть в лицо нынешней моей жизни, смириться с тем, что я вовсе не та леди, в какую меня с таким усердием обращали мама и бабушка.

Первый морозец за год. Метель. Вызваниваем такси, чтобы доехать до станции. Запираем дверь, перебирая воспоминания о прошлой ночи. Кладбище в лесу. Подрагивающие пенисы. Порадуй малыша. И, о ужас. На станции обнаруживается Клиффорд — с подбитым глазом и свежей царапиной на роже. Стоит в холодном воздухе осени, подняв воротник. А сразу за ним джентльмен, ну вылитый офицер британской гвардии — армейская шинель, фетровая шляпа, свернутый зонт. Она его уже видела раньше. Самый приметный из всех пассажиров. И уж такой уж, при всей его маскировке, явственный и милый сердцу американец. Ясное дело, Клиффорд прошлой ночью расколотил машину. А может, это его жена отмутузила. Поймав его взгляд, она содрогается, а он, слава богу, уподобляясь другим двум мужьям, побывавшим на ее званом обеде, торопливо уходит на дальний край платформы и исчезает из виду, заслоненный прочими пассажирами.

С сердитого серого неба валят белые хлопья, летят, кружа, вдоль платформы. Рельсы начинают позванивать, приближается поезд, всегда наводящий на мысль о трепещущем монстре, с ревом несущемся по путям. Ладно, садись. Какое-нибудь непривычное сочетание людей способно все изменить в вагоне. Не исключено даже, что некоторые из них — грабители, возвращающиеся с ночной добычей в лавки ростов-

щиков на 125-й стрит или Восьмой авеню, что тянется за Адовой кухней[1]. По крайней мере, у меня имеется номер "Нью-Йорк таймс" с утешительным лозунгом в верхнем левом углу первой страницы. Все новости, достойные печати. Способные остановить прилив моих низкопробных мыслей, которые и думать-то не стоит. Что бы делали думающие люди без газеты. Приносящей им по утрам каждодневную надежду на то, что все еще изменится к лучшему. Оставляемой на их крылечках или в ручках дверей. Без нравственного арбитра. Без защитницы униженных и оскорбленных. По крайней мере, я от души надеюсь, что таковой она и является.

Поезд останавливается. В Бронксвилле садятся новые труженики корпоративной Америки. В окне за платформой виднеется Первый уэстчестерский национальный банк. До его гостеприимных окон можно камень добросить. И я — со смит-вессоном, что лежит сейчас в моей сумке, — вполне могла бы войти туда и грозно потребовать, чтобы мне отвалили кучу денег. А ну-ка, вы, давайте сюда всё, что нажили нечестным путем. Господи, нет, это неправильно. Ты сначала попробуй себя в роли шлюхи, а банки будешь грабить потом. Кстати сказать, в этом городе стоял когда-то отель "Граматан", льдисто венчавший, подобно цитадели, вершину холма. Говорили, будто адмиралы, выпускники Аннаполиса[2], поселялись в нем, выходя в отставку. И часто вылезали на его башню, чтобы оживить там воспоминания о том, как они правили морями. Бабушка — при редких ее наездах в Нью-Йорк — предпочитала останавливаться не в "Уолдорфе", а в "Граматане", ей здесь легче дышалось. Пила чай на террасе или посиживала на одном из больших диванов просторного вестибюля.

Поезд трогается. И катит долиной, под мостами которой медленно протекает река Бронкс. Поскольку я села на правильной стороне вагона, фабрика гробов на глаза мне не попадается, зато попадаются неотвязные гробницы и склепы на холме Вудлонского кладбища. Удивившего меня своей лесистой красой, когда я пришла туда однажды посмотреть на могилу Германа Мелвилла. Ладно по крайней мере Клиффорд вряд ли скажет своей доверительной капиталистке: эй, чтоб я сдох, я вчера не смог найти в придорожной закусочной порядочной дырки, завалился к Джоселин, думал ее отодрать, вынул из штанов мой большой прибор — показать, как он дергается, так эта старая сучка Джой, которая, помнишь, щитомордника ухлопала, выхватила револьвер и попыталась вышибить из меня все дерьмо.

Может, я вскоре и вправду вернусь на юг. Где по-прежнему сохраняю достойное членство в союзе "Объединенных дочерей Конфедерации". А попытки изображать, будто ты все еще представляешь собой в жизни хоть что-то, так это — к северу от линии Мейсона—Диксона — пустейшая трата времени. Пора выбираться из этих бескультурных пригородов. Ну, ползают в Каролине саламандры вверх и вниз по занавескам, доводя северян до икоты, ну, клопы там кусаются как хрен знает кто — ну и что с того. Зато тамошние мужчины встают, когда в комнату входит женщина. И даже пытаются по-всамделишному прищелкнуть каблуками. Ботанический сад. Вот еще место, в которое следует заглянуть. Может

1. Район Манхэттена со множеством злачных мест.
2. Имеется в виду Военно-морская академия США в Аннаполисе.

быть, Бронкс, в конце-то концов, не так уж и плох. Посреди которого остановился сейчас этот пригородный поезд. Фордэмский университет. У них тут есть сейсмограф. Землетрясения — это всего лишь еще одно напоминание о том, как ты болезненно-преболезненно одинока. Как отчаянно нуждаешься в том, чтобы бесплатно с кем-нибудь поговорить, а не чувствовать себя неизменно отвергаемой. Не платя за беседу по сто пятьдесят долларов в час, чего ты уже не можешь себе позволить. Когда-то в реку Бронкс заплывали боевые корабли. Теперь же река превратилась в узкий поток грязноватой на вид воды, текущий среди одиноких, холодных, маленьких лугов. Как много связанных с Нью-Йорком исторических фактов тебе еще остается узнать. Бабушка говорила, что в ее время никто, хоть что-то собой представляющий, не селился на Пятой авеню севернее Пятьдесят девятой улицы. Что, собственно, большого значения не имело, поскольку и весь Нью-Йорк оставался тогда территорией социально запретной.

Проносясь мимо мрачных окон гетто, всегда понимаешь, что до "Гранд-сентрал" осталось минут десять. В комнатах сушится на веревках постирушка. Горстка ребятишек играет вокруг костра на усыпанной мусором улице. Поезд спускается в мрак подземелья. И последние пятьдесят с чем-то кварталов проходит в темноте. Десятки, а может быть, сотни людей живут в бетонных, кишащих крысами щелях этих стигийских тоннелей. Далекие лампы тускло светятся над смыкающимися параллельными путями. Пассажиры начинают поерзывать, нашаривать свои бумажники, кейсы, сумочки. Она поспешно покидает поезд. Подальше от всех этих скарсдейлских мужей. Едет автобусом по Мэдисон-авеню. Смотрит на сидящих в нем женщин, на их молодые, чуть приподнятые вверх лица, на старые руки.

Сегодня она будет кутить. Съест ланч в закусочной на Мэдисон, неподалеку от 86-й. Сандвич с салатом, яйцами и помидорами, кусок яблочного пирога à la mode[1] и чашку кофе. Недешево, но вполне питательно — за такие-то деньги. А милый мужчина по другую сторону стойки скажет ей: рад, что вы заглянули. О господи, если бы только уметь сосредотачиваться, сосредотачиваться на самых простейших вещах, сколько приятного можно было б найти в жизни.

Подъем по знакомым ступенькам, которые всегда представлялись ей обрывающимися на полпути к раю. В "Мете" сейчас выставка ее любимых старых американских художников, есть даже несколько полотен Эдварда Хикса. Послеполуденные мухи. К трем часам ее ноги наливаются усталостью. На один летучий миг ей кажется, будто она увидела того седовласого красивого мужчину, потерявшего всю семью. И она обнаруживает, что бежит. Однако мужчина сворачивает за угол коридора и пропадает из виду. Она с тех пор столько раз вспоминала о нем. О его приятном голосе, полном такой печали. В первое их свидание они завтракали в "Русской чайной" на Пятьдесят седьмой, и когда она предложила заплатить за скромное угощение в складчину, он улыбнулся и сказал, что заплатит сам, что боги, ведающие манной небесной, были добры к нему, а для него нет большего удовольствия, чем хоть как-то вознаградить их за труды.

1. Все как положено (*франц.*).

Недолгое время на горизонтах ее мелькал и еще один поклонник, приобретенный через службу знакомств. Тоже милый, хоть и похожий на старшеклассника из частной школы, шаркавший мягкими кожаными туфлями и слегка вытягивавший на ходу шею вперед, точно утка. Она все дивилась, как это при такой-то нелепой внешности человек, все еще выглядящий в свои сорок восемь юнцом, ухитряется вообще зарабатывать хоть какие-то деньги. А он, с его невинно-глуповатым обличием, зарабатывал их очень немало. Водил "ламборджини" и даже признался ей в любви. И, чтобы задрать наконец ей юбку, предложил выйти за него замуж. Все бы ничего. Да только, когда позвонила его жена, выяснилось, что семья у него уже имеется, трое детей, двое в университете, а на подходе еще и четвертый.

Теперь бы еще решиться зайти в излюбленное место и там пописать. Надо решиться. Прямо сейчас зайти и пописать. А после — поздний-препоздний ланч. Она неторопливо минует фургончик, притулившийся к стене этого розового каменного здания. Двое мужчин с серьезными лицами перекладывают на тележку длинный черный мешок, чтобы затем отвезти его по боковой дорожке к боковой же двери. Последний путь мертвого тела. Забранного из больницы или другого какого-то места, где людям дозволено отдавать концы.

Она же сворачивает за угол и входит в парадные двери изысканного, благородного святилища, на похороны в котором ее денег хватит навряд ли. Пересекает вестибюль. Аромат горящих благовоний. Табличек с именами здесь всегда хватает. Трое выставленных для прощания усопших, каждый в собственном люксе. Женский туалет расположен в конце длинного коридора, идущего справа. На полированном столике, под лампой, пепельница и коробка бумажных салфеток. По крайней мере ясно, что, если твое мертвое тело доставят сюда — при условии, что наследники твои смогут себе это позволить, — о тебе здесь хорошо позаботятся. Впрочем, она все серьезнее подумывает о том, чтобы упокоиться в Южной Каролине, на кладбище, которое так часто навещала, гуляя по лесам бабушкиного поместья. Воссоединиться с двоюродными прадедами, павшими за Конфедерацию и лежащими под каменными надгробьями, на которых высечены флаги конфедератов и сабли в ножнах.

О господи, кто-то выходит из внутреннего помещения и направляется по вестибюлю прямо ко мне. Солнце начинает сиять, даже в этот холодный день, а тут я в моем зеленом твидовом костюме. Нельзя сказать, что я одета для похорон. Он, надо думать, участливо спросит, не нуждаюсь ли я в какой-нибудь помощи. Или в утешении от постигших меня печалей. Кого вы оплакиваете, мадам. Себя. А также Стивена Фостера, нашего замечательного композитора. Который воспевал нашу страну. И умер в этом самом городе, без гроша, всеми забытый.

Впрочем, этот джентльмен в темно-сером костюме, белой рубашке и черном шелковом галстуке видел, должно быть, столько покойников, что вряд ли запомнил меня, живую, уже заходившую сюда прежде. И уже попадавшуюся ему на глаза. Я же проявила идиотскую беспечность, не запомнив ни единой фамилии усопшего, какую ему можно было б назвать. Следовало первым делом прочитать их, значащихся на доске объявлений. Одна походила на русскую. Что-то такое со "ски" на конце. Хотя нет. Это фамилия стратегического гения из Вашингтона, который

объясняет нам, что произойдет с миром, и всякий раз оказывается прав. Мне бы его советы сейчас вовсе не помешали.

Господи, сколько все же прирожденной чертовской любезности в этих похоронщиках. Но от этого мне лучше уклониться. Ага. Вот оно, спасение. На худой конец за этой дверью я смогу укрыться хоть на минутку. А потом пройду вон через ту. Для кого-то ведь она открыта. И я почти уверена, он уже видел меня, приходившую сюда пописать, и может оказаться совсем не таким чертовски любезным, если будет видеть снова и снова. А тут все определенно покоятся с миром. И никаких тебе эмоциональных перегрузок. Боже мой, какая прекрасная хоровая музыка. Что-то церковное, русское. И, о господи, гроб. В котором кто-то лежит. Надо выбираться отсюда, вдруг скорбящие явятся. Мертвый мужчина. Свет отражается в стеклах его пенсне. Похоронщик заглядывает в дверь. Надо бы сделать вид, будто я чем-то тут занята. Распишись в книге посетителей. Выдумай имя и адрес. О господи, кто-нибудь может спросить. А в каких отношениях состояли вы с почившим, которого Господь призвал в обитель Свою. Еще обвинят меня в некрофилии. А может быть, просто в заурядной некромании. В вожделенном созерцании трупов. В попытках выведать у покойных, чего там новенького. Как оно там вообще, на другой стороне. Выгляни в вестибюль. Он все еще здесь, цветочки поправляет. Левша, я расписываюсь в книге скорбящих правой рукой. Спросят, скажу, что это не я. Лаура, звучит неплохо. Лаура Клэридж Ланкастер, в честь двух моих любимых отелей, звучит еще лучше. Понфилд-роуд, Бронксвилл, вполне приемлемый адрес, а номер дома пусть будет сорок с небольшим, в честь моего возраста. Ранняя пташка червяка обретает. Первая роспись в книге. Да и та поддельная. Они могут поинтересоваться моими водительскими правами. Леди никогда не опускается до подделок.

Этот мужик так и торчит в вестибюле. Ну точно, он запомнил меня по прежним визитам и просто ждет, когда я выйду и он сможет сказать мне, что здесь не общественный писсуар. Присядь, дай отдохнуть ногам. По крайней мере, посидишь с покойным, раз никто больше этого делать не хочет. Румяна, маскирующие его мертвенную бледность. Старосветская внешность — шелковая сорочка, галстучная булавка с бриллиантом, воткнутая в черный шейный платок. Интеллигентное лицо, крупный нос. Подкрученные навощенные усы. О господи, какая все-таки спокойная, прекрасная музыка. Зеленый свет, струящийся откуда-то из-за гроба. На табличке у гроба значится: композитор Бортнянский, "Херувимская песнь номер семь", исполняет Республиканская русская хоровая капелла. Голоса звучат так, словно они — волны огромного моря эмоций. Сначала впадина, тихая надгробная песнь. Затем подъем к торжествующему гребню. Хватающий за сердце. Все твое существо пробирает дрожь. Приближение великого духа. Который подхватит меня и бросит лететь по ветру в последние, позабытые пределы Вселенной. Впрочем, в этот миг, в этой пустой комнате, в одном я уверена. Осознанно или неосознанно. Мне совершенно необходимо пойти и пописать. А ты, лежащий в гробу, выглядишь таким же одиноким и лишенным друзей, как я. Бедный ты сукин сын. Хоть и не такой бедный, как я. Которой придется ныне податься если не в шлюхи, так в монашки. Искать уединения, простоты, умеренности и неспешной жизни. Впрочем, теперь, когда я по крайней мере знаю твои музыкальные вкусы, ты заслу-

живаешь того, чтобы получить мои настоящие имя и адрес. Которые я и записываю левой рукой пониже поддельных. А сейчас я преклоню колена и прочитаю атеистическую молитву.

Ага, наконец-то вестибюль опустел. И миссис Джоселин Джонс в ее светло-зеленом твидовом костюме и лиловом шарфе может постоять в полутьме, оправляя юбку и намереваясь бросить вызов более светлому вестибюлю. Нет, не могу. О господи, мужчина в темно-сером костюме все еще там. О господи. Он кланяется с намеком на сочувственную улыбку. Что ж, поведение достойное южанина. Возможно, владельцу похоронной конторы именно так и положено вести себя с незваными гостями. Быть может, это и есть решение. Поступить в похоронную школу. Должны же существовать на свете бальзамировщицы и гробовщицы. А если их не существует, то какая-нибудь феминистская организация в самом скором времени потребует по суду предоставить женщинам эту работу. Каждый день бросать вызов печали. Расхаживать в длинных черных халатах и резиновых черных перчатках. И трудиться в поте лица. Правда, это слишком уж смахивает на домашнее рабство. А кто знает, к чему оно может привести. Когда мы только еще поженились, Стив сказал, что, наблюдая, как я работаю по дому, скажем, протираю, согнувшись, полы, он каждый раз возбуждается. И сказал чистую правду, потому что все время пытался воткнуть мне сзади, причем самым большим стояком, какой я когда-либо в себе ощущала, так что я оборачивалась посмотреть и видела, что он по меньшей мере на дюйм длиннее обычного, и в конце концов Стив упросил меня облачаться перед мытьем посуды в леопардовое белье с черными кружавчиками. А кончилось все тем, что в один прекрасный день он, закрыв в предвкушении экстаза глаза и выпятив свое стоячее дышло, полез ко мне, да промахнулся и ссыпался вниз головой в подвал, у двери которого я замерла.

Пока я на цыпочках перехожу вестибюль, у меня спускается петля на чулке. Вот унитаз, на который сегодня никто еще не присаживался. Когда ты с упоительным облегчением писаешь, в голову приходят такие странные мысли. Вот интересно, выкачивают они из покойников только кровь или еще и мочу. Долго и досуже разглядываю в зеркале мои ветшающие черты. Щеки и нос блестят. И даже сейчас я возбуждаюсь, корячась по дому, и тем сильнее, чем грязнее работа. Уходи-ка ты из женской уборной, пока не начала и в ней полы протирать. Воображая, как сюда вдруг врывается Стив. Это всё его крестьянские предки-эмигранты, по женской линии там наверняка сплошные рабочие-скотинки, которые копали картошку и возбуждались от этого занятия настолько, что принимались употреблять друг дружку прямо в оставшихся от нее грязных лунках. Еще одна улыбка мужчины в темном костюме. Минуя дверь так и оставшегося пустым прощального зала. В котором русские голоса по-прежнему выпевают "Херувимскую песнь" Бортнянского.

Когда Джоселин Джонс покидает похоронную контору, в парадные двери входит стайка скорбящих. Возможно, все они направляются в зал, посреди которого покоится джентльмен в пенсне. Иду на восток, чтобы свернуть на Мэдисон-авеню. Шарфы, туфли, платья. Мимо всех больших, старых магазинов. В которых когда-то с такой беспечностью делала покупки. Темнеет, красные, зеленые огни. Какая печаль, какая печаль. Продавец соленых крендельков на углу. И я, как в университетские дни, останавливаюсь и покупаю один. Пятьдесят седьмая улица

врезается в Пятую авеню. Неторопливая прогулка по географическому становому хребту городского богатства. По пути назад, к великому сумраку "Гранд-сентрал", сквозь который проходят бесконечные орды незнакомых друг с другом людей. Прохожу мимо "Тиффани" и "Картье". Мимо новенького магазина, такого английского с виду — "Эсприз", торгующего всем на свете, от платиновых зубочисток до золотых орлов в натуральную величину. Бездомные обходят стороной продающего карандаши черного слепца, разгневанного их посягательствами на его торговую территорию. Покупаю у лоточника еще один кренделек. Вгрызаюсь в соленую корочку. Университет, супружество, семья — все ушло. Вместе с нормами и принципами. Даже шаги ее звучат теперь одиноко. Куда ни глянь, побираются попрошайки. Скоро и ты к ним присоединишься. Слезы вскипают на моих глазах. Скатываются по щекам. После всего этого. После странного одинокого дня, ужасной печали которого я никогда не забуду.

Потому что, когда она только пришла сегодня к "Мету", то остановилась на просторных солнечных ступенях погреться немного. Наблюдая за работавшим несколькими ступенями ниже уличным мимом. А потом на глаза ей попалась страшно юная, крепенькая такая пара. Одинакового среднего роста. Он блондин, она шатенка. Их мягкие, ниспадающие волосы, столь хорошо ухоженные вопреки нынешней моде, придавали обоим вид существ без возраста, неподвластных разрушительному воздействию жизни. Они чем-то похожи на ставших совсем чужими детей, чьи портреты в серебряных рамках, стоявшие на туалетном столике у кровати, все еще болезненно напоминали об их отчужденности. И вот теперь эти двое, держащиеся за руки, такие юные и красивые, такие влюбленные друг в дружку. Она смотрела, как они медленно прогуливаются взад-вперед по ступеням. Девушка в твидовом костюме и юноша в твидовой куртке и фланелевых брюках. Выходцы из другого мира. Потому что ее-то мир очень сильно переменился. А потом эта юная пара словно испарилась. Ей так хотелось еще понаблюдать за ними. И едва повернувшись, чтобы подняться по двум оставшимся ступеням и войти в "Мет", она почувствовала, как кто-то легко коснулся ее локтя, — и вот они оба стоят ступенькой ниже, прямо перед ней. Юноша, мягко улыбнувшись, вежливо спросил, не леди ли она Элизабет Фицдейр, назначившая им встречу как раз на том месте, где она стоит. И она ответила, нет, но хотела бы быть ею. И юноша опять улыбнулся, показав сияющие белые зубы, и сказал: и нам бы этого хотелось. Вот почему она и расплакалась, шагая по Первой авеню. Потому что ей никогда уже, наверное, не удастся вновь стать женщиной, подобной той, с которой хотела встретиться эта романтическая юная пара.

Зайдя наконец в этот день в похоронную контору, чтобы пописать, она поняла: замеченная здесь столько раз, она никогда уже не сможет сюда вернуться. Впрочем, неподалеку стоял приличный, по меньшей мере, отель, принимавший на постой исключительно женщин и вполне способный предоставить нужную замену. Приближается Рождество. Она уже несколько дней собиралась позвонить тому печальному беловолосому мужчине и попросить его приехать по Бронкс-Ривер-парквей пообедать в ее скромной квартирке, а она подарила бы ему галстук. Он говорил, что сам звонить людям стесняется, но она пусть позвонит непременно. И даже сказал это с улыбкой, прибавив "пожалуйста". Одна-

ко она, набрав первые цифры номера, снова и снова утрачивала решимость. И всегда в последний момент вешала трубку. Она знала, что у него маленький офис с секретаршей. И даже знала, неизвестно почему, что он скрывал от нее размер состояния, которым владел, и догадывалась, что состояние это, быть может, очень немалое, еще и возросшее благодаря компенсации, огромной компенсации, полученной им после авиакатастрофы и гибели всей его семьи. Он занимал большую квартиру там, где 57-я выходит к Ист-Ривер, – семь спален, постоянно живущая в квартире прислуга и проплывающие за окнами буксиры. Это уж не говоря о том, что он был еще и первоклассным теннисистом, игравшим на закрытых кортах, членом клуба "Ракетка и мяч", в который она однажды заглянула, приехав на уик-энд в Нью-Йорк из Брин-Мора, и ее там заставили ждать в маленькой приемной для дам. Она даже немного обиделась на то, что ее, поскольку она женщина, не допустили во внутренние святилища клуба. Хотя потом, в тот же самый день, ей разрешили поприсутствовать на теннисном матче вместе с горсткой попивавших мартини зрителей, расположившихся в небольшой, устроенной в конце корта ложе.

Впрочем, теперь ей было не до дружеского общения. Нужно было, и позарез, быстро найти другую работу. И не попадать больше под увольнение, выливая вино на головы клиентов. Каждый день просматривала она объявления в "Нью-Йорк таймс". И в унынии своем подумывала даже, не выдать ли себя за ирландку или англичанку и не поступить ли в экономки, а то и в горничные. Вот тогда у детей и вправду появится повод больше к ней не приезжать, чего они, собственно, и не делали уже месяца три с лишком. Став домашней прислугой в одной из огромных квартир, расположенных на Парк-авеню, неподалеку от 72-й улицы, она по крайней мере получит полный пансион, пристойный утренний кофе, плюс собственная спальня, ванная и гостиная. А при том, насколько требовательными стали в наши дни слуги, можно было бы настоять и на собственном телефонном номере, музыкальном центре, телевизоре и автомобиле. Единственная беда состояла в том, что в этих местах обитали две ее подружки по Брин-Мору – у одной было шестнадцать комнат, у второй двадцать шесть. Но, с другой-то стороны, господи, она же будет зарабатывать больше любой секретарши. Да еще и получать дополнительно за обучение правилам приличия и общей благовоспитанности. Или хотя бы за умение палить с бедра из смит-вессона, когда прок от обоих этих достоинств окажется нулевым.

Но, господи боже, а что, если одна из подруг, направляясь по улице в "Колони-клаб", из которого сама она прискорбным образом вылетела за неуплату членских взносов, встретит ее выгуливающей собаку. О, привет, Джоселин, вот уж не знала, что ты живешь в этих местах. Да нет. Они со мной и говорить бы не стали. А притворились бы, что не видят меня. Вот что они сделали бы. Но, о господи, как ей все же удастся выжить под боком и под каблуком у нахапавших денег снующих вокруг чудовищно невоспитанных людей с их драгоценностями и дурными вкусами. Кого ей стоило бы подыскать, так это богатого, интеллигентного и не заговаривающегося пока еще старичка, который жил бы в большом старом доме с большой старой лужайкой вокруг, старичка, с которым она могла бы слушать мадригалы и читать ему по вечерам у камина Суинберна, попивая на пару с ним кофе по-ирландски.

Однако в объявлениях, которые публиковала "Нью-Йорк таймс", она такой работы не находила и уж определенно не находила старичков, нуждавшихся в интеллигентной компаньонке. Вот, правда, в "Геральд стейтсмен" еще один магазин модных товаров из Йонкерса сообщал, что ему требуется на временную работу продавщица, умеющая заворачивать рождественские подарки. Но пока она добиралась туда на автобусе, ей стало казаться, что уж лучше в шлюхи пойти. Дети ее получили от отца приглашение покататься на лыжах в Аспене, а потом провести две недели в занесенной снегами хижине, стоявшей в глуши штата Айдахо, в национальном парке Биттеррут.

Нужный запас снотворного уже скопился. Чистя зубы, она видела опрятные столбики таблеток, ожидавших употребления в аптечном шкафчике ее тесной ванной комнаты. Но каждая написанная ею предсмертная записка, даже при том, что она не просила в них кормить ее кошку, оказывалась такой банальной и сентиментальной. Если этим ее словам суждено стать последними, так пусть они хотя бы будут не столь прозаичными. Пусть даже и бесцензурными. Не платите проклятому богом мальчишке-газетчику, дважды не доставившему мне ничего на прошлой неделе, ни цента сверх одиннадцати долларов, которые я ему задолжала. Как и сукину сыну водопроводчику, который требует за прочистку унитаза сорок долларов и вообще считает себя ниспосланным женщинам божьим даром. А затем поцелуйте меня в жопу и прощайте, никудышные, жалкие кучки говна.

Если бы ей удалось продержаться хотя бы до февраля и сходить на выставку Пауля Клее. Вот до этого бы дожить, да и ладно. К тому же был бы и повод пригласить печального мужчину пойти вместе с ней на вернисаж. Однако в последние дни она так легко и часто пускала слезу, что проделала это и прямо перед милой, дружелюбной женщиной, принимавшей членские взносы в Музее современного искусства. И та любезно проводила ее в женскую уборную и принесла ей туда чашку кофе.

Все, что ей теперь требовалось, это хороший снегопад, который навалил бы на нее и ее одиночество здоровенный сугроб. Тогда можно было бы позвонить юному садовнику, чтобы тот приехал и откопал ее. О господи, выпить бы сейчас пива в "Городской таверне" — это было бы не так уж и плохо. Даже порадовать Клиффорда с его малышом, если, конечно, он наберется храбрости, чтобы еще разок побегать под пулями, даже это внесло бы в ее жизнь приятное разнообразие. И ей действительно не помешал бы перепих, за деньги или задаром. А то ползаешь тут и ползаешь со шваброй и пылесосом или стоишь на коленях, отшкрябывая жуткий, коричневый с оранжевым, пол кухни. Задать бы напоследок жару, пока все ее гормоны не погрузились в спячку.

Письма, которые она получала, становились что ни день все более угнетающими. Среди брошюрок, рекламных проспектов и счетов затесался ежегодник выпускниц Брин-Мора. Рождения, смерти, браки. Оплатить бы месячные счета за телефон, электричество и жилье — и все, можно заканчивать. И ведь расходы эти — ничтожно малые по сравнению с тем, что она тратила на Виннапупу-роуд, когда еще там чахла. Ползать на животе перед Стивом, выпрашивая деньги, она не станет ни за что. К тому же, если верить недавно прочитанному ею в колонке светской хроники, новое шоу Стива из разряда "смейся-с-нами" с треском

провалилось, а вертихвостка, с которой он успел обручиться, смылась в Ниццу на чьем-то личном самолете.

Счета приобретали вид все более угрожающий, приближался последний срок их оплаты, после которого ее просто отрежут от всего сразу. Да, но если она покончит со всем сейчас, выплачивать долги придется детям. Прежде чем она примет таблетки, нужно добыть откуда-то деньги, которые позволят внести месячную плату за квартиру, погасить счета и оплатить ее похороны. И вот нынче утром, когда страхи ее разыгрались сильнее прежнего, выяснилось, что она кому-то все же понадобилась. Заказное письмо. Она дрожащей рукой расписалась в получении. Затем вскрыла ножом конверт, выложила письмо на кухонный стол. Руки тряслись так, что она залила кофе первый абзац письма.

Кроме попытки пробрить пулей пробор в прическе Клиффорда, она не помнила за собой ничего, дающего повод вызвать ее в адвокатскую контору. О господи, Клиффорд мог подать на меня в суд за тяжкие телесные повреждения, причиненные страхом, который он испытал, спускаясь по лестнице. Однако письмо никаких угроз не содержало. Да адвокатам угрозы и ни к чему. Они сами — угроза. Особенно если то, что значится в шапке письма, ни о чем тебе не говорит. Отделения в Брюсселе, Лондоне, Париже, Риме, Нью-Йорке и Вашингтоне. Они были бы рады, если б она нашла возможность прийти и повидаться с ними в удобное для нее время и как можно скорее.

В наши дни слово "рады", стоящее в письме от юриста, может означать все что угодно. Да и слова "как можно скорее" ничего хорошего не сулят. Ну, по крайней мере можно позвонить и договориться с ними на день, в который она так и так собиралась в город, посмотреть в "Мете" выставку Шагала. После визита к дантисту она как раз успеет попасть на эту встречу — к трем. А вдруг ее бывший финансовый консультант Теодор взял да и решил по собственной воле вернуть хоть часть денег, которые он вытянул из меня и потратил на провальные инвестиции и на стоившие целое состояние обеды, которыми команда его объедал угощалась в парижском отеле "Бристоль". Только одна из их трапез обошлась, если верить счету, в восемьсот шестнадцать долларов и тринадцать центов. То есть примерно во столько, сколько у меня осталось после того, как я оплатила счет дантиста.

Когда она шла по Сорок пятой к Ист-Ривер, стоял жуткий холод. По городу, в котором никогда не бывает темно, а когда темнота наступила однажды, совсем ненадолго, так все в нем попросту перетрахались. Войди в двери этого грузного небоскреба, в его тропическое тепло. Где в нос ударяет странный, не так чтобы ядовитый запашок, который, похоже, появляется в новых, не обжитых еще зданиях, когда исчезает пыль и мраморные их полы впервые надраили. Кусты и цветы в выложенном розовой плиткой атриуме. Посередине вестибюля фонтан извергает воду в большой бассейн. Двери скоростных лифтов, идущих на шестидесятый, шестьдесят первый и шестьдесят второй этажи.

Дрожь пробегает по ее спине при виде интеллигентного облика леди, сидящей на скамье нержавеющей стали, читая "Нью-Йорк таймс". Очевиднейшая бездомная, обернутая в три полиэтиленовых мешка. Впрочем, еще сохранившая гордое достоинство. Достаточное для того, чтобы какое-то время удерживать на расстоянии человека, который подойдет и скажет: а ну, ты, вали отсюда. А мне предстоит подняться на

верхний этаж. В Нью-Йорке, чем выше поднимаешься, тем с большим встречаешься богатством и влиянием. Так что эта адвокатская фирма может быть только преуспевающей. И хотя она никогда о них не слыхала, на веленевой их бумаге, цепляющей, если провести по ней пальцем, ноготь, вытиснено пять хорошо известных в Нью-Йорке престижных имен. Как у адвокатов ее бабушки с их двумястами партнерами и библиотекой почище, чем в Брин-Море.

Скоростной лифт, первая остановка — пятидесятый этаж. Две женщины, пятеро мужчин — вот и все мои попутчики. О женщинах еще, пожалуй, можно сказать, хоть вкус их и не представляется мне безупречным, что рядом с ними я выгляжу немногим лучше замарашки. Мужчины же несут на себе следы искусных попыток стать ни на кого не похожими и уж тем более на юристов, постаравшись при этом, чтобы любой их собрат немедленно понял, что учились они в Эндеворе, Чоте и Дирфилде, в последнем из коих сын ее состоял в первой хоккейной сборной школы.

Барабанные перепонки отзываются на изменение высоты, сердце стучит в груди гулко и быстро. На шестидесятом и шестьдесят первом спутники ее выходят из лифта. Она же, одиноко поднимаясь на самый последний, ощущает себя возносящейся в святая святых. Для которой одежда ее, отставшая на два года от моды, решительно не подходит. И ведь была ж я когда-то юной, и мир, в который тебе предстояло войти легкой поступью, расстилался перед тобой, и ты, с желтой гортензией в волосах, в кружащихся вокруг ног пышных юбках, проносилась в фокстроте по бальным залам, и ожидать, когда сбудутся все твои мечты, было тебе всего лишь забавно.

А сбылось только одно — даже самые давние ее друзья стали приглядываться к ней, стараясь понять, стоит ли с ней еще знаться. Потому что за ответом на всякий ее телефонный звонок друзьям и подругам ясно читалась мысль: да не хочу я тебя больше видеть. Если я буду и дальше водиться с тобой, ты полезешь ко мне с твоими проблемами, которые мне ни к чему, у меня и своих хватает. И что ждет здесь меня, покидающую пустой уже лифт и входящую через стеклянную дверь в просторную приемную, — очередная порция дурных, неведомых мне новостей. Неисчислимых, как сказала бы бабушка. И пока мои старые кости сбиваются в кучку в этом старом мешке, я собираю весь оптимизм, еще уцелевший в моем все более склонном оправдываться "я", и стараюсь набраться непреклонности, которая будет под стать непреклонности секретарши, сидящей за письменным столом приемной. Гарантируя, что никто из бездомных и бедных не задержится здесь, в окружении облаков, ни на минуту.

— Будьте любезны, у меня встреча с мистером Саттоном. Мы договорились на три, но, боюсь, я пришла несколькими минутами раньше.

— Ах да, вы миссис Джоселин Джонс.

— Да.

— Миссис Джоселин Гвиневера Маршантьер Джонс.

— Совершенно верно.

— Мистер Саттон ждет вас. Присядьте, пожалуйста. Он сейчас выйдет.

Сажусь на мягкую, роскошную кожу. Раскрываю журнал. Фотографии всем довольных господ, стоящих посреди лужаек, на фоне своих грандиозных домов, великолепие их гостиных. И, боже, я действитель-

но слышу, как произносится, и правильно произносится, мое полное имя, совсем как в суде перед вынесением тебе смертного приговора. И слышу благозвучный скрип петель, с которым закрывается за моей спиной решетчатая дверь тюремной камеры. Впрочем, это всего лишь выходит в приемную высокий мужчина с волнистыми седыми волосами. На нем темно-синий в тонкую полоску костюм, он пересекает ковер. Улыбается, протягивает руку, отвешивает легкий поклон, и все ее старые, болтающиеся в мешке кости становятся совсем уже хрупкими, однако она встает, пожимает мужчине руку, и он берет ее под локоток.

— Как приятно познакомиться с вами, миссис Джонс. Спасибо, что пришли. Я мистер Саттон. Сюда, пожалуйста. Вижу, вы обратили внимание на наш ковер.

— Да, он на редкость красив.

— Брюссельский, ручной работы. А, и это тоже, как я замечаю, не ускользнуло от вашего взгляда.

— Да.

— Пауль Клее. Подлинник. А здесь, не сочтите за макабрическую претенциозность, Чарльз Аддамс[1]. Ну, а это Эдвард Гори[2]. Приятно, когда взгляду есть на чем зацепиться на наших стенах.

— Я не сказала бы, что просто зацепиться.

— Touché[3], миссис Джонс. Touché. Да, совершенно с вами согласен. Пожалуйста, проходите. Вот сюда. Присаживайтесь.

— Спасибо.

— Полюбуйтесь нашим видом на штаб-квартиру Организации Объединенных Наций и на Ист-Ривер — до самого Куинса, ну а если взглянуть в ту сторону, на запад, вам откроется весь штат Нью-Джерси, а за ним и Скалистые горы.

— Потрясающе.

— Благодарю вас. В ясные дни отсюда, разумеется, целиком виден Бруклин, можно даже следить за садящимися в "Кеннеди" самолетами. Поскольку вселялись мы в это здание первыми, а владелец его — наш клиент, то мы и решили воспользоваться приятной возможностью занять здесь самые верхние этажи. Ну-с, миссис Джонс, полагаю, вы не так уж сильно удивлены тем, что мы, если позволите прибегнуть к сильному выражению, призвали вас сюда. Вы ведь, разумеется, миссис Джоселин Гвиневера Маршантьер Джонс.

— Да.

— Не стоит так волноваться.

— Ну, на самом деле, я немного спешу. Сегодня в музее "Метрополитен" последний день выставки Шагала. Мне нужно поспеть на Мэдисон-авеню, а автобусы в этот час по центру ходят медленно.

— А потом вам еще придется пересечь город и выехать в пригород.

— Да. И меня томит неспокойное, чтобы не сказать тревожное, любопытство относительно повода, по которому вы захотели со мной повидаться.

— Да, разумеется. Прошу вас, не смотрите на эти папки с таким страхом. Просто дело получилось довольно странное, вот мы и сочли необ-

1. Чарльз Аддамс (1912–1988) — американский карикатурист.
2. Эдвард Гори (1925–2000) — американский писатель и иллюстратор.
3. Тронут (*франц.*).

ходимым проявить — перед тем как обратиться к вам — определенную осмотрительность. Впрочем, кое-какие из загадок нам разрешить удалось. Вы несомненно являетесь поклонницей искусств. Каковым был и мистер Мак-Дурбрински. Видите ли, мы не сумели найти в его бумагах ни одного упоминания о вас. И я уверен, вы не будете возражать, если я задержу вас немного, пообещав, что задерживать дольше необходимого ни в коем случае не стану. Хотя, если желаете, мы готовы перенести нашу встречу, чтобы вы могли прийти на нее с вашими юридическими консультантами. А сейчас, если вы не против, я просто предоставил бы вам копии всех относящихся к сути дела документов и ознакомил вас с самыми существенными фактами. Уверен, вам будет интересно услышать то, что я имею сказать, так что давайте перейдем прямо к практической стороне дела, и я постараюсь изложить ее как можно быстрее. Могу я предложить вам что-нибудь выпить.

— Нет, спасибо. Но что я такого сделала.

— Миссис Джонс, я сознаю, что все это может оказаться для вас потрясением, особенно если учесть объем состояния, о котором идет речь. Но, в сущности говоря, никаких причин для тревоги нет. Мы действуем как единоличные душеприказчики мистера Мак-Дурбрински. Как вам, должно быть, известно, мистер Мак-Дурбрински был джентльменом до крайности замкнутым, если не сказать скрытным, и лишь немногие знали об истинном размахе его деловой деятельности, каковая охватывала далеко не одно только швейное производство с его основными продуктами, а именно дамским бельем и спальными принадлежностями.

— Мистер Саттон, я действительно думаю, что мне следует сказать вам — я не понимаю, о чем вы говорите, и не понимаю, какое отношение это имеет ко мне.

— О, но мы уже скорым шагом приближаемся к этому. Не знаю, осведомлены вы об этом или нет, однако мистер Мак-Дурбрински был также финансистом, основателем нескольких хорошо известных ныне американских компаний, в которые он вложил немалые средства, — главным образом тех, что подвизаются в электронике, британском банковском деле и компьютерной индустрии. Что и объясняет причину, по которой относительно небольшое швейное предприятие, куда меньшее, скажем, чем "Братья Митчелл", позволило мистеру Мак-Дурбрински стать столь состоятельным человеком. Уже многие, как вы знаете, годы страдая от почечной недостаточности, мистер Мак-Дурбрински незадолго до смерти распродал почти все свои долевые паи. По счастью, это случилось в то время, когда цены на них сложились особенно высокие. Так что, к полной, возможно, для вас неожиданности, состояние мистера Мак-Дурбрински, с той точностью, с какой его пока удается определить, может исчисляться суммой, весьма значительно превышающей двадцать восемь миллионов долларов или около того — по нынешним оценкам. А мы, смею сказать, подсчетов еще не закончили. Да. Я вижу, вы сильно удивлены. Мы тоже.

— Могу ли я все-таки попросить, мистер Саттон, чтобы вы объяснили мне, о чем вы говорите. Пожалуйста. Мне, разумеется, лестно, что выбор ваш пал на меня, однако надеюсь, все ваши речи не являются прикрытием некоторой разновидности торговли белыми рабами. И мне не следует готовить себя к необходимости с криком бежать к лифту.

— Ха-ха, что ж, вот теперь я могу поверить, что вы и мистер Мак-Дурбрински были друзьями и что вы должны немало знать о его делах.

— Друзьями мы с мистером Мак-Дурбрински никогда не были. И о делах его мне решительно ничего не известно.

— Понятно. Ага. Хорошо. Конечно, он был господином более чем осторожным. И полагаю, при размерах его состояния, мог производить впечатление человека, если позволите так выразиться, прижимистого и чрезмерно консервативного. Как вам известно, найдутся люди, которые могли бы поддаться искушению охарактеризовать мистера Мак-Дурбрински в выражениях куда более сильных, назвав его, скажем, скупердяем, однако не будем плохо отзываться о мертвых. Но, как вы, безусловно, знаете, многие очень не любили его и, как вы опять-таки знаете, несколько лет назад это привело мистера Мак-Дурбрински к продолжительной и ожесточенной тяжбе с родственниками, по счастью благополучно завершившейся, хотя в ходе ее были высказаны обычного свойства угрозы и притязания, разумеется абсолютно безосновательные, что, полагаю, и объяснит вам, почему мистер Мак-Дурбрински оставил завещание столь оригинальное и, льщу себя надеждой, способное принести вам, миссис Джонс, столь значительную выгоду. По сути, тут присутствует сходство с делом, которое рассматривалось, сколько я помню, не так уж и давно. И подобные которому могут, без нашего о них ведома, втайне проворачиваться по всей Америке.

— Боюсь, что мне снова придется прервать вас, мистер Саттон. Мне ничего не известно о делах, давних или нынешних, на которые вы намекаете. Я со всем вниманием слушаю вас, стараясь уловить хотя бы намек на смысл всего вами сказанного, но на деле так и не получила ни малейшего представления о том, какое, боже ты мой, отношение имеет ко мне мистер Мак-Дурбрински.

— О, но ведь вы же были знакомы с мистером Мак-Дурбрински.

— К сожалению, нет, если, конечно, душа моя не переселялась удивительным образом в кого-то другого. Я ни разу в жизни не слышала об этом человеке и не встречалась с ним.

— Понимаю.

— И честно говоря, я вообще представления не имею, зачем я здесь нахожусь и о чем идет разговор. Насколько мне известно, неоплаченных счетов за дамское белье у меня нет. На самом деле я сижу перед вами и гадаю, что же я такого натворила и почему меня вознамерились преследовать по суду. И во сколько мне обойдется тяжба или ее улаживание. Хотя, во сколько бы она ни обошлась, у меня таких денег все равно не найдется.

— Понимаю. Ну-с, простите мне мой смешок, от судебного преследования вы более чем далеки. Как и от понесения издержек, если, конечно, не считать наших гонораров — гонораров душеприказчиков, каковые суммы будут просто вычтены из состояния в целом.

— Мистер Саттон, я уверена, произошла какая-то путаница с установлением личности и все, сказанное вами, следовало сказать кому-то другому. И, извините, мне действительно пора идти.

— Прошу вас, миссис Джонс, простите, если я настою на том, чтобы вы задержались еще ненадолго. Разумеется, вы более чем вольны уйти, но я бы вам этого не советовал. Нам очень не терпится прояснить это дело, и думаю, вы поймете, по какой именно причине, когда услышите

все, что я хочу вам сказать. Впрочем, я уже понял, что обязан дать подробные объяснения. Из коих вы, не сомневаюсь, поймете, почему предполагалось, будто вы знали мистера Мак-Дурбрински.

— Да не знала же я его. И никого с похожей фамилией не знала.

— Ну-с, мистер Мак-Дурбрински был по происхождению русским евреем, а "Мак" прибавил к своей фамилии Дурбрински, поскольку желал ощущать себя в большей мере причастным к проводимому в День святого Патрика параду, за каковым он неизменно наблюдал из окон своей квартиры на Пятой авеню. Это, разумеется, шутка. Уверен, у него имелись иные причины. Простите, миссис Джонс, я вижу, она вас не позабавила.

— Нет. В самом деле, нисколько. Не потому, что она ничуть не смешна, просто я, если говорить прямо, до смерти перепугана, поскольку не могу понять, что здесь происходит.

— Прошу меня извинить. Видите ли, хоть нам и не удалось найти ничего такого, что указывало бы на какие-либо отношения между вами и мистером Мак-Дурбрински, мы все же были совершенно уверены в существовании между вами некой личностной связи. И я прошу у вас прощения за наши предположения и за внушенную ими тревогу, которая, как я теперь ясно вижу, вас снедает.

— Да. Снедает.

— Что ж, тогда перейдем прямо к делу, к конечной его, как принято выражаться, сути. За вычетом издержек, связанных с похоронами, а также некоторыми относительно мелкими долгами и расходами, вы, если исключить из рассмотрения его экономку миссис Келли, являетесь, согласно последнему волеизъявлению мистера Мак-Дурбрински, единственной его наследницей, получающей все и вся, чем он владел ко времени своей кончины, то есть всю реальную материальную и интеллектуальную собственность, какую нам удалось на сегодняшний день выявить. Видите ли, на самом деле мы должны были обратиться к вам раньше, непосредственно после смерти мистера Мак-Дурбрински, однако нам пришлось разбираться с кое-какими досадными притязаниями, плюс с еще одним именем в книге соболезнований, оказавшимся, как выяснило проведенное нами расследование, фиктивным.

— Боже мой, я в это не верю.

— Да, миссис Джонс, но, если позволите, я продолжу. Просто ради того, чтобы привлечь ваше внимание к предметам, о коих вам, возможно, захочется узнать сразу, а также к тем, что связаны с некоторыми предыдущими моими замечаниями. Унаследованное вами имущество включает в себя квартиру из одиннадцати комнат, полностью обставленную и расположенную на Пятой авеню. Кстати сказать, неподалеку от музея "Метрополитен". Хотя, возможно, и ближе к галерее Фрика, что, если я вправе это предположить, вы можете счесть наибольшим ее достоинством. Квартира состоит, это уже в скобках, из большой гостиной и библиотеки, обладающей некими отличительными особенностями деликатного отчасти свойства, коими мы не станем сейчас вас обременять, затем — домашнего офиса мистера Мак-Дурбрински, череды главных спален, окна которых смотрят на парк с пятого этажа, и его собрания произведений искусства. Добавлением к этим одиннадцати комнатам служат отдельные помещения для прислуги, а именно три спальни и две ванных комнаты. В настоящее время там проживает миссис Келли, ирландка,

много лет прослужившая у мистера Мак-Дурбрински экономкой и исполняющая ныне обязанности сторожихи. Она получает по завещанию сто семьдесят пять тысяч долларов. Продолжит ли у вас служить миссис Келли — вам решать, однако, если ей по какой бы то ни было причине будет отказано от места или если она пожелает уйти сама, ей причитается еще сто семьдесят пять тысяч. Имеется также "роллс-ройс", стоящий в расположенном прямо через улицу подземном гараже. Опять-таки вы в совершенном праве решить, будете ли вы и в дальнейшем пользоваться услугами Стива, исполнявшего при мистере Мак-Дурбрински обязанности водителя и являющегося также владельцем самого этого гаража. Еще имеется находящаяся в округе Патнам, штат Нью-Йорк, небольшая рыбацкая хижина, к которой прилагается триста девяносто акров преимущественно покрытой лесом земли, вмещающей также личное озеро площадью в семьдесят восемь акров, где мистер Мак-Дурбрински удил рыбу. В ваше распоряжение поступают и одиннадцать склепов в мавзолее мистера Мак-Дурбрински на Вудлонском кладбище — двенадцатый уже занят им самим. Мавзолей считается не лишенным определенных архитектурных достоинств и одним из самых изысканных зданий, возведенных на этом кладбище за последние годы.

— Если сказанное вами — до крайности причудливая шутка, она нисколько не удалась. А если не шутка, значит, вы обратились не к тому человеку. Я, право же, полагаю, что все это слишком далеко зашло.

— Миссис Джонс, прошу вас. Пожалуйста, сядьте. Уверяю вас, это никакая не шутка. Я — старший партнер нашей фирмы. И время мое стоит довольно дорого — если быть точным, триста семьдесят пять долларов в час. И, опять-таки уверяю вас, как правило, я не трачу его на легковесные развлечения. Впрочем, я более чем готов вести дальнейшее обсуждение нашей темы с вашими юридическими консультантами.

— Но все это выглядит совершенно смехотворным. Как если бы меня вознамерились посадить под арест или еще что, обвинив в присвоении чужой личности.

— Ни в коем случае, если, конечно, вы и в самом деле миссис Джоселин Гвиневера Маршантьер Джонс, проживавшая ранее в доме семнадцать по Виннапупу-роуд, затем в квартире шесть Б, дом "Ривервью" по Ривервью-роуд, Скарсдейл, а ныне в доме сорок семь по Онайдадин-авеню, Йонкерс. Последний адрес в точности совпадает с тем, что был занесен в книгу соболезнований, когда тело мистера Мак-Дурбрински покоилось в похоронной конторе "Мемориал", откуда оно проследовало для погребения в Бронкс, на Вудлонское кладбище. И с полнейшей искренностью заверяю вас, что ни о каких шутках тут не может идти и речи.

— О боже. Так все это правда. Все.

— Да, миссис Джонс, все. Чистая правда. И, как я и предвидел, она должна была вас потрясти.

— Ну, хоть я по-прежнему не верю, должна сказать, что это все-таки лучше известия о том, что меня отдают под суд.

— В таком случае, миссис Джонс, готовы ли вы услышать дальнейшее.

— Пожалуй что так. И, если можно, дайте мне немного воды.

— Да, разумеется. Позвольте я вам налью. Вот. Итак. Продолжим. Вы, разумеется, понимаете, что всякого рода прозаические мелочи я опускаю. Однако мне следует обратить ваше внимание на одно обстоя-

тельство, которое позволит вам понять, почему время играет роль столь существенную, а именно: вы получаете также в собственность весьма солидный, полностью заселенный многоквартирный дом на восточной Пятьдесят первой, право владения коим стало недавно предметом весьма солидных предложений, сделанных несколькими конкурирующими сторонами. На самом-то деле речь идет о сумме почти такой же значительной, как и все остальное состояние.

— И вы действительно хотите сказать, что все это станет моим.

— Уже стало, миссис Джонс. Видите ли, согласно завещанию мистера Мак-Дурбрински, все, чем он обладал, надлежит поровну разделить между теми, чьи подписи появятся в книге соболезнований. А в ней, миссис Джонс, появилась одна, и только одна подпись — ваша, если не считать той, фиктивной. Как вы понимаете, содержание завещания было известно мне и еще одному старшему партнеру нашей фирмы, однако ни он, ни я, по понятным причинам, в похоронную контору "Мемориал" заходить не стали. И полагаю, мне следует, быть может, сказать, в виде дальнейшего объяснения, что я нахожу вполне понятным отсутствие какой бы то ни было связи между вами и мистером Мак-Дурбрински. Мистер Мак-Дурбрински, при всех его достоинствах, был, вообще-то, господином до крайности неприятным, если не прибегать к выражениям более сильным и, возможно, гораздо более обидным. Но к женщинам он был неравнодушен. Тем более к женщинам, если позволите мне так выразиться, столь изысканно привлекательным, как вы. Да, должен признать, я полагал, что между вами существовали некие личностные отношения. Тем не менее все сложилось так, что вы единственный — не считая той дамы, которая проставила в книге соболезнований ложные имя и адрес и обнаружить которую нам не удалось, — человек, принесший мистеру Мак-Дурбрински последнюю дань уважения, или вернее — а это, согласно условиям завещания мистера Мак-Дурбрински, сыграло роль наиболее важную — проставивший в этой книге свое имя и адрес. И я должен испросить у вас прощения за то, что эта история, вследствие необычной ее природы, причинила вам столько треволнений или отняла так много вашего времени.

— И все же я совершенно не способна в это поверить.

— Что более чем понятно, миссис Джонс. Простите, что задержал вас на срок столь продолжительный. И знаете, чтобы продемонстрировать вам истинность всего, мною сказанного, а заодно и позволить вовремя попасть в "Мет", попробую-ка я связаться с водителем мистера Мак-Дурбрински, со Стивом. Простите. Мисс Джинкс, не могли бы вы отыскать Стива, работающего в том гараже, где мистер Мак-Дурбрински держал свою машину, и выяснить, не сумеет ли он прямо сейчас доставить миссис Джонс в музей "Метрополитен". Итак, миссис Джонс, Стиву не потребуется много времени, чтобы привести сюда вашу машину, а я не вижу никаких серьезных причин, почему бы вам не воспользоваться ею уже сейчас. Быть может, путь по Мэдисон-авеню вы проделаете ненамного быстрее, но безусловно с гораздо большей приятностью. Ага. Стив. Хорошо. Да. Мистер Саттон. Стив, у нас здесь миссис Джонс, в собственность которой перешла машина мистера Мак-Дурбрински, и ей необходимо как можно скорее попасть в музей "Метрополитен", это угол Восемьдесят первой и Пятой. Скажем, через двадцать минут. Да, у моего офиса. Прекрасно.

— Мистер Саттон, простите. Мне начинает казаться, что вы тратите на меня слишком много усилий. В этом нет необходимости.

— Это всего лишь моя повседневная работа, уверяю вас. И, вовсе не желая показаться корыстолюбцем, могу также заверить вас, что мы получаем за нее весьма удовлетворительную плату. На самом-то деле, ха-ха, узнав, какую именно, вы, быть может, воскликнете "о-го-го!". И еще, миссис Джонс, если вы все же опоздаете сегодня в "Мет", я уверен, что смотритель музея, милейший человек, который приходится мне другом и которому вы можете предложить скромное вознаграждение, вполне способен позволить вам осмотреть частным порядком выставку уже после того, как музей закроется. Впрочем, ваш автомобиль будет здесь с минуты на минуту. Что такое, миссис Джонс. Вам не по себе.

— Простите. Просто все случившееся, кажется, довольно сильно меня взволновало.

— И это вполне понятно. Надеюсь, вы не сочтете неуместным, если я скажу вам прямо сейчас, что мы были бы чрезвычайно рады предложить вам любые наши услуги. Понимая, разумеется, что вы можете пожелать и дальше использовать собственных юридических консультантов. О боже, вы хорошо себя чувствуете, миссис Джонс.

— Нет.

— О боже. Вижу, сказанное мной стало для вас чрезмерно большим потрясением. Не желаете ли воспользоваться нашим туалетом.

— Спасибо. Если можно. И пожалуйста, не надо машины. Я просто отправлюсь домой. На поезде.

— Ну разумеется. Я вполне понимаю вас, миссис Джонс.

Женщина из приемной проводила миссис Джонс в дамскую уборную, где она и пописала в замечательно просторной, безупречно чистой кабинке. А мистер Саттон, обошедший столы своих секретарш, собирая оставленные ему сообщения, проводил ее до лифта, ободряюще похлопал по спине, когда бесшумно заскользила, открываясь, дверь ascenceur[1], и, улыбаясь, поклонился, когда дверь эта начала закрываться. Она получила его прямой телефонный номер и уверения в том, что, если ей потребуется помощь, она может в любое время связаться с ним, где бы ни находилась — в Париже, Риме или Нью-Йорке.

Она спустилась шестьюдесятью двумя этажами ниже, пересекла вестибюль. Интеллигентного облика леди в полиэтиленовых мешках куда-то пропала. Видимо, кто-то уже подошел и сказал ей: а ну, ты, вали отсюда. Интересно, догадался ли мистер Саттон, что́ она с собой принесла — свой тридцать восьмой, глухо и металлически стукнувший, когда она опустила сумочку на письменный стол. Однако еще интереснее будет посмотреть, как она пойдет теперь по улице, сможет ли вышагивать по тротуару — теперь, когда стала владелицей целого многоквартирного дома, стоящего посреди этого города и населенного живыми людьми.

К центру полз плотный поток машин. На тротуаре не протолкнуться. Большой сверкающий "роллс-ройс" у бордюра, смуглый мужчина в черном пиджаке и черной фуражке сидит за рулем, вглядываясь в лица покидающих здание, — выходя, она на миг встретилась с его вопрошающим взглядом. Имя "Стив" норовит сорваться с ее губ, однако она не из-

1. Лифт (*франц.*).

дает ни звука. Жизнь по-прежнему иронична. Муж ее носит то же имя, что и ее водитель. Человек, которому она сможет отныне говорить: поверните направо, поверните налево, помедленнее, остановитесь, и даже — вы уволены. Стоило бы поступить, как положено леди, позвонить мистеру Саттону, сказать, что Стив уже на месте, поблагодарите его за то, что привел машину, но пусть он меня не ждет.

Шагая сквозь недружелюбные безликие тени Сорок пятой улицы к вокзалу "Гранд-сентрал", она купила кренделек у лоточника на углу. Будет что пожевать в поезде. Ступни, да и ноги тоже, замерзли, на нее неодолимо наваливается скорбное чувство, чувство обреченности. В ушах снова звучат хоры Бортнянского, перед глазами стоит лицо и пенсне мужчины в гробу. По дороге к лифту мистер Саттон сказал, что она является ныне счастливой обладательницей самой большой в городе коллекции порнографии. Мысль, которая могла бы вызвать у нее улыбку. А вместо того внушает ощущение одиночества, которого она прежде никогда не испытывала.

Сжимая в ладони три четвертака сдачи, она проходит под огромной крышей "Гранд-сентрал" с его расписанными звездами потолками и вспоминает о смелых, многоречивых людях, которые съехались в город, чтобы воспротивиться планам сноса этого огромного памятника архитектуры. Спасти священный храм поклонения поездам и странствиям. В городе, который наделял свои постройки величием и в котором никто никогда еще не пытался спасти хоть что-то. Городе, где фундаменты небоскребов уходят глубоко в камень этой островной фондовой биржи, где столь многие богачи имеют возможность прятаться в своих обороняемых швейцарами крепостях. Аминь.

Все это продолжает терзать ее и когда она спускается на четырнадцатую платформу, чтобы сесть в поезд, идущий через Уайт-Плейнс в Скарсдейл. Ужасаясь голой бесплодной пустоте своих мыслей. И не ощущая ни отчаяния, ни горя. Только вторжение в ее внутренний мир чужой посягающей на нее смерти. Которую теперь можно себе позволить. Наконец-то. Теперь я могу принять таблетки. Квартира за следующий месяц, счета, все оплачено. Напиши завещание. И оставь все до пенни на создание прибежища для обладающих чувством собственного достоинства бездомных нищих Нью-Йорка. Пусть они спят там в уюте и покоятся с миром.

Она сидит на левой стороне вагона. Полная луна встает этим вечером над поездом, идущим в северный район метрополии, бывший некогда Йонкерским округом Нью-Йорка. Социальный аспект. Люди проводят, приезжая и уезжая, в этих поездах десять процентов своей жизни. Чернокожие, прибывающие из Скарсдейла, сходят на Маунт-Вернон или 25-й улице. Истории о мужчинах, что ни день встречающихся в поездах со своими возлюбленными или давними любовницами. Годы назад говорилось, что ты можешь выбрать, ехать ли тебе вперед лицом или спиной, потянув за медную ручку и развернув плетеное кресло в нужную сторону. А теперь с ней даже начал здороваться проводник, привыкший к ней и как-то утром сказавший: вы, конечно, можете называть меня Диком, мэм, но только мое полное имя Дик Браун. И с тех пор она никогда не говорила: с добрым утром, Дик. Всегда — с добрым утром, мистер Браун.

Проскальзывают одна за другой северные станции. "Фордэм", "Ботанический сад", "Уильямс-бридж". За тусклым, бесцветным окном едва

различимы белые, заснеженные могилы и мавзолеи на склоне холма, занятого Вудлонским кладбищем. Как ей понравится лежать зацементированной за каменной плитой в мавзолее, который уже обжил ее благодетель, мистер Мак-Дурбрински. Понравится. Почему бы и нет. Выглядел он, в своей шелковой сорочке и с булавкой в шейном платке, вполне по-джентльменски. Ей доводилось читать чьи-то воспоминания о Бронксе. О мальчике, уверявшем, что он брал по 25 центов за доставку цветов на могилы, — с людей, приносивших букеты на "Сентрал" и не желавших тащиться на кладбище, в такую-то даль. Странные дела совершались когда-то в мире. Слышала она и о призраке леди в развевающихся одеждах, которую видели мглистыми зимними вечерами на нежилом участке Уэбстер-авеню у высокой черной ограды погоста. Машины останавливались, чтобы подвезти ее. А она вдруг растворялась в воздухе.

Сейчас же в мире происходит вот что: поезд с ревом и лязгом несется сквозь морозную ночь. Наверное, снова пойдет снег. И к ее годам, что уж тут сомневаться, добавился еще один день. Даже девушкой, в двадцать два года, она старалась остановить свое старение. Теперь она стала намного старше, ее списали в тираж, предали. Когда уйдет любовь, ее уж не вернешь. И если хоть что-то из привидевшегося тебе правда, ты никогда уже не сможешь снова обзавестись друзьями.

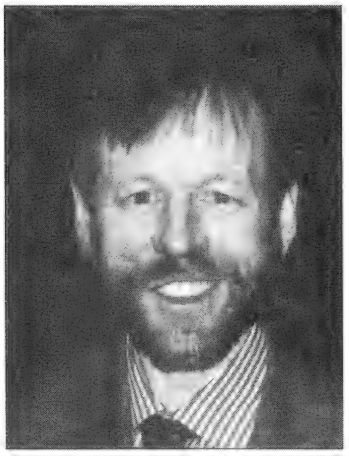
Кто она теперь. Леди с достатком. Которой не нужно больше стараться произвести на кого-то впечатление, не нужно лгать или льстить. Которая может позволить себе не подаваться в шлюхи или в монашки. И когда она сходит с поезда, мужчина в армейской шинели приподнимает, приветствуя ее, котелок. Предлагает подбросить в своей машине до дома. Похоже, он немного подшофе. Она же, ожидая такси, снова видит ту девушку, что красовалась, надев наручники, в окне дома на Виннапупу-роуд. По бокам от нее двое санитаров. Вид у девушки перепуганный, загнанный. Санитары запихивают ее в большой черный лимузин, и тот уносится прочь.

Если она позвонит печальному мужчине, тому, что потерял в авиакатастрофе семью, он, может быть, скажет ей: здравствуйте, а я как раз собирался вам позвонить. Может такое быть правдой. Что кто-то возьмет вдруг и скажет: а я как раз собирался вам позвонить. Спросить, не хотите ли вы сходить в какое-нибудь приятное место. Истинная же правда состоит в том, что нужно будет попросить таксиста подождать, пока она купит в гастрономе еще один пакет молока, салями, салат, сыр и бутылку пива. Что обойдется ей в три-четыре, а то и в пять долларов. Да еще и таксисту лишнее заплатить придется.

Однако сегодня она купит две бутылки пива, чего бы они ни стоили. И в одиночестве выпьет обе, при свечах. А потом пораньше в постель. И ведь что поразительно. Закончим на легкой ноте. Когда человек получает возможность купаться в роскоши, начать жизнь заново.

Он только о том и думает,
как бы покончить
с ней.

Деннис О'Дрисколл



Стихи

Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

Деннис О'Дрисколл родился в 1954 году в графстве Типперэри. В настоящее время он живет в Дублине и работает в главном офисе ирландской таможни. Считается, что поэзия и работа в качестве чиновника — две вещи несовместные, однако Деннис О'Дрисколл успешно это опровергает. Первая книга его стихов вышла в 1982 году и сразу выдвинула его в ряд ведущих поэтов Ирландии. За ней последовало еще пять сборников. Как многие ирландские поэты, он публикует свои книги в Англии, где тиражи и гонорары побольше, да и читатели многочисленнее. Впрочем, ему грех жаловаться: он был и остается одним из самых популярных поэтов страны. Нобелевский лауреат Шеймас Хини считает его своим будущим преемником.

Деннис О'Дрисколл многое сделал для ирландской литературы: он считается одним из лучших литературных критиков Ирландии, в течение двух лет редактировал главный поэтический журнал страны "Поэтри Айрланд", а также издал, наверное, самую необычную книгу о поэзии: сборник высказываний поэтов разных стран о поэзии. Она называется "Как сказал поэт", и высказывания в ней иногда вполне глубокомысленные, а иногда и совсем даже наоборот.

© Dennis O'Driscoll, 1987, 1999, 2002
© Анатолий Кудрявицкий. Перевод, вступление, 2007
Редакция благодарит Денниса О'Дрисколла за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его стихов на страницах журнала.

Порлок[1]

это мое лучшее стихотворение которого не существует
оно состоит из великолепных строчек что я придумал
но не записал — за неимением времени места или бумаги

это стихотворение о помехах вторжениях
звонящих телефонах
стихотворение о моей жизни несовместимой со стихами
приют для умственно отсталых строчек

это бюро находок и поэтических потерь
стих без героя зачатый но не рожденный
пленник сознания жертва утечек интеллекта

это стих который не заучишь на память
стих не обретший индивидуальность
забывший собственное название

это мое самое заурядное творение
строчки одноразового пользования
стихотворение без слов

Покупка почтового ящика

Еще один разинутый рот.
Парадное лицо нашего дома,
обращенное к миру,
ловящее медный взгляд
солнца.

Какой же нам выбрать?
Тот, что захлопывается
как капкан,
защемляя письма и счета,
словно перья или мех?

Или другой,
со слабой пружиной,
и высунутым собачьим языком,
тянущимся к руке почтальона,
но тоже всеядный,
переваривающий плохие новости
так же охотно, как хорошие?

1. В поэме "Кубла Хан" Кольридж упоминает, что не мог закончить стихотворение, потому что его отвлек человек из города под названием Порлок, что в графстве Сомерсет. (*Прим. Денниса О'Дрисколла.*)

Молодые

Они молоды.
Они едут на вечеринку на полуночном автобусе.
Они классно проводят время.
Они балдеют друг от друга.
Они пьют до полной отключки.
Они плевать хотели на будущее.
Они танцуют под новый бит.
Они не знают усталости.
Они делают что хотят.
Они уверены в себе.
Они молоды.
Они совершенно не собираются стареть.

Погибший

1.

Погибший — мужчина
тридцати с небольшим лет.
Это все, что пока сообщает полиция.
Родственников пока не известили.
Дату вскрытия не назначили.
Пейджер коронера подает тихие сигналы.
Какой веры был покойник? Какого племени?
С какими людьми предпочитал общаться?
В чем был замешан?
Погиб ли он случайно?
Или это было убийство из мести
(око за око, зуб за зуб)?
Все гипотезы будут завтра обсуждаться в газетах.

2.

Пока ему не подыскали жизни.
Не снабдили адресом, женой,
детьми, работой.
Пока что он не стал человеком,
у которого есть прошлое.
Пока что тайна его смерти остается нераскрытой.
Пока что берутся смывы крови с его подбородка,
смывы грязи с его одежды.

Пока что никто не востребовал его тело —
для семьи, для нации или для Бога.
Пока что не ясно, кого здесь винить,
а кого нет.
Пока что ему не дали имени.

Всего лишь

Это всего лишь кожа.
Поддается искусственному выращиванию.

Это всего лишь дыхание.
Иногда кислое, иногда сладкое.

Это всего лишь нервные окончания.
Невероятно и неизменно чувствительные.

Это всего лишь губы, одна над другой.
Отшелушивают чешуйки эпидермиса.

Это всего лишь тепло.
Температура каждого — около 37 градусов.

Это всего лишь гормоны, примитивные регуляторы.
Легко воспроизводимы в лабораторных условиях.

Это всего лишь кровь.
Ее циркуляция легко объяснима.

Это всего лишь железы.
В них нет ничего загадочного.

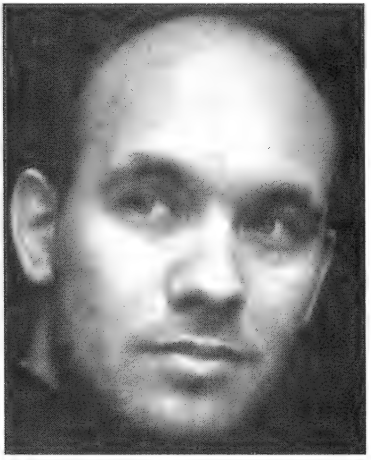
Это всего лишь желание.
Электрохимически возбуждаемый импульс.

Это всего лишь бьющееся сердце.
Число ударов ограничено.

Это всего лишь один организм.
Можно создать миллион клонов.

Это всего лишь настал твой час.
Сегодня. Сейчас.

Стефан Карьер



Давний спор

Роман

Перевод с французского и вступление Т. Чугуновой

Стефан Карьер, в 2004 году тридцатилетний начинающий писатель, избежал эпатажности, свойственной дебютантам, да и тему для своего первого романа выбрал старую как мир — искусство и материальная выгода. Можно предположить, что обратиться к этому конфликту его побудили обстоятельства собственной жизни: сейчас он издатель, а прежде в течение десяти лет работал артдиректором мультимедийной компании, и о противостоянии во взглядах на искусство знает не понаслышке.

Что же это за вечный конфликт? Между стремлением творческой личности возвысить публику до подлинно прекрасного в искусстве, с одной стороны, и желанием подстроиться под жаждущую зрелищ толпу ради успеха и прибыли, с другой; между приверженностью традициям и тягой к новым технологиям, а еще между желанием творца затронуть самые тонкие струны человеческой души и тенденцией к подмене живого и подлинного бездушными автоматами. Труппа цирка шапито, о которой идет речь в романе, — модель живого социума. "Не исключено, что вы сами в данную минуту вовлечены в нечто подобное", — обращается Карьер в прологе романа к читателю, справедливо полагая, что многим людям приходилось или сейчас приходится не только размышлять об этом, но и делать выбор. Более того, конфликт, подобный тому, что разыгрывается в цирковой труппе, возможен и на глобальном уровне — этническом, межгосударственном...

© Éditions Albin Michel, 2004
© Т. Чугунова. Перевод, вступление, 2007

Сама форма произведения — притча с мотивами городской сказки — уже настраивает читателя на вневременной лад. За внешней безыскусностью и простотой — глубокое раздумье о жизни, щемящая правда о хрупкости главных человеческих ценностей, о позиции и месте художника в мире "инновационных проектов".

Если искать корни сказовой интонации романа, то возрос он на национальной почве, впитав в себя то, что было заложено французскими просветителями с их философскими притчами. Однако сильно влияние и английских утопистов, и Джорджа Оруэлла и Джеймса Элроя, и других.

Одна из ключевых сцен в романе, особо отмеченная французской критикой, — поединок маэстро Жоана и маэстро Жерома, в котором побеждает не тот, кто обращается к людям с человеческим посланием, а тот, кто дает им зрелище. Пресловутое "Panem et circenses" ("Хлеба и зрелищ"), впервые прозвучавшее в тираде Ювенала, направленной против "выродившегося племени детей Рима"[1], поистине вечно. Цезари не позволяли народу ни голодать, ни скучать, и не было числа гладиаторским боям, театральным постановкам, конным состязаниям, цирковым представлениям... Не оттого ли Стефан Карьер облек свои раздумья о современной действительности именно в форму рассказа о раздоре, возникшем в небольшом шапито — жалком подобии Circus Maximus?..

В 2006 году у Стефана Карьера вышел второй роман, "Как герои без войны", — и стало ясно: молодой писатель продолжает в тональности, заданной первым.

Посвящается Каролине

Пролог

НИКТО уже и не помнил, когда загорелся тот сыр-бор и сколько тлел под толстым слоем золы; все думали — быльем поросло, и если вспоминали, то лишь намеками, вскользь.

Но чуть только в разговоре повисала тишина, старое начинало проступать, и опасаясь, что кто-то его помянет, заводили речь о другом. То, чего боялись, исчезало... Но однажды достаточно было столкнуться двум встречным ветеркам, как спор вспыхнул с новой силой.

Малена — та быстро смекнула что к чему. Как-то в сентябре, несколько дней спустя после промелькнувшей искорки, она предрекла, обращаясь к своему спутнику жизни, негру в летах:

— Вот увидишь, эти двое попортят нам всем кровь. Готовься, так полыхнет, не обрадуешься.

Котон в ответ не проронил ни словечка, а ведь мог бы и прокричать, и пропеть, и раструбить о предсказании, но нет, примолк, затаился, потому что знал: это ничего, решительно ничего не изменит, да и кто верит гадалке, когда она предчувствует недоброе. Еще и впрямь накличет беду.

1. Ювенал. Книга IV. Сатира X, 75 и далее. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

С первого и до последнего дня этих достопамятных событий Котон и Малена — парочка престарелых возлюбленных — всё подмечали, перетолковывали меж собой, и именно благодаря им мы теперь имеем возможность поведать о случившемся, не слишком опасаясь что-то неправомерно раздуть, выпятить, как бывает, когда речь заходит о чем-то из ряда вон выходящем.

А главное, нельзя, чтобы эта история безвозвратно канула в окружающем нас грохочущем мире. Она способна принимать множество личин, и как знать, не покажется ли знакомой и вам. Не исключено, что вы сами в данную минуту вовлечены в нечто подобное...

А тогда все начиналось под сводами желто-красного шатра цирка шапито; покрывающее каркас полотно протерлось едва ли не до основы за годы совместного существования многих людей — годы, полные лишений, переездов с места на место; да и ненастье сделало свое дело.

Эстебан собрал труппу, чтобы представить ей Жерома: появление в коллективе нового лица было довольно редким событием, достойным того, чтобы отнестись к нему с вниманием.

Да и было на что посмотреть. На манеже стояли в ряд столы. Что именно на них размещалось — догадаться было невозможно: наброшенные сверху простыни ниспадали до настила, посыпанного песком, отчего все вместе напоминало горный хребет в миниатюре. Лучи прожекторов, казалось, старались помочь любопытным и просветить покровы насквозь, но, увы, это было им не под силу — создавая игру света и тени, они лишь добавляли зрелищу загадочности.

Труппа расселась на зрительских местах. Синклит, надо сказать, подобрался хоть куда: ни одной заурядной личности, и все как на подбор бузотеры.

Среди них особенно выделялись Котон и Малена: переплетя пальцы рук, шевеля большими пальцами ног, они внимательно наблюдали за тем, как разворачивается пролог и на сцене появляются действующие лица. Если и существуют люди, о которых говорят, что они фокусируют на себе свет, то это как раз Котон и Малена, исполненная достоинства парочка: они, казалось, сами распоряжались светотенью, посмеивались над пространством и взламывали перспективу. Словом, приковывали к себе взгляды!

Малена, хоть и не вышла ростом, держалась в любой ситуации так горделиво и прямо, что, говоря с ней, всякий тоже чувствовал себя чуть выше, она будто умела отодвигать небо. Ее спина напоминала идеальной формы вазу — с узким горлышком и широкими боками. При ходьбе туго заплетенная длинная коса Малены, раскачиваясь из стороны в сторону, била ее по ягодицам, производя глухие, похожие на шлепки звуки. Бог наградил эту женщину миловидной наружностью с печатью чего-то античного. Представьте себе: семитские черты, бронзовая кожа, зеленый с золотистыми всполохами взгляд китайского дракона, брови вразлет, длинные ресницы, мушка на левой скуле, маленький подбородок и большой соблазнительный рот.

Ее спутник Котон был будто высечен из куска вулканического стекла: красивая голова пророка с припорошенными сединой волосами и совершенно белой бородой была посажена на борцовские плечи, а взгляд исполнен такого спокойствия, которое свидетельствует о затаен-

ной боли и дорого давшемся примирении с сущим, — от такого спокойствия делалось не по себе.

Настоящим шедевром природы были кисти его рук: редко встретишь подобную красоту. Он виртуозно владел ими, когда брался за гитару или принимался ласкать свою Малену.

Свет прожекторов и всеобщее внимание были прикованы к Эстебану.

— Позвольте представить вам Жерома, — начал он, обращаясь к труппе. — Крохой он прыгал у меня на коленях. Я хорошо знал его отца, знаменитого часовщика. И вот он возмужал, превратился в талантливого умельца, который может быть весьма полезен нашей цирковой семье.

Эстебан подмигнул долговязому тщедушному юнцу, тот вышел на середину манежа, откашлялся и назвался. Указав на столы, он изложил суть того, чем занимался:

— Это и есть плоды моего умения. Приглашаю вас подойти поближе и ознакомиться с ними. Надеюсь, они принесут прибыль и удачу вашей труппе.

Все поднялись и двинулись на манеж. Жером изящным жестом сдернул первую простыню. Котон услышал, как стоящий рядом Жоан выдохнул:

— Заводные игрушки!

Можно только диву даваться, сколько тревоги способно вместить в себя всего одно слово.

Жоана не подвели его утомленные глаза. Первый автомат представлял собой обезьянку в костюме грума, сидящую на приоткрытом ящике. Стоило ее завести, как она принялась одной лапкой снимать с головы шляпу в знак приветствия, а другой брать из ящика бананы и подносить ко рту.

— Какая хорошенькая! — вырвалось у Понетты, канатной плясуньи.

— Что это такое? — поинтересовался силач Джеф.

— Для чего это? — осведомился один из жонглеров.

— Ну ты и бестолочь, — покачал головой его партнер.

— Это автомат, — пояснил Жером.

— Новый аттракцион, — добавил Эстебан.

— Обезьянка? Аттракцион? — поразился клоун Лупо.

— Да нет, не обезьянка, вообще автоматы, — с ноткой раздражения в голосе бросил Эстебан.

Присутствующие переглянулись в поисках более ясного ответа. Понетта издала робкое "ах!", которое тут же спасовало перед чьим-то "ммм", повисшим в воздухе жалобной нотой. Джеф накрыл плечо Понетты своей пятерней, чтобы она не чувствовала себя единственной, кто никак не возьмет в толк, что же такое предлагается их вниманию. Канатоходка и Геркулес составили вместе весьма впечатляющую композицию, вроде тех скульптурных групп, что украшают столичные площади.

Понетта была славная девчушка: востроносенькая, с плутоватыми глазками, тонкими, часто нахмуренными бровями и соломенными волосами. Ее длинные ноги и грудь были в россыпи веснушек, мускулистые плечи образовывали прямой угол с тонкой и нежной, как у лани, шеей, а ступала она будто пава или очень кокетливая балерина. У нее была очаровательная привычка покусывать нижнюю губку, когда что-

то было выше ее разумения. Она любила напевать детские считалки, довольно ярко подкрашивалась, громко говорила, смеялась тоненьким дискантом, хлопала ресницами, порой взмахивала руками и била в ладоши, как бы аплодируя самой себе. И тому, что все у нее так ладно получается.

Полной противоположностью ей был Джеф: великан с накачанными мышцами, они то напрягались под кожей, то расслаблялись, похожие на сладострастных змей. В малейшем его движении чувствовалась сила. Не человек, а готовая распрямиться пружина, удав, исполненный пластики и мощи, султан решительных действий, пашá ежедневных подвигов. В его лице не было ни единой черточки, которая находилась бы в согласии с целым: мало выступов, много плоскостей, а лоб и подбородок столь массивны, что рот, ноздри и черные глазки на их фоне казались случайными деталями.

Довольный впечатлением, произведенным на собравшихся, Жером, выждав немного, прервал молчание:

– Мой отец был часовщиком. Одним из лучших в мире. Я тоже обучился этому ремеслу, но мне чего-то не хватало. И вот однажды я открыл для себя науку изготовления автоматов.

– И впрямь наука, – глухо подтвердил Жоан.

Жером принял его слова за комплимент и гордо продолжал:

– И наука и искусство! Я объездил Европу, учился у лучших мастеров. Сегодня мне по силам создать все, что рождает мое воображение. Эти несколько игрушек – всего лишь первые попытки.

– Жером поделился со мной кое-какими замыслами – чудеса да и только. Этот молодой человек поможет нам произвести переворот в цирковом искусстве, – добавил Эстебан.

– Во всяком случае, начало положено, – вздохнул Жоан.

Жером перешел к своему второму творению. Подле обезьянки восседал внушительных размеров малый из металла, лысый, большерукий, с бородой визиря и искаженным злобной гримасой лицом. Ног у него то ли не было вовсе, то ли он их поджал. Одна рука с огромной ладонью была вытянута вперед.

– Я назвал его турецким бандитом. Взгляните. Видите щель у него за ухом? Опускаем монетку, десять раз поворачиваем ручку...

Ко всеобщему удивлению, безногий культурист открыл глаза, глянул сурово и двинул другой рукой – сложенная ковшиком ладонь оказалась на несколько сантиметров выше первой ладони. Из металлического чрева донеслась барабанная дробь, три красных жетона упали из одной ладони в другую.

– Вуаля! – провозгласил Жером, а затем обратился к Джефу: – Вот вы! Будьте любезны, подойдите. Испытаем на вас.

Великан колебался. Жером ухватил его за мускулистую руку и повлек к автомату. Указав на педаль внизу, попросил нажать на нее.

Джеф поежился, бросил растерянный взгляд на товарищей, но охотников его заменить не нашлось. Тогда он очень осторожно дотронулся ногой до педали. Снова раздалась и тут же резко оборвалась барабанная дробь. Прошло несколько секунд, и та рука, что была сверху, втянулась внутрь, а жетоны провалились в маленький люк, устроенный в нижней ладони. Раздались смешки.

— Проиграл! — чуть насмешливо проговорил Жером. — Сосредоточьтесь и попробуйте еще раз.

Он снова опустил монетку, и все повторилось. Разобиженный Джеф напружинился, словно намереваясь нанести турецкому бандиту сокрушительный удар. На сей раз, только смолкло "бумбурум", он ловко завладел жетонами.

— Браво! — закричал Жером и зааплодировал, подавая пример остальным.

Джеф отступил на шаг и распрямил плечи, обводя присутствующих довольным и по-мужски уверенным взором.

— Дай! — рванулся к нему воздушный гимнаст Ренато и отобрал у него жетоны. — Теперь я.

Он уже собрался сунуть один из них в щель, но Жером удержал его:

— Нет, нет! Вам нельзя.

Неприятно удивленный Ренато весь напрягся.

— Вроде бы ничего сложного, — отважилась высказаться Понетта.

— Любой с третьей попытки освоит, — поддержал ее Ренато, всегда бывший с ней заодно.

— В этом-то и суть: опускаете монетки, а получаете жетоны.

Жером произнес это так, словно дал исчерпывающее объяснение. Но по лицам собравшихся было видно, что поняли не все.

Клоун Лупо и не претендовал на то, чтобы понять, хотя выглядел не более потерянным, чем обычно. Странный это был тип, какой-то ускользающий. Его нельзя было рассмотреть, только заприметить, как будто он всегда держался в проеме невидимой двери, то открывающейся, то закрывающейся в ритме ударов его сердца, никак не позволяющей целиком охватить его взглядом и составить себе о нем полное впечатление.

Все с недоумением уставились на Жерома, труппой владело нетерпение, едва удерживаемое в рамках приличий. Котон и Малена настороженно молчали. Жоан, казалось, погрузился в невеселые думы. Жонглеры переговаривались, китайские акробаты пожимали плечами. Джеф насвистывал, пытаясь избавиться от чувства неловкости. Понетта чертила носком правой ноги полукружия на песке. Ренато не знал, куда смотреть — на механического бандита или на завораживающие движения ножки своей соседки, приведшие его в состояние сладострастного томления и в конце концов побудившие к решительным действиям. Нужно было немедленно доказать Понетте, что он мужчина, на которого во всем можно положиться. Поскольку разобраться что к чему ему пока не удалось, он ринулся в атаку, заговорив с Жеромом в таком тоне, который ясно давал понять: хочешь не хочешь, а я от тебя не отстану. Лихо закрутив словесную спираль, он с апломбом заявил, что, поскольку автомат так легко обыграть, это не может служить источником удовольствия, к тому же приходится тратить монетку на то, чтобы завести его, причем не с целью обыграть — мы только что выяснили, что это не представляет особого интереса, — а с целью завладеть тремя жетонами... Напрашивается вопрос: "В чем ценность этих чертовых жетонов?" В довершение всего он принялся грозить указательным пальцем, словно то был маршальский жезл. У него самого создалось впечатление, что он блистательно провел атаку, однако каково же было его изумление, когда Жером хлопнул его по плечу и воскликнул:

— То-то и оно!

Его триумф почти свелся на нет, поскольку в следующую минуту Жером дал более пространное объяснение:

— Отвечаю: ценность жетонов определяется вашим желанием и не превышает стоимости самой мелкой монетки. Теперь понятно?

Ренато улыбнулся, осознав, что его сочли кое в чем правым. И все-таки вынужден был признать себя побежденным, поскольку никак не мог уловить смысл затеи.

— Мне так больше по душе обезьянка, — робко вставила Понетта.

— И вы готовы уплатить жетон за право посмотреть, как она двигается?

— Ну да, раз уж это ничего не стоит, — пожала плечами канатоходка.

Жером почувствовал, что пришло время выложить все карты.

— Ну вот, благодаря двоим из присутствующих тайна и раскрылась. Есть два типа автоматов: те, которые доставляют удовольствие, и те, которые служат для того, чтобы было на что получать удовольствие.

Далее Жером поделился своими планами создать множество автоматов, которые людям захотелось бы заводить снова и снова, и несколько автоматов другого плана, позволяющих зарабатывать жетоны. Посетители, мол, легче расстанутся с жетонами, чем с монетками. Если его ждет успех, в чем он нисколько не сомневается, можно будет распространить этот опыт на все цирки.

— Этому научили вас мастера, у которых вы обучались? — поинтересовался наконец Жоан.

— Хитрость не порок, — слегка обиделся Жером. — Главное ведь заработать побольше для цирка. Мною движет забота об общем благе и о том, чтобы каждому из нас лучше жилось и работалось.

— Друзья мои, — прервал их Эстебан, — если Жером нащупал верный путь, мы сможем к концу года обновить наши фургоны и даже приобрести новый шатер.

При упоминании о заветной мечте по труппе пробежала волна одобрительного шепота.

— А теперь, дорогой маэстро, — продолжал Жером, взяв старика Жоана под локоть, — я предоставляю вам судить о результатах моих трудов. Взгляните на следующее изобретение и скажите, по нраву ли оно вам.

Все двинулись за Жеромом к последнему столу метров семи длиною. На нем стоял большой деревянный ящик почти такой же величины. Жером вынул из кармана ключик, повернул им в скважине, приподнял тяжелую крышку, потом уверенно покрутил ручку завода и отступил на шаг.

Представший взорам миниатюрный замок осветился изнутри, одновременно послышались звуки штраусовского вальса, и в конце лабиринта дворцовых помещений появилась юная танцовщица. Движения ее были столь изящны и точны, что так и тянуло наклониться и разглядеть ее поближе, дабы убедиться, что это всего лишь кукла, а не настоящая принцесса, заколдованная и уменьшенная в размерах. Перемещаясь из одной комнаты в другую, она всякий раз исполняла новые па. Столько трепета и грации было в этой металлической фигурке в легком платье... Залы дворца словно тоже включились в ее танец, а обстановка будто подыгрывала ей: чашки и чайнички подпрыгивали, канделябры галантно протягивали ей свои ветви, помогая взойти по ступенькам, ко-

вры сворачивались, как бы боясь помешать движению ее ножек. Когда она преодолела в танце около половины замка, откинулась перегородка библиотеки, и на пути юной девы оказался мужчина с львиной головой. Она испугалась и попятилась. Человек-лев пал на колени и разрыдался от горя. Услышав его безутешные стенания, красавица остановилась. Затем помедлила и, как бы во власти бесконечной нежности, вновь приблизилась к нему, коснувшись рукой гривы. Зверь посмотрел на нее, приподнялся и поклонился. Она ответила ему милым реверансом. Он подал ей руку, она бесстрашно протянула ему свою, и они понеслись в вихре радостного вальса по оставшимся комнатам, до будуара, где неподвижно замерли у окна, держась за руки.

Спектакль с участием механических кукол длился недолго, но произвел на зрителей столь сильное впечатление, что они все никак не могли опомниться. Мысль о том, что один человек, да еще такой молодой, своими руками сотворил подобное чудо, была сродни вере в сверхъестественное. На глазах у Понетты выступили слезы.

Тишину нарушил Жером:

— Что скажете, дорогой маэстро? Каково теперь ваше мнение об искусстве создания заводных кукол?

Жоан сглотнул. Все обернулись к нему, ожидая, что он найдет подходящие слова.

— Я думаю... — медленно начал он, — что это было поистине прекрасно. Снимаю шляпу перед автором.

Труппа поддержала его аплодисментами. Все знали, как скуп на комплименты кукловод, и потому каждое похвальное слово из его уст дорогого стоило. Жером поблагодарил его кивком головы. Он был счастлив тем, что принят в члены необычного семейства.

Эстебан тут же принес бутылки с вином и коньяком, все взяли в руки бокалы, принялись весело болтать и по очереди подходить к Жерому, выражая ему искреннее восхищение.

Один Котон услышал слова, которыми напоследок обменялись в тот вечер Жоан и Жером.

— Рад, что вы одобрили мой труд, дорогой маэстро.

— Я сказал, что думал.

— Видите ли, изготовление такой игрушки, как "Красавица и Чудовище", требует времени и обходится недешево. И потому в наши дни ее создатель должен быть еще и неплохим коммерсантом. В этом его единственный шанс, залог того, что он сможет двигаться вперед, изобретать что-то новое, постоянно совершенствоваться.

— Неужели? — задумчиво отвечал Жоан, будто разговаривая с самим собой. — Вы, бесспорно, правы, Жером. Видно, я слишком стар, чтобы понимать новые порядки. Я привык жить по старинке. Я по-прежнему всей душой верю, что прекрасное, которое вы только что явили нам, никак не связано с коммерцией. Купить можно все что угодно, только не красоту движений.

— Мы придерживаемся различных точек зрения, но я расцениваю ваши слова как комплимент и глубоко вам признателен, — примирительным тоном сказал Жером.

Тут им завладел Эстебан, бывший слегка под хмельком, — он желал еще раз услышать, что думает молодое дарование о будущем цирка.

Жоан допил рюмку коньяку и, покинув шапито, отправился в свой фургон.

Котон проводил его взглядом, а затем взял гитару и исполнил испанскую балладу, надеясь, что мелодия долетит до окошка старого мастера и поможет ему уснуть.

Истоки

Цирк "Маркес" существовал уже на протяжении трех поколений. Эстебан этим очень гордился. Его дед, суровый здоровяк из Галисии по имени Маноло, в молодые годы больше походил на бандита, чем на артиста. Он, безусловно, владел искусством фокусника-иллюзиониста, но все же излюбленным его занятием было карточное мошенничество; в покере ему просто не сыскалось бы равных.

Видный мужчина, краснобай, он жульничал не только в карты... Этот закоренелый юбочник с полным правом мог называться "потрошителем", поскольку во всех возможных смыслах потрошил очередную жертву женского пола, облегчая не только ее кошелек, но и запасы добродетели. Это его чуть не сгубило. Однажды вечером, не удовольствовавшись тем, что в два счета обыграл в шашки одного жирного кота из города В., он задался целью еще и наставить тому рога. Облапошенный простофиля потягивал спиртное в баре, когда туда вбежала его половина с воплями, что один идальго украл у нее шерстяной чулок. По иронии судьбы, его разгневанная голубка выскочила на улицу, не успев толком одеться, и действительно явилась на глаза муженьку в одном чулке. Пока рогоносец разбирался, что к чему, у Маноло появился шанс на спасение. Задав стрекача, он всю ночь бежал по лесу, спасаясь от воинственно настроенных молодцов, посланными за ним вдогонку, и наконец нашел приют в попавшейся на пути цыганской кибитке. Так он прибился к бродячей труппе артистов, музыкантов, жонглеров, глотателей шпаг и огня, по старинке колесящих по округе и дающих представления. Несколькими годами позже на свет появился цирк "Маркес".

Перерождение его отца-основателя ни в коей мере не объяснялось искупительным порывом, овладевшим вдруг греховной душой; повинны в том были прелести одной цыганки, чьи жгучие объятия пленили его. Воздадим же должное плодородному лону, которое сподобилось осуществить то, что оказалось не под силу религии и закону, — превратить заурядного прохвоста в делового человека. От этого союза и родилось цирковое предприятие.

Очень скоро Маноло доказал, что от природы наделен деловой хваткой, задатками вожака и недюжинным режиссерским талантом. Долгое время практикуясь во лжи и игре, он многое узнал о людях своего времени и остаток дней посвятил тому, чтобы возвратить им свой должок в виде зрелища, заставляющего смеяться до слез и замирать от восторга.

Его единственный наследник Себастьян продолжил его дело уже с высоко поднятой головой. Как это часто случается с бандитскими чадами, он стал человеком честных правил и законопослушным гражданином. Жена, трюкачка, подарила ему двоих детей — Франсиску и Эстебана.

Благодаря неустанным усилиям Себастьяна цирк стал известен во всей Европе и даже за ее пределами. Однако успех потребовал от него тяжелой дани: дочь Франсиска, достигнув шестнадцатилетия, покинула семью и уехала в Новый Свет, никому не сообщив о своем отъезде и даже не оглянувшись на тех, кого покидала.

Жестокая пневмония свела безутешного отца в могилу. Он умер с кровоточащей раной в душе, оставив после себя творение своих рук. К счастью, он сумел привить сыну вкус к странствиям и аплодисментам.

Такова родословная Эстебана, достопочтенного владельца труппы "Маркес", у которой уже не одно десятилетие за плечами.

Никогда прежде не знал бродячий цирк такого расцвета, как при Эстебане. Сперва в его кочующую семью попал кукловод с именем. Жоану не было тридцати, когда он примкнул к труппе, но уже тогда его называли мастером. К великому удовольствию и взрослых и детей, шапито обзавелся собственным небольшим кукольным театром, оправдавшим ожидания Эстебана. Затем в труппу вошла предсказательница судьбы. После посещения кукольного спектакля она прочла по ладони Эстебана, что очень скоро ему выпадет редкая удача — заполучить ясновидящую экстра-класса. Малена была настолько убедительна, что через день уже предрекала зрителям будущее по руке и картам таро после представления. И наконец однажды, когда они выступали близ Севильи, в цирковую семью влилась юная наездница Мария, поразившая воображение кукольника Жоана. Она явилась не одна, а в сопровождении загадочного гитариста с кожей цвета черного дерева и белыми как снег волосами.

Так образовалось созвездие: Жоан, Мария, Котон, Малена... Этим четверым, как вместе, так и порознь, предстояло воодушевить труппу своей одаренностью и любовью.

Если когда-нибудь вам встретится старик, которому посчастливилось в отроческие годы хоть однажды видеть представление цирка "Маркес" (впрочем, ныне все они старики, зрители тех лет), расспросите его о наезднице и марионетках... о мелодиях, которые звучали в тот вечер, о том, что предрекла ему красивая женщина, склонившаяся над его рукой... Это не могло не оставить следа в его душе.

В первую неделю после знакомства с новым членом труппы Жоан от всего отстранился и заперся в своем фургоне, а если и показывался, то лишь для того, чтобы дать очередное представление своего балаганчика. Но однажды утром он понял, что трусит, и счел свое поведение недостойным. Собравшись с духом, он решил-таки навестить Жерома, занятого возведением павильона автоматов — огромного шатра, в котором разместились бы все его механические затеи. Жером бился над тем, чтобы это была одновременно прочная и легко разбираемая конструкция. Работа близилась к завершению.

Павильон был сконструирован так, чтобы посетители двигались от одного автомата к другому по проходам внутри шатра, а снаружи под широкими навесами предполагалось разместить "автоматы с жетонами". Так их окрестил Жоан, создатель же предпочитал называть их "игровыми", чтобы отличать от заводных кукол. Подразумевалось, что пер-

вое время у входа в павильон будет дежурить сам изобретатель, которому небезынтересно понаблюдать за реакцией посетителей. Жоану тут же невольно пришли на память другие, давние аттракционы с монстрами, все еще нет-нет да и встречающиеся на ярмарках. Но он тут же мысленно укорил себя: сравнение было несправедливым. Жером с его идеями, может, и представлял опасность, но вряд ли заслужил, чтобы его числили в одном ряду с теми, кто демонстрировал монстров.

Жоан вздрогнул от неожиданности: чья-то рука легла ему на плечо. Рядом стоял улыбающийся раскрасневшийся Жером.

— Ну что, все-таки любопытство взяло свое? Страшно вам рад. Вы — единственный, кому я еще не показывал своего хозяйства. Завтра вечером открываемся. Знаете?

— Слыхал. Показывайте, прошу вас.

Жером не заставил себя уговаривать. Театральным жестом он откинул пурпурную портьеру при входе и пригласил коллегу в свое царство.

Первыми, кого он увидел, были, как ни странно, Красавица и Чудовище. Жером собрался пройти дальше, но Жоан попросил завести игрушку. И испытал такое же потрясение, как и в первый раз. Одно было ему удивительно: сам Жером как будто не обращал на вальсирующих человека-льва и его возлюбленную ни малейшего внимания, словно потерял к ним интерес.

В следующих помещениях их встретили забавные куклы. Они были как живые. Жоану нетрудно было представить себе, сколько радости и восторга доставят эти чудеса изобретательности посетителям. Сомнений быть не могло: предприятие ждал успех.

По завершении осмотра Жером пригласил старого мастера на чашечку кофе в свой фургон. Тот кивнул в знак согласия. Но перед тем как покинуть павильон, вдруг застыл с немым вопросом на устах.

— Что-то не так? — спросил Жером.

Жоан как будто не сразу подобрал нужные слова:

— А не с конца ли мы начали?

— Знаю, что вас смущает, — улыбнулся молодой человек. — Вы находите нелогичным начинать с самого прекрасного. Это отнюдь не случайно, и вот почему. Главная причина — чисто практического порядка. Это самый громоздкий из автоматов! Цель ведь в том, чтобы пропустить за вечер максимальное число зрителей. В первую комнату, самую большую, я впускаю сразу много людей. Дальше становится все теснее, создается поток, который гонит посетителей к выходу, не позволяя им надолго задерживаться. Движение ускоряется, и у них возникает желание еще раз побывать в павильоне.

Жоан, казалось, утратил дар речи.

— Вторая причина — чисто художественного плана. Люди, выходя отсюда, должны улыбаться. И потому заканчивать надо самым забавным, так, чтобы зритель покидал наш павильон в прекрасном настроении. Я все предусмотрел.

Жером видел, что старик совершенно растерялся. Тогда он взял его за локоть и подвел к своему фургону, где стояли столик и два табурета, на один из которых он и усадил гостя.

— Ну что ж, выкладывайте мне все, что накопилось у вас в душе по поводу автоматов, — попросил он, вернувшись через некоторое время с кофейником в руках.

Жоан чувствовал себя не в своей тарелке: не по нутру ему была ни сама игра в откровения, ни фамильярный тон его собеседника — вместо того чтобы растопить лед непонимания, эта фамильярность еще больше сковывала старого кукольника.

— Жером, мне кажется, мы друг друга не понимаем. Я не желаю вам дурного.

— Знаю, — ответил тот. — Я пошутил. Однако согласитесь, вы относитесь ко мне с большим недоверием.

— Это так. И прошу у вас прощения за стариковские предубеждения, которые могли вас ранить. Попробую объяснить свое отношение, хотя, признаюсь, у меня к вам очень много вопросов.

— Спрашивайте о чем хотите, ответы будут максимально честными.

Жоан долго собирался с мыслями и наконец робко улыбнулся:

— Зачем вы к нам пришли?

У Жерома от неожиданности вытянулась физиономия.

— Я хочу, как и вы, работать в цирке, демонстрировать результаты своих трудов. Хочу помочь цирку выжить в трудных условиях.

— Какая из этих целей для вас важнее?

— По мне, так они все важны.

— Вот как? — поразился старик.

Оба молча разглядывали друг друга, каждый словно боялся совершить оплошность. Первым нарушил паузу Жоан.

— Теперь и я могу частично ответить на ваш вопрос: я не очень-то жалую автоматы, они вносят смятение в умы.

— Я вас не понимаю.

— Судите сами: вы создаете механизмы, которые производят какое-то действие. Зрители приходят в восторг от точного или забавного воспроизведения реальных персонажей. Вот я и боюсь, как бы они не стали восклицать: "Посмотрите, на что способен этот автомат! Как это прекрасно!"

— Это комплимент.

— Так ли? Но ведь автомат ни на что не "способен", Жером, он только выполняет заложенную в него программу. Это меня и пугает. Когда игрушку заводят в первый раз, может, на нее и стоит взглянуть, посмотреть, как она работает, а потом собраться с духом да и сломать ее. Кто знает... Мы живем в неспокойное время, Жером, когда смешивают понятия "ум" и "умение", "ценность" и "цена". Человек словно погребен под самостоятельно функционирующими вещами. Мы столько всего накапливаем, что перестали различать, что нам действительно нужно, а без чего легко обойтись. Из вещей воздвигаются мощные баррикады, которые начинают вытеснять нас самих. Зачастую о человеке можно что-то сказать, только составив список имеющихся у него вещей.

— Значит, вы вменяете в вину моим механизмам то, что они способствуют воспитанию материалистического отношения к жизни. Право, не ожидал от вас.

— Вы преподносите на блюдечке уже готовое, вместо того чтобы рассказать и заставить хоть чуточку задуматься.

— Но, Жоан, я не претендую на владение истиной, я всего лишь художник.

— Вы — художник, Жером? Тогда вы просто обязаны на это *претендовать*, потому как у вас нет ничего более ценного, что вы могли бы предложить людям. Бог мой, что бы вы подумали о пожарном, который не претендует на то, чтобы тушить огонь?

— Вы живете прекрасными идеалами, маэстро. Я же ставлю перед собой гораздо более скромные цели.

— Чему мы служим, Жером? Мы, здесь, на земле?

— Тому, чтобы развлекать людей, я думаю.

— Знали бы вы, как я боялся услышать это от вас...

Они замолчали; оба догадывались, что между ними разверзлась пропасть и моста через нее нет. К счастью, появился Джеф в своей рабочей, заляпанной краской спецовке, с коробкой в руке. Подойдя к столу, он попросил Жерома помочь ему развесить бумажные фонарики.

Жером смущенно взглянул на Жоана, тот ему улыбнулся и одобрительно кивнул.

Допив кофе, кукольник грустно поплелся в сторону шапито. По дороге он увидел Котона, чинившего кресло-качалку.

— Жоан, сделай одолжение, усади свои старые кости в кресло и скажи, удобно ли оно, — попросил Котон.

Жоан исполнил просьбу своего давнего единомышленника.

— Просто замечательно.

— Что-то все же не так, по твоей физиономии вижу, тебе не очень-то удобно.

— Просто я боюсь, что мы вот-вот утратим нечто ценное, — брякнул вдруг Жоан, — но, может, все старики этого боятся.

Котон рассмеялся.

— Выходит, мое кресло не так уж плохо. В особенности для тех, кому есть что сказать. Я его заколдовал, сам того не желая.

Хорошее настроение Котона передалось и Жоану, в лице у него прибавилось красок.

— Очень удобное, — подтвердил он. — До вечера.

— До вечера, до вечера, дружище, — слегка обеспокоенно отвечал Котон.

В *объятиях Йеманжи*[1]

Котон смотрел вслед удаляющемуся другу, и у него щемило сердце. Он сел в кресло-качалку, вынул из кармана сигару, раскурил ее, вытянул ноги, закрыл глаза и замер. Он знал: самое худшее сейчас — испугаться. И стал слушать удары своего сердца.

Котон вырос под жестяной крышей лачуги, где, кроме дощатых стен, ничего не было. Его босые ноги знались лишь с пылью да грязью. Он видел, как отец после каждого шквала ветра раз за разом восстанавливает разрушенную хибару, и это послужило ему жизненным уроком: нельзя слишком полагаться на то, что человек соорудил своими руками.

1. Йеманжа — богиня моря, почитаемая в Бразилии.

К сожалению, крайняя нужда еще не порождает добродетели. Внук раба, он пренебрег заветом стариков не растрачивать себя попусту и пустился во все тяжкие. Нет, ныне он ни о чем не жалел — ни о том, что одурманивал себя алкоголем и наркотиками, ни о том, что попадал в сети к роковым женщинам с пустыми глазами. Не сожалел он и о вспышках гнева, случавшихся у покрытых испариной завсегдатаев питейных заведений, — вспышках, нередко перераставших в дикие потасовки. Не без удовольствия вспоминал он и попойки, когда вместе с винными парами в его юную, задавленную тысячелетним отчаянием душу проникало оброненное кем-нибудь слово правды. Состояния наркотического экстаза — и те не были вовсе уж бесполезны: в аду порой встречаются и трогательные чудовища, и окна, распахнутые на задворки мира.

Надо было только отыскать в этом сложнейшем лабиринте свою тропку и идти по ней. Ему указал ее тучный хозяин борделя "Дом Йеманжи" с острова Д.

В тот вечер Котон ударился в загул, да и как еще было заглушить воспоминание о ноже, который он в драке засадил под сердце одному бедолаге, как поскорее расстаться с пачкой засаленных долларов?

Грузный хозяин дома, даже и не дома, а так, барака, Пако пребывал, как говорили завсегдатаи, в "особом состоянии", попросту в запое. В редкие минуты трезвости его охватывала черная меланхолия — серьезный недуг, весьма распространенный среди потомков рабов. Всю жизнь он пытался лечить свою больную душу обжорством, но колдунья, повелевавшая меланхолией, не сдавалась. Когда становилось совсем невмоготу, он пускал в ход единственный способ ослабить хватку этой мерзавки — принимался оглушительно хохотать. В остальное время заливал тоску крепкими напитками, раз уж никак иначе нельзя было от нее избавиться. Однако, надо сказать, меланхолия Пако была чудесного свойства, из тех, что сжигает поэтов и девственниц. Когда у него наступал кризис, в борделе прекращалась торговля телом, ибо все знали: настал час молитвы. А поклонялся и молился Пако музыке, она была его идолом. Он играл на гитаре и пел песни по меньшей мере на четырех языках, хотя и не говорил на них. Окружающим становилось ясно: человек поездил по свету, прожил богатую событиями жизнь до того, как обосновался на острове.

Когда Пако брал в свои лапищи с толстыми пальцами инструмент, преображался и он сам, и всё вокруг. На свет рождалось нечто, исполненное глубочайшей нежности, трущобы начинали казаться дворцами, а Африка, Южная Америка, Испания и Португалия, как и все прочие места на земле, где не утратили привычку хлопать в ладоши и стучать ногами, становились столь же реальными, как сам исполнитель, как побережье с мелким песочком, как жадные рты продажных женщин.

В тот вечер всей душой, всем сердцем он был в Бразилии, и голос его сделался медоточивым. Уже под конец прозвучала одна короткая печальная песня, слова в ней перекатывались словно отполированные морем голыши. К Котону пришло озарение: да ведь эта музыка и есть его тропка. У него перехватило горло, он расплакался, впервые в жизни по-настоящему. Слезы текли и уносили с собой те частицы его естества, о которых и говорить-то не стоит, — всякий знает, что скапливается в душе мужчины за всю его жизнь, и, право, лучше уж выйти этому со слезами.

— Пако, эта твоя песня... как она называется?

Тот не сразу ответил, сперва придирчиво оглядел юнца.

— "É doce morrer no mar...", черномазенький-в-лесу-заплутавший.

Если б кто другой назвал его так, да хоть сам касик Т., диктатор острова, Котон, глазом не моргнув, всадил бы ему меж ребер нож.

— Научи.

— А почему это я должен тебя учить, шоколадный ты мой?

— А потому, что нельзя вытягивать из людей всю душу, ничего не давая взамен.

Пако выпучил глаза, а затем разразился гомерическим хохотом, прогоняющим меланхолию. Глядя на него в эту минуту, можно было подумать, что началось землетрясение. "Этой глыбе ничего не стоит меня раздавить, — пронеслось в голове Котона, — ну и пусть".

— Что верно, то верно, — угомонившись, примирительно сказал Пако. — Раз уж ты с твоими неграмотными куцыми мозгами учуял это, я не могу тебе отказать. Это аукнулось бы мне несчастьем. Запоминай:

Nas ondas verdes do mar meu bem
Ele se foi afogar
Fez sua cama de novo colo de Iemanjá
É doce morrer no mar.

— Я по-португальски не умею, — заявил Котон.

— Да ты ни по-каковски не умеешь, cativo[1], но эта беда поправима.

Котон подсел к нему, и начался торг, который продлился всю ночь. А с первыми лучами солнца они уже шли по дороге в столицу, где на все Котоновы доллары купили испанскую гитару из палисандрового дерева.

Вернувшись, Котон стал прислуживать в заведении. Следующие пять лет он спал на циновке, был в борделе на побегушках, а в случае надобности и вышибалой. В обмен на это Пако каждый день, чаще по утрам, обучал его игре на гитаре.

Из всех преподанных Пако уроков один был особенно важным, но ученику потребовалось пройти через многие испытания, прежде чем он окончательно усвоил его.

— Самое главное — уметь слышать. Обрати внимание: слышать, а не слушать. Слушать — все одно что лгать. Когда уловишь разницу, станешь понимать даже ночных сов и старые деревья.

Пако уводил Котона в мангровые заросли и там учил брать аккорды, выводить гаммы и держать ритм, причем советы его носили весьма пространный характер: "Бери ля-минорный септаккорд так, чтобы было похоже на лопнувшую тетиву, а ре-минорный — как будто мимо тебя просвистела стрела, пущенная из этой самой тетивы". Котону никак не удавалось в точности исполнить наставление, и потому на него чаще сыпались ругательства, чем слова поощрения. Как он ни старался, у него нипочем не выходило изобразить с помощью звуков шелест травы, журчание ручейка, тяжелую поступь коров, удар кокосового ореха о песок, женский вскрик... Руководство по игре на гитаре, спрятанное в тучном теле учителя, было недоступно для его глаз, прикованных к грифу. Вот уж и пальцы

1. Ублюдок *(порт.)*.

его ловко скользили по струнам, брали аккорды, выводили мелодии разных стран, а учитель был им по-прежнему недоволен. И все же он не бросил гитару, не потерял надежду, потому как знал, что ступил наконец на собственную дорожку, а его проводнику, хоть тот и отпускал обидные замечания и колкие шутки, ведомы все повороты и малейшие изгибы пути.

Четырежды в год на смену одному времени года приходило другое, так повторялось пять раз — столько длились их занятия, столько времени оба они были почти счастливы. И вот наступило одно знойное безрадостное лето, сковавшее их бессилием. Все оцепенело, духота и немота властвовали над всем живым. Пако как будто что-то понял о самом себе и отложил гитару в сторону. Последние уроки он нашептывал, и все равно было чему поучиться.

Понял и Котон: не одна меланхолия одолевала учителя, изнутри его медленно пожирало некое членистоногое.

С тех пор как между ними встала смерть, как-то само собой выяснилось: Пако снимает с себя обязанности по управлению борделем "Дом Йеманжи".

Котон между тем обучился начаткам португальского и узнал, о чем поется в той песне, которая разбередила ему душу и изменила его жизнь.

Как сладко закончить путь
В зеленых морских волнах.
Как сладко навек уснуть
В зеленых морских волнах.

Лодка, как тень, легка,
С утра не встретит прибой.
Прекрасного рыбака
Йеманжа взяла с собой[1].

Йеманжа... Бордель был назван в честь богини, некогда чуждой этим берегам, политым потом и кровью негров, проданных своими же братьями белым демонам и завезенных сюда в трюмах, богини Океана и Меланхолии, такой же чернокожей, как и те, кому она служила утешением.

В следующие три года борделю предстояли медленные, но глубокие перемены. Пришло время заново обучить людей хорошим манерам и самоуважению: так решил Котон и таково было то Великое Дело, которое он наметил для себя в качестве личного вклада в борьбу с диктатурой.

Для него жить в тени тирана было все равно что взрослеть рядом с дурным отцом, раздающим оплеухи и подачки, сообразуясь только с собственными прихотями. Путем долгих размышлений Котон вывел, что инфантильное отношение к миру — опаснейшее заболевание, весьма распространенное при диктатуре, а слепое смирение — следствие глубочайших ран, которые она наносит человеку.

В своем цивилизаторском порыве Котон осознал, что действует в самой гуще живородного садка, посланного ему Провидением. Умение различать добро и зло — к этому в конечном счете сводилось, на его

1. Романс бразильского композитора Дориваля Кайми на стихи Жоржи Амаду. Перевод с португальского Ольги Орловой.

взгляд, воспитание. А здравый смысл подсказал, что во все времена именно женщины учат мужчин жизни. И те — с большей или меньшей охотой — принимают такое положение вещей, поскольку оно проистекает из самой тайны зарождения жизни в женском чреве. Не важно, считал он, выходят ли мужчины оттуда на свет или платят, чтобы туда войти, это дела не меняет.

Для начала он сам превратился в тирана и произвел жесткую селекцию клиентов, отобрав потенциально способных очеловечиться; остальные были признаны не подлежащими переделке невежами, хамами, грубиянами. Первые были выявлены простым способом: в их лексиконе присутствовали дедовские словечки "добрый день", "спасибо", "пожалуйста". Вторая категория определялась по более сложным критериям: грубость, скотство, пьянство и, наконец, личная гигиена, вернее пренебрежение ею — последний грех был легче всего поправим, при условии, что сам раскаявшийся прилагал к тому усилия.

Начальный этап заключался в превращении дома терпимости в клуб джентльменов-пролетариев. Правила были неписаны, подразумевалось, что они витают над столиками в облаках сигарного дыма; Котону оставалось лишь применять набор санкций (пинки, затрещины, изгнание из клуба), выступая судьей и исполнителем приговора в одном лице.

Пако, все больше времени проводивший в саду при борделе лежа в гамаке, сперва посмеивался — мол, так недолго и всех клиентов лишиться. Но в одном интуиция Котона не подвела: те, кому было негласно разрешено посещать заведение, обрели в жалком захолустном вертепе нечто более редкое, чем пара аппетитных ляжек, а именно — чувство собственного достоинства. Остается добавить, что достоинство за столь умеренную плату — такого на острове еще не было.

За каких-то два года эта бескровная революция преобразила царящие в "Доме Йеманжи" привычки, а сам он поменял название, причем произошло это как бы само собой: люди окрестили его "Обитель Йеманжи", ведь стать его завсегдатаем было так же непросто, как переступить порог монастырской обители. И то сказать, в иные вечера собравшиеся у входа напоминали воскресную процессию у дверей храма — настолько эти господа увлеклись игрой в учтивость и чистоплотность.

Когда манеры прихожан и их обхождение с девушками перестали наконец вызывать недовольство Котона — за что он, кстати сказать, снискал благосклонность своей паствы в юбках, — реформатор приступил к следующему этапу проекта: цивилизовав клиента, надлежало изменить экономические правила, существовавшие в данном секторе рынка.

При Пако девицы сами назначали цену и половину заработанного отдавали в общий котел. Котон предложил разбить их доходы на десять частей: четыре оставлять самим работницам, две направлять на текущие расходы, остальное "одалживать" ему на полгода для того, чтобы он мог вкладывать средства в какое-нибудь прибыльное дело. В конце первого полугодия девицы устроили собрание. Котон доложил о состоянии финансов, а когда огласил цифру из графы "чистая прибыль", был зацелован своими компаньонками. Остаток ночи посвятили обсуждению того, что делать дальше. Дом обзавелся курятником, прикупил земли под пло-

довый сад и огород, а полтора года спустя приобрел небольшую постройку под прачечную.

Именно в это время у "Обители Йеманжи" нежданно появился союзник в лице священника — отца Мигеля. Святой отец — да воздастся ему по делам его — прослышал о том, что происходит в заведении, и стал искать с Котоном встречи. Его целью было узнать, что движет необычным сводником, и понять суть его преобразований. Встреча состоялась, но, разумеется, не в "Обители", и после данных ему разъяснений падре признался в своем искреннем восхищении, попросив, однако, чтобы его мнение не было предано огласке.

— Поздно, падре, — отвечал Котон, — теперь, когда вы все знаете, ваш долг нам помочь.

— Друг мой, — принялся возражать престарелый священник, видевший слишком много беззакония и бедности, чтобы дать увлечь себя сказками, — одно дело — счесть ваши начинания похвальными, и совсем другое — участвовать в торговле плотью.

— Не надо обманываться, падре. Девушки, торгующие плотью, — рабыни. Они смогут заработать денег и даже изменить свою жизнь, выйдут замуж и будут ходить к мессе с высоко поднятой головой, как и другие ваши прихожанки, но все равно останутся рабынями.

— Не понимаю. Вы ведь для того и стараетесь, чтобы помочь им освободиться.

— Я в силах помочь им выбраться из нищеты, а вы — научить их читать и писать. Бывают такие обстоятельства, когда можно торговать своим телом и не замарать душу. Но нельзя сделать достойный выбор в жизни, если не умеешь писать свое имя.

Всю ночь длилась их беседа. А наутро они договорились, что трижды в неделю падре будет учить девушек грамоте в помещении прачечной.

Свет еще не видывал школы, где царило бы такое веселье. Надо воздать должное почтенному падре Мигелю — он не поддался искушению получить какое-либо вознаграждение за свой труд, пребывая, так сказать, в саду удовольствий, среди умопомрачительных красоток. И не то чтобы он был совсем бесчувственным. Не раз во время занятий с какой-нибудь отстающей ученицей его рука невольно касалась ее груди или бедра. Но он тотчас раскаивался, мысленно бичуя себя. Подопечные обожали его как за широту души, так и за минутные слабости. Негодницы, однако, не облегчали ему пасторского служения, соперничая в озорстве, проказничая и выставляя напоказ то, до чего он был так охоч. Немногим святым отцам довелось до такой степени познать искушение, выйти из него с честью, да еще и снискать всеобщую любовь.

Восемь лет минуло с тех пор, как Котон впервые услышал игру Пако на гитаре. Дела шли в гору. Многие девушки занимались уже обычной торговлей, а не торговлей своим телом, кое-кто даже обзавелся мужем. Новые клиенты являлись в "Обитель" с цветами и фруктами в знак уважения к тем, кто еще не оставил постыдного ремесла.

Котон испытывал и радость и гордость: кто другой в его стране мог похвастать, что наставил нос судьбе, диктатуре и нищете одновременно? И даже если речь шла о горстке бедолаг в захолустном селении, о котором никто никогда не услышит, игра стоила свеч. Чернокожий внук рабов в забытом Богом борделе с помощью святого отца и тучного ста-

рого гитариста восстал против несправедливости и без громких фраз победил ее, пусть это и произошло на отдельно взятом острове, в микроскопическом масштабе.

Едва росток счастья стал пробиваться в его сердце, как тут же и беда свалилась на голову: смерть пришла-таки за Пако, не забыла о нем. О, в этом не было ничего неожиданного, членистоногое давно уже не выпускало его из своих клешней, и жуткие боли все последние месяцы не предвещали ничего хорошего.

И вот после полудня, когда нежное и сладостное дуновение ветерка осмелилось перечить воле властного небесного светила, лежащий в гамаке Пако позвал Котона. Едва тот услыхал изменившийся голос учителя, как все стало ясно. Теперь-то он умел слышать.

— Черномазенький-в лесу-заплутавший, пришел мой срок.

Котон молчал, понимая, что предстоит сделать.

— Перед смертью хочу понять одно: чего ты таскаешь за собой это имя[1] Оно напоминает о цепях, в которые плантаторы заковывают рабов.

— Когда-то давно, когда я был маленьким, я жил на своем острове, рядом была плантация сахарного тростника, там трудился мой отец. Он был свободным человеком. Его свободы хватало только на то, чтобы гробить себя на этой чертовой плантации. Я не очень-то понимал, что это за свобода такая. Мама умерла. А отец делал то же, что и его отец, который был рабом. Разница состояла в том, что моему отцу в конце месяца за ту же работу платили несколько монет. Было на что купить мне одежду и книги для школы. Я очень хотел, чтобы отец время от времени разговаривал со мной, но смертельная усталость так же угнетает душу, как цепи — тело. Он молчал, а я его за это ненавидел. Как-то раз он вернулся домой с исполосованной спиной. Я догадался: его били. Спросил, за что, он не ответил. Я пришел в такую ярость, что убежал в лес. И не хотел возвращаться. Я был тогда еще мал, он догнал меня. Когда я увидел, что он идет по моим следам и какого труда ему стоит каждое движение, разозлился еще больше. Я был уверен: он накажет меня. Ничуть не бывало. Он поднял меня на руки и понес. Так я вернулся. Наутро я встал пораньше, он еще спал. Я взял мачете и направился к красивому дому — убивать плантатора. Думал, застану его тепленького в постели. Но он был в кухне, вдрызг пьяный. На что я был малец, а все же понял: смерть его уже пометила. Завидев меня с мачете в руках, он заулыбался. И я понял: он ждет, чтобы я освободил его, даже если мне и невдомек, от чего. И вот что он мне сказал: "Давай убей меня. Садани как следует и беги. Ты чернокожий, а у вас только два пути: сахарный тростник или хлопок. Беги от тростника, прибьешься к хлопку, негритенок".

— И ты его не убил.

— Нет, я понял, что должен остаться. Понял, почему мой отец по́том и кровью оплачивал мои книги и одежду. И вернулся к отцу. Он еще спал. Я сварил ему кофе и разбудил. Он был очень удивлен. Я помог ему сесть и помазал спину. Потом одел его. Он пошел по дороге на плантацию, подарив мне лучшее из того, что мне доводилось получать в жизни, хотя тогда я этого не осознавал.

1. Котон в переводе с испанского и некоторых других языков — хлопок.

— И что же это?

— Он шел и напевал. До того дня я ни разу не слышал, чтобы отец пел.

Пако взял гитару и прижал к груди. Его пальцы дрожали, и играть он, конечно, не мог. Но в том уже не было нужды. Котон умел слышать.

— И откуда у тебя такое имя?

— Отец умер. Я тайком бежал с острова на пароходе. И пообещал себе, что однажды стану свободным человеком, а до тех пор побуду Котоном, чтобы не забывать, что именно люди придумали цепи и нищету. Имя, которое дали мне родители, — самое прекрасное в мире, однако я еще должен его заслужить. Надеюсь, моей жизни на это хватит.

Пако одобрительно кивнул — говорить он уже не мог, — взял Котона за руку и улыбнулся. Котон взвалил тяжелого Пако себе на плечи и двинулся с ним по тропинке, ведущей к Океану — до него было метров сто. Положив Пако в лодку, Котон сел на весла. А когда берег превратился в узкую ленту на горизонте, он поцеловал уже уснувшего друга в лоб. Черты лица его разгладились, видно его наконец отпустило. Котон мачете продырявил днище лодки, прыгнул в воду и поплыл к берегу. А когда достиг его — обернулся и запел, глядя на гребешки волн вдали:

Тот, кто мне всех дороже,
В сумрак уплыл колдовской.
Спит он на брачном ложе —
На груди у богини морской.

Как сладко закончить путь
В зеленых морских волнах,
Как сладко навек уснуть
В зеленых морских волнах.

Любовь и все такое

Малена с нежностью укрыла плечи Котона одеялом, взъерошила слегка его седые волосы, чмокнула в шею, встала, закуталась в просторное пальто и поставила воду на огонь.

До чего же прекрасен во сне ее вечный солдат, ее Ахилл! Если и существует на свете воплощение мужской силы — то вот оно перед ней, это он, ее спутник, с его кроткой улыбкой и глубокими морщинами. Все-все в нем ей близко и дорого: и исполняемые им мелодии, и запах его кожи, и грудной смех, и янтарные искорки в темных зрачках, и то, как он умело справляется с мелкими житейскими неурядицами. Прижаться к нему — это словно пустить корни, он — гумус для всего, что тянется к свету, и оба светила, дневное и ночное, явно покровительствуют ему. Ах, Котон, менестрель, у тебя что ни слово — то бальзам, что ни ласка — то молитва...

Засвистел чайник, Малена налила кипятку в керамическую кружку и опустила туда пакетик с собственноручно собранными травами. Бесшумно вышла из фургона с кружкой в руках.

По вечерам, в хорошую погоду, Эстебан разжигал на площадке, образованной поставленными вкруговую фургонами, костер. Это было своеобразным напоминанием о том, что объединяло труппу, — островок тепла в центре круга. Никаких обязательств, никаких ритуалов — кто хотел, мог выйти из своего жилища и посидеть с другими у огня. А еще и попеть, и поужинать, и просто помолчать.

Этой ночью было прохладно, и к костру никто не вышел. Да и денек выдался утомительный. Малена была рада тому, что одна; взглянув на звезды, она задумалась.

В ней еще пульсировало все то, что она испытала в объятиях своего волшебника. Целых пять десятков лет ждала она его, а когда он пришел, сразу же распознала и приняла. Разве это не чудо? И теперь каждый день был праздником, расцвеченным всеми цветами радуги; утро было хорошо уже тем, что предвещало вечер, и легко было идти по жизни вместе со всеми, предвкушая ежедневную награду — минуту, когда они останутся наедине и достаточно будет протянуть руку, чтобы прикоснуться к пылающему средоточию любви и ощутить огненный ток... Кончики пальцев и язык этого мавританского владыки, смеющегося как ребенок, словно источали священный огонь, а его мужское орудие было опытным и ненасытным — Малене почему-то нравилось представлять его себе в виде коричной палочки внушительных размеров. Ее душка, ее мужчина, ее Котон был такой же плотный и легкий, твердый и нежный. Когда она о нем думала, все в ней замирало, как в предощущении весны, да он и был сама весна, приходящая вслед за холодными ненастными днями...

Из тени выступил чей-то силуэт и несмело приблизился к костру. Она пригляделась и узнала Понетту — улыбаясь, та будто спрашивала: "Можно?" Малена сделала приглашающий жест. Понетта юркнула к ней под бочок и накинула на ноги плед.

— Ну что, негодница? Не спится? — подмигнула Малена.

Понетта, без грима совсем девчонка, плутовски взглянула на нее и, как непослушное дитя, мотнула головой.

— Не иначе сердечные дела, — погрозила ей пальцем ясновидящая.

Понетта сморщила носик и утвердительно кивнула.

— Что, снова этот пентюх Ренато звал тебя замуж?

Понетта состроила гримаску и принялась мять себе пальцы.

— Ну, без этого и недели не проходит, — ответила она. — Скорее другой... От него голова кругом идет.

— Лупо? А он-то тут при чем?

— Ни при чем и при всем. Лупо — он ведь такой: молчун. Это меня и бесит.

— У вас продолжается?

— В том-то и загвоздка. Никак не найду в себе сил отказать ему. Ругаю себя, говорю: больше этому не бывать — но стоит ему бросить на меня этот свой взгляд, ну... ты знаешь какой, и меня словно подменили.

— Не знаю, что там у него за взгляд, но вообще-то понимаю, о чем речь.

— Так вот, этот взгляд зажигает меня, будто я рождественская гирлянда. Я начинаю хлопать глазами, соски твердеют, а ноги подкашива-

ются. Просто сумасшествие какое-то. А в остальное время он даже не кажется мне красивым, этот Лупо.

– Сама знаешь, это разные вещи.

– Так-то оно так, но что же мне теперь – сохнуть по какому-то клоуну, который мне даже не нравится?! Еще не хватало отдать ему свое сердце.

– А что, он у тебя его просил?

– Да нет, и это меня бесит больше всего.

– А Ренато его у тебя вымаливает, но при нем ты не зажигаешься, как гирлянда!

– Лупо – это... Рождество, а Ренато – пост без разговения.

Малена от души рассмеялась и обняла юную эквилибристку. Они молча сидели, прижавшись друг к другу и уставившись на огонь, каждая думала о своем. Сверху на них взирала луна. Малена давно стала для Понетты второй мамой. Родная мать порвала с ней после того, как она поступила в цирк. Малену ей послало Провидение: она умела читать не только по руке, но и по глазам. Понетта беззаветно ее любила, а та опекала девушку, отдавая ей всю свою нерастраченную нежность, как ребенку, которого не могла иметь.

– Понетта, душенька, ну почему ты считаешь, что нужно непременно делать выбор?

– Потому что нехорошо развлекаться с мужчиной, за которого не собираешься замуж... или он тебя об этом не просит. Я, конечно, в таких делах не дока, но это знаю наверняка.

– Ах вот как? – дразнящим тоном протянула Малена.

– Ну да, а как же? Если бы он мне сказал, что хочет связать свою судьбу с моей, я могла бы собраться с духом и отказать, заставить страдать. А так... это немыслимо. Как отказать тому, кто ни о чем не просит? Чудовище. Говорю тебе – чудовище, каких свет не видывал.

– Ясно. Он тебя приворожил.

– Вот именно! Приворожил! Вчера, к примеру, зашла я в гримерку переодеться перед следующим номером. Сижу себе подкрашиваюсь. И вообрази: открывается дверь, он входит и молчит. Чудовище! Встает прямо за моей спиной и жжет меня своим взглядом через зеркало. Я оборачиваюсь. Он берет меня за бедра, приподнимает, прижимает к себе. Я хочу что-то сказать. Не тут-то было! Господин изволит меня целовать, да знаешь, так властно. Я и пикнуть не успела, как он стаскивает с меня трусики. А я, представь, уже мокрая. Ну не идиотка ли? Как ему сказать, что низ не всегда в согласии с верхом, это ведь так запросто не объяснишь, да и не до того, он времени не теряет. Пока я обдумываю слова, он сажает меня на стол и – бац! – всаживает в меня свою игрушку. И пошло-поехало. Вместо того чтобы воспротивиться, я только и знаю что пищу: "Еще, еще". Ну он и продолжает. А там где уж останавливаться, ведь пока суть да дело, верх и низ обо всем договорились. Блаженство. Я летаю. Сказать "нет"? Как бы не так! Я урчу от удовольствия, как кошка перед миской с молоком. А потом меня словно накрывает горячей волной с головы до кончиков пальцев. И я уже не пищу и не урчу, а рычу! А он меня ну кусать! Матерь Божья, до чего же здорово! В итоге подумать страшно, что это хоть на день прервется. Я таю, от меня ничего не остается, я уже не гирлянда, а огонь в ночь на Святого Хуана. Или петарда. Чпок – и я взрываюсь. Ну не приворожил ли?

Понетта говорила гадалке о наболевшем с самым серьезным видом и яростью в голосе, а у Малены между тем от смеха покалывало в боку.

— И знаешь, что дальше? — чуть не плача продолжала эквилибристка. — Ни-че-го! Бросает мне одну из своих клоунских улыбочек, застегивается, чмокает в шею и поминай как звали. А барышне остается подправить свой макияж и выйти на арену. Унизительно. А один раз он даже не удосужился снять свой большой красный нос! Пока все это длилось, не до того было, а потом я его чуть не придушила! Ну вот, а когда является этот хлыщ Ренато со своим "любо-о-овь моя-я-я", таким тягучим, приторным, у меня есть чем его встретить. Слова так сами из меня и выскакивают!

Надорвавшая живот от смеха Малена знаком попросила Понетту замолчать, но та заразилась ее веселостью, и обе они едва не катались по земле. Со стороны могло показаться, что у обеих одновременно случился приступ падучей.

Долго еще не могли они успокоиться.

— Дорогая моя, извини, но жалеть тебя не за что, — со слезами на глазах с трудом выговорила Малена, взяв наконец себя в руки. — И Лупо не упрекнешь. Он тебя ни о чем не просит, ничего не навязывает. Его желание порождает твое.

— И все же надо перестать вести себя как неразумная девчонка, правда? — робко спрашивает Понетта. — Нужно быть ответственной, научиться делать выбор.

— Какой же выбор, если ты не любишь Ренато?

— Да, я с ним жестока, но он неплохой человек, у него с головой все в порядке. И он прав, когда говорит, что у нас много общего. Мы, конечно, все время спорим, но у нас у обоих высотная работа, это сближает.

— Ничего подобного.

— Ну хоть немного. Знаешь, иногда я спрашиваю себя: может, я боюсь сказать ему "да"? Я ведь совсем глупенькая, и мне нравится, когда мужчины на меня заглядываются. А что со мной будет лет через двадцать-тридцать? Если не окажется рядом надежного человека? Я ведь ничего другого, кроме как ходить по канату, не умею. А это в жизни вряд ли пригодится.

— Да, но ты многим пожертвовала ради своей профессии. И вряд ли тогда рассуждала так, как сейчас.

— Представь себе, когда я наверху, все вокруг кажется таким необыкновенным! Чувство равновесия опьяняет сильнее всего остального, сильнее скорости, опасности. Равновесие — это... ощущать себя именно на своем месте, нет, ты будто сама для себя создаешь это место! И никому его у тебя не отнять, ведь ты одна, а другие снизу восхищаются тем, как это у тебя выходит. Странно, но мне кажется, что на земле труднее сохранить равновесие и не упасть.

— Знаешь, что ответил бы тебе Котон? Что теперь тебе нужно отыскать свой канат на земле.

— Да уж, это в его духе.

— Ренато ты не любишь, это ясно как божий день. Просто тебе приятно, когда за тобой ухаживают. Возможно, однажды ты к нему переменишься. А пока не торопись. Ты молода, талантлива. Не суди себя слишком строго, часто неверный шаг делают именно тогда, когда недооценивают себя. Хочешь научиться быть ответственной? Поверь немо-

лодой уже женщине — начни с того, что забудь об этой завиральной идее, будто все хорошее нужно непременно заслужить. Встретишь счастье, так хватай его не раздумывая и скачи, не робей, пока сил хватит. Остальное приложится.

— Как кенгуру!

— Вот-вот.

— Люблю кенгуру.

Понетта широко раскрыла глаза и подмигнула Малене. Та в ответ улыбнулась:

— Сама-то я для этого стара.

— Добрым советом надо обязательно воспользоваться, — твердо заявила Понетта, поднимаясь.

Сова на ветке, наблюдавшая за этой сценой, только диву давалась: что это творится у людей? Впрочем, все звериное царство давно уже отчаялось сыскать хоть крупицу смысла в поведении двуногих. Но увидеть, как две женские особи глубокой ночью дергаются, испускают вопли и покатываются от хохота, — даже для ученой совы это, согласитесь, прелюбопытное зрелище.

Дух предпринимательства

Зиму одолели, будто лыжню. Рождественские праздники подарили цирку не только полные сборы, но и обеспечили редкую и весьма ценную возможность подольше оставаться на одном месте. Эстебану меньше приходилось заниматься переездами, он получил передышку. Для самих же циркачей наступили горячие денечки. Подспудно готовились и великие преобразования, задуманные Жеромом.

Раздор не давал о себе знать, словно подчинившись естественному ходу вещей: семена его долгие месяцы спали в земле, под снежным покровом, скрытые от чьих-либо глаз. А весной ростки, будто по воле злого колдуна, вылезли наружу. И оказалось, что корни уже слишком глубоки и сильны, чтобы можно было просто взять да и выкорчевать их, не повредив все вокруг. И потом, как это часто бывает с новыми, экзотическими растениями: их так нахваливали, что никто не поинтересовался, не ядовиты ли они.

Вот и в этот раз получилось, что вначале безоговорочно приняли новшество, потом стали недоумевать: "Как же мы обходились без этого раньше?", и никто не задался вопросом: "А что вообще с нами со всеми будет?" Можно, конечно, удивляться внезапно поразившей всех близорукости, но, как говаривал Котон, человек так уж устроен: когда он один, он, случается, взвешивает плюсы и минусы того или иного поступка или явления, вместе с другим человеком любит порассуждать о добре и зле, а оказавшись среди множества себе подобных, лишь сокрушается о последствиях.

Итак, условия существования цирковой труппы, то есть ее бытие, заметно изменились к лучшему. Если раньше у костра нередко говорили о том, что однажды придется закрыть цирк, то теперь только и было разговоров, что о новых аттракционах и предстоящих гастролях. Павильон автоматов всегда был переполнен. Публика туда валом валила, на-

рочно приходя за несколько часов до спектакля, что существенно влияло на сборы от продажи прохладительных напитков и сладостей. Жером зарядил автоматы на бесперебойную, *стахановскую* работу. Среди них имелись: большой оркестр, играющий регтайм; морской бой, в котором сражались коты, наряженные пиратами; балерина-неумеха; робкие влюбленные; рассеянный садовник, поливающий вместо сада себя; щенок-шутник... а еще автомат с железными руками-захватами, автомат для надувания шаров, музыкальная шкатулка, бонбоньерка. В небольшой комнате, куда детям вход был запрещен, стоял автомат, показывающий непристойные мультики.

Эстебан наконец стал свидетелем запоздалого и нежданного чуда: цирк приносил доход. Обвинять директора в алчности было бы слишком несправедливо. Ничто его так не заботило, как благополучие цирковой семьи, а еще он был горд тем, что дело, начатое дедом, живет. И потому деньги были для него синонимом большого счастья, ведь они приносили радость тем, за кого он был в ответе.

Однажды апрельским вечером молодое дарование посвятило его в секреты экономики.

— Важно понять, господин Маркес, что цирк, я имею в виду представление такого цирка, как ваш, никогда не будет рентабельным.

— Так уж и никогда?

— Никогда. А почему? Да потому, что здесь действует очень жесткий фактор — цена билета. Мы не можем повышать ее до бесконечности или хотя бы до достаточно высокого уровня. Существует, если хотите, психологический порог, который не имеет смысла переступать по ряду причин.

— Верно, не хотелось бы.

— Вот и я о том же. И что же нам остается? Экспансия как самое очевидное средство: расширяться, набрать побольше артистов, увеличить размеры самого шапито.

— Мой отец всегда предостерегал меня от этого, — возразил Эстебан. — Он считал очень важным сохранять масштабы предприятия. Когда оно слишком разрастается, трудно переезжать и успевать к назначенным датам.

— И был совершенно прав! — воскликнул Жером к вящему удовольствию собеседника. — Действительно, существует критическая масса, которую не следует превышать. Что более всего опустошает нашу казну? Траты на материально-техническое обеспечение. Не будем же взваливать на себя непосильную ношу.

— И каков выход?

— Выход в том, чтобы мыслить иначе. Если нельзя увеличить прибыль под куполом, создадим прибыльный промысел вокруг него. Парк автоматов — это начало, и, как вы убедились, вполне успешное.

— Значит, прирастать автоматами?

— Вовсе нет. Решение не в том, чтобы разрастаться самому цирку, а в том, чтобы развивать иные виды деятельности, ответственность за которые ляжет не на наши плечи, но с которых мы будем иметь дивиденды. Оставим за собой право эксклюзивной эксплуатации нескольких доходных точек, таких как буфеты, палатки с едой и сувенирами, остальное же отдадим на откуп и будем стричь купоны. Важно создать не-

кое общее пространство, куда потянутся люди, чтобы провести досуг, тем самым увеличится объем продаж.

— Но что люди получат взамен?

— Там посмотрим... сейчас это не так важно. Главное — принцип: они приходят к нам целыми семьями, проводят у нас часть дня, их время — наши деньги.

— И как вы предлагаете все это осуществить?

— Придется регулярно заниматься, так сказать, разведкой на местности.

— Это что же, как золотоискатели?

— Очень меткое сравнение! За два-три дня до приезда в какой-нибудь город отправим туда нашего представителя, чтобы он нашел нужных нам коммерсантов и убедил их присоединиться к нам. В первое время я сам этим займусь. Если хотите, вместе с Ренато. Я по собственной инициативе поговорил с ним и очень верю в его способности. Он хорош собой, импозантен, внушает доверие, не сомневаюсь, что у него получится.

— А он согласен? Он ведь воздушный гимнаст, а не специалист по продажам.

— Ренато прозорлив. Умеет распознать что к чему. Поверьте, стимул у него есть.

— Ну, раз вы так уверены.

— Рад, что сумел вас убедить. Дайте мне два месяца, и я отлажу весь механизм. Вы не будете разочарованы. И последнее. Нам нужны сильные приманки.

— Как это?

— Ну, в представлении... Оно само по себе великолепно, я преклоняюсь перед артистами. Но его невозможно пересказать. К примеру, мало утверждать, что в спектакле есть интересный номер эквилибристки. Об этом можно судить, только когда ты сам воочию убедишься.

— Наша цель в том и состоит, чтобы люди приходили и убеждались воочию в мастерстве артистов.

— О нет, наша цель — убедить мелких ремесленников и коммерсантов, торгующих в розницу, что им выгодно раскинуть свои палатки вокруг нашего шапито. А для этого просто необходимо уговаривать их быстро, описывая наши спектакли, которые для этого должны быть более зрелищны, ну, чтобы было чем их зацепить в разговоре.

— Более зрелищное зрелище — это что же получается?

— Доверьтесь мне, у меня есть кое-какие идеи.

Эстебан долго задумчиво скреб подбородок.

— В общем, если я вас правильно понял, вы предлагаете создать вокруг цирка что-то вроде ярмарки.

— Именно. Цирк и ярмарка — как единое целое.

— И более зрелищное зрелище?

— Да.

— Жером, я на вас надеюсь. Дерзайте. Только одно условие.

— Слушаю.

— Найдите способ наладить отношения с Жоаном. Он несчастен, и мне это причиняет боль. Я не хочу, чтобы он оставался в стороне от всех этих преобразований. Привлеките его.

— Но я пытался. Этот старый упрямец невыносим!

Эстебан сразу посуровел, побагровел и заморгал.

— Научитесь ни о нем, ни о ком другом из труппы не говорить в подобном тоне! — прорычал он вдруг, разжав побелевшие губы. — Навестите его и найдите с ним общий язык. А если он откажется, пытайтесь снова и снова, пока не получится. Только на этом условии я позволю вам взять в свои руки судьбу цирка, которым моя семья руководит уже на протяжении трех поколений. И не вздумайте пропустить мои слова мимо ушей, молодой человек. Я ясно выразился?

Велико было изумление Жерома, никогда еще не приходилось ему видеть директора в такой ярости. Авторитет Эстебана был столь незыблем, а сам он столь добродушен, что трудно было даже вообразить этого человека не на шутку разозлившимся. Жерому представился случай убедиться, как плохо он еще знает кочевых артистов.

— Простите. Я был груб. Больше это не повторится. Я помирюсь с Жоаном и буду усердно работать на благо цирка. Не думайте, что я не понимаю, какую честь вы мне оказываете своим доверием.

Видя, что молодой нахал искренне раскаялся, Эстебан смягчился:

— Хорошо. Идите. Мне нужно заняться корреспонденцией.

Жером вышел слегка обиженный, слегка пристыженный, но прогнал из головы все, что могло помешать делу, и, засучив рукава, приступил к работе.

Переписка

Эстебан вынул из ящика секретера два конверта и одну фотографию. С помятого снимка на него смотрел, грустно улыбаясь и опираясь на винтовку, молодой человек в военной форме. Эстебан погладил дорогое лицо. Письмо, которое он собирался отправить, запоздало на два десятка лет. У него возникло ощущение, что в конверт он вложил не исписанный лист бумаги, а частицу своей души.

Дорогая Франсиска,

я без ума от радости, ты даже представить себе не можешь, как утешили меня вести, полученные от тебя. Марк жив-здоров! Ты правильно делаешь, что благодаришь за это Создателя. В течение этих бесконечных двух лет я тоже молился за моего племянника, не сомневайся. Знаю, ты на меня злишься, это чувствуется по тону твоего письма. Я тебя вполне понимаю и даже считаю, что заслужил такое отношение. Все эти долгие трудные месяцы я тебе мало писал и так и не навестил вас, о чем ты не раз просила. Теперь, когда судьба твоего сына не внушает опасений, позволь мне объяснить свое поведение. Нет, я не ищу у тебя прощения, но думаю, стоит положить конец тягостному недоразумению, возникшему между нами.

Ты навсегда останешься для меня моей дорогой сестренкой, королевой наших детских игр. Ты всегда ею будешь, но ведь ты уже другая, да и я не тот слегка застенчивый старший брат, для которого тебе так нравилось придумывать разные испытания и забавы. До последнего вздоха я буду помнить, какими мы были тогда, вернее, что нас связывало. На похоронах отца ты сказала: "Я скорблю, но все это — уже не я". Я тебя вполне понимаю, но, видишь ли, в чем дело, все это — по-прежнему я. Ты еще добавила, что я разбил тебе сердце, отказавшись поехать с тобой учиться. Уверен: даже при той огромной любви, которую

ты испытывала ко мне, ты все равно объясняла мое решение трусостью. Что ж, отчасти это верно, даже если сегодня я вправе утверждать, что моим выбором руководил не только страх. Я остался и пошел по стопам отца, но не из страха перед миром, а из любви к миру — его миру. Когда его не стало, я мог бы, как ты верно заметила, воспользоваться этим и сбежать, но все взгляды были обращены на меня, и в них я прочел настойчивую просьбу остаться. Ты, конечно же, скажешь, что нужно уметь освобождаться от якорей, которыми другие удерживают нас. А я тебе на это возражу: в устремленных на меня взглядах не было ни цепей, ни якорей. Но было сострадание. И если я чего-то испугался, то, думаю, того, что нигде больше не встречу таких душевных людей.

Как-то раз под вечер возле Вероны парочка студентов, путешествующих по Европе, провела ночь с моим цирком. Ты ведь знаешь, я сохранил папин обычай располагать фургоны кру́гом и каждый вечер разжигать посреди площадки костер. Та ночь была чудо как хороша. Котон играл на гитаре, женщины танцевали. Мария была тогда еще с нами. Помню, она учила студентов танцевать севильяну.

Девушка, перед тем как отправиться спать, поцеловала меня и сказала, что я могу гордиться, ведь костры, подобные нашему, уже вряд ли где встретишь.

Благодаря таким вот мгновениям я могу с уверенностью сказать: я сделал правильный выбор.

Однако это не означает, что я осуждаю ту современную беспокойную жизнь, в поисках которой ты отправилась за Океан. У тебя были причины поступить так. Папа не желал о них слышать. Я тебя понимаю.

Так вот, я к вам не приеду. Не стоит еще больше усложнять наши отношения. Твой муж меня не жалует, к тому же я неловко чувствую себя в твоем роскошном доме. Я продолжу странствия со своей семьей, состоящей из "странных людей", как вежливо назвал их твой муж, и, кто знает, может, однажды мы с ними найдем к вам дорогу.

Напоследок позволь твоему брату-чудаку сделать тебе небольшое внушение. В своем письме ты пишешь, что вы гордитесь Марком потому, что он героически служил своей родине. Знаю, призрак отца витает где-то очень далеко от того шикарного предместья, в котором ты проживаешь. Но неужто ты так-таки ничего не усвоила из его наставлений? Он был крутого нрава, тут я с тобой совершенно согласен, но довольно умен. Если ты гордишься своим сыном, гордись тем, что он окунулся в безумие войны и вернулся невредимым, что поборол сомнения, что обзавелся братьями по оружию, что выказал себя человеком — я в том убежден — в самой мрачной бездне насилия. Но не надо гордиться им по причинам национального, территориального порядка или из каких-то вовсе уж абсурдных соображений. Напомню тебе, что сказал индейский вождь, которого так ценил отец: "Земля нам не принадлежит, мы берем ее в долг у своих детей". Жаль, что ты не знакома с моим другом Котоном. Он лучше меня умеет рассуждать на такие темы. Ну вот и все мое внушение.

Хотя, нет, я неисправим, еще одно, если позволишь. Ты заметила, что по-другому стала говорить о Боге? А помнишь ли ты, что твой род пострадал от тех, кто сделал своим девизом: "На то воля Божья"[1]? Нет никакой такой воли, сестренка, нет потому, что Бог нас любит и нам доверяет. Так вот, перестань призывать Его по поводу и без повода, особенно когда оправдываешь злословия своего мужа или сама ругаешь соседей.

1. "Dio le volt" *(прованс.)* — девиз войска крестоносцев.

Вот теперь все.

Скажи Марку, что старый дядюшка нежно его обнимает. Люблю его. Уверен, он стал неотразим.

До скорого,

твой брат Эстебан.

Эстебан поморщился — неловко было заканчивать письмо ложью. Если сестра когда-нибудь узнает, что дядя и племянник тайно переписывались больше десяти лет, — и это были именно те десять лет, когда она не получала от брата почти никаких вестей, — она может из вредности, только чтобы отомстить, устроить себе какой-нибудь инфаркт.

Зато какое удовольствие доставило Эстебану вложить в конверт второе свое послание. Правда, удовольствие не без толики ехидства. Сам предмет, о котором шла речь в письме, был очень мил его сердцу, чего нельзя было сказать об адресате.

Господин Рибо,

в который уж раз я отвечаю на очередное Ваше ругательное послание, борясь с огромным желанием послать Вас к черту с Вашими дурацкими угрозами. Если я не делаю этого, то исключительно ради Вашей дочки, ибо отцовская солидарность, помогавшая мне в начале нашей переписки не обращать внимания на Ваш оскорбительный бред, уже давно уступила место величайшему презрению к Вам за Ваше явное нежелание принимать действительность такой, какова она есть, как бы неприятно Вам ни было смотреть ей в лицо.

Итак, я снова берусь за перо и трачу свое время, чтобы сообщить Вам, как дела у Понетты. Благодарности я от Вас не жду и пишу Вам просто потому, что считаю: ребенок причиняет себе больше вреда, чем ему кажется, когда полностью отворачивается от своих родителей, пусть даже они и такие недалекие, как Вы.

У Понетты все в порядке. Она на глазах превращается в красавицу и большую артистку. Вы жестоко наказаны собственной гордыней, сударь, поскольку лишили себя радости видеть это чудесное превращение.

Когда же Вы последуете моему совету и приедете посмотреть на нее? Сама она первого шага не сделает. Это глупо, но ее оправдание — в ее молодости. А в чем Ваше?

Напоминаю: она была совершеннолетней, когда влилась в нашу труппу. Причины, по которым она так поступила, известны ей одной, а вся та невообразимая чушь, которую Вы напридумывали, существует лишь в Вашем воображении. Да, мы кочевое племя и тем сильно отличаемся от Вас. Однако это вовсе не означает, что мы люди донельзя распущенные, у нас Вы обнаружите пороки и добродетели ровно в тех же пропорциях, что и в других людских сообществах.

Вы просто не способны примириться с тем, что Ваша дочь отказалась от той жизни, к которой Вы ее готовили. Это мне понятно. Но бога ради, приди-те и лично убедитесь в том, что именно движет Понеттой: ее талант, восторг, который она вызывает у публики. И даже если это нисколько не изменит Вашего мнения, Вы все равно останетесь в выигрыше: она увидит, что первый шаг сделан Вами, и этот шажок поможет Вам в дальнейшем вернуть ее расположение.

Прилагаю к письму список городов, в которых нам предстоит в этом году выступать. Обратите внимание: через полгода наш путь проляжет менее чем в ста километрах от Вас.

Господин Рибо, мне и самому довелось пережить подобные терзания, вызванные несовпадением моего выбора с выбором других людей. Я видел, как на смертном одре мучился убитый горем мой отец, оттого что нет рядом его дочери. Видел, как до последнего вздоха страдал он от бессмысленной гордыни, мешавшей ему произнести ее имя. Это невыносимо и не поддается описанию. О, если бы я мог переубедить Вас!

Видите ли, есть две Понетты. Одна — Ваше любимое чадо, которое Вы окружили заботой и любовью, ради которого пытались приручить мир, чтобы он был для него помягче и покомфортнее. Вам кажется, что Вы знаете эту девочку очень хорошо, что Вы дали ей все. И даже больше — Вы вложили в нее всю свою любовь, всю нежность и чаяния. Вот тут-то и кроется ловушка для родителей: Ваши чаяния и ее долг перед Вами.

С этим трудно примириться, я знаю. Часто мы взваливаем на детей долг по отношению к нам, а проценты, которые к тому же от них требуем, завышены еще и по той причине, что мы не хотим признаться в своем желании получить вознаграждение. А ведь стоит только вдуматься, и Вы поймете: она возвращает Вам долг сторицей. Только не судите по тому, что она Вам говорит или делает для Вас, главное — то, как она относится к жизни.

Есть ведь и другая Понетта, о которой Вы почти ничего не знаете: ни о том, что ее печалит, ни о том, что радует. Мир, который она для себя открывает, не похож на прирученного зверя, да и вряд ли ей хочется получить все готовое. Она ощущает Вашу любовь как груз Ваших ожиданий. Она бросает Вам вызов потому, что хочет понять, куда влечет ее та часть ее натуры, о которой ей и самой еще мало что известно. Ей известно только, что не к Вам под крыло.

В последний раз прошу — приезжайте посмотреть, какой стала Ваша дочь, какая из нее вышла артистка. Когда она наверху, все ясно без слов.

С надеждой на скорое свидание

Эстебан Маркес.

Он положил оба запечатанных конверта на прикроватный столик и, не раздеваясь, вытянулся на узкой постели, скрестив руки на животе. И тотчас заснул. В такой позе, да еще одетый и обутый, он был похож на мраморное изваяние древнего короля, простертого на смертном ложе. Во сне он видел девчушку, которая учила его плести венок из цветов шиповника; из его приоткрытого рта вместе с дыханием вырывались какие-то звуки, похожие на детскую считалочку.

О *цене дыханья*

Как-то в парке темною порою
Я бродил с поникшей головою.
Вдруг приметил старика кривого
На скамье. Да древнего такого!
На плече ворона восседает —
Жалкая, облезлая. Видать, хворает.
Молвил тут старик, позвав меня:

"Погоди, дружок, до наступленья дня,
Не оставь, прошу, и приложи старанье:
Помоги мне отыскать дыханье".

Дети внимали как завороженные. Им было хорошо известно, что ночные встречи до добра не доводят, да и вид у кривого старика подозрительный. А вот Пьеро очень симпатичный. Глупо, конечно, бродить одному по парку ночью. Но, верно, у него были на то причины: если не очень-то хочется идти домой, значит, какая-то важная мысль крепко засела тебе в голову. От вороны же, хоть она и вызывает жалость, все равно лучше держаться подальше. Птицы ведь почти все такие воровки, не смотри, что весело щебечут.

В поисках дыханья обошел я свет –
Собственных подошв сыскался след.
К морю, к небу обращал вопрос –
Потешались, не восприняли всерьез.
Правда, с ними, с этими двумя,
Давний спор затеян у меня.

Жером внимательно следил за юными зрителями. Затаив дыхание, насупив брови, они смотрели кукольный спектакль, стараясь не пропустить ни словечка. Не впервые наблюдал он за работой Жоана и всякий раз, пока длилось представление, понимал, почему вся труппа относится к нему с таким обожанием. Это был поистине мастер своего дела.

И присел я снова на скамью,
И завел он песенку свою –
Как скитался долго по земле,
Как хотел бы передать он мне
Знания свои. Да вот беда:
Вышли силы, память уж не та.

Куклы двигались в небольшом окошке, проделанном в дощатой перегородке балаганчика и снабженном театральным занавесом. Светила луна. Дети, повинуясь голосу рассказчика, следили за движениями деревянных человечков. Особенно поражало, что каждый персонаж, даже ворона, жил какой-то своей жизнью. Реакции кукол, выражавшиеся в чуть заметных переменах поз, были настолько самопроизвольны и естественны, что можно было голову дать на отсечение, что за перегородкой ими управляют никак не меньше трех человек.

Жером почувствовал, как у него мурашки побежали по спине, когда кривой старик, принявшийся рассказывать Пьеро свои истории, ухватился за ниточки, ведущие к кукольнику, и притянул к себе его руку, как будто это был бумажный змей. Дальше сама эта рука как бы рассказывала истории: кривой старик пользовался ею словно кистью, рисуя на небе картины. Пьеро, сидя рядом с ним, завороженно смотрел на это волшебство, а вместе с ним и весь зал. Под конец старик усталым жестом выпустил ниточки, рука кукловода медленно уплыла в звездное небо и там исчезла.

Помер старец прямо на глазах –
От него осталось только "Ах!"
Да еще потрепанная книга.

Не забыть вовек того мне мига.
Путевой дневник его листая
И рассказы старца вспоминая,
Под конец прочел я: "Уверяю,
Я надежды все же не теряю".
Возвратился в дом я за вещами
И отправился дорогами-путями.
За дыханием вослед с тех пор иду,
Раз решил, то точно уж найду.
А на сон грядущий повторяю:
"Я надежды все же не теряю".

Пьеро с узелком, в котором были его пожитки, покинул сцену, шагнув прямо в небо навстречу огромной улыбающейся луне, встретившей его как будто с распростертыми объятиями, и занавес опустился. Дети, в отличие от родителей, не зааплодировали. Жерому подумалось, что мамам, должно быть, не очень понравилась последняя история. Предыдущие, в которых действовали жандармы, жулики, принцы, драконы, наверняка показались им более подходящими для их чад, поскольку не вызвали той лавины вопросов, какую следовало ожидать теперь. Однако они ошибались, их детки отчего-то знали, что не получат ответа на вопросы о Пьеро и кривом старце, – и вообще лучше, если мамы будут поменьше задумываться над подобными вопросами.

Жером обогнул балаганчик, желая сказать Жоану что-нибудь приятное.

– Это было прекрасно. Вы меня так растрогали. Но не слишком ли рискованна последняя сценка? Не думаю, что дети уловили связь с Одином[1].

– А при чем тут Один, Жером? Дети поняли, что старый человек потерял свое дыхание и что ради того, чтоб его найти, стоит пуститься в странствия. Разве этого недостаточно?

– Да, конечно. Можно ли мне проводить вас? Я хотел бы с вами поговорить.

– Идемте, – ответил Жоан и повел его к выцветшему фургону.

Внутри все было таким, как и представлял себе Жером: большая часть помещения отведена под мастерскую, для жилья же оставлено крошечное место. Везде царил спартанский порядок. На комоде в позолоченной рамке стояла семейная фотография в коричневатых тонах: Жоан, Мария и их дочь Алисия улыбались на фоне красавицы лошадки.

Жоан указал Жерому на табурет, а сам принялся варить кофе.

– Как вам у нас, Жером?

– Э... спасибо, хорошо. Дела идут.

– Знаю. Ваши автоматы пользуются большим успехом. Эстебан в восторге. А вы?

1. Óдин – верховный бог в скандинавской мифологии.

— Вы же сами сказали, успех...

— А-а-а... — уныло протянул Жоан, грустно улыбнулся и подал кофе. Жером, слегка нервничая, ритмично постукивал каблуком по полу.

— Чем обязан, Жером?

— Я пришел... между нами постоянно какое-то напряжение. Уже столько месяцев прошло, а изменений к лучшему нет. Я не думаю, что мы сможем урегулировать наши разногласия, не поговорив в открытую. Вы меня избегаете, уклоняетесь от разговора. Мне кажется, что вы постоянно видите во мне опасность. Считаете, что я не уважаю те традиции, которые дороги вам. Это не так, уверяю вас, я вами восхищаюсь. То, что вы делаете, выше всяких похвал. Я даже думаю, что мы могли бы быть очень полезны друг другу, ведь ваше искусство и мое, в сущности, так близки, так дополняют одно другое.

Жером увидел, как побледнел Жоан, но решил все-таки выложить все карты, чтобы убедить собеседника в своих добрых намерениях.

— Послушайте. Ваше искусство великолепно, оно существует уже тысячи лет. Но время не стоит на месте, вкусы меняются. Публика хочет большей зрелищности, а от нас, кукольников, и большего правдоподобия. Вы только представьте на мгновение, чего мы добились бы вместе. С вашим талантом, моими изобретениями мы могли бы сделать такое... сказать новое слово в искусстве. И прославились бы, как братья Люмьер.

— Человека погубит его жажда правдоподобия, Жером.

— Я не совсем вас понимаю.

— Мои марионетки не рассказывают историю. Они только указывают зрителю путь к ней.

— Но ведь это игра словами. Я вас не понимаю.

— Я знаю, что не понимаете.

Они молча смотрели друг на друга. Жером не знал, как продолжить разговор. Жоан выглядел растерянным, казалось, ему с трудом удается собраться с мыслями.

— Предположим, мы стали бы работать вместе, — голос Жоана ослабел. — Изготавливали бы чудесных марионеток, вдыхали бы в них жизнь, вкладывали столько таланта, что люди восклицали бы: "Прямо как настоящие!"

— О да! — не удержался Жером.

— И наши паяцы, добиваясь славы, теряли бы способность говорить.

— Но почему?

— Потому, мой юный друг, что они лишь прославляли бы гениальность своих создателей.

Жером схватился за голову. Все это было лишено здравого смысла. Ну что сделать, чтобы у этого витающего в облаках старика открылись глаза?

— Может, в вас говорит непомерное тщеславие, Жоан? Разве мы не должны заботиться в первую очередь об удовлетворении запросов публики?

— Об удовлетворении?! — взревел вдруг Жоан, за минуту до того еле ворочавший языком. — Да стал бы я жертвовать своей жизнью, изнурять себя, портить зрение, допоздна засиживаясь за работой, дал бы

одеревенеть своим рукам, надсаживал бы глотку на холоде ради столь ничтожной вещи, как удовлетворение?

— Я имел в виду удовлетворение других, — осмелился возразить Жером.

— Да знаю, глупец. Говори вы о моем, это имело бы хоть какой-то смысл!

Жером оторопел. В устах пожилого мастера отповедь звучала как анафема. Он хотел было что-то ответить, но Жоан не дал и рта раскрыть.

— И хватит твердить, что вы не понимаете! Всё вы понимаете. Вы умны, талантливы и непременно прославитесь, никто в этом не сомневается. Но вы трусливы. Вы расписались в полном поражении, и вам не найти ответа на вопрос, который задает ваше Чудовище вашей Красавице.

— Да о чем вы в конце-то концов?

— Я устал, Жером. Я старик с капризным нравом, ревматик. Простите меня. Я не должен был так с вами говорить.

Жером отказывался покидать поле боя со столь разгромным результатом.

— Скажите по крайней мере, что вы подразумеваете под "вопросом Чудовища".

Жоан колебался: ему не хотелось продолжать разговор, выступление утомило его, а этот спор отнимал последние силы. Поскорее бы лечь и уснуть. И все же надо попытаться объяснить, иначе ни к чему было и начинать.

— Это вопрос вопросов, и поверьте, мне известно, как он непрост.

Придя к Жоану помириться, сгладить острые углы, Жером теперь с трудом сдерживал раздражение.

— Допустим, вы во всем правы, — сухо проговорил он. — Наконец-то я понял, что реальность вам не по душе, потому что она весьма неприглядна, однако ничего не поделаешь, нужно смотреть правде в глаза: если цирк не будет развиваться, он прекратит свое существование. И это фатальная неизбежность, с которой я борюсь каждый день. С вашей помощью мы продвинулись бы быстрее, но я продолжу в одиночку, раз так надо.

— Знаю, у вас получится, и еще знаю, что, спасая нас, вы окончательно угробите цирк. Это уже случилось — на ином, более масштабном уровне.

— Если я глупец, сударь, то вы упрямы как осел и непомерно горды.

— Спасибо, — мягко ответил Жоан. — Видите, я тоже умею оценить комплимент. А теперь оставьте меня, пожалуйста.

Жером встал и вышел, стукнувшись лбом о притолоку. Он был взбешен, пристыжен, сам не понимая почему, и испытывал непреодолимую потребность доказать этому сумасшедшему его неправоту.

С еще большим усердием засел он за работу.

Дом Астерия

Алисия дотянулась ногой до крана и, обхватив его пальцами, пустила воду погорячее. Ванная комната и без того уже напоминала парную. Убаюканная теплом и музыкой, доносящейся из небольшого радиоприем-

ника, стоящего на умывальнике, она отдалась приятным ощущениям, горячей волной накатывающим на нее от ног к плечам. На лице выступили капельки пота, тело стало невесомым, заботы и те, казалось, оставили ее, ушли через поры. Если бы их еще затянуло в сливное отверстие, чтоб навсегда с ними распрощаться... Вот так бы лежать в воде бесконечно, сохраняя иллюзию беззаботности. Погрузиться в ароматные пары, отгородиться от свежего воздуха, напевать вполголоса, наблюдать, как из пенного облачка, словно какой-нибудь островок, появляется колено, проводить руками по лицу, отбрасывать назад мокрые волосы, поигрывать икрами, глубоко и равномерно дышать, массировать рукой бедра, перевернуться на живот, держа подбородок над водой, пытаться дотянуться пятками до ягодиц, ощущать, как напрягаются мускулы, тихонько радоваться всему этому и постараться как можно дольше не вылезать из ванны.

К несчастью, тело и дух не всегда согласны меж собой, дух-мятежник не умеет долго наслаждаться покоем. Все-то не по нему: то отравит настроение неприятными воспоминаниями, то примется решать текущие проблемы, именно те, которые как раз хотелось бы оставить за порогом, а то заявит о своей суверенности, мол, его не возьмешь никакими уловками вроде теплой ванны, приятных ощущений, и вот уже внутренний тиран не дает вам житья, почище какой-нибудь мамаши-наседки с ее чрезмерной заботой.

Еще одни выходные без Оливье, и их нужно чем-то заполнить. Но несправедливость заключается в том, что больше всего ее мучает не отсутствие Оливье, а как раз то, что он существует в ее жизни. До него ей постоянно не хватало времени, чтобы выполнить все намеченное. Теперь же часы превратились в мерило того, сколько осталось до встречи с ним. А сама она — в заложницу времени, которая только и делает что ждет и считает дни, часы, минуты. Невыносимо.

У Оливье все промежутки между их встречами заполнены работой и семьей. У нее же, имеющей и профессию, и женатого любовника, все это занимает в жизни гораздо меньше места, чем ей бы хотелось, и потому наблюдается дефицит важнейших жизненных компонентов.

Вот почему быть женщиной означало для нее двигаться вперед, лавируя между непримиримыми стереотипами, словно по минному полю. Годами она упивалась будоражащей воображение игрой в женскую свободу, гляделась в зеркала, примеривая на себя ее разнообразные личины: самодостаточность, независимость и прочие милые пустяки. А теперь... Словом, хаос на уровне отдельно взятой личности.

А потом в ее жизнь вошел этот до невероятности банальный мужчина с простыми желаниями, привычным набором недостатков, с эгоизмом, таким же детским и обезоруживающим, как его улыбка. Он ничего не требовал, кроме одного — чтобы его добивались, обожали, ждали. Ему неведомо было чувство вины, зато он умел одной фразой и посмеяться над собой, и выразить желание обладать ею. Друзья у него были ему под стать, из тех, кто считает, что все поправимо, и может вас в этом убедить. У него были не руки, а ручищи, всегда горячие ступни, широкие плечи и очень светлые глаза. Он умел слушать и задавал такие вопросы, на которые приятно отвечать. Его не волновали вечные проблемы: например, что есть истина и какова мера лжи. Его стихией были короткие дистанции и сугубо земные конфликты. Он любил женское

тело, свое тело и то, что получается, когда оба тела принадлежат друг другу. Его умница и красавица жена знала, чего хочет от жизни, а воспитанные дети порой вытворяли что-нибудь поразительное или забавное. Плюс к этому увлекательная работа. Пикантность ему придавал его необыкновенно мягкий, вкрадчивый голос.

Он соблазнил ее на вечеринке у друзей и стал неплохим любовником, хотя, наверное, бывают любовники и получше. Она не знала, любит ли его по-настоящему, но не проходило и минуты, чтобы она о нем не думала.

Он делал ее жизнь легкой и наполненной одновременно — легкой, когда они виделись, наполненной сомнениями, когда они были врозь. Ей хотелось положить конец их отношениям. Нет, не прекратить их совсем, а перестать придавать им значение. Она с удовольствием поменялась бы с ним ролями, поскольку завидовала его врожденному дару не мучиться совестью и полагаться на то, куда вывезет кривая.

Выйдя из ванны и накинув пеньюар, она подумала, что определить, в чем состоит проблема, мешающая жить, — это еще полдела, требуется немедленно принять и более радикальные меры, чтобы в эту субботу не превратиться в кающуюся и бичующую себя грешницу. Она оделась, подкрасилась и решила во что бы то ни стало изменить что-то в самой себе.

Войдя в бар, она облегченно вздохнула, встретив заговорщицкую улыбку Натанаэля. Посетителей, по обыкновению, было немного. Круглый зал, каменные стены, сплошь уставленные шкафами с книгами... Флер таинственности лежал здесь на всем, а запахи старой бумаги и кожи придавали атмосфере некую торжественность, так не вязавшуюся с бутылками, афишами и фотографиями на стене позади цинковой стойки. Только улыбающаяся физиономия хозяина окончательно убеждала в том, что это отнюдь не монастырская читальня.

— Привет, Нат, — бросила Алисия, влезая на высокий табурет.

Небольшого роста толстяк, безупречно одетый, в бархатном с иголочки костюме, по обыкновению приложился к ее ручке.

— Алисия, дорогая... Чем могу служить сегодня?

— Я тряпка, — с ходу брякнула она.

— Тряпка — в смысле смятая ткань?

— Смятая, потерянная, брошенная, ни на что не годная.

— Ну и ну, — пробормотал он, задумавшись, и, проведя рукой по пухлой щеке, вдруг бросил взгляд на книжные полки. — Мой рецепт таков: бокал шампанского, рюмка черничной и новелла Борхеса.

— Все, что скажешь.

Натанаэль вышел из-за стойки и направился к книгам. Взял на нижней полке небольшой томик и, раскрыв его на нужном месте, подал Алисии. Она увидела заголовок — "Дом Астерия".

— Нат, ты уверен, что мне нужно именно это? — спросила она, пробежав глазами первые две страницы.

— Ну, почти... А что?

Вместо ответа она прочитала вслух, иронично подняв одну бровь:

Знаю, меня обвиняют в высокомерии, ненависти к людям и, возможно, в безумии. Эти обвинения (за которые я в свое время рассчитаюсь) смехотвор-

ны. Правда, что я не выхожу из дома. <...> Другая нелепость – будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора?[1]

– Ну как? Прелесть, правда? – заинтересованно спросил Натанаэль, ставя перед Алисией поднос со спиртным.

– Прелесть-то прелесть, но я не понимаю, как это поможет мне перестать быть тряпкой, – вздохнула она.

– Читай дальше!

Новелла была короткой. Очень скоро становилось ясно, что Астерий – не кто иной как Минотавр в своем жутком лабиринте, и жаль было это чудовище, чьи грехи были порождением его безмерного одиночества, а подлинная опасность заключалась в том, что он внушал людям ужас. Одна из жертв сообщила ему о приходе освободителя, и чудовище по-детски обрадовалось: "Хорошо бы он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и дверей". Алисия отложила книгу и бросила взгляд на Ната. Тот выглядел донельзя довольным собой.

– Все это замечательно, Нат, но какое отношение имеет ко мне?

– Не знаю, Алисия. Просто мне хочется, чтоб ты поразмыслила о своих лабиринтах.

Она улыбнулась. Три года тому назад она открыла для себя это местечко и его необычного хозяина. Натанаэль был барменом с манерами из прошлого века и увлекался чем-то вроде гадания по книгам. С ним делились наболевшим, а он отвечал поэмой По, новеллой Мелвилла, сонетом Шекспира. Клиентам в состоянии апатии или депрессии предписывалось более продолжительное чтение – в несколько приемов по три часа – за столиком рядом с полками, содержащими лекарство от любого недуга.

Самым удивительным было то, что это помогало. Немало часов провела Алисия то с одним, то с другим чудодейственным писателем.

– И что же мне теперь делать? – поинтересовалась она.

– Для начала выпей шампанского и подумай об Астерии. Вообрази уловки, к которым прибегали воспитатели прошлого, выдавая лабиринт за дом со всеми вытекающими отсюда последствиями. Придумай сама какие-нибудь забавные недоразумения. Посмейся над ними. Посмеяться очень важно! Представь, как ты бежишь навстречу редкому посетителю моего заведения, чтобы увлечь его в свои игры, и вдруг видишь ужас на его лице. Ты ничего не знаешь о своем облике, не знаешь, что у тебя рога, и потому несешься на него и обращаешь его в бегство либо протыкаешь насквозь.

– Да, веселого мало, – помрачнела Алисия.

– Если трудно представить все это в серьезном жанре, обратись к комедии. В конце концов для того она и придумана. Через час я закрываю, тогда и начнешь. Оставляю бутылку и больше не беспокою.

Алисия последовала советам Натанаэля. Сперва ничего не выходило, но мало-помалу воображение стало рисовать какие-то внутренности и кишки, от которых долго не удавалось освободиться. Она попыталась обратить это в шутку, как советовал бармен, но не тут-то было, душа

1. Дом Астерия. Перевод с испанского В. Кулагиной-Ярцевой. Цит. по: Хорхе Луис Борхес. Проза разных лет. – М.: Радуга, 1984.

словно наполнилась зыбучими песками, не позволявшими нащупать твердую почву.

Спасение пришло, когда она вспомнила о комедии положений. "Сон в летнюю ночь" пришелся как нельзя кстати, подсказав фигуру ткача Основы[1], превратившегося в осла. Осел был все же не таким страшным, как Минотавр, и, мысленно изъяв его из лесов Титании, она поместила его в стены лабиринта. Тотчас стало веселее. Она с удивлением обнаружила, что улыбается, покачивает головой и вздыхает, представляя себе бедную скотинку в разных забавных положениях. Лабиринт приобрел ясные очертания, и время полетело быстро; мучительное восприятие себя и мира уступило место легкому и радостному.

Только когда с грохотом опустилась железная штора бара, отгораживающая его от улицы, Алисия очнулась и поискала глазами Натанаэля. Заметив это, он пригласил ее за столик в центре бара.

— Ну, как дела?

— Измучила одного ни в чем не повинного осла, не сделавшего мне ничего плохого, — со смехом отвечала она.

— Располагайся поудобнее, — велел он, указав на стул. — Закрой глаза. Готова?

— Гипноз? — забеспокоилась Алисия.

— Это лишнее. С первым этапом ты справилась сама.

Она расслабилась. Здесь все было так просто, ясно и не страшно. Положив руки на стол перед собой, она выпрямилась и глубоко вздохнула.

— Просто выговорись. Попытайся заглянуть поглубже в себя. Итак, ты в лабиринте. Опиши мне его.

— Я у себя дома, — вырвалось у нее и так поразило ее саму, что она широко открыла глаза.

— Продолжай, — настаивал Натанаэль.

— Я у себя в комнате. Сижу на постели. Болят ноги и живот. Боль не сильная, но неприятная. Нужно встать и куда-то пойти. Выхожу. Это и есть лабиринт. Он мне знаком... переходы, улицы, офисы, квартиры — в общем, те места, где я бываю каждый день, где проходит моя жизнь.

— Да, но чем они схожи с лабиринтом?

Алисия поморщилась и сделала непроизвольный жест головой, как будто от чего-то отстранялась.

— Все эти места сообщаются друг с другом. Каждая дверь, открываясь, ведет в некое пространство, из которого попадаешь в другое. Все запутано. И впрямь лабиринт.

— Запутано?

— Да. Все какое-то застывшее и лишенное смысла. Если смотреть изнутри, вроде бы все как надо, а если взглянуть сверху — бессмысленное нагромождение помещений, коридоров. Кое-где мне менее комфортно и уютно, но я почему-то часто бываю там — меня туда ведут коридоры.

— Что это за помещения?

— Моя комната на работе. Я ее не люблю. Хотя, думаю, мне нравится то, чем я там занимаюсь. А может, мне дорога сама мысль, что я там чем-то занимаюсь. Не знаю.

— Там кто-то есть?

— Много мужчин. Все смотрят на меня. Обсуждают меня, хотя нет, проходят не замечая. Спираль. Моя рабочая комната — спираль. Все

вертится по кругу, одновременно поднимаясь вверх. Настоящий смерч, но упасть нельзя, действует большая центробежная сила, всех прибивает к стенам. Там Оливье, он мне улыбается. Он не у стены, а на возвышении в центре, почти неподвижен. На возвышении как будто легче переносить все эти разнонаправленные силы.

— А как выбираются из этого смерча?

— О, это просто. Повсюду двери и тысячи коридоров. Все выходят, идут куда-то... вскоре возвращаются. А вот опять Оливье, в каком-то доме. Дом такой красивый. Оливье обедает в кругу семьи. Рассказывает о работе. Выходит из-за стола, идет в гараж. Звонит мне. Говорит, что думает обо мне, но что увидеться завтра не сможем, потому что ему идти в школу на собрание. Вешает трубку. Возвращается к столу. Целует жену в лоб. Очень любит ее в эту минуту. Я у себя, сижу на постели. Нужно куда-то идти. Выхожу, иду по коридору. Я на улице, но там почему-то все так же, как дома. Сворачиваю на другую. Ищу, но везде одно и то же. Иду на работу. Там заперто, но у меня с собой ключи. Никого. Работаю. Вычерчиваю лабиринт, чтобы сориентироваться. Вначале вроде бы даже удается найти выход, но потом вдруг обнаруживаю, что у лабиринта много уровней, он расходится и вширь и вглубь. Он огромный. И такое ощущение, что ты все время внутри чего-то.

— Попробуй выбраться.

— Никак.

— Пытайся!

— Опасно.

— Почему?

— Там... не знаю. Это опасно.

— Подумай о роще на окраине города.

— Красиво. Тропинки с объявлениями для гуляющих.

— Сойди с тропинки.

— Опасно.

— Почему?

— Можно заблудиться.

— Ты ничем не рискуешь, ты ведь сама говорила: все ведет в центр.

— Схожу. Ступаю по листьям. Меньше света, более тенисто. Вижу какую-то птицу, кажется сова. Мне страшно, сейчас вцепится в меня своими когтями. Слышу: то ли кто-то жалуется, то ли горюет, то ли ветер гудит, да так печально. Хотела бы знать, что это, но боюсь.

— Почему?

— Потому что это уже что-то другое.

— Так ты хочешь знать, что там, снаружи?

— И да и нет.

— Поменяй лабиринт!

— Что?

— Поменяй лабиринт. Придумай другой. Прямо сейчас.

— Стен нет. Этот лабиринт состоит из предметов. А, нет! Стены где-то все же имеются, но я не могу отличить их от... своей кожи. Много фотографий. И все лежат на земле. Подбираю, рассматриваю. Это мои фотографии. Но я на себя не похожа. Ищу такую, где я была бы похожа на себя; не найдя, начинаю нервничать. Прихожу в бешенство. Ненавижу тех, кто завладел этими фотографиями. Это ведь совсем не я, они должны были это видеть. И сказать мне. А вот и снимки моей матери. Но как

же это, я ведь их все выбросила. Она такая красивая. Мне никогда такой не быть. Переворачиваю их, чтобы посмотреть, не написано ли что-нибудь на обороте. Ничего. Я так и знала, но все равно неприятно. Я двигаюсь и начинаю меняться. Оливье нет. Вокруг люди, я их знаю, но не узнаю. И они меня не узнают. А ведь я их люблю. Мне их не хватает. Хочу измениться еще. Опять этот печальный шум ветра. Ба, да он зовет меня. Отодвигаю тарелки, раскидываю подушки, глянцевые журналы, забываю про машины, телевизоры. Этот зов ветра... как отыскать его? Это не ветер, это голос! Снова сова, не страшная. Как будто хочет сообщить мне что-то. Поняла... зовет за собой. Она летит так быстро... едва поспеваю... поворачиваю... нужно... вот еще... и наконец какой-то старик...

Алисия открыла глаза. Она глубоко потрясена. Напротив сидит и улыбается ей Натанаэль.

— Ну что? Какой во всем этом смысл?

— О, Нат, — выдохнула она сквозь слезы, выступившие у нее на глазах. — Я должна его найти.

— Что ж, желаю тебе, чтобы он отвел тебя в такое место, где будет меньше галерей и дверей.

— Нет, ты не понимаешь. Он нуждается во мне. Все из-за нее. А я, я его наказала... Надо ему помочь.

Из самых мрачных воспоминаний

Приближение грозы чувствовалось во всем. Жоан и Жером накликали ее. Но Котону не было страшно. Можно ли вообще чего-то бояться, пережив конец света? Он открыл ящичек памяти с грустными и тяжелыми воспоминаниями и порылся в самых мрачных, ища что-нибудь схожее...

Смерть Пако явилась предвестием: вокруг них сгущался мрак. Зверь, долго обходивший их стороной, в конце концов привлеченный запахом перемен, отыскал нужную тропу, нагнал их и вцепился когтями в их плоть.

Остановить жриц любви в их стремлении украсить свою "Обитель" Котону не удалось. Когда вонючий притон окончательно превратился в кокетливо убранное гнездышко, появилась новая клиентура, та, что посещает шикарные бордели, а по ее следам пришли и дети зверя — la guardia civil[1].

И вот наступил тот, ставший поворотным, месяц. Сперва Котону одним своим присутствием удавалось худо-бедно сдерживать их злобу. Понадобилось двадцать восемь дней, чтобы убедить девушек раз и навсегда закрыть дом терпимости и рассчитывать в дальнейшем на другие источники заработка. На двадцать девятый к ним заявилось чудище и потребовало положенное.

1. Жандармерия *(исп.)*.

Это был молодой, смазливый, будто сошедший со страниц бульварного романа, капитан из ближнего круга правителя острова. Молоденькие девушки теряли голову от его наряда, его манер и соперничали за право обслужить его. Он щедро расплачивался американскими долларами. На двадцать девятый день того памятного месяца он ввалился под вечер с четырьмя приятелями в "Обитель Йеманжи". Сильно набравшись, продувшись в пух и прах в покер, он пожелал унять грызущую его досаду в объятиях красотки Галены.

Не прошло и нескольких минут с тех пор, как они поднялись наверх, как вдруг раздался душераздирающий крик. Дверь на антресолях распахнулась, и показалась нагая Галена. Она покачивалась, держась за правую сторону головы, откуда хлестала кровь.

Спустившись вниз, она остановилась среди потрясенных завсегдатаев, бросила на Котона исполненный невыразимого ужаса взгляд и упала без чувств. Подруги подхватили ее и унесли. Все присутствующие изумленно уставились на кровавый след, тянущийся по ступенькам от двери антресолей и оканчивающийся лужей между столами.

Появилось и само чудище, с насмешливой улыбкой на губах, с окровавленным ножом в одной руке и с чем-то в другой. Медленно, важно спустилось оно по лестнице и подсело к дружкам. Только тогда, разжав кулак, выложило оно на стол ухо, отсеченное им у бедной Галены, и ножом пригвоздило его к столу.

— Раз эта шлюха не желает ничего понимать, ей и одного хватит.

Приятели на мгновение оторопело замерли, не сводя глаз с кусочка истекающей кровью плоти, а потом дружно захохотали.

Котон пересек зал и встал перед чудищем. У того веселость как рукой сняло. Двое из приятелей инстинктивно схватились за пистолеты. К их удивлению и удовольствию, Контон вежливо поклонился капитану и любезно поинтересовался, указав на ухо:

— Сударь, вы, надеюсь, согласитесь, что это принадлежит мне, и не будете против, если я его заберу.

Чудище и его подпевалы, услышав столь необычную просьбу, затаили дыхание.

— А чернокожий-то не промах! — нашелся наконец капитан. — Стоило им перестать быть рабами, как у них развился вкус к собственности. Вы не находите?

Дружки загоготали пуще прежнего.

— Давай забирай, — не глядя на Котона, бросил капитан. — По крайней мере, никто не скажет, что я вор. И принеси две бутылки рому. Так и быть, в качестве компенсации оплачу тебе их по тройному тарифу.

Котон снова поклонился, после чего осторожно вынул нож из деревянной столешницы, взял ухо и поместил его в ведерко со льдом. Все так же спокойно сходил за ромом и поставил его перед капитаном.

— Ладно, negrito[1]. А теперь отдай мой нож, — щелкнув пальцами, велел тот.

— Сударь, — угодливым тоном начал Котон, и капитан медленно повернулся к нему, — вы тут заговорили о компенсации. Так не пора ли нам поквитаться?

1. Негритос (*исп.*).

Капитану все стало ясно в тот миг, когда он увидел направленный на него взгляд, но было уже поздно. Котон молниеносно выбросил руку вперед, и в следующее мгновение капитан оказался с перерезанным горлом, чуть ли даже не с отрезанной головой, настолько сильным был удар ножом. Дружков залило кровью. Котон воспользовался секундным замешательством, выхватил у одного из них пистолет и всадил в голову каждого по пуле. На все ушло секунд десять. Пять трупов лежало вокруг стола.

Камера — три шага в длину и четыре в ширину. Окошко, забранное массивной решеткой. На ржавой металлической двери хорошо видны бледно-розовые линии — судя по всему, следы ногтей отчаявшихся узников. Циновка, умывальник, параша. Тюрьма высшего разряда особого назначения — для политических заключенных, которых время от времени требуется предъявлять общественности.

Котон дожидался приговора: по его представлениям, ему светила вышка. Однако со времени ареста события разворачивались не так, как он предполагал. Его почему-то поместили именно в это кошмарное место — пародию на современную тюрьму, — а не в другое. Кроме того, странным было отношение к нему персонала. В первый же день после заточения в камеру явился доктор, представившийся родственником убитого. Он говорил спокойно, со знанием дела, как профессионал, привыкший обнадеживать клиентов, и объяснил, что получил разрешение отомстить за капитана. Котон без удивления выслушал его. Он и не надеялся, что ему дадут умереть, не подвергнув предварительно пыткам... Прощаясь, доктор бросил зловещее "до скорого".

Прошла неделя. Котона сносно кормили, охранники обращались с ним не слишком грубо. Но несмотря на это было жутко. А каким счастьем было бы просто растянуться под деревом! В ту ночь ему приснился чудесный сон. Однако пришлось проснуться.

Его отвели в подвал, в белую, выложенную плиткой комнату. Доктор в одеянии, делавшем его похожим на призрак, в прозрачных перчатках, зеленом колпаке и белой маске, ждал его. Охранник раздел заключенного, уложил на стол и крепко привязал. Когда они остались наедине, доктор завел разговор.

— Странный вы тип, — спокойно начал он. — Объясню вам, что происходит. Недоразумения не моя стихия. О вас очень беспокоятся преподобные отцы Святого Игнатия[1]. Подняли бучу на улицах столицы, Т. пошел на уступки, чтобы успокоить население. Но не это самое удивительное. Большинство проституток этой проклятой страны бастуют с тех пор, как вас взяли под стражу. Неслыханная наглость! Однако эти две силы — святоши и шлюхи, такие, в сущности, антагонистические, имеют большое влияние на простолюдинов. Вам удалось создать невиданный доселе фронт. Думаю, эти новости будут вам подспорьем. Приятно знать, что ты любим. Рассказываю вам об этом потому, что вы вызываете у меня восхищение. Вы убили моего племянника — порядочную скотину, между нами говоря, — и четверых солдат, а наш главнокомандующий вынужден тем не менее вас охранять. В некотором роде то,

1. Игнатий Лойола (1491–1556) — основатель ордена иезуитов, канонизирован в 1622 г.

что вы совершили, — подвиг. Власть и оппозиция условились о том, чтобы до самой казни не допустить в отношении вас никакого насилия. Я не намерен принимать это в расчет, однако придется ограничиться тем, что не оставляет на теле следов. Видеться будем каждый день, и единственное, в чем вы можете быть уверены, — боль день ото дня станет усиливаться. Я человек методичный, у меня есть месяц. А теперь за дело.

Ни к чему описывать здесь весь тот изощренный арсенал, что имеется в распоряжении подобных мучителей. На целый месяц Котон отправился в электрический ад. Спасали его лишь минуты полной прострации, следовавшие за пытками. Часто ему казалось, что он уже умер и его сжигают, не раз он терял рассудок, плакал, кричал, бредил, харкал кровью, мычал, утратив способность говорить. В его мире больше не было места музыке. Голос Пако превратился в отдаленный вздох в сумерках. Не помогала и память об отце. Ни одному образу, ни одной мысли не удавалось пробиться в сознание и помочь ему справиться с ужасом перед предстоящим страданием. В этом смысле — надо сказать, впервые, даже если считать все те случаи, когда он осквернял душу смертным грехом, — он познал, что такое распад человеческой личности. Он превратился в одну сплошную судорогу, в некое беспозвоночное, что-то лепечущее, забивающееся в угол камеры, которое выносили и укладывали на пыточный стол. Доктор не нарушил данного слова: боль шла по нарастающей и не было ей пределов. Палач хранил бесстрастность: ни радости при виде конвульсий своей жертвы, ни отвращения перед животными реакциями тела с его непроизвольными отправлениями. Словом, утратил человеческие качества и доктор — разумное орудие в руках власти.

Котон вскоре лишился чувства времени, не было у него и сил, чтобы разбить себе голову о стены. Зато он узнал, что силы требуются даже для отчаяния.

И вот однажды его перевели в другое помещение, на сей раз — в лазарет. Там другой, добрый доктор сделал ему несколько инъекций, велел вымыть его, постричь, побрить и прилично одеть.

— Вы просто как негатив. Вам нет и сорока, а придется умирать с прекрасной седой шевелюрой. Взгляните, — с этими словами доктор подал ему зеркало.

Котон почувствовал небольшой прилив сил, — видимо, подействовали наркотики, которые ему ввели, — и взглянул на себя. На него смотрел старик с волосами и бородой непорочно белого цвета.

— Видишь, Пако, — еле слышно проговорил он, — я бел, как мое имя, а ты лежишь себе на дне морском.

Отчего-то это обращение к покойнику странным образом подействовало на доктора. Он покачнулся, будто его ударили, перекрестился и пробормотал:

— Откуда вы знаете, что меня зовут Пако?

Котон бросил на него ничего не выражающий взгляд и оставил вопрос без ответа. Доктор схватил его за шиворот и ударил по щеке.

— Откуда? — я вас спрашиваю. Никто здесь этого не знает!

Он впал в истерику, охранникам пришлось защищать от него узника. Ими был получен приказ: в день смерти осужденный на казнь должен выглядеть на все сто. Солдат повел Котона по длинному коридору, выходящему во внутренний дворик, где их ждал военный грузовик. По-

ка они шли, до них все доносились испуганные вопли доктора: "Откуда вы знаете?" Когда Котона усадили в грузовик между двумя охранниками, он даже нашел в себе силы улыбнуться.

Грузовик тронулся в путь по проселочной дороге, видимо, чтобы не привлекать ничьего внимания. Котон знал: это его последний путь, но в голове звучала непонятно откуда взявшаяся мелодия босановы, и только это и занимало его. Вдруг раздались выстрелы, потом затрещал автомат. Грузовик резко остановился. Котон поднял голову: нападавший в маске расправился с охранниками. Его подняли. Знакомый голос проговорил сквозь слезы:

— Я услышал твой призыв, Котон, и пришел тебе на выручку. А ты, Боже, знай, что я нисколько не раскаиваюсь.

Котон лишился сознания на руках падре Мигеля.

С острова Котона вывезла семья Галены. Ради него люди рисковали жизнью. Повсюду свирепствовали полицейские, начались облавы и репрессии. Всех девиц легкого поведения вызывали на допрос. Никто его не выдал.

Котон исчез с острова Д. так же, как появился на нем: по морю, ночью, тайком. Ему оплатили проезд на португальском грузовом судне. Всю дорогу до роскошного Лиссабонского порта зеленые волны укачивали его, как дитя. А во сне к нему пришел Пако, и его громовой смех был лучше всякого лекарства.

В Лиссабоне ему предстояло познакомиться с Марией Виерой. Он знал только, где, когда и возле какой статуи на площади ему надо ждать ее.

Тотчас по прибытии он отправился туда и сел перед бронзовой фигурой писателя, смахивающего на счетовода. Ждать пришлось всего несколько минут: писаная красавица с повадками цыганки и лучезарной улыбкой подошла к нему и крепко обняла со слезами на глазах.

— Знаю, что вы совершили. Благодарю вас, господин Котон. Я двоюродная сестра Галены.

Она повела его в ресторан, в каком ему никогда не доводилось бывать. И пока он с удовольствием ел и пил в зале, украшенном azulejos[1], Мария рассказывала ему о Португалии. Несколько раз он от счастья плакал и думал, что бы сказал по поводу всего этого Пако. Когда подали десерт, началось выступление исполнителей фадо[2]. Плачущие голоса мужчин и женщин уносились в свете свечей под свод. Когда певцы смолкли, он не удержался, встал, пересек зал под любопытными взглядами хорошо одетых посетителей и жестом попросил у гитариста его инструмент. Тот с улыбкой протянул ему гитару. Котон сел на табурет и стал играть. Собственное возрождение, обретенная надежда, тоска по ушедшим, черные дни, зеленые волны, Пако, девушки "Йеманжи", падре Мигель, страдание, вера, янтарная кожа, страсть, отец и его рабская доля, он сам ребенок, сын раба, цепи народа, солидарность всех трущоб на земле, народное ликование, живые и мертвые, ручеек любви и море человечности — все звучало в его мелодии.

И нашло отклик у слушателей. Люди за столиками расчувствовались, жали друг другу руки, кусали губы и озабоченно чесали в затылке.

1. Изразцами (*португ.*).
2. Фа́до — португальская народная песня.

Несколько десятков человек в тот вечер узнали имя нового выдающегося исполнителя, приобщившего их к прекрасному.

Мария Виера была цирковой наездницей, на следующий день ей предстояло отправиться в Севилью и влиться в труппу некоего Эстебана Маркеса. Она уговорила Котона поехать с ней, уверенная, что бродячий цирк с радостью согласится принять его. Так неделю спустя после того памятного выступления в ресторане Котон стал постоянным членом труппы "Маркес". Его заверили, что он объездит весь мир и познает его. Он не стал говорить, что уже познал.

Вызов на дуэль

Малена, Понетта, Лупо и Джеф сидели у костра — отдыхали после представления. Закрылся последний торговый ларек. Неделя, проведенная в предместье города Ж., знаменовала собой новый этап на пути к успеху. Никогда еще ярмарка, раскинувшаяся вокруг цирка, не проходила с таким размахом. Ренато оказался даже лучшим зазывалой, чем Жером. А Жером уже стал художественным руководителем труппы, много времени уделял он и изготовлению рекламной продукции. Каждый вечер небольшой печатный пресс выдавал сотни листовок и подарочных купонов. Все это было необходимо, чтобы совершенствовать систему привлечения публики.

Между Жеромом и Эстебаном завязался спор: Жером настаивал на том, чтобы впредь места, где предстояло выступать шапито, выбирались с учетом возможностей для парковки. Эстебан не соглашался, ему по душе был старый маршрут по городам и весям, жителей которых он знал и где его труппу каждый год ждали как давних друзей. Однако куш, который был сорван в последнюю неделю, заставил его по-другому взглянуть на привычки, идущие вразрез с интересами собственного предприятия.

Джеф пустил по кругу бутылку коньяку — универсальное средство от дурного настроения, простуды и вообще любого рода недомогания.

Малена с удовольствием сделала пару глотков, ее примеру последовала и Понетта, обычно пренебрегавшая спиртным.

— Не знаю, как вам удается выглядеть такими свежими, — заметил Джеф. — Две недели выступлений, и я — труп.

— Да, дела пошли в гору, — отозвалась Понетта. — Нужно признать, наш Жером творит чудеса.

— В смысле сборов безусловно, — с едва заметной горечью в голосе сказал Джеф.

— А ты, я смотрю, как будто и не рад переменам, — заметила Малена.

Джеф сделал большой глоток и задумчиво уставился в землю, словно ища ответа в траве под ногами.

— Не знаю. Новое шапито, новые фургоны, больше зрителей, чем раньше. Вроде жаловаться не на что.

— Но что-то не так? — гнула свое гадалка.

— Кое-что меня настораживает. Прежде я скручивал железки, распрямлял подковы, разбивал доски головой — и все было просто, девушки шушукались по поводу моих бицепсов, мужчины слегка завидовали,

дети называли меня Геркулесом или Самсоном. Знаю, мой номер никогда не был самым зрелищным в программе, но это был, как ни крути, номер силача, и когда я делал вид, что сейчас возьму и размозжу Лупо череп, ребятишки страшно за него пугались. А теперь я сражаюсь с машиной и делаю вид, что проигрываю.

— Но это ведь комический номер, — возразила Малена. — Зрители знают, что ты сильнее этой металлической штуки. А дети в восторге, когда ты выступаешь в паре с Лупо в клоунаде.

— А я Джефа понимаю, — вступила в разговор Понетта. — Вначале, когда Жером повесил надо мной экран, а тот тип снял меня на пленку, я радовалась. Мне казалось, так необычно исполнять номер на фоне своего двойника на экране. И с падением Жером тоже был прав. Когда в фильме мой двойник падает, зрители всегда кричат. Очень эффектно. Но теперь мне это мешает, потому как я больше не понимаю, на кого они смотрят. И потом, чтобы задумка удалась, мне нужно исполнять все точь-в-точь как на экране, секунда в секунду. А раньше мой номер, может, и не каждый вечер проходил одинаково успешно, зато уж когда удавался — было так здорово!

— А для тебя, Малена, все осталось по-прежнему? — поинтересовался Джеф.

— Я что, как сидела, так и сижу в своей палатке, читаю будущее по рукам и по картам. Единственное новшество — платят жетонами.

— Ох уж эти жетоны... — прошептал Джеф.

— Жетоны... — эхом отозвалась Понетта.

Они понимающе улыбнулись друг другу.

В эту минуту, что-то бурча себе под нос, мимо прошел, видимо не замечая их, Жером.

— Эй, молодой человек! Да, ты, Жером! — окликнула его Малена. — Садись, выпей с нами.

— Очень жаль, но я должен навестить Жоана, — отвечал тот.

— В таком случае у тебя точно есть время посидеть с нами и выпить. Он еще не вернулся из города.

Жером обрадовался неожиданной отсрочке. Давненько не сиживал он под открытым небом у костра.

— Ну что, вундеркинд, доволен? — бросил ему Джеф.

— Ммм, да. Неделя что надо.

Малена уловила, что ответ прозвучал как-то невесело.

— Что-то не так, Жером? Во всем тебе фартит, а вид у тебя при этом какой-то растерянный.

Жером вскинул на нее изумленные глаза. Впервые кто-то из членов труппы интересовался его душевным состоянием. Это было на удивление приятно.

— Все в порядке, вот только...

— ...что-то не так, — договорила за него гадалка.

— Да нет... Словом... Странное дело. По правде сказать, у меня такое ощущение, что чем больше я из кожи вон лезу, тем больше мною недовольны. Меня это задевает. Пашу как вол на благо этого цирка. Ведь все это видят. Разве не так?

Малена дотронулась до его руки.

— Все это видят, Жером. Тебе бы почаще коротать вот так с нами вечерок.

— Я потому этого не делаю, что занят! Все мои мысли о цирке.

— Но, Жером, цирк — это ведь мы.

— Так я и тружусь для вас. Цирк стал наконец приносить доход, мы обзавелись новым шапито, новым транспортом, публики стало в десять раз больше. И даже с творческой точки зрения... Вот на той неделе фото Понетты поместили в газете. По радио говорили о ее номере. Это ведь что-то да значит?

Понетте хотелось возразить ему, что в обоих случаях речь шла больше об экране, чем о ней, но она видела, что он расстроен, и не хотела подливать масла в огонь. В целом он ведь парень не плохой.

— Мне обидно, — продолжал Жером, — что меня считают честолюбцем. Я ведь только предлагаю те или иные новшества. Эстебан часто соглашается со мной, мы пытаемся двигаться вперед... Критиковать легко, когда сам сидишь сложа руки.

— Тут другое, — рискнула высказать свое мнение Понетта. — Порой создается впечатление, что вы не очень-то прислушиваетесь к другим.

Жером был явно огорчен:

— Приведите хоть один пример!

Понетта покраснела с головы до пят: она не привыкла выступать в роли критика.

— Когда обсуждался мой номер и я вам сказала, что мне хотелось бы ронять или не ронять стул в зависимости от реакции публики...

— Ну при чем здесь это? — возмутился Жером.

— Как при чем? — удивилась Понетта.

— Мы долго говорили на эту тему. Это невозможно.

Понетта прикусила губу. Еще немного и она вскипела бы, но взяла себя в руки и принялась изучать свои туфли.

— Объясни, Жером, я уверена, что тут недопонимание, — очень ласково попросила Малена.

Жером обрадовался, что представилась возможность доказать свою добрую волю.

— Понетта хочет поиграть со стулом и с публикой. Она взбирается на перекладину выше или ниже в зависимости от реакции зрителей, а тогда, когда ее якобы одолевает страх и она не решается встать на стул, побуждает зрителей хлопать, помогая ей. Далее она симулирует падение. Если я правильно понял, смысл в том, чтобы заставить публику поволноваться за нее. Так ведь, Понетта? Я сразу сказал: это гениально, сцену с падением можно заснять и потом каждый раз показывать во время ее выступления. Но Понетта считает, что этот ход интересен только в том случае, если право решать — падать или нет — принадлежит ей и она пользуется им в зависимости от того, как ее принимают зрители. Она исполнитель номера, я прислушиваюсь к ее интуиции, но теперь это стало невозможно.

— Отчего же? — продолжала выяснять Малена.

— Судите сами: новый номер строится на синхронизации движений Понетты и ее двойника на экране. Если каждый вечер она будет вносить в свой номер изменения, пропадет весь эффект.

— Теперь ясно, — с грустью глядя на эквилибристку, сказала Малена.

— Вот видишь, Понетта! — обрадовался Жером.

— Вы меня не так поняли, — возразила гадалка. — Понетта, не лучше ли тебе отказаться от экрана?

Жером с ужасом уставился на нее, однако, сделав над собой усилие, постарался вести себя сдержаннее.

– Да, но важно видеть проблему в общем контексте: пожелание Понетты невыполнимо, поскольку ведет к отказу от двойника на экране. Чего нельзя допустить, потому что это служит приманкой для тех, кто не знает Понетты. В частности, коммерсантов, привлеченных инновационной и зрелищной стороной нашего цирка. Понимаете?

– Словом, без фильма прощай успех, – подытожила Малена.

– Все гораздо сложнее, но в определенном смысле именно так.

– На самом деле – еще надо посмотреть...

Жерому подумалось, что не нужно преувеличивать способность членов труппы вникать в его замыслы и что этим вечером он далеко продвинулся в разъяснении своей позиции, в будущем следует уделять больше времени работе с персоналом.

Малена и Лупо грустно улыбнулись ему вслед.

Жером постучал в дверь, но вошел, не дождавшись приглашения. Он видел, как Жоан только что проскользнул к себе, и не мог позволить тому снова прогнать его, точно мальчишку. Старый циркач был скорее смущен, чем удивлен столь поздним визитом.

– Знаю, в такой час не принято заявляться в гости, – с этими словами Жером опустился на табурет, желая показать, что просто так от него не отделаться.

Однако Жоан добродушно вскинул брови, молча достал два стакана и бутылку сливянки. Для Жерома это было полной неожиданностью. Успокоившись, он перешел в атаку.

– Ну вот, все это зашло слишком далеко и приняло невиданные размеры.

– О чем вы?

– Да все о том же! Вы, я, этот идиотский раздор... Буду с вами откровенен, Жоан. Даже при бесспорном успехе моих инициатив мне не завоевать полного доверия Эстебана, пока он чувствует, что вы настроены против меня. Это опасный недуг. Труппа раскололась надвое: те, кто за вас, и те, кто за меня. Уверен, вам это так же неприятно, как и мне.

– Значит, вы пришли ко мне, чтобы мы сообща рассеяли это дурацкое недоразумение?

– Вот именно. Это в наших с вами интересах.

– Могу я задать вам вопрос?

– Задавайте.

– Где же ваши творения?

– О чем вы?

– Да все о том же, об автоматах. Помнится, вы говорили о двух разновидностях: игральных, для получения прибыли в виде жетонов, и других, настоящих произведениях искусства, таких, как "Красавица и Чудовище". Вы с нами уже год, а я вижу, как плодятся лишь первые.

– Времени не хватает.

– Ах, как жаль.

– Черт подери, да откройте же глаза! Только не говорите мне, что ничего не замечаете. Еще десять месяцев назад цирк был на грани разорения. Я превратил его в прибыльное предприятие, для всех! И вы думаете, мне это далось легко? Сделалось само собой?

— О нет, что вы. Кто ж не видит, вы прямо сгораете на работе. День и ночь на посту. Осунулись больше моего, хотя вы молоды, а я старик. Похоже, у вас болит спина, да и глаза покрасневшие. Бродите среди нас с каким-то затаенным страхом, с отсутствующим взглядом, не замечаете порой, когда с вами здороваются, настолько одержимы...

— Да, одержим! Успехом дела! — закончил за него Жером и для вящей убедительности пристукнул кулаком по столу.

Жоан поморщился, что-то странное мелькнуло в его лице, он наполнил стаканы и подал один Жерому.

— Пейте, — повелительно сказал он.

Приказ неожиданным образом подействовал на Жерома: слишком уставший, чтобы протестовать против неуместного давления, он взял стакан и разом выпил, надеясь, что исчезнет ком, стоявший у него в горле.

— Жером, — снова заговорил Жоан, — если бы вам удалось найти ответ на вопрос, который ваше Чудовище задает вашей Красавице...

— Это вы про что?

Жоан промолчал; он сел и тоже выпил. Жером выглядел теперь десятилетним мальчуганом с взъерошенными волосами и усталым личиком.

— Так вы будете мне помогать?

— О да! Я вам помогу. Но не так, как вы от меня ожидаете. В одном я с вами согласен: нельзя, чтобы труппа из-за нашего раздора делилась на два клана. Мы с вами раз и навсегда избавимся от нарыва.

— Что вы предлагаете?

— Дуэль.

Глаза Жерома сделались круглыми как шары, он поперхнулся, часть спиртного выплеснулась на рубашку.

— Я еще не сошел с ума. Предлагаю сражаться не с оружием в руках, а... сценическими средствами под куполом цирка. Каждый поставит что-нибудь уникальное, специально для этого случая. Мои марионетки против ваших автоматов. В конце представления попросим труппу рассудить нас. Решение не может быть оспорено.

— Допустим, — потрясенно выдавил из себя Жером. — И какова же ставка?

— Об этом будем знать только мы двое. Проигравший покинет цирк в следующие три месяца. Тут мы с вами должны дать друг другу слово чести.

Жером заморгал и широко открыл рот.

— Вы совсем потеряли голову!

— А, боитесь? Я так и думал.

— Вовсе нет... но я никогда не говорил, что желаю вашего ухода. Это все ваше больное воображение! Я никого не гоню. Даже вас!

— Разумеется! Но, возможно, вы сами еще не до конца в себе разобрались.

Жером молча и безотчетно мотал головой, не веря, что все услышанное — реальность.

— Вы просто чокнутый, Жоан, не в своем уме, — наконец справился он с собой. — Все эти загадочные фразы — дымовая завеса, чтобы скрыть то, что вы безнадежно устарели и сами это прекрасно понимаете.

— Пусть так. Вам не составит труда одолеть старого сумасшедшего. Не станете же вы бояться того, кто безнадежно устарел. Ведь правда?

— Да бросьте! Вы, безусловно, мастер, но то, что вы делаете, интересно лишь горстке знатоков. Даже дети не досиживают до конца. Это уже не для широкой публики. Слишком элитарно, претенциозно! Чего мне вас бояться?

— В таком случае по рукам? Три месяца вам хватит?

— Три месяца, месяц, как хотите. Я все равно выиграю. А вы уйдете. Этот цирк будет процветать, а вам придется изливать свою желчь в другом месте. Сами напросились.

— Конечно сам.

— То-то говорят, вы изменились с тех пор, как ваша жена...

Жоану достаточно было взглянуть на Жерома, чтобы у того пропала охота продолжать.

— Запрещаю вам говорить о Марии. Идите. Мы заключили договор. Мне нужно работать.

— Воля ваша.

Молчание клоуна

Белое лицо, красный нос, две жирные черные линии — брови, шляпа, балахон, нелепые штиблеты с загнутыми кверху носами, кое-какие аксессуары, рассованные по карманам...

"Детишки, внимание, представление начинается, на сцене клоун Лупо".

У самого же клоуна только одно на уме: белокурая милашка, такая аппетитная, что спереди, что сзади, прямо слюнки текут.

Лупо много времени проводил перед зеркалом, но притягивало его отнюдь не собственное изображение. Сколько бы он ни вглядывался, повсюду ему мерещилась Понетта, она одна. Понетта на канате, у костра... Ножки Понетты, ручки Понетты, ее лакомые места... Нагая, одетая, напряженная, расслабленная... Рассерженная, озабоченная, веселая, трепещущая в его объятиях... Всегда и везде она. Он был ею одержим.

Желание обладать ею неотступно преследовало его и причиняло боль. Он бы охотно избавился от этого, но даже клоуну не дано избежать великого любовного потрясения, не в его это силах.

Однако он был человеком собранным и дисциплинированным. В этом и заключался секрет его успеха, той комичности, которая возникала при его появлении на манеже. Шутка ли — из бывшего бандита в одночасье превратиться в любимца детей! Хотя, если вдуматься, оба эти ремесла немыслимы без умения четко выполнять поставленные перед собой задачи и не допускать промахов.

Он вырос на Сицилии, в среде, где человек человеку волк, и превратился в одного из них. Старательный, методичный, лишенный как нравственных устоев, так и корысти, — словом, не человек, а машина для выполнения приказов и расправ над себе подобными.

Но однажды он со всем этим покончил: выполнив очередное задание, вернулся домой, побросал вещички в чемодан, сел в первый поезд и уехал куда глаза глядят, главное — куда-нибудь подальше. Скитался, жил

то в одной стране, то в другой, был телохранителем, прислуживал. Както раз пути его и цирка "Маркес" пересеклись. Это были неспокойные времена, когда по проселкам бродили банды и нападали на путников. Побывав на цирковом представлении, он познакомился с Эстебаном и предложил себя в качестве охранника. Взамен попросил лишь стол и кров. Эстебан согласился.

Прошел год, Лупо оставался для небольшой труппы чужаком. Ни с кем не дружил, не общался. Зато всегда был готов протянуть руку помощи и ничего не просил взамен. Пару раз ему пришлось-таки защищать цирк от хулиганов. Для этого ему достаточно было оскалиться — уж таким волком он смотрел, что до кулаков дело не доходило. И на циркачей произвел немалое впечатление.

Единственный человек, с которым у него завязались хоть сколько-то дружеские отношения, был клоун Барнабе. Ну и еще, как все, он был влюблен в Марию, жену Жоана, и как все, почтительной и чистой любовью.

Однажды к Эстебану в фургон заявилась необычная депутация: Лупо и Барнабе. Сели.

— Эстебан, я ухожу, — начал Барнабе. — Возвращаюсь в семью. Брат дает мне работу на своей ферме. Хочу изменить жизнь. Но без клоуна тебя не оставлю. Я втайне подготовил Лупо. Пойдем с нами, сам увидишь. Он гораздо талантливее меня.

Эстебан молча последовал за ними. Придя в шапито, задернули занавес, закрыли дверь, чтобы никто не мешал. Эстебан сомневался, что из затеи выйдет что-нибудь путное. Лупо — клоун? Невозможно и представить себе. В этом волке столько же смешного, сколько поэзии в Джефе или эгоизма в Марии.

Лупо вышел на середину манежа и раскрыл огромный чемодан. Затем опустился на колени и стал в нем рыться. Причем с невозмутимым и серьезным видом. Эстебан ждал, испытывая чувство неловкости за Лупо и не понимая, что тот не просто что-то ищет, а показывает номер. Это длилось вечность. Когда наконец Эстебан, устав ждать, решил присесть, Лупо выпрямился, держа в руках маленькую черную коробочку. Потом своим обычным размашистым шагом пошел к Эстебану, неся коробочку на вытянутых руках, как что-то очень хрупкое и драгоценное. Директор труппы заинтригованно наблюдал за его движениями: Лупо был похож на погруженного в печальные думы паломника. Не дойдя до него метра два, Лупо, по-прежнему без тени улыбки, остановился, сделал пол-оборота, потом резко повернулся к Эстебану да так и застыл, прямой как стрела. Тот от удивления икнул и, не удержавшись, рассмеялся: оказалось, Лупо успел вынуть из коробочки клоунский нос и нацепить его на свое бесстрастное лицо. Вышло очень забавно. А потом Лупо, прямо как был в своем голубом рабочем комбинезоне и с красным носом, принялся выделывать балетные па, все так же храня молчание. Трудно было ожидать от него такой пластичности и чувства ритма. Впечатление, что и говорить, было ошеломляющим. Далее он исполнил еще несколько сценок, таких же комичных. Особенно уморительно было смотреть, как он падает на воображаемом катке. У Лупо разъезжались ноги, он брякался, пыхтя поднимался, а секунду спустя опять плашмя лежал на настиле. Эстебан перестал сдерживать смех. Дебютант был так серьезен и ста-

рателен, что хотелось обнять его и заверить, что однажды у него все получится.

Когда Лупо закончил в той же позе, в какой начал, Эстебан вздохнул с облегчением: в цирке еще одним одаренным артистом стало больше.

Он немедленно собрал всю труппу и объявил об этом. Однако новость была воспринята как шутка. Тогда Лупо повторил свой номер, и труппа встретила его с восторгом. По окончании показа все бросились обнимать собрата. Тронутый до глубины души, он впервые улыбнулся.

После этого статус его в труппе изменился, он стал ее полноправным членом. И хотя по-прежнему отличался замкнутостью и слыл молчуном, все равно пользовался расположением коллег.

Прежде в его жизни была лишь борьба, и раз уж довелось узнать, что такое счастье, он сделал все, чтобы его не потерять. Однако дважды ему пришлось испытать душевное потрясение: сначала когда ушла Мария, нанеся непоправимый урон всей труппе, так и не сумевшей оправиться от потери и спустя десять лет; и после, когда появилась Понетта, ставшая для него постоянным источником мук.

Завладев его думами, она навела его на одно неприятное открытие: слова иногда бывают очень полезны, но он не знает их, во всяком случае тех, которые пригодились бы ему теперь. Волк пожалел о том, что он не человек. Можно молча причинять боль, смешить, но нельзя молча любить. Все три года, что он страдал от избытка страсти, он ощущал себя неимущим — не имущим слов. Эта особая нищета мучила его, и когда боль становилась невыносимой, а комок, подкатывающий к горлу, мешал дышать, он доверял все, что хотел высказать, рукам, и те на своем языке разговаривали со столь желанным телом. Понетте так и не суждено было узнать, как он страдает от неудовлетворенности и сожаления после нескольких минут счастья. За умение произнести "Я тебя люблю" он охотно продал бы душу дьяволу, но не тут-то было: договор с дьяволом был подписан им раньше, теперь же наступило время расплаты.

На Ренато он не злился. В воровском мире, где прошла большая часть его жизни, он слишком часто наблюдал, как такие вот посредственности, мастаки трепаться, занимали место возле сильных мира сего. Упорство и лицемерие образуют смесь, способную разъедать даже самую крепкую волю. В душе он не сомневался, что Ренато удастся уговорить Понетту выйти за него замуж. С горестным смирением ждал он объявления об их помолвке. Не исключено, что в этот день он пустит себе пулю в лоб. А может, все останется по-прежнему. Когда это произойдет, ничто уже не будет иметь значения, оттого и выбор можно предоставить судьбе-индейке: подбросить монетку и посмотреть, что выпадет — орел или решка.

Однажды вечером, уже после того как было объявлено о предстоящем поединке между Жоаном и Жеромом, Лупо навестил Котон. Лупо налил ему старого доброго рому и поинтересовался, зачем он пожаловал.

— Пришел просить тебя об услуге. О, сущий пустяк. Только сперва дай слово, что выполнишь, ни о чем пока не спрашивая. Понимаю, что злоупотребляю твоим хорошим отношением ко мне.

Лупо удивился. Никто на свете не обратился бы к нему с такой просьбой. Никто, кроме Котона. Он поднял бокал, выпил и ответил:

– Даю слово: что ни попросишь, сделаю.

Котон от удовольствия прищурился и тоже выпил.

– Спасибо, дружище. Тронут твоим доверием. Увидишь, это такая ерунда. Я бы хотел, чтобы ты спел.

Лупо от неожиданности поперхнулся.

Поступь наездницы

Возвращаясь из города, Жоан шел по территории, прилегающей к шапито, где вскоре предстояло вырасти целому городку из торговых палаток, ларьков, навесов. Стук молотков смешивался с непристойными шутками и бранью мастеровых. Не поднимая глаз, прошел он по стройке, с некоторых пор неизбежно сопровождавшей цирк. Большая деревянная коробка, которую он нес, была для него тяжела, но, судя по всему, слишком ценна, чтобы он мог доверить ее другим, пусть и более сильным рукам.

Он чуть было не наступил на шевелящего усами и ушами кролика, только в последний момент заметил это вдруг возникшее на его пути препятствие. Несколько секунд он оторопело разглядывал очередной шедевр Жерома. Ему не верилось, что кто-то может отправить в рот разноцветные шарики, кубики и треугольники, наполнявшие автомат. Прозрачный живот кролика был под завязку набит каучуковой дрянью! А между тем Жоан знал: к концу каждого ярмарочного дня – он все еще не хотел соединять воедино цирковое представление и раскинувшуюся поблизости ярмарку – автоматы со сладостями будут пусты. Однажды он понаблюдал за поведением детишек: они без устали осаждали родителей просьбами, те в конце концов сдавались, подводили их к этим бандитам в обличии панд, зайцев и медвежат и выдавали жетон. Добившись первого успеха, ребенок намечал себе более солидную цель: брелок, пластикового солдатика, дешевое колечко, свисток; заполучив вещицу, он забывал о конфетах, и половина их оставалась валяться на земле. При виде маски, бороды или вафельного стаканчика у юного тирана вновь пробуждался интерес, и так он таскал за собой родителей в надежде обнаружить что-то еще, более соответствующее его вкусам. Словом, это была настоящая дьявольская – поскольку построена на искушении – западня. Устоять не могли даже самые строгие родители, да и как можно устоять, если ты пришел сюда ради чада. Жоану довелось слышать, как одна мамаша сказала мужу, собиравшемуся отшлепать сорванца, который бросил в пыль уже третью порцию конфет: "Послушай, дорогой, этот день нам слишком дорого обошелся, чтобы еще давать волю рукам. И потом, разве не нормально, что ожидание сюрприза интереснее самой конфеты?"

Когда Жоан услышал это, ирония, впрочем вовсе ему не свойственная, одержала в нем верх над отвращением, и он подумал, что мужу не грех припомнить эти слова, когда женушка застукает его с любовницей.

Миновав место, отведенное под ярмарку, Жоан вошел к себе и с удовольствием закрыл за собой дверь. Включив все имеющиеся у него осветительные приборы и поставив виниловую пластинку с музыкой Дебюсси, он засел за работу.

Коробка стояла перед ним. Он осторожно открыл ее и вынул упаковочные прокладки, предохраняющие содержимое от ударов.

— Я должен сделать это, Мария, пусть и в последний раз.

Разложив на столе колесики, шарнирчики и маленькие блоки, он любовно погладил их стариковскими пальцами.

— Вряд ли они поймут, но вспоминать будут. А это главное — правда, Мария?

Отложив пустую коробку в сторону, он выдвинул ящик комода и достал оттуда деревянную руку и гибкие язычки-клапаны.

— Укрепим суставы. Из-за большого размера такая легкая модель будет испытывать сильную нагрузку.

Он принялся наклеивать язычки по всей длине внутренней поверхности трубок. Затем перешел к деликатной задаче — испытанию локтевого сустава.

— А? Да нет, мне начхать, кто победит. Мое время ушло. Достаточно выглянуть в окошко, чтобы это понять. Видела бы ты весь этот базар! Жаль беднягу Эстебана. В глубине души он осознает, что происходит, но над ним довлеет воспоминание об отце и чувство долга. Грустно, что порой честь так же слепа, как и любовь, и оба эти самые благородные чувства могут нас с таким же успехом угробить, как и худшие из инстинктов. Остается надеяться лишь на внутреннее лезвие — оно всегда отделит правду от лжи, даже если мы того не хотим. Я с этим лезвием считаюсь!

Из другого ящика он достал кусок ткани, который оказался рукавом.

— Жалко было резать твой цирковой наряд, но никуда не денешься, времени в обрез. После я его снова сошью, обещаю. Мне нравится, когда он висит на вешалке возле кровати.

В руке были предусмотрены отверстия для закрепления краев ткани. Широкие рукава скроют колесики у запястий.

— Знаешь, я ведь попросил Котона сделать аранжировку твоей мелодии, под которую ты выступала. Мне больше по сердцу, когда он ее исполняет, а не оркестр. Последний круг по манежу под звуки его гитары — ты это оценишь.

Рука была собрана; он поднялся, чтобы достать из-под кровати картонную коробку. В ней лежала пара грациозных кистей, завернутых в папиросную бумагу и напоминавших королевскую корону. Он взял одну, вернулся к столу и провел деревянной ладошкой по щекам.

— Да, любовь моя. Обещаю, что буду помнить о своей больной спине.

Процесс присоединения кисти к руке был сложным. На запястьях и кончиках пальцев имелись колечки, за которые крепились нитки. Для того чтобы двигался локтевой сустав, Жоан, поразмыслив, предпочел пропустить внутри руки нить, выходящую у плеча, что, несомненно, потребует дополнительных усилий для управления рукой, зато придаст ее движениям больше изящества.

— Ну вот, на сегодня все. Схожу-ка проведаю нашего партнера. Ему тоже придется немало потрудиться. Знаю, он будет счастлив сделать это для тебя.

Жоан прикрыл готовое изделие простыней, набросил на плечи плащ и вышел. Смеркалось. Ярмарка опустела, торговые ряды были готовы принять завтрашних посетителей.

Он обогнул шапито, где еще продолжались репетиции, и, стараясь проскользнуть незамеченным, отыскал тропку на небольшом лугу, который на время представлений сдал им в аренду один крестьянин. Почуяв его, радостно заржала и поскакала ему навстречу Фадо, а потом принялась обнюхивать его карман. Жоан дал ей морковку, она осторожно взяла ее мягкими губами.

— Поможешь мне, Фадо. Хоть ты уже и старовата. Да и я не молод. Ради нее. Мария хочет в последний раз выступить перед зрителями. Ну и немного для меня, не стану отрицать. Вначале мы с тобой не больно-то ладили. Ревновали. Сегодня нам нечего делить, мы можем лишь помочь друг дружке не забывать ее. Это очень важно. Марии есть что сказать, понимаешь? Поэтому она возвращается. А мы сделаем так, чтобы они ее услышали, даже те, кому этого вовсе даже не хочется. Согласна? Ну а как же, конечно согласна. Ты молодец и любишь ее, как и я. Вот увидишь, тебе придется делать то же, что и раньше. Остальное — моя забота.

У Фадо в предвкушении второй порции лакомства затрепетали ноздри. Жоан провел рукой по ее лбу, расчесал пальцами длинную белую гриву.

— Что за дивное создание! Мария, ты нас видишь? Отзовись!

Голос его осекся. Он поднял воротник и побрел назад. Старость — не радость, но и с ней можно примириться. Другое дело — Марии нет рядом. Это пережить нелегко.

Он уже подошел к своему фургону, когда услышал звуки Котоновой гитары, доносящиеся от костра. Посмотрев в ту сторону, он увидел Малену и ее неизменного спутника: они сидели прижавшись друг к другу и укрыв ноги пледом.

Он подошел к ним. Малена улыбнулась, подвинулась, предлагая ему устроиться рядышком, и протянула кружку с горячим питьем.

— Что грустишь, дружище? — участливо спросил Котон.

Вместо ответа Жоан посмотрел ему прямо в глаза и долго не отводил взгляд в надежде, что тот сам прочтет ответ. Душевные излияния давались ему с трудом.

— Поговори со мной. Скажи, что смерть — это не конец.

— Да ладно, — улыбнулся Котон. — А я уж было испугался, почему это ты не задаешь мне никакого заковыристого вопроса?

Жоан рассмеялся. Вслед за ним и Малена. И что бы с ним было без старых друзей, как бы он согревал душу?

— Чего это вы смеетесь? — лукаво спросил Котон.

Жоан и Малена пожали друг другу руки. Проходившие в это время мимо Лупо и Джеф удивились тому, что Жоан в такой час не у себя, а еще больше тому, что он смеется, и им тоже захотелось посидеть у костра.

— Что тут у вас происходит? — поинтересовался Джеф.

— Вы как раз вовремя, — отвечала Малена. — Мой любимый мужчина собирался объяснить нам, почему смерть — это совершенно очевидно не конец.

Вновь прибывшие были слегка ошарашены тем, что столь деликатная тема обсуждалась в шутливой форме, да еще в присутствии Жоана.

Котон, видя их неловкость, повел такую речь:

— Послушайте, что я вам скажу, фомы неверующие. Это аксиома, которую вы отвергаете из-за привычки все усложнять. Все мы, ребятки, отчасти люди, отчасти животные, двуногие, разве что шерстью не покрытые. Изнутри нами управляют инстинкты, снаружи — законы, и при каждом нашем шаге одно приходит в противоречие с другим. Мы — причудливые создания, до краев наполненные душой. Неудивительно, что мы питаем надежду. Едва нас выпустили из материнского чрева, как вино из бочки, мы уже понимаем, что нам дано больше, чем всем остальным живым существам. Чуть научились ходить, а уже, глядишь, возможностей у нас сверх меры, причем никому не ведомо, отчего так! Шуточка космического масштаба. Представьте, что я встречаю на улице незнакомца и без каких-либо объяснений вручаю ему золотой самородок размером с кулак. Так вот, если он хоть немного учился в школе, он будет жить в страхе до тех пор, пока не сплавит этот самородок кому-нибудь другому. Но если человек-животное хоть на время забудет о своей высокоорганизованной натуре, он, может быть, вспомнит, что, будучи наполовину животным, он принадлежит природе. И тогда, прозрев, обратится к природе за ответами, которые отсутствуют в томах законов, и откроет для себя главнейшую из истин: в этой самой природе нет ничего бесполезного. Одно живет, питаясь другим, и служит на благо Единого Целого. Человек, начитавшийся ученых книг, скажет мне: "Науке это известно", что, однако, не избавляет его от своего рода безумия: стремясь быть частью Целого, он тем не менее убежден, что сам он ценнее этого Целого, и потому его собственные законы превыше всех прочих. Цивилизованный человек настолько глуп, что утверждает, даже не смущаясь, что его останки пойдут в пищу червям, при этом он не слишком-то верит в полезность своей души. Я задаю вам вопрос: "Что ж это получается? Неужто из всего того, что мы собой представляем — человек и животное, тело и переполняющая его душа, — только она, такая бесценная душа, совершенно бесполезна для Целого? Придерживаться подобной точки зрения означает очень мало доверять Целому, как его ни называй — природа, Бог или как-то еще. Высокоцивилизованный человек возразит мне: "Это не может быть настолько просто, ведь нас, сомневающихся, так много". Прекрасно! И заметьте, его слова не лишены логики. Если старый негр Котон прав, если все это очевидно, почему тогда я не ношу эту истину в себе, как все прочие истины: солнце садится, сладкое приедается и так далее? А Котон тут вам ответит: "В том-то и заключается шуточка космического масштаба". Чтобы узреть эту истину, нужно признать, что ты — составная часть Целого и несешь ответственность за то, что в себе содержишь! По глазам вижу, как вы удивлены. Высокоцивилизованного человека передергивает... "Если я правильно понимаю, — говорит такой человек старому негру, — я могу быть уверен, что у меня есть душа, что она полезна и после моей смерти послужит Целому, как и мое тело. Однако почему мне не дано знать это наверняка? К чему было заронять в меня сомнение?" И тут вот что я вам скажу, ребятки: относительно намерения Целого по поводу вашей души мне кое-что говорит интуиция. Я наблюдал природу, в которой мне открылось много удивительных, вечно изменчивых явлений, таких разноречивых и при всем том верных некоему единому глубинному замыслу. Еще интуиция мне подсказывает, что Целому по нраву удивляться. Поскольку оно такое волшебное, сплошь сотканное из чудес, ему требует-

ся энергия под стать его задаче, а эта энергия, как нашептывает мне мой мизинец, лежащий на струне ми, и есть удивление... Мы вечно будем удивляться шутке, которую сыграло с нами мироздание... Это удивление Целого перед нашими бесконечными предположениями-гаданиями и сомнениями. Лично я считаю Целое невероятно хитрым. Оно отыскало единственное, что никогда не угаснет, питается за счет самого себя и самовоспроизводится, — удивление! На то оно и Целое, чтобы совершать такого рода находки.

И, видимо, чтобы подкрепить свои доводы, Котон от души расхохотался. Его искренний согревающий смех подействовал на всех лучше всяких нежностей и сладостей.

А как хорошо было в эту минуту Жоану — и не передать словами! Его телесная оболочка сделала милость — забыла на время о своем возрасте и позволила насладиться божественными мгновениями задушевной беседы в кругу друзей. Но не его одного растрогал и утешил сбор у костра.

— Знаете, — заговорил вдруг Джеф, — я не так образован, как Жоан, не так мудр, как Малена, не так одарен по части выражения своих мыслей, как Котон, и вообще человек малограмотный, таким родился, таким и помру, не очень-то многому научившись в промежутке, но вот что я вам скажу. Слушаю я Котона и понимаю: он правильные вещи говорит, и не потому, что мне все ясно — скажи я так, это было бы враньем, — а скорее потому, что чувствую: рядом с ним, рядом со всеми вами я на своем месте. А еще... я, знаете, немного боюсь.

— Чего же ты боишься, колосс? — спросил Лупо, дотронувшись до бицепсов Джефа.

— Того... что все это кончится. Что нас все меньше. И даже те, кто еще остается, редко собираются по вечерам поболтать. Как будто Мария все это унесла с собой.

Произнеся это имя, он нарушил табу, и собравшиеся виновато уставились в землю. Джеф спохватился и покраснел от смущения.

— Что я за дурак! Прости, Жоан, я не хотел причинить тебе боль. Какой же я болван!

Ко всеобщему изумлению, Жоан улыбнулся и положил свою руку на лапищу Джефа.

— Не расстраивайся. Как раз наоборот, нужно говорить о ней, произносить ее имя. Я тоже ведь думал о ней. Помните, как весело было, когда она танцевала для нас по ночам? Такое не повторяется. Мария, Мария... Не бойтесь упоминать ее имя. Котон, а ну сыграй нам ее любимое танго.

Котон с волнением тронул струны. Лупо сходил за вином, и долго еще вокруг костра раздавались песни и смех. Потрескивали дрова, и казалось, кто-то ходит вокруг и все никак не осмелится подойти поближе. Уж не поступь ли наездницы Марии слышалась в ночи?

Еще раз о ремесле...

Он вертел в руках куклу, которую изъял из автомата "Красавица и Чудовище": настоящее чудо из пружинок и крошечных шестеренок, сотни часов кропотливого труда, итог длительного и терпеливого обучения, шедевр, созданный в русле старинных традиций...

Рядом на столе высилась стопа проспектов с еще не высохшими красками. Эти несколько килограммов бумаги были для цирка полезнее, чем любой из членов труппы. Да разве объяснишь артистам, что вырученные за билеты деньги составляют едва ли восьмую часть всех сборов за вечер?

Ему самому не нужны ни успех, ни слава, не ждет он ни наград, ни богатства. Его упрекают — мол, не всегда приветлив, не завтракает вместе со всеми, часто забывает поздороваться, иногда не слышит адресованных ему вопросов. Допустим, все это так. Но неужели окружающие не в состоянии понять, какой груз он на себя взвалил? Какое ярмо надел на шею? Другие-то ни о чем не беспокоятся, положившись на авось, на то, что все само собой образуется. Он вовсе не мнит себя Атлантом, но и преуменьшать свой вклад в общее дело тоже не стоит. Все говорит за то, что он преуспеет в деле спасения безнадежно устаревшего, приговоренного к исчезновению предприятия. Да, это требует жертв, перемен в мышлении людей, понимания того, что мир не станет под них подстраиваться, и, чтобы держаться на плаву, надо приспосабливаться к новым условиям. Вот оно, ключевое слово: приспосабливаться. Или исчезнуть. Другого не дано. Если б ему вменяли в вину, что он ставит интересы предприятия выше интересов труппы, он бы еще мог понять. Чтобы двигаться вперед, нужно отойти на шаг и увидеть всю картину в целом. Сам этот шаг обрекает того, кто взял на себя такую миссию, на одиночество.

Жоану этого никогда не понять. Если б только старик знал, как он, Жером, восхищается им... Если б не видел в нем врага, выслушал его... Если б не его гордыня... Сколько бы они сделали вместе! Так нет же, он выбрал противостояние, и даже сверх того — выяснение отношений в открытом бою.

Жером против воли оказался в положении, которого предпочел бы избежать. Но теперь пойдет до конца, ведь Жоан уже сделал выбор, и не только за себя, но и за него. Вот только радости ему это не принесет.

Победа будет за ним, Жоану придется сойти с дистанции. В том, что старик останется верен данному слову и не допустит разрастания конфликта, у него сомнений не было. И тогда на его, Жерома, пути не останется ни одного препятствия.

А вот следующий этап задуманного куда больше его беспокоил: предстояло уговорить упрямого Эстебана не останавливаться и идти дальше. Но сперва надо будет выждать некоторое время, пока все успокоится, и затем постараться склонить труппу на свою сторону. Одно несомненно льет воду на его мельницу — ощущение неизбежности перемен. Как только труппа проникнется этим чувством, препятствия сами отпадут, и, может, тогда, избавившись от колебаний и недоверия, люди осознают, как многого они добились.

А пока необходимо сосредоточиться на поединке. Он немало продвинулся в создании концепции своего номера, уже было придумано и подходящее название: "Трепещущее крыло бабочки". Он постарается внушить членам труппы мысль о неумолимом ходе вещей. Одним махом достичь сразу двух целей, под маской скромной победы стать триумфатором... Кто откажется быть на стороне победителя? Но важно подобрать к ним ключик, чтобы у них не возникало ощущения, что, присое-

динившись к нему, они скомпрометируют себя. И Жоан с его дурацкой бравадой, сам того не желая, дал ему такой ключик.

А самое замечательное состояло в том, что он просто не мог проиграть. Пусть Жоан делает что-нибудь сентиментальное с философской подоплекой — это у него лучше всего выходит. Его лебединая песнь обещает быть великолепной. Жером в этом не сомневался, как и в том, что она будет трогать за душу и, судя по тому, что ставил в последнее время старый мастер, будет нелегкой для понимания. Его же преимущество в том, чего не перебьешь никакими душещипательными историями: он знает, зачем зрители приходят в их шатер — отдохнуть, отрешиться от дел, покричать и посмеяться, дать волю эмоциям, словом, за зрелищем. Вот он и даст им это зрелище, да такое, что небу станет жарко.

Ящики с пиротехникой и дымовыми снарядами были в его распоряжении, с электрикой и шумовым оформлением тоже проблем не предвиделось, бóльшая часть автоматов уже действовала, оставалось довести до ума автоматизацию управления всей установкой, и бабочка, заявленная в названии, даст шороху. Работы еще начать и кончить, но потом ведь можно будет использовать этот задел в качестве гвоздя программы во всех последующих представлениях, и потому игра стоит свеч. И уж во всяком случае зрителям будет что вспомнить, не то что сегодня, когда в конце представления им показывают, как клоун Лупо примиряется с силачом Джефом. Жером глянул в зеркало и озорно подмигнул себе. Какой путь пройден! Отец мог бы им гордиться. Эта мысль была для его души бальзамом. Находясь в детстве под большим впечатлением от того, что его отец, по отзывам окружающих, лучший в мире часовщик — самый знающий, самый искусный, Жером рос в его тени застенчивым и тихим. Отец имел дело с высокородными особами, промышленными магнатами, политическими деятелями, его приглашали на званые обеды и торжественные приемы. Это был справедливый и добрый человек, много времени проводивший в своей мастерской, где он создавал уникальные механизмы, либо на встречах с сильными мира сего. Жерому, в сущности, так и не пришлось как следует его узнать.

Однако в отроческие годы в компании сверстников Жером вдруг сделался заносчивым и драчливым заводилой. Он рано уразумел, как устроено людское сообщество, что им движет и то, что победителю все прощается. За ним шли. Было что вспомнить, оглядываясь назад.

Правда, друзей тех лет он растерял, ведь водить с кем-то дружбу — это требует и времени и душевных затрат. Друзья капризны, обидчивы, хотят, чтобы вы оставались таким же, каким были много лет назад, завидуют вашим успехам и получают извращенное удовольствие, критикуя ваши достижения под предлогом того, что дружба дает им право резать вам правду-матку в глаза. А на самом деле все продвигаются в жизни по-разному и первым приходится мириться с пристрастным отношением тех, кто отстает. Так понимал это Жером, делая логический вывод: не стоит ни в чем ущемлять себя ради друзей, лучшие из них — те, с кем можно соперничать, они вас стимулируют, подталкивают вперед и вверх, и это самое большее, что только можно от них получить.

Когда не стало отца, Жерому пришлось делать выбор. Идти по его стопам он не хотел, да и главным для него был не сам путь, а достижение более высоких результатов. К тому времени он уже был автором нескольких прекрасных автоматических игрушек. Его отцу это занятие

представлялось чем-то вроде развлечения по сравнению с собственной работой. И хотя сыну он этого не показывал, все-таки ждал, что тот займется более серьезным делом. Жером страдал от отсутствия поддержки, но все равно был убежден, что нащупал нечто весьма актуальное для своего времени. Первые его творения ушли по хорошей цене.

Одним из лучших друзей отца был Эстебан Маркес. Ребенком Жером не раз бывал на представлениях его цирка и сохранил о них чудесные воспоминания. Еще до смерти отца Жером решил, что будущее за зрелищем. И то сказать, что может быть бесспорнее на этом свете, чем потребность людей в развлечениях. В таком случае почему бы не цирк... Идей была тьма, работы — непочатый край.

В ту пору он был влюблен в Веронику — светлоглазую дочь известного в городе врача. Жером и тут все для себя решил: он убедит ее последовать за ним, возьмет замуж. Какая девушка устоит перед предложением руки и сердца, думал он, да и вообще мысль о семейном очаге была ему очень приятна.

Но она отказала. Он предвидел, что девушка побоится покинуть семью и друзей, да еще ради того, чтобы кочевать с бродячими артистами, и надеялся смягчить ее расставание с привычной жизнью отсрочкой отъезда на год-другой.

Но отповеди с ее стороны он никак не ожидал: Вероника вообще не хотела идти за него замуж — ни ехать с ним, ни оставаться. Не хотела, и все тут. Другой был героем ее романа — многообещающий молодой дантист, и с ним она была готова отправиться хоть на край света. Но этого от нее не требовалось — у дантиста был собственный дом в столице.

Сказать, что мир устоявшихся представлений для Жерома в одночасье рухнул — это ничего не сказать. Душевная рана долго не заживала. Никогда он не любил Веронику так, как тогда, узнав, что не нужен ей.

Месяцы, последовавшие за роковым объяснением, были наполнены слезами и тянулись вечность. Он заперся в мастерской и не появлялся на людях. Друг приносил ему еду. Свое добровольное заточение он провел в состоянии лихорадочной отрешенности и создал "Красавицу и Чудовище".

Когда тяжкий труд был завершен, он представил его на суд зрителей, после чего вновь обрел жизненные силы. Никто, и уж тем более какой-то молодой дантист, не был на такое способен. Настало время поведать об этом миру.

А Вероника... что ж, наверное, так оно и лучше. Она не обладала той силой характера, что требуется для большого жизненного приключения, в которое он собирался пуститься вместе с ней. Однажды встретится ему та, которая поймет и поддержит его. Он продал дом, списался с Эстебаном, без труда убедил его в необходимости перемен и поступил в его труппу. И тогда работа закипела.

Одно утро и два возвращения

Эстебан открыл глаза, потянулся, включил ночник. Выдалось свободное утро, никаких спешных дел не предвиделось. Во всяком случае, Жером так старался во всем его подменить, что в последние месяцы груз ответственности, лежащей на директоре, заметно уменьшился.

Это было приятно и вместе с тем тревожно. Годы брали свое. Здоровье было уже не то, давно не давала покоя мысль о преемнике. Раньше ему бы и в голову не пришло, что все так обернется. Он знал Жерома еще ребенком и потом с интересом наблюдал, как этот тихий, застенчивый мальчик, которого затмевал его отец — яркая, авторитетная личность, — потихоньку высвобождался из-под отцовской опеки и влияния и предпочел искать собственный путь в жизни. Эстебан сыграл в его судьбе важную роль, уговорив друга не мешать сыну найти свое призвание.

Когда Жером проявил интерес к его цирку, Эстебан попытался отговорить его. Ну какое, право, будущее ждет одаренного молодого человека при их-то кочующей жизни? В ту пору механические куклы Жерома вызвали интерес у коллекционеров, и Эстебану казалось, что Жером и без цирка не пропадет. Но как-то раз, когда они оба оказались в одном городе, юноша пригласил его поужинать и поделился мыслями о модернизации циркового дела. Эстебан был потрясен. Не то чтобы все эти проекты так уж увлекли его — поразило то, что впервые за долгие годы кто-то так близко к сердцу принял проблемы цирка. Артисты не разделяли его тревоги. Они были привязаны друг к другу, с азартом готовили выступления и воспринимали все как нечто неизменное, раз и навсегда данное. Бесстрашные, великодушные, привыкшие к лишениям, они радовались, когда выпадали успешные дни, и не отдавали себе отчета в том, что подобный образ жизни чреват непредвиденными событиями. И потому в тот памятный вечер в ресторане Эстебан был покорен напором и страстью молодого человека, вследствие чего позволил увлечь себя самой безумной из надежд: надеждой на будущее и на стабильность.

Ныне он, случалось, пугался происходящих в цирке перемен, опасался тех радикальных средств, к которым прибегал его неутомимый собрат, подобно пикадору всаживающий бандерильи в становой хребет их традиций. По правде говоря, Эстебану претила вся эта коммерческая возня вокруг шапито, а автоматы с конфетами и прочие ухищрения, предназначенные для того, чтобы одурачить людей и выманить у них побольше денег, вызывали в нем ту же смесь презрения и испуга, что и у Жоана. Но в отличие от старого кукловода он считал, что эти уступки спасут их от разорения и что та цена, которую приходится платить, — очевидное предательство прежних ценностей и старых добрых обычаев, — в конечном счете ничтожна по сравнению с выигрышем. И хотя власть уходила из его рук быстрей, чем он мог предположить, хотя он отдавал себе отчет, что не все его друзья смогут пережить такую встряску, — все же в нем не было ни капли злобы в отношении этого волевого и знающего, чего он хочет, молодого человека, который, будучи жертвой своего энтузиазма и нетерпения, оставался в его глазах единственным, кто был способен обеспечить будущее фамилии Маркес.

Освежив лицо прохладной водой, он по обыкновению взглянул на себя в зеркало, мысленно облачился в костюм господина Сама Лояльность, развел руки в стороны и провозгласил:

— Представление продолжается!

В дверь постучали.

Жоан рано проснулся и уже с час как сел за работу. Когда выдавались свободные от выступления дни, он посвящал их придумыванию новых номеров и первую половину дня проводил, запершись в своем

фургоне и что-то черкая в блокноте. Написанное помогало прояснить мысли. Только после второго завтрака принимался он за конкретную работу, а если позволяла погода, то предпочитал творить на лоне природы.

После полудня он отправлялся побродить по окрестностям. Обычно он прихватывал с собой двух деревянных болванчиков, без одежды, без лиц, напоминающих те фигурки, что используют рисовальщики, изображая человеческое тело в разных позах. Он имел обыкновение не нести этих кукол в руках, а вести рядом, бормоча что-то себе под нос. Члены труппы с интересом наблюдали, как вся эта процессия удаляется в сторону леса.

Как-то раз, глядя ему вслед, Понетта поделилась с Маленой:

— Мне всегда кажется, что это куклы поддерживают его на прогулке.

— А в остальное время разве не так? — услышала она в ответ.

В то утро все было иначе, он ведь готовился к бою. Марионетка-наездница была почти готова, чего нельзя было сказать о подвесной платформе, с которой предполагалось управлять ее движениями. Он знал: Джеф не подведет, изготовит все в лучшем виде, недаром он считался еще и превосходным плотником. Оставалось лишь передать ему чертежи, причем не позднее завтрашнего дня, а еще столько нужно было додумать.

И потому, когда раздался стук в дверь, он был страшно недоволен. Свои давно уже уяснили, что нечего попусту беспокоить его, — значит, опять этот молодой нахал. Он, ворча, поднялся с кресла и прошаркал к двери.

А увидев, кто пришел, чуть не лишился сознания.

Она сразу поняла, как велико его потрясение, и кинулась поддержать его. Не в силах выговорить ни слова, он сделал ей знак помочь ему сесть. Она удобно усадила его, сняла пальто, занесла внутрь дорожный саквояж и, распахнув окна фургона, принялась осматриваться. На лице ее играла улыбка человека, который после долгих лет отсутствия находит в целости и сохранности родовое гнездо. Когда же ее взгляд наткнулся на гигантскую, в человеческий рост, марионетку в пронизанном лучами солнца костюме, ее охватила дрожь.

— Это ведь *ее* наряд?

Сил у Жоана хватило лишь на то, чтобы кивнуть.

— Ну что же ты, скажи, что рад мне.

— Конечно, дорогая, — промямлил Жоан. — Просто я не ожидал. Да ведь я теперь совсем старик, такие потрясения мне тяжелы. Ну иди же, обними меня.

Алисия встала перед отцом на колени и прижала его к себе так сильно, как только могла. До чего же просто и хорошо! А она-то все эти годы боялась отчуждения, тягостной неловкости... Ничего этого не было и в помине. Лицо Жоана не только в считаные мгновения вновь обрело краски — старик, казалось, еще и помолодел лет на десять.

— Какая радость! Как я счастлив! — окончательно придя в себя, воскликнул он. — Ты великолепна. Роскошная женщина! Я не знаю, чем ты там у себя занимаешься, но тебе это на пользу. Бог мой, какой дивный миг!

Ни одного упрека с его стороны, ни малейшей укоризны ни в голосе, ни во взгляде. Ну как она могла столько времени откладывать встречу с ним? Как можно было оставить отца без вестей о себе, без своей любви? Вот уж действительно сама себя завела непонятно куда. Но она тут же прогнала эту мысль, чтобы ничто не мешало наслаждаться счастливым мгновением.

— Я уже пила кофе с Котоном и Маленой. Они все те же. Так приятно снова вас всех видеть. Надо только было раньше, ну да ладно, об этом молчок, хорошо, папа?

— Конечно, дорогая. Главное, что ты здесь. Побудешь со мной? Не исчезнешь через пару часов, скажи?

Она ответила ему с огромным удовольствием:

— У меня трехнедельный отпуск. Надеюсь провести его с тобой, если для меня найдется местечко.

Жоану показалось, что он сейчас задохнется от счастья.

— Ну, спасибо, дочурка, уважила старика. Пойдем, там наверняка все уже собрались. То-то будут рады.

Прытко, будто юноша, вскочил Жоан с кресла, обулся и взял Алисию за руку. Со смехом покинули они фургон. Стояла прекрасная погода.

Бóльшая часть труппы и впрямь находилась в шапито. Понетта отрабатывала свой номер, Джеф что-то чинил, Ренато давал канатоходке наставления, Лупо курил, хмуро держась в стороне. Оркестранты заняли свои места, готовясь репетировать с Котоном музыкальный отрывок в новой аранжировке, жонглеры были заняты своим делом, фокусник тащил за собой по опилкам коробку, предназначенную для распиливания девиц, метатель ножей мурлыкал себе под нос неаполитанский мотив, три китайских акробата устроились в уголке и играли в маджонг, а факир, изрыгатель огня, заклинатель змей, пластический акробат и тромбонист медитировали, сидя в позе лотоса.

Стоило появиться Жоану, как все замерли. За исключением Понетты и китайцев, все остальные были старожилами и знали дочь Марии и Жоана. И все же им потребовалось некоторое время, чтобы догадаться, кто перед ними. Восемь лет минуло с тех пор, как она, тогда еще девчонка, покинула их и теперь вернулась поразительно красивой женщиной. Но ее волосы, взгляд — такой же, как у ее матери, — и еще что-то неуловимое напомнили им блистательную наездницу, которая была им всем сестрой.

Случаю (с этим ни за что не согласился бы Котон) было угодно, чтобы в эту же минуту в шапито вошел и Эстебан в сопровождении незнакомца, молодого человека, лет тридцати, в джинсах и кожаной куртке.

Очутившись среди оторопело молчавших собратьев, Эстебан чуть опешил, и только когда увидел Алисию, понял, что произошло, и бросился обнимать ее.

Тотчас все пришло в движение, начались объятия, поцелуи, похлопывания по спине, у кого-то на глазах выступили слезы радости.

Даже китайцы, говорившие только на своем языке и не понимавшие, в чем дело, смешались с другими артистами и горячо поздравляли каждого.

И тут случилось то, что только и может произойти в толпе возбужденных людей. Минут через десять Алисия и незнакомец оказались лицом к лицу, и теперь все говорили только о них.

— Так вы та самая потерявшаяся дочь? — с сильным американским акцентом спросил молодой человек.

Слегка оробев и удивившись, она объяснила, что живет в Париже и давно не навещала отца, а потом принялась зачем-то рассказывать о том, как на перекладных добиралась до этих краев, о крестьянине, объяснившем ей, где найти шапито. Наверное, еще немало глупых подробностей, вроде своей беседы с кассиршей на вокзале, поведала бы она ему от смущения, но в какой-то момент подметила лукавую улыбку Марка, застыдилась и переменила тему разговора.

— А вы, стало быть, Марк, племянник Эстебана, если я правильно поняла?

— Точно. Знаете, я уже бывал на представлениях этого цирка. Мы не могли не встречаться в детстве.

Эта мысль ей совсем не понравилась. На долю секунды она даже попыталась припомнить, во что могла быть тогда одета. И тут же внутренне одернула себя: да что с ней сегодня такое, детям ведь все к лицу.

— Вы что, тоже долго не появлялись?

— Увы, матушка в ссоре со своим братом. Думаю, в большой степени из-за отца.

— Понимаю... А моя мать... — Алисия запнулась.

— Я знаю, — поспешил он на помощь и коснулся ее руки.

В его взгляде читались доброта и сочувствие.

— Мне кажется, мы вернулись сюда, когда цирк переживает необычный период.

— Ваш дядя рассказал вам о дурацком споре, который вспыхнул между Жеромом и отцом? Я не посмела заговорить с ним об этом.

— Не уверен, что он такой уж дурацкий. Вы видели все эти автоматы снаружи? Я все думаю: на что это похоже?

— Завтра увидим. Вы надолго?

Она рассердилась на себя за то, что проявила заинтересованность. А еще больше за то, что придавала такое значение ответу.

— Планов не строю. Я путешествую. Хотя это больше, чем путешествие. Я отнюдь не уверен, что вернусь домой. А возможно, просто не знаю, куда возвращаться. Но надеюсь, узнаю.

Их лица одновременно засветились улыбками, которые потом долго с них не сходили. Она не знала, о чем еще говорить, но это перестало вдруг быть важным.

Подошел Жоан.

— Пойдем, дорогая, я хочу побыть с тобой наедине.

Она сделала прощальный жест и поспешила за отцом.

Представив племянника всей честной компании, Эстебан тоже отправился с ним прогуляться. Марк молча выслушал дядюшкин рассказ о том, как жил цирк все эти годы, как появился Жером, какие надежды связывает с ним труппа, как сопротивлялся переменам Жоан, имеющий влияние на часть труппы, а также о том, как оба пришли к заключению, что необходимо раз и навсегда уладить конфликт с помощью профессионального единоборства. Последнее не на шутку встревожило Марка.

— Знаю, тебе все это кажется чудны́м, но поверь, такой поединок и впрямь способен решить проблему. Во всяком случае, проигравший не станет оспаривать законность действий победителя, это вопрос чести.

— Похоже, для тебя все решено заранее и ты радуешься тому, что Жером разрешит твой нравственный конфликт с самим собой. А если выиграет Жоан?

Эстебан чувствовал себя не совсем в своей тарелке, спотыкался на ровном месте.

— Жоан... э-э-э... Жоан не может выиграть. Жером ушел далеко вперед. Его механизмы способны творить чудеса, и спецэффекты произведут на публику гораздо большее впечатление, чем тонкий психологизм старого кукольника.

— Рассудят их зрители?

— Да. Поскольку перчатку бросил Жоан, Жером имел право поставить условие. Состязание состоится в рамках обычного представления. Аплодисменты будут служить мерилом успеха.

— Значит, это дело решенное? И ты на стороне Жерома?

— Так нужно. Жером — наше будущее. Даже будущее Жоана. Пока мы на плаву, для него всегда найдется местечко. Чем бы, по-твоему, он стал заниматься вне цирка?

— Не знаю. Раньше ведь так вопрос не стоял?

Это замечание очень не понравилось Эстебану, он почувствовал себя задетым.

— Что вы все себе воображаете? — холодно произнес он. — Есть ведь объективная реальность, с ней не поспоришь. Нельзя же упрекать меня в том, что я немного прагматичен и радею о выживании труппы! Невероятно!

— Успокойся, Эстебан. Прежде всего, я тебя ни в чем не упрекаю, и потом, — он подмигнул, — ты напоминаешь мне отца, когда так рассуждаешь.

Эстебан сделал вид, что считает шутку неуместной, но доброжелательность и искренность племянника подкупили его.

— Удар ниже пояса, малыш, — проворчал он.

— Шучу, дядюшка. Скажи, как ты поступал все эти годы, не подвергая свои взгляды пересмотру?

— Да просто трудился изо дня в день, опираясь на интуицию и делая ставку на собственные силы. — Тут Эстебан распрямил плечи. — Но я старею, быстро устаю, и времена изменились. Да еще как!

Марк остановился и положил руку ему на плечо.

Обычная скамья из давно не крашенных, потрескавшихся досок стоит под деревом и выглядит такой одинокой и ни от кого и ни от чего не зависимой, что поневоле задашься вопросом, что появилось здесь раньше — скамья или дерево.

Подобные скамьи еще попадаются кое-где, и если б не они, не было бы песен о стариках, что точат лясы, и о влюбленных, что воркуют.

И стоит она под сенью столетнего дуба. Может, и не столетнего, но так лучше.

Постепенно спускаются сумерки. Тянет прохладой, полной запахов земли, травы, цветов. Туман робко выползает из долины. Пора любви с первого взгляда.

Под дубом на скамье сидят плечом к плечу Марк и Алисия. Она не боится взять его за руку, он — прижать ее к себе.

По-разному можно описать то, что они чувствуют. Однако достаточно сказать, что Алисия обрела спутника, который поведет ее туда, где будет "меньше галерей и дверей", а для Марка настало время проститься с тенями друзей, унесенных абсурдом и ужасом войны.

Все женщины мира

У костра собрались парки – Малена, Алисия, Понетта; на ветке удобно устроилась старая сова. Пробил час Большого совета в преддверии битвы. Даже Котон не посмел перешагнуть невидимый барьер, отделяющий их от прочих смертных.

Этой ночью, как множество женщин до них перед столькими войнами, они будут прясть, распутывать нити, обрезать концы.

– Как он? – спросила Малена у Алисии.

– Немного пугает. Слишком увлечен работой, в его-то возрасте, и весь день разговаривает сам с собой. Одержим поединком. Словно от этого зависит жизнь. Надо бы вмешаться, но я не смею. Странно... но вообще-то он выглядит молодцом.

– Возбуждение перед битвой?

– Не только. Когда я говорю, что он разговаривает сам с собой... это не совсем так. Он обращается к ней.

При этих словах у Понетты округлились глаза. Она вошла в состав труппы недавно и не была знакома с Марией, а Жоана просто побаивалась. Очень скоро по отдельным намекам она поняла, что есть тема, которой ни в коем случае нельзя касаться: наездница. И потому теперь прикусила язычок и навострила ушки: о чем там пойдет речь у старших товарок? Впрочем, Алисия была не намного старше ее, хотя и внушала ей уважение. Еще бы: городская фифа, словно сошедшая с картинки модного журнала, уверенная в себе, – ох, как бы ей хотелось походить на нее.

– Это не к добру. Он обращается к призраку, – сказала Малена.

– В цирке есть призрак? – брякнула с перепугу Понетта.

Малена и Алисия посмотрели друг на друга и засмеялись.

– Милая Понетта, не бойся, – кладя ей руку на плечо, успокоила ее Малена. – Я имею в виду просто образ, а не конкретно призрак.

– Вот и хорошо! – обрадовалась Понетта. – При всем моем уважении к твоей маме, Алисия, по мне так покойники пусть остаются в своем краю и к нам не являются. У нас и без них такая кутерьма.

При этих словах Алисия изменилась в лице.

– Тебе сказали, что она умерла?

Понетта скорчила рожицу и отчаянно замахала руками, словно извиняясь за свой промах. На выручку ей пришла Малена.

– Алисия, дорогая, чтобы ты знала – мы никогда не говорим о твоей матери. Когда она ушла, боялись, что твой отец умрет с горя. За два месяца он не проронил ни слова, а это, поверь, большой срок. Но потом однажды он проснулся и вдруг понял, что жив сам и вокруг него тоже живые люди. Не сразу заметили, что он поминает ее как умершую. Подыграли ему. Зря, наверное, но думали – это ему необходимо, чтобы пережить ее уход. Да и нам самим... потребовалось время, чтобы осознать,

что потрясение Жоана сильнее, чем показалось сначала. Стоит ли удивляться, что Понетта...

Но тут прорвало Понетту. Новость была настолько ошеломляющей, что она спросила:

— А разве Мария не умерла?

— Моя мать, — едва сдерживая ярость, отвечала Алисия, — нас бросила. Исчезла однажды утром. Взяла с собой кое-какие вещи и оставила на столе записку: "Я вас люблю".

— А почему?

Понетта прекрасно понимала, что ей лучше помалкивать, но была слишком взволнованна, чтобы сдерживать себя.

Алисия недобро улыбнулась, в душе всколыхнулась вся накопившаяся за годы обида.

— Почему? Видишь ли, Понетта, единственное наследство, которое она мне оставила, — вот это гнусное "почему", которое придется таскать с собой до конца своих дней.

Понетта ойкнула и вцепилась в руку Алисии, устремив на нее полный нежности взгляд. Потом повернулась к Малене: кому и знать, как не гадалке.

Та вздохнула. Она всегда ждала дня, когда у нее попросят дать ответ на этот вопрос. Ответ был ей известен, вот только как выразить его словами? Котон, тот мог бы сочинить обо всем этом мелодию... Однако ее приперли к стенке, отступать некуда, да и поздно.

— Возможно, от некоторых людей требуют порой слишком многого, — раздумчиво начала она. — То, что я скажу, причинит тебе боль, Алисия. Мария была больше, чем супруга и мать, это было наше солнышко. Да, пожалуй, лучше и не скажешь. Все те годы, что она провела среди нас, она пополняла наши кладовые любви и тепла. В хорошую ли погоду или в ненастье, в любую минуту нашей жизни мы черпали в ней силу и нежность. Увы, даже солнце постепенно сгорает, и, возможно, планеты, которым доведется присутствовать при том, как оно окончательно угаснет, испытают те же отчаяние и ущербность, что и мы. Произойдет то же самое, но на ином, вселенском уровне. Думаю, Мария просто однажды почувствовала, что у нее больше нет сил отдавать, а может, испытала потребность самой стать планетой и перейти в другую галактику, с другим центром. У нас это было невозможно.

— И это оправдание, чтобы бросить своего ребенка? — в слезах вскричала Алисия.

У Понетты из глаз тоже брызнули слезы, она припала к груди Алисии.

— Хуже нет, когда тебя бросают, — продолжала гадалка. — Это пострашнее болезни и смерти, потому что затрагивает не только наше тело, но и душу. Нет слов, от которых заживали бы душевные раны. Никакая мудрость, никакая священная книга тут не помогут. Это наш крестный путь, наш человеческий удел.

— А что делать мне? А? Что? — сквозь рыдания вопрошала Алисия.

— То, что ты и сделала, дорогая. Распрямить плечи и найти кого-то, еще более несчастного, чем ты.

После этих слов все трое примолкли, позволив ночной тишине и их покровительнице луне утишить боль. Даже старая сова отвернула голову, решив не мешать им.

Понетта громко шмыгнула носом и потерла глаза. Ее щечки, днем и ночью что маков цвет, блестели в темноте. Она легла, положив голову на колени Алисии, та стала гладить ее волосы.

– Малена, как по-твоему, что у нас на самом деле происходит? – помолчав некоторое время и успокоившись, спросила она.

– Когда ахейцы осадили Трою, а Ахилл выступил на бой с Гектором, они бились с именем Елены на устах. Думаю, у их распри было лишь одно подлинное лицо – гордыня. А что у нас? Неужто два мужа восстали друг на друга во имя принципов? Я так не думаю. Скорее, застарелый враг рода человеческого явился за добычей.

– Отца я понимаю, а Жером?

– Я его знаю не больше твоего.

– Но ведь он разваливает труппу. Разве не так?

– Он лишь ускоряет те процессы, которые происходили и до него. Он одержим современными технологиями, а Эстебан как будто не понимает, какой оборот принимают события.

– И что же, ничего нельзя поделать, как только молча наблюдать и проклинать неизбежность? – допытывалась Алисия; в ее взгляде вдруг вспыхнул воинственный огонек.

Это не ускользнуло от внимательной Малены, и загадочная улыбка тронула уголки ее рта.

– Знаешь, Алисия, Котон всегда говорит, что чувство неизбежности возникает от нашей неспособности читать знаки судьбы.

– Извини, Малена, но я слишком долго живу в современном городе, чтобы ждать, когда судьба мне улыбнется и укажет дорогу.

– Вот как? – усмехнулась Малена. – А разве один высокий молодой человек не опровергает это твое утверждение?

При этих словах Понетта подскочила и опустилась перед Алисией на корточки.

– О, вы оба такие влюбленные... – с замиранием сердца проговорила она. – Вы такие, такие...

Настал черед зардеться Алисии.

– При чем тут Марк? – не зная, куда глаза девать, протянула она, как школьница, которую уличили во флирте с мальчиком.

– А какой красавчик! И сильный, – не обращая внимания на ее смущение, продолжала Понетта. – Должно быть, мужчина хоть куда. Я бы от такого совсем голову потеряла.

Малена наблюдала, как Понетта своим добродушием и искренностью все больше вызывает симпатию у Алисии.

– И что вы будете делать дальше? Скажи, скажи...

– Не знаю, все так неожиданно... – Алисия стала совсем пунцовой и принялась притопывать ножками, словно готовящийся взлететь воробышек. – Я его совсем не знаю. Это... – она развела руками, – свалилось на меня как снег на голову.

Понетта вдруг вся сжалась, словно ее пронзила догадка.

– Что? – забеспокоилась Алисия.

Понетта бросила на нее обезоруживающе серьезный взгляд:

– Какие они будут прекрасные!

– Кто? – удивилась Алисия.

– Да ваши дети, кто ж еще!

Малена покатилась со смеху, увидев на лице Алисии смесь паники с изумлением.

— Понетта, к чему торопить события, — весело сказала она. — Влюбленная женщина так беззащитна, ну, знаешь, как мигающая гирлянда.

Канатная плясунья наконец унялась и снова присела, задумавшись о чем-то своем.

— Так вы обсуждали, что будете делать после поединка? — спросила Малена у Алисии.

— Нет. Мы пока избегаем говорить на эту тему. Марк никак не оправится после того, что ему пришлось пережить на войне. Не хочу стать для него еще одной проблемой.

— А, ну да, — насмешливо сказала Малена. — А тебе не кажется, что это он ставит перед тобой проблемы, да еще какие?

— Все они — большие проблемы, — снова включилась в разговор Понетта, — или слишком разговорчивые, или наоборот, немые как рыбы!

И опять у костра раздался хохот.

Сова чутко внимала всему, что происходило у представительниц людского племени; они ей нравились, в отличие от других с их скверными привычками — стрелять, срубать деревья и тому подобное. Сова недоумевала — отчего это природа наделила особ женского пола такой большой властью, ведь она никому не раздавала свои милости просто так, за здорово живешь. Сове было любопытно — когда же у мужчин откроются глаза на их спутниц. Она знавала времена (ведь все совы — это одна и та же сова, переходящая из старой телесной оболочки в новую), когда племена двуногих обладали чуть большим животным инстинктом и предоставляли тем из них, которые рожали и вскармливали потомство, решать судьбу их очагов и всего племени. Сова, что и говорить, была многоопытная, она годами наблюдала за черным королем с седой шевелюрой и колдуньей с глазками-буравчиками, терпеливо ожидая, когда все окончательно прояснится. Если ты сова, то непременно охоча до чужих тайн, так уж на роду написано.

— А карты-то что говорят? — спохватилась вдруг Алисия.

— Не более того, что ясно и без них: отъезд, ссора, два возвращения.

Сова заухала, Понетта зевнула, Алисия улыбнулась, Малена бросила на догоравшие угли горсть земли.

Поединок

Весь день моросило. Дождь похоронил надежды на хорошую выручку. В такую погоду от ярмарки проку не жди. А шапито был забит до отказа, люди словно прознали, что готовится нечто из ряда вон выходящее. Эстебана, который еще не совсем оправился от волнения в связи с приездом дочери Жоана и собственного племянника, ждал новый сюрприз: в первом ряду сидели г-н и г-жа Рибо, родители Понетты.

Ну и дела, видно и впрямь предстоит что-то нешуточное.

Был один из тех дней, когда в воздухе витают обещания и угрозы, звери прячутся в норы, а дети беспричинно плачут, словом, день великого скрещенья судеб.

В труппе чувствовалось напряжение, первая часть представления не задалась, атмосфера накалилась. Все чего-то ждали, словно почуяв:

самое интересное произойдет под конец и жалеть о том, что пришли, не придется.

И вот наступила долгожданная минута. Эстебан чуть ли не против воли вышел на арену, подняв руку, остановил оркестр и объявил:

— Дорогие друзья, взрослые и дети, сейчас вы увидите зрелище, редкое даже для нашего циркового мира. Двое из наших лучших артистов бросили друг другу вызов, и именно вам предстоит определить, кто победил, и заявить о своем выборе аплодисментами. Прошу приветствовать дуэлянтов: маэстро Жоан и маэстро Жером!

Оба вышли на арену и в свете прожекторов поклонились публике. Затем пожали друг другу руки, как делают боксеры перед боем, и вернулись за кулисы. Жоан настоял на том, чтобы выступать первым, чем обрекал себя на проигрыш. Никто не сомневался, что номер Жерома более зрелищный, достаточно было окинуть взором внутреннее пространство шапито, напичканное электрикой и какими-то установками.

Погасли огни, цирк погрузился во мрак.

Алисия и Марк держались за руки. Алисия плакала — она знала о замысле отца.

Зазвучала прелестная мелодия. Прожектор вырвал из темноты Котона, в одиночестве сидящего на табурете на хорах. На нем было парадное платье. Стоило ему взять первые аккорды, как у циркачей замерло сердце, перехватило дыхание — слишком хорошо была им известна песенка, положенная в основу музыкальной композиции.

Раздались глухие четкие удары. Зал постепенно осветился, и взорам зрителей предстала лошадь, сдержанным галопом мчащаяся по скаковому кругу. Потребовалось некоторое время, прежде чем публика опознала в наезднице, чей ослепительный наряд слегка напоминал костюм тореро, марионетку ростом с человека. Ниточки от нее тянулись вверх к круглой подвесной платформе, на которой находился маэстро Жоан и, подобно пауку, затаившемуся в паутине, управлял движениями куклы. Вся техника, все сложное переплетение нитей оставались во тьме, дабы не мешать публике воспринимать действие.

А посмотреть было на что. Марионетка двигалась ловко и грациозно, совсем как настоящая наездница: взлетала в седло несущейся во весь опор лошади, гарцевала, стоя на одной ноге, спрыгивала на манеж, вновь вскакивала на круп с приходом на ноги, сочетая вольтиж с элементами джигитовки. И все это под звуки Котоновой гитары и восхищенные возгласы зрителей.

Еще некоторое время кукла демонстрировала недюжинное мастерство в исполнении конно-акробатических трюков, а потом Фадо резко затормозила и встала как вкопанная на середине арены. Опершись о шею лошади, наездница подпрыгнула и приземлилась, в знак приветствия, на одно колено спиной к лошади, которая последовала ее примеру и тоже изобразила реверанс, согнув передние ноги. Все было проделано настолько слаженно и красиво, что публика разразилась овацией. Затем наездница выпрямилась, повернулась к лошади лицом — та в этот момент легла на правый бок, — вскочила на парапет, окаймляющий арену, и побежала по нему, на ходу выделывая разные акробатические фигуры и даже совершив флик-фляк[1]. А когда добежала до того места, где

1. Прыжок назад с двух ног с опорой на прямые руки.

лежала лошадь, исполнила умопомрачительный кабриоль и оказалась сидящей верхом на Фадо, которая моментально поднялась, встала на дыбы и сделала несколько шагов на задних ногах. Грянули аплодисменты. Фадо дошла до парапета, застыла, повернувшись лицом к центру манежа. Мелодия смолкла. С потолка медленно опустилась перекладина и остановилась в трех метрах от земли. Это было некогда гвоздем программы Марии: Фадо на всех парах устремлялась к перекладине, Мария хваталась за нее и совершала пять оборотов, тем временем лошадь, успев обежать полкруга, точно по центру пересекала манеж, и в ту самую минуту, когда она находилась под Марией, та отпускала перекладину, летела вниз и попадала в седло.

Алисия не знала, какую концовку придумал отец, и с тревогой смотрела на арену. Было очевидно, что, несмотря на все его мастерство, ему не воспроизвести этот смертельный номер, поскольку веревки, тянущиеся от марионетки к кукловоду, не могли не запутаться при совершении полного оборота. Алисия, как и зрители, понимала это и задавалась вопросом: что же дальше? А Жоан не спешил, как бы предоставляя публике возможность осознать происходящее, и усугублял томительное ожидание тем, что теперь намеренно заставлял марионетку двигаться неуклюже, словно хотел напомнить: это всего лишь деревяшка, одетая в красивый наряд. Прожектор осветил платформу, сидящая на лошади наездница подняла голову и стала вглядываться в того, кто управлял ее движениями. Фадо застыла на месте. И тогда между творцом и его творением состоялся немой разговор, со стороны без труда можно было понять его суть: кукла молила своего повелителя обрезать веревки, чтобы свободно совершить обороты на перекладине. Жоан, казалось, был непреклонен и жестами показывал: нечего и думать. От этой сцены веяло невыразимой печалью. В конце концов кукла потеряла всякую надежду уговорить человека и отвернулась от него. В этот миг Жоан выбросил обе руки вперед, словно веля ей одуматься... Тьма заволокла платформу. Наездница пришпорила лошадь. По залу пробежал восторженный рокот, многие стали криками ободрять всадницу, забыв, что она ненастоящая. Лошадь понесла ее к перекладине, кукла встала в седле и прыгнула... Но промахнулась и, падая, зацепилась нитями за перекладину, повиснув в нескольких сантиметрах от земли. Невыносимо больно было смотреть на мерно покачивающуюся фигурку бесстрашной амазонки.

В зале раздался стон, заплакали дети. Фадо закончила круг с волочащимися по песку поводьями и встала перед хозяйкой. Жоан сбросил нити, управляющие ее движениями, вниз — упав, они легли на песок подобно клубку змей. В зрительских рядах зажегся свет, публика забеспокоилась — не случилось ли и впрямь чего-то непредвиденного.

Лошадка понуро потрусила за кулисы. Лицо Алисии было мокрым от слез. Она-то сразу догадалась, что хотел сказать отец своим номером. Наверное, и все теперь стали потихоньку прозревать.

На сцену какой-то шаркающей походкой вышел Джеф и опустился перед куклой на колени. Поправив что-то в ее наряде, он бережно взял ее в руки и уложил на манеж.

В эту минуту Котон снова тронул струны гитары. Фадо, не успев скрыться за занавесом, навострила уши, прислушалась. Шум в зрительских рядах смолк. Зазвучала та же мелодия, только чуть медленнее. Све-

та поубавилось. И тут лошадь повела себя как-то странно: вернулась к лежащей на песке наезднице и, склонив к ней шею с великолепной белой гривой, дотронулась ноздрями до ее лица.

Джеф отошел в сторонку, явно находясь под впечатлением от всего происходящего.

А дальше случилось чудо: сперва дернулся локоть марионетки, затем дрожь пробежала по ее ногам. Она медленно на глазах оживала и приподнималась, а выпрямившись во весь рост, отряхнула брючки и взялась за холку Фадо. Так бок о бок они и покинули манеж под робкие аплодисменты и слезы зрителей. Несколько человек крикнули "браво!" Перед тем как скрыться за занавесом, наездница обернулась и послала публике воздушный поцелуй, чем окончательно сразила ее.

Зажегся свет. Циркачи растроганно хлюпали носами, Эстебан забился в угол и тихонько утирал слезы. Алисия искала глазами отца, но его нигде не было.

Жерому достался раздираемый противоречивыми чувствами и неразрешимыми вопросами зал, который он наполнил гамом, слепящим светом и спецэффектами. Беспрестанно взрывались петарды, взметались вверх фейерверки, по рядам поползли клубы дыма. Автоматическое войско устроило веселую трескотню, которая заполнила образовавшуюся после предыдущего номера пустоту, смела остатки тягостной растерянности и погребла под собой мгновение, потрясшее всех своей человечностью, заставшее людей, собравшихся под куполом цирка, врасплох и не давшее ответа. Публика была благодарна Жерому, вырвавшему ее из состояния душевного смятения и разлада, о чем и возвестила громом аплодисментов.

Имя короля

Никто уже и не помнил, когда загорелся тот сыр-бор и сколько тлел под толстым слоем золы... И поди ж ты, вспыхнул с новой силой.

С первыми лучами солнца Жером направился к фургону Эстебана. Зарядивший накануне дождь превратил их стоянку в болото, ранние пташки из числа артистов уже высунули нос наружу и неловко шлепали по лужам, добираясь до столиков с завтраком. Жером несколько раз кивнул головой, помахал рукой — никто не ответил ему на приветствие. Он бодро поздоровался с факиром — и тотчас послышалось: блям — это индиец нарочно с размаху ступил босой ногой в жидкую грязь; в сторону Жерома полетели брызги.

"Наверно, индийский обычай", — подумалось Жерому.

Стоило ли обращать внимание на отдельные проявления недоброжелательства и дурного расположения духа. Придется посидеть в компании, найти подход к коллегам. И непременно с этого дня завтракать вместе со всеми! Устал, не устал, занят, нет... Кажется, для них это имеет большое значение.

Он мысленно перевернул страничку "Работа с персоналом" и сосредоточился на главном. Первоначально он предполагал выждать после триумфа — в котором, к слову сказать, никогда не сомневался — не-

сколько недель, прежде чем сделать Эстебану новое предложение. Накануне, когда он, еще переполненный впечатлениями, валясь с ног от усталости, добрался до постели, заснуть удалось не сразу и было время подумать о дальнейших шагах. Излишняя осторожность способна затормозить динамику поступательного движения. От него, конечно, не укрылось, как потрясло труппу выступление соперника, что неминуемо должно было повлечь за собой неприязненное отношение к нему. Но ведь он одержал победу по всем правилам! Да и не по его инициативе все это затеялось.

Жером отдавал себе отчет, что переживает один из поворотных моментов в карьере руководителя, когда предстоит сделать выбор между решительным поступком и скромным уходом в тень. Его противник был повержен, но сердец своих солдат он, Жером, так и не завоевал, лишь явил доказательство собственной целеустремленности и воли. Если они еще не любили его, то уже уважали. По этим причинам, а также и под влиянием пьянящего чувства успеха он решил действовать без промедления: была не была — убедить Эстебана, и дело с концом.

Разбуженный настойчивым стуком в дверь, Эстебан заворчал. Не дожидаясь иного ответа, Жером вошел и, увидев не вполне очнувшегося ото сна пожилого человека, предложил сварить ему кофе.

— А вы смотритесь молодцом сегодня, — выдавил из себя Эстебан, когда пара глотков обжигающего напитка слегка оживили его.

— О да, все никак не могу успокоиться. Если честно, мне полегчало. Теперь можно будет по-настоящему взяться за дело.

— Вы не находите, что столь раннее утро не совсем подходит для того, чтобы строить из себя гения?

Жером решил не обращать внимания на иронию, отнеся ее на счет вчерашних сильных эмоций.

— Послушайте, я понимаю, что вам нелегко. Однако это досадное для всех нас происшествие можно повернуть в нашу пользу. Ничто больше не преграждает нам путь, другие последуют за нами. Вначале я хотел подождать, но знаю, что мы с вами одной породы — нетерпеливых, и решил немедля выложить перед вами свой джокер.

— Когда мой дед доставал из рукава джокер, другим игрокам приходилось не сладко.

— Выслушайте же, в чем моя идея. Меня осенило! Все это время она витала где-то рядом, такая простая, что хочется самому себе дать оплеуху за то, что так долго не мог ее поймать.

— Любой из нас с радостью окажет вам такую услугу.

— Да перестаньте же дуться, лучше послушайте: вы вступаете в мир целесообразности, о существовании которого даже не подозревали.

— О чем вы, Жером, в такую-то рань...

— Да о проблеме! Я догадался об этом с месяц назад, когда чуть было не сорвалось выступление в К. из-за наледи на дорогах. Проблема странствующего цирка в том, что он... *странствует!*

Эстебан поперхнулся и едва не выплеснул кофе себе на брюки.

— Ну что, ошеломляет? Я хотел поразить вас, сам-то не одну неделю работаю над этим. Уже и город нашел, который сдаст нам участок земли, и местное предприятие, готовое финансировать строительство.

На этот раз Жером не мог сделать вид, что не замечает крайнего изумления на лице собеседника.

— Парк аттракционов, Эстебан! Мы создадим парк аттракционов! Я уже согласовал детали. Конечно, придется поступиться именем Маркес в названии и принять имя инвестора, однако успех всегда сопряжен с некоторыми неудобствами, и я уверен...

Он не успел закончить фразу. Эстебан, красный как рак от слишком долго сдерживаемого негодования и стыда, встал.

— Именем Маркес!.. Именем Маркес! — повторял он, задыхаясь от ярости, а потом перешел на крик: — ВОН!

На лбу его вздулись вены.

Жером, не совсем понимая, отчего разговор принял такой оборот, отступил на шаг. Он вдруг почувствовал, что Эстебан близок к тому, чтобы выполнить угрозу.

— Вон, Жером! Когда я говорю "вон", это значит: "Собирайте пожитки и скатертью дорога".

В конце концов пинок, чуть не угодивший в мягкое место молодому человеку, решившему все-таки убраться подобру-поздорову, скрепил соглашение о досрочном прекращении долгосрочного сотрудничества.

А в это же время Понетта проснулась от каких-то ласкающих слух звуков и не сразу поняла, что чей-то мелодичный голос за ее окошком выводит рулады. "Предрассветный сон, наверное, — подумала она. — Вот бы так всегда по утрам слушать красивые мелодии!"

Когда же разобрала, что это слова любви, звучащие наяву, с удивлением села в постели. От утренней прохлады озябли ноги. Из-за закрытых ставень до ее слуха снова долетел приятный голос. Она открыла ставни и выглянула в окно. До чего же хорош был ее Лупо! Статный, подтянутый и такой трогательный. Он держал букет фиалок и пел. Сразу было видно — это дается ему непросто, но он старается. Увидев ее, он дал петуха. Если бы не это, она, наверное, приняла бы его за ночное видение и снова уснула. Однако, сфальшивив, он окончательно убедил ее, что это явь. Она потерла глаза, ущипнула себя, стукнула ножкой об пол...

Редко цирковой фургон распахивался для того, чтобы впустить столько счастья.

В тот же день под вечер вся честная компания грелась, сидя у костра, под звуки гитары. Никто ничего не говорил, но все с удовольствием вспоминали о том, как Жером собрал свои пожитки и покинул их, прихватив с собой и Ренато.

Малена, та еще пыталась утешить молодое дарование, Котон же прямо заявил ему:

— Ты считаешь себя жертвой чудовищной несправедливости. Да, это несправедливо. И ты мог бы, конечно, остаться. Прошло бы какое-то время, и страсти утихли бы. Но в глубине души ты знаешь, что должен уйти. Когда-нибудь ты станешь гордиться тем, что сделано здесь по твоей воле. И даже тем, что сделано против твоей воли. Таков смысл выпавшего на твою долю испытания. В добрый час!

Жером ничего не ответил. Вряд ли он даже слушал, что говорит старый негр. Он просто отвернулся от всех и, обуреваемый яростью, уехал вместе со всеми своими автоматами. После не раз можно было слышать, что присущее ему "свирепое упрямство" — это ключ к его всегдашнему преуспеянию. Надо бы рассказать о его одиноких, полных отчаяния ночах, о том, как однажды он обрел счастье, но это уже совсем другая история. Да и потом, о нем столько всего написано — и статей, и репортажей, он столько раз давал интервью и был героем светской хроники... Может, если бы с самого начала судьба в лице некой красавицы и некого часовщика была к нему поласковее, его путь к счастью был бы намного короче. Но к чему гадать.

Сова, сидя на ветке, готовилась к дальней дороге. Она не жалела о том, что долгое время сопровождала группу необычных двуногих. Больше всего ей будет не хватать черного короля: сейчас ведь почти не осталось таких людей, как он, умеющих разговаривать с ночными птицами. Ему она служила с удовольствием. Одна только грустная мысль холодком пробегала по ее оперению: что, если она последняя, кто играл роль посредника для сынов человеческих? Если это так, значит, мир вступает в долгую холодную пору, и там уже не будет места колдовским чарам. А черный король достойно завершил эту историю. Ух, надо бы почаще наведываться к сказочникам.

Понетта прижалась к широкому плечу своего клоуна. Она была ему признательна за то, что он согласился сопровождать ее в нелегком испытании — визите к родителям. Молчун добился-таки своего!

Алисия держала Марка за руку и не высказывала никаких опасений, чтобы не нарушить ненароком согласия, воцарившегося между ними. И все же душа ее пребывала в смятении, ее мучили все те ощущения, что возникают, когда человек стоит у края пропасти: головокружение и тошнота. А что, если ветер переменится? Придется возвращаться в лабиринт? Без него, одной? Снова окунуться в вихрь, единственный смысл которого в том, чтобы своей энергией всех их пригвождать к стенам лабиринта? Должен же быть какой-то выход.

Эстебан взглядом попросил у Жоана прощения, тот в ответ улыбнулся. Они оба грезили наяву: продолжалась история труппы, осененной дружеским приветом наездницы, мелькнувшей было и тут же вновь умчавшейся к другим горизонтам.

Джеф насвистывал и хлопал в ладоши в такт музыке. На сердце у него было легко, последнее выступление навело его на мысль изготовить в честь Марии макет манежа с деревянными лошадками. Кое-что в этой истории знал лишь он один. Накануне поединка Жоан попросил его принять в нем участие. Роль его состояла в том, чтобы появиться на манеже в критическую минуту, взять бездвижно повисшую марионетку в руки и незаметно прикрепить к колечкам на ее руках и ногах леску, невидимую для публики. Однако два колечка лопнули, по-видимому на них наступила Фадо. И пока Джеф размышлял, как поправить положение с помощью узелков, марионетка ожила. Простая душа Джеф не очень-то

удивился. Он всегда подозревал, что Мария не покинула их. Но лучше держать эту догадку про себя: наезднице бы это понравилось.

– Эстебан? – позвал Марк.

Котон ждал, когда это произойдет, и перестал перебирать струны.

– Да?

– Я мог бы попробовать...

– Что?

– Помочь тебе с цирком, а потом и стать у руля, однажды...

– Но как? Ты ведь не очень-то разбираешься во всем этом.

Марк улыбнулся дяде, уловив-таки в возражении надежду.

– Не боги горшки обжигают. Придется засучить рукава.

Алисия ощутила непреодолимое желание взмыть в небеса.

Ох, и хорошо же посидели они в ту ночь у костра! А когда на рассвете отправились спать, Котон пожал Марку руку и сказал:

– Молодой человек, Йеманжа веселилась с нами этой ночью. Времена нас ждут очень даже неплохие. Благодарю вас.

Он собрался было уйти, но обернулся и рассмеялся своим прогоняющим меланхолию смехом.

– Марк, Алисия!

– Да?

– С завтрашнего дня называйте меня *Эме*[1], это имя дали мне родители.

Они жили долго и были счастливы.

1. Любимый *(франц.)*.

Михаэль Маар

*Лолита и немецкий лейтенант**

Перевод с немецкого Е. Ивановой

Услышав по телефону радостную новость, издатель был так ошеломлен и обрадован, что забрался на стол. Дружелюбный незнакомый голос из Министерства внутренних дел сообщил ему, что правительство приняло решение не возбуждать против него судебного дела. За роман, который на следующий день увидит свет, никто не будет привлечен к ответственности. Гости, заполнившие в тот день лондонский "Ритц", ликовали.

За месяц до того один экземпляр скандального романа был передан на проверку в Королевскую прокуратуру; двадцать тысяч экземпляров ожидали решения своей судьбы на складах книжных магазинов: их могли либо стремительно распродать, либо тихо уничтожить. Издателям грозило обвинение в распространении печатной продукции, не отвечающей требованиям морали. На одном из заседаний палаты общин генеральный прокурор предупредил господина Николсона о том, что ему не избежать тюрьмы, если роман будет напечатан. Супруга автора шутила, что Рождество ее муж будет отмечать либо в Италии, либо в тюрьме Олд Бейли. 5 ноября 1959 года в Лондоне праздновали торжество романа, перевернувшего жизнь своего создателя. Пять американских издательств настоятельно отговаривали писателя публиковать роман и отказались его печатать. В итоге книгой заинтересовался один французский издатель, занимавшийся сбытом литературы весьма сомнительного свойства – дешевых любовных романов типа, как насмешливо называл их Набоков, "Tender Thighs" и "Memoirs of a Woman of Pleasure"**. Английские туристы, возвращавшиеся домой из Франции, тайно провозили зеленые томики на свой чопорный остров. Того, что под одной из этих травянистого цвета обложек скрывается шедевр, поначалу не заметил никто. Мировая общественность узнала о набоков-

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005
© Е. Иванова. Перевод, 2007

* Комментарии автора, помеченные в тексте цифрами, см. на с. 159–173. Ссылки на набоковские тексты и на некоторые книги о нем даются по русским изданиям. (*Прим. ред.*)

** "Нежные бедра" – никогда не существовавшая книга, публикацию которой В. Набоков приписал своему издателю Морису Жиродиа. Второй роман, "Фани Хилл. Мемуары женщины для удовольствий", вышел из-под пера Джона Клеланда и был впервые опубликован в Англии в 1749 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ском романе лишь в 1955 году, благодаря положительному отзыву Грэма Грина. Спустя четыре года, в ноябре 1959-го, британское правительство также признало, что этот роман — не порнография, а искусство. Остановить победное шествие книги было уже невозможно. Восторженные крики собравшихся, под которые Найджел Николсон забирался на стол, разносились по всей округе[1].

Эта часть истории известна. Но есть и неизвестная, даже невероятная ее часть, которая может быть воспринята как бомба замедленного действия. Это правдивая история. Рассказывать ее мы начнем с конца.

Весной 1951 года, за восемь лет до большой победы в Лондоне, немецкая газета "Любекер нахрихтен" сообщила о кончине одного своего сотрудника:

> В минувшую среду после непродолжительной болезни скончался наш коллега Хайнц фон Эшвеге-Лихберг. Смерть навеки вырвала перо из руки одного из самых известных журналистов Германии[2].

Опечаленная редакция преувеличила совсем немного. Однако на сегодняшний день известность ее сотрудника заметно поблекла, если не сказать больше: до недавнего времени господин фон Эшвеге был начисто забыт.

Его имя не упоминается ни в одном справочнике, на его след практически невозможно напасть в литературных архивах, а в единственной энциклопедии, в которой о нем есть хоть какие-то сведения, приводится ошибочная дата смерти — он прожил на двадцать лет больше[3].

Все это, наверное, простительно, поскольку даже с фамилией этого человека, столь известного в прошлом, разобраться непросто. Свои тексты он публиковал как Хайнц фон Лихберг[4], но по рождению он — Хайнц фон Эшвеге. Фон Эшвеге — древний гессенский дворянский род. Хайнц фон Эшвеге-Лихберг (будем для краткости называть его просто Лихберг) родился в 1890 году. Лихберг происходил из военной семьи[5], что, однако, не помешало его увлечению поэзией. Уже в ранней юности он начал публиковать стихотворения в журналах "Югенд" и "Симплициссимус". В разгар Первой мировой войны, будучи лейтенантом запаса, Лихберг опубликовал сборник рассказов "Про́клятая Джоконда", вышедший в 1916 году в дармштадтском издательстве "Фалькен". Позже увидели свет еще несколько небольших его книг[6], хотя прежде всего Лихберг был журналистом, а не литератором. Популярности он добился в 1929 году, когда ему довелось писать о перелете на дирижабле через Атлантику. Во время этого путешествия, то есть примерно за десять лет до Набокова, он побывал в Нью-Йорке.

Как известно, Набоков, оказавшийся в Америке позже, чуть было не совершил ужасную ошибку. В послесловии к роману, подарившему ему мировую славу и финансовую независимость, Набоков отмечает, что несколько раз испытывал искушение уничтожить свое произведение:

> Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней[7].

Жуанита Дарк... Тогда Набоков еще хотел дать своей юной героине такое имя. Что, если бы Вера не отговорила его уничтожить опасную книгу? Не было бы ликования в лондонском "Ритце". Набоков до конца своих дней оставался бы профессором литературоведения и writer's writer*. Поисковая система Google не выдавала бы на запрос "Лолита" четырнадцать миллионов записей. В городке Лолита в штате Техас не задумались бы о перемене названия. Имя Лолита не стало бы нарицательным[8]. Литература двадцатого столетия лишилась бы одного из самых смелых своих текстов. Но опубликованная "Лолита" все равно бы существовала[9].

Гибкие девочки

Образованный господин средних лет рассказывает историю любви с первого взгляда. Начинается эта история с описания путешествия за границу, где повествователь снимает комнату в пансионе. Там он встречается взглядом с дочерью хозяина гостиницы, и судьба его решена. Она — девочка, мгновенно его пленившая. Несмотря на ее нежный возраст, они вступают в интимную связь. В конце повествования она умирает, а он остается один, навсегда сохранив ее образ в своем сердце. История названа по имени девочки — "Лолита". Этот рассказ — девятый по счету из пятнадцати, входящих в сборник "Про́клятая Джоконда", — вышел в свет за сорок лет до опубликования одноименного романа[10].

Сегодня, читая "Лолиту" Хайнца фон Лихберга и сравнивая ее с романом Набокова — к счастью, спасенным от гибели в огне, — испытываешь чувство чего-то невероятного, ощущение déjà vu. Где мы, в лабиринте Борхеса? Центральная тема рассказа Лихберга — поездка в Испанию. Рассказчик, имя которого остается неизвестным, отправляется туда из Южной Германии. Перед отъездом он прощается с пожилыми братьями-близнецами, владельцами винного погребка, в который он любил захаживать. Старики — по причинам, поначалу не вполне понятным, — очень странно реагируют на его сообщение о предстоящей поездке. Проехав через Париж и Мадрид, рассказчик добирается до Аликанте, где останавливается в приморской гостинице. Вообще-то он планировал всего лишь спокойно провести отпуск. Но очень скоро он встречает тот роковой взгляд, который уже знаком нам по более поздней "Лолите". Там рассказчик по имени Гумберт Гумберт отправляется в путешествие, чтобы без помех поработать в каком-нибудь спокойном месте на берегу озера — жалкая замена мифологического образа моря. В сонном городке Рамздэль он знакомится с Шарлоттой Гейз, сдающей комнату, которая нисколько его не привлекает, — как, впрочем, и сама владелица. Во время осмотра дома Гумберт Гумберт уже внутренне готов отказаться от своих планов и уехать обратно:

Я все еще шел следом за госпожой Гейз через столовую, когда вдруг в конце ее вспыхнула зелень. "Вот и веранда", пропела моя водительница, и затем, без малейшего предупреждения, голубая морская волна вздулась у меня под

* Писателем для писателей (*англ.*).

сердцем, и с камышового коврика на веранде, из круга солнца, полуголая, на коленях, поворачиваясь на коленях ко мне, моя ривьерская любовь внимательно на меня глянула поверх темных очков.

Это было то же дитя — те же тонкие, медового оттенка, плечи, та же шелковистая, гибкая, обнаженная спина, та же русая шапка волос[11].

Одного взгляда, брошенного на девочку, оказывается достаточно, чтобы Гумберт остался. В рассказе Лихберга все также решает самый первый взгляд; контуры гибкой фигурки его героини тоже проступают на фоне, затемненном загадкой из прошлого.

Как и Гумберт, рассказчик у Лихберга очень быстро подпадает под чары юной героини и отбрасывает всякую мысль об отъезде. Подобно Долорес Гейз, его Лолита капризна и подвержена переменчивым настроениям. Ждет она от него чего-нибудь или нет, какие тайны прячутся в ее детской груди? У Лихберга, как и в случае приятно удивленного Гумберта, девочка совращает мужчину, а не наоборот. Лихберг не лишен стремления затушевать слишком откровенные подробности (мы пока еще в кайзеровской Германии), но лакуны и описательные формулировки не мешают читателю догадываться об интимных деталях.

Золотые, жаркие дни и серебристые, меланхоличные ночи.

А потом был тот незабвенный вечер, полный жизни и сказочных грез. Лолита, как случалось и раньше, сидела на моем балконе и тихо мне пела.

Но вдруг она отложила гитару — которая тут же соскользнула на пол — и робко подошла к перилам, где стоял я. Ища взглядом мерцающий лунный отблеск на воде, она, словно выпрашивающий что-то ребенок, дрожащими руками обхватила мою шею, приникла к моей груди и начала горько всхлипывать. В ее глазах стояли слезы, но нежные губы улыбались.

Чудо свершилось.

— Ты такой сильный, — прошептала она.

Дни и ночи наступали и вновь уходили — неизменное поющее очарование отрешенности придавало еще большую загадочность ее красоте.

Это описание неопределенно ровно настолько, насколько того требовала эпоха, и вместе с тем оно однозначно в той мере, в какой это было тогда возможно. Откровенно и наглядно о днях и ночах любовника нимфетки рассказывается у Набокова, который первоначально планировал опубликовать свою рукопись анонимно и едва избежал преследования цензуры, если не пребывания в тюрьме Олд Бейли. И все же бросаются в глаза сходство в сюжете и повествовательной перспективе, совпадение заглавий, имен героинь. К сожалению, как сказано в романе Набокова "Ада", не существует закона, определяющего, какое количество совпадений необходимо для того, чтобы их уже нельзя было считать случайными[12]. Ввиду отсутствия закона нелегко ответить на невольно возникающий вопрос, но еще сложнее отмахнуться от него. А вопрос такой: мог ли Владимир Набоков, автор бессмертной "Лолиты" — гордого черного лебедя в череде модернистских романов, — знать о "гадком утенке" своего предшественника? Мог ли он испытать на себе влияние этого предшественника?

По крайней мере, их пути могли пересекаться — но, безусловно, это не значит, что так оно и было на самом деле. Как и Набоков, Хайнц

фон Лихберг жил в Берлине. В детстве, во время путешествий с семьей во Францию, Владимир Набоков часто останавливался в этом городе проездом. В 1919 году в Берлин переселились его родители, братья и сестры, осевшие в районе Грюневальд. Владимир приезжал к ним из Кембриджа на каникулы. В марте 1922 года его отец был убит в Берлинской филармонии правым экстремистом из России. Тем же летом Набоков переехал из Англии в Берлин. Он сам, наверное, менее всего ожидал, что останется в этом городе до 1937 года. За почти пятнадцать лет, проведенных в Берлине, он познакомился со своей будущей спутницей жизни, позже родившей ему сына, и стал Сириным — самым значительным представителем молодого поколения русских писателей того времени. В Берлине Набоков-Сирин написал восемь русскоязычных романов. Девятый, самый объемный, — "Дар" — был почти закончен к тому моменту, когда Набоков приступил к работе над романом "Подлинная жизнь Себастьяна Найта", начав завоевание американского читателя.

Все это, конечно, еще не позволяет точно сказать, читал ли Набоков немецкую "Лолиту". Этот вопрос, как и многие другие вопросы в набоковедении, достаточно спорен. Когда писателя спрашивали о его познаниях в немецком языке, он отвечал сдержанно и даже отрицательно. Набоков не раз подчеркивал, что с трудом говорит по-немецки и не читает немецких книг — в эмиграции, боясь потерять связь с родным языком, он стремился отгородить себя от всего нерусского. Немецкий издатель Набокова Дитер Е. Циммер считал подобные высказывания писателя "слегка преувеличенными с объективной точки зрения, но чистой правдой — если иметь в виду его субъективную позицию"[13]. Издатель прав: возможно, субъективно это и было для Набокова правдой, но объективно все обстояло несколько иначе. Набоков действительно никогда не владел немецким языком (который изучал в школе)[14] в совершенстве, как английским или французским. Но он не кривил душой, когда в 1947 году, подавая заявку на стипендию Гуггенхайма, в графе о знании языков указал "приличное знание немецкого"[15]. Не солгал Набоков и в 1975 году, когда сообщил в ответ на запрос Издательства Принстонского университета, что по-немецки он не пишет, но читает[16]. Антипатия по отношению к немцам — разросшаяся впоследствии до настоящей ненависти[17] — не мешала ему хорошо разбираться в немецкоязычной литературе. Набоков был знаком не только с немецкой классикой и немецкими романтиками[18]. Он ценил Гофмансталя, преклонялся перед Кафкой и даже выступил однажды в роли редактора перевода произведений Кафки на английский язык, презирал Томаса Манна, чьи романы читал по-немецки со словарем. О Фрейде Набоков говорил, что его тексты нужно читать в оригинале — сам он, очевидно, так и делал. Первый перевод своего романа "Bend Sinister" ("Под знаком незаконнорожденных") на немецкий язык Набоков оценил очень невысоко. Это обстоятельство заставило его написать издателю письмо, в котором он утверждал, что исправление всех ляпов и халтурно сделанных мест отнимет у него больше времени и сил, нежели новый перевод. Тот, кто в случае необходимости может исправить ляпы и недоделки перевода, действительно обладает "приличным знанием немецкого языка"[19]. Писатель перевел на русский несколько стихотворений Генриха Гейне и "Посвящение" из "Фауста"

Гёте[20]. Набоков невысоко ценил современную ему немецкую литературу[21], но это мнение отнюдь не было следствием его предубежденного отношения ко всему немецкому. В "Даре" (где можно найти, среди прочего, и аллюзии на "Симплициссимуса") он пренебрежительно отзывается о произведениях Эмиля Людвига и обоих Цвейгов, а в одном из своих рассказов отпускает колкость в адрес романа Леонарда Франка "Брат и сестра" – будем все же думать, что он читал эту книгу по-немецки[22].

Тот, кто знал роман Леонарда Франка на тему инцеста, мог наткнуться и на рассказ Хайнца фон Лихберга о Лолите. В те годы, когда Набоков жил в Берлине, имя журналиста (не писателя) Лихберга было постоянно на слуху. Представим себе на секунду, что один из тех случаев, которых в жизни больше, чем допустимо в романах, привел к тому, что Набокову попался на глаза томик "Джоконды": чем он мог заинтересовать писателя? Вероятно, ложным блеском названия. Ведь поначалу может создаться впечатление, что в книге Лихберга речь идет о "Джоконде" Леонардо. Не исключено, что именно это и привлекло Набокова, который был большим почитателем да Винчи. В одном из текстов 1940 года он говорит о величии Леонардо, делает из него чуть ли не антипода Гитлера и всячески превозносит[23]. Быть может, в конце двадцатых – начале тридцатых годов он заинтересовался Джокондой, выкраденной из Лувра при странных обстоятельствах в 1911 году, и взялся за книгу, обещавшую раскрыть тайны, связанные с этой картиной. В рассказе, по заглавию которого назван сборник Лихберга, речь, правда, идет не о Джоконде Леонардо, а об одном не очень интересном женском персонаже с таким именем. Но понять это можно было, лишь раскрыв книгу.

А *если уж* она раскрыта, почему бы не обратить внимание и на юную героиню – в особенности если тема рассказа о ней обладает для читателя определенным притяжением.

Прежние жизни Лолы

Могла ли эта тема уже тогда привлекать Набокова? Да, и скорее всего, она его очень даже привлекала. В его творчестве практически с самого начала присутствовали предшественницы Лолиты. Уже в 1926 году в рассказе "Сказка"[24] он создал образ женщины-ребенка, вскружившей голову главному герою. Она плавной походкой, в сопровождении пожилого поэта, о котором Набоков впоследствии говорил как о предшественнике Гумберта, проходит мимо Эрвина, провожающего ее взглядом. Ей – около четырнадцати, на ней черное вечернее платье с большим вырезом:

> ...странно скользнули ее слишком блестящие глаза, – и если б это была не девочка – внучка, верно, старика, – можно было подумать, что губы ее тронуты кармином. Она шла, едва-едва поводя бедрами, тесно передвигая ноги, она что-то звонко спрашивала у своего спутника, – и Эрвин ничего мысленно не приказал, но вдруг почувствовал, что его тайное желание исполнено[25].

И это потому, что его тайные желания исполняет не кто иной, как дьявол. Блестящие глаза, покачивающиеся бедра: эта героиня, вне вся-

кого сомнения, — первая в цепочке предшественниц Лолиты (*пра-Лолит*), цепочке, которая больше не прерывалась в творчестве Набокова. Пока это — безымянный персонаж, но уже роковая *нимфетка*, как ее впоследствии назовет писатель[26]. Еще одна женщина-ребенок навлекает гибель на несчастного Альбинуса из "Смеха в темноте" (1932). Вскоре после создания этой повести начал постепенно проясняться сюжет будущей "Лолиты". Набросок сюжетной схемы романа писатель вкладывает в уста очень несимпатичного второстепенного персонажа "Дара" — хозяина комнаты, которую снимает Федор. "Эх, кабы у меня было времечко, — вздыхает отчим будущей возлюбленной Федора, — я бы такой роман накатал..."

Вот представьте себе такую историю: старый пес, — но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, — знакомится с вдовицей, а у нее дочка, совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. Бледненькая, легонькая, под глазами синева, — и конечно на старого хрыча не смотрит. Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду[27].

И Набоков начал описывать, создав в 1939 году в Париже повесть "Волшебник", в которой замысел романа "Лолита" уже окончательно сформировался. В этом тексте мы имеем дело с наиболее смелой версией обработки интересующего нас материала. Через десять лет Набоков принялся писать роман, который, вопреки всем нападкам, был окончен в декабре 1953 года в Итаке (Нью-Йорк).

Сколь рано начинает прорисовываться в творчестве писателя образ девочки, столь поздно появляется в его тексте само имя Лолита. Изначально Набоков хотел назвать свою героиню Вирджинией, а роман озаглавить "Джинни"[28]. Как видно из приведенной выше цитаты, в рукописи ее зовут Жуанита Дарк. Лишь потом было найдено имя Лолита, которым роман и начинается, и заканчивается. Вместе с именем нашлось множество обоснований правильности и необходимости выбора в его пользу[29]. Уже одно это обстоятельство как будто свидетельствует о том, что Набоков не знал никакой "нимфочки" своего немецкого предшественника, иначе, желая замести следы, он выбрал бы какое-нибудь другое имя — если, конечно, он не оставил такой след намеренно.

У Набокова, как и у Лихберга, "Лолита" — уменьшительно-ласкательная форма от "Лола"; в одном случае это имя испанского, в другом — мексиканского происхождения[30]. Исследователи уже давно заметили, что в имени Лола у Набокова есть и немецкий отзвук. В фильме Штернберга "Голубой ангел" роль Лолы исполняла Марлен Дитрих, с которой Гумберт однажды сравнивает мать Лолиты[31]. Как-то на прощание он даже называет ее "Марлена", в другой раз — "Лотте"; кроме того, как Набоков лукаво признался в интервью журналу "Плейбой", что ее фамилия Гейз (Haze) по звучанию должна напоминать немецкое слово "Hase" ("хазе", "заяц")[32]. Дополняет этот удивительно плотный немецкий фон то, что Гумберт как-то называет Лолиту по-немецки, "die Kleine" ("Малышка"), а в другом месте жалеет о том, что ее лицо — "может быть, вследствие бледного зимнего света" — кажется "почти некрасивым, вроде как у простенькой немецкой Mägdelein"[33].

Героиня похожа на свою немецко-испанскую предшественницу так, как могут быть похожи девочки-подростки. Они — не близнецы, объединяющее их сходство скорее мимолетно, словно аромат испанской пудры, окутывающий первую любовь Гумберта[34]. Имя, которое Набоков дает этой другой, рано умершей девочке, наводит нас на еще один след. Он называет ее Аннабеллой, по имени усопшей девочки-невесты Аннабеллы Ли из одноименного стихотворения Эдгара По. Лишь нереализованная страсть Гумберта к Аннабелле приводит его в объятья Лолиты, в которой для него воскресает образ первой девочки. Поэтому и имена обеих перетекают друг в друга и сливаются воедино: "Аннабелла Гейз, она же Долорес Ли, она же Лолита"[35].

Этот процесс слияния уже давно подготавливался в творчестве Набокова. У Лолиты есть еще одна, мало известная, предшественница по имени Анабелла. Она — персонаж набоковской пьесы "Изобретение Вальса". Сальватор Вальс, запуганный, безумный человек, в силу некоторых фантастических обстоятельств вдруг обретает, подобно Эрвину из "Сказки", неограниченную власть и может теперь исполнить все свои желания. Став властелином мира, он приказывает найти женщин, достойных его гарема, но отвергает всех предложенных ему дам ради Анабеллы. Образ Анабеллы, "совсем молоденькой девочки" (которая, правда, на пять лет старше Лолиты), намеренно эротизируется посредством всяких двусмысленностей[36]. Вальс, буквально заболевший от любви, так помешан на Анабелле, что угрожает взорвать весь мир, если отец не отдаст ему дочь.

Быть может, драму Набокова и нельзя назвать шедевром, но продумана она очень тонко. Тем более удивительным кажется тот факт, что один персонаж вообще не появляется на сцене и присутствует в пьесе лишь постольку, поскольку упоминается его имя — один раз на протяжении всего действия. Персонаж этот — седобородый родственник главного героя, также носящий фамилию Вальс. Это — гений, который маячит где-то на заднем плане и чьим именем названо изобретение, вынесенное — как тема — в заглавие.

Итак, в драме Набокова, посвященной Анабелле, встречается странная пара мужских персонажей по фамилии Вальс[37]. Это — одна из самых удивительных перекличек текста с "Лолитой" Лихберга. В рассказе немецкого автора братья носят фамилию Вальцер (в переводе с немецкого — вальс). Не забыта у Набокова даже серая борода (в тексте Лихберга, правда, она имеет рыжеватый оттенок).

Лолита-демон; испанская подружка

В подзаголовке "Про́клятой Джоконды" рассказы, входящие в этот сборник, названы "гротесками", что применительно к "Лолите" справедливо лишь отчасти. Вообще-то это новелла о привидениях в духе Э. Т. А. Гофмана. Мотив, введенный уже в первом предложении, является определяющим и для рамочного повествования, и для "рассказа в рассказе". Салон, небольшой круг людей, беседующих о соотношении искусства и действительности, — вполне традиционное начало для по-

вествования такого типа. Графиня Беата вовлекает молодого поэта в разговор, к которому через некоторое время подключается и профессор, до той поры молчавший. Профессору захотелось поведать собравшимся нечто, что он носил в себе в течение многих лет, не будучи до конца уверен, пережил ли он это на самом деле или же все это было лишь плодом его фантазии. Так начинается действие рассказа, заключающего в себе зерно той самой темы, которая в двадцатые годы постепенно вызревала в творчестве Набокова.

Повествователь — студент, проживающий в университетском городке на юге Германии, — почти каждый вечер заходит в кабачок братьев Вальцеров. Лихберг с самого начала вставляет в текст детали, указывающие на испанский колорит. На кресле лежит черный шелковый кружевной платок, "похожий на те, что по праздникам но́сят испанские девушки"[38]. Вскоре повествователь начинает догадываться, что в этом кабачке, где кроме него посетителей не бывает, творится что-то неладное, однако особенно об этом не задумывается. Как-то ночью, проходя под окнами кабачка, он слышит гневные крики Вальцеров; их голоса кажутся странно молодыми. Из-за закрытых ставен доносятся злобные голоса, а затем — испуганный женский крик. Однако на следующее утро в кабачке у братьев все выглядит как всегда, так что рассказчик теперь сомневается в услышанном и не решается спросить Вальцеров о случившемся накануне. Его сообщение о том, что вскоре он отправится в путешествие по Испании, приводит братьев в крайнее возбуждение.

Лихберг подготовил все для того, чтобы в финале явить читателю эффектную разгадку своего таинственного повествования. А кроется она в одной картине. На стене пансиона в Аликанте висит портрет, изображающий, как кажется на первый взгляд, Лолиту. Однако первое впечатление обманчиво: речь идет о Лоле, бабушке Лолитиной прабабушки, "удушенной сто лет назад во время разгоревшегося из-за нее спора двух ее возлюбленных".

Это разгадка тайны и одновременно — центральный узел сюжета Лихберга. Лолита — не просто очаровательная девочка. Над ней тяготеет проклятие, она находится во власти демонической силы. Рассказчик узнает об этом уже после того, как, испугавшись слишком большой, опасной любви Лолиты, принимает решение об отъезде. Отец Лолиты объясняет ему, что́ происходит со всеми женщинами из его рода с той поры, как Лола раззадорила своих любовников, заплатив за это собственной жизнью. Как рассказывает Северо, каждая женщина рожает только одного ребенка, девочку, и вскоре после родов сходит с ума. Он говорит, что и его дочери грозит такая смерть, — и в тот же вечер рассказчик находит на своей подушке маленький красный цветок:

> Прощальный привет Лолиты, подумал я, и взял цветок в руку. И тут я заметил, что вообще-то он был белым, а в красный цвет его окрасила — своей кровью — Лолита.
>
> Вот как она любила.

Этот привет любви — найденный на кровати цветок, напоенный кровью, — воспринимается здесь как классический символ дефлорации, символ демонической любви нимфетки, хотя автор далее и указывает в качестве источника крови порез на руке и, быть может, действительно

имел в виду лишь цветок[39]. В любом случае цветок действительно становится прощальным приветом, потому что в эту же ночь исполняется предсказание Лолитиного отца, а также оказывается, что один давний сон рассказчика был вещим[40]. В полночь повествователь видит (или ему грезится), как Лола — "или все же Лолита?" — доводит двух своих любовников до экстаза и как они ее затем жестоко убивают: душат своими руками. В убийцах он узнает братьев-близнецов Вальцеров. На следующее утро Северо сообщает ему, что в эту ночь умерла Лолита.

Моя любимая, маленькая Лолита лежала в своей детской кроватке. Ее глаза были широко раскрыты, зубки впились в нижнюю губу, а благоухающие светлые волосы спутались.

Уменьшительные формы в очередной раз указывают на то, что рассказчик — с болью в сердце — расстается с ребенком, а не с женщиной. То, что он "увез с собой... душу Лолиты", представляется слабым и двусмысленным утешением: эти слова можно воспринять и как указание на то, что он не в силах освободиться от ее власти.

Проклятие, демонизм, навязчивые повторения — все это пронизывает и другую "Лолиту". Набоковская женщина-ребенок — призрак более ранней проказницы, gamine sans merci*. Аннабелла навсегда поселяет в сердце Гумберта страсть к нимфеткам; она опутывает его чарами, от которых он освободится только тогда, когда ее образ воскреснет в Лолите[41]. Несколько утрируя, можно сказать, что в романе Набокова речь идет не о педофилии, а о демонизме. Гумберт подпадает под власть демонически-эротической силы. Уже в "Сказке", созданной на тридцать лет раньше "Лолиты", не кто иной как дьявол подстраивает знакомство Эрвина с девочкой, еще не названной в этом тексте по имени. В романе происходит нечто подобное. Гумберт горько жалуется, что дьявол то "соблазняет" его, то "перечит" ему: сначала дразнит девочкой, а потом препятствует его встречам с ней. Но в конце концов дьявол понял, что должен дать ему "небольшое удовлетворение", чтобы он "ему еще послужил игралищем"[42]. Гумберт прекрасно знает, чьей добычей он стал:

А теперь хочу изложить следующую мысль. В возрастных пределах между девятью и четырнадцатью годами встречаются девочки, которые для некоторых очарованных странников, вдвое или во много раз старше них, обнаруживают истинную свою сущность — сущность не человеческую, а нимфическую (т. е. демонскую). <...>

Лолита — бессмертный демон, "переодетый ребенком женского пола"[43]. То же можно сказать и о Лолите из рассказа, написанного в 1916 году. Эта девочка — тоже наполовину демон, наполовину жертва древнего проклятия; она тоже находится в роковой зависимости от прошлого[44]. То, что вновь и вновь, словно наваждение, повторяется в разные эпохи, каждый раз заканчивается насилием и смертью. Кошмарной сценой гротескного убийства завершается не только рас-

* Жестокосердной девочки (*франц.*).

сказ Лихберга. Финал романа Набокова также являет собой сцену убийства, похожую на кошмарный сон[45]. Гумберт и Клэр Куильти — любовники Лолиты и тайные "двойники" — в этой сцене сливаются; катаясь по полу и борясь друг с другом, они теряют даже свою грамматическую идентичность:

Мы опять вступили в борьбу. Мы катались по всему ковру, в обнимку, как двое огромных беспомощных детей. Он был наг под халатом, от него мерзко несло козлом, и я задыхался, когда он перекатывался через меня. Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя[46].

В конце концов Гумберту все же удается убить своего alter ego, хотя сделать это оказывается достаточно сложно — пули воздействуют на его демонического противника подобно эликсиру молодости. Конец Куильти предрешил и его собственную смерть. Через несколько месяцев умирает сам Гумберт, этот трагический сатир.

В рассказе Лихберга жертвой убийства становится не соперник, а женщина. Набоков также все время обыгрывает возможность такого варианта. Упоминания имени Кармен, лейтмотивом повторяющиеся в романе, постоянно наводят читателя на ложный след, внушая мысль, что обманутый любовник в конце концов застрелит свою возлюбленную. Как известно, беременную Лолиту ожидает другая участь. Но все же проклятие "Джоконды" косвенно распространяется и на нее. Лола Лихберга погибает вскоре после рождения дочери. Набоковская Лолита умирает родами, разрешившись мертвой девочкой.

Однако и в том и в другом случае последнее слово не за смертью. Лолита и ее история, к которой "пристали кусочки костного мозга", на которой "запеклась кровь" и на которую "садятся красивые ярко-изумрудные мухи", сделали своего создателя поэтом. Роман Набокова заканчивается тем, что Гумберт выражает надежду на единственное пристанище, которое он мог бы разделить со своей возлюбленной:

Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это — единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита.

Знаменитый конец великого романа: тот, кто переживет Лолиту, после ее смерти станет художником. Похоже оканчивается и рассказ, написанный в 1916 году. Благодаря Лолите профессор открывает для себя путь в искусство. Когда он заканчивает свой рассказ, графиня, слушавшая с закрытыми глазами, произносит: "Вы — настоящий поэт".

Ждет ли бессмертие и его Лолиту? Ее единственным шансом было бы найти пристанище в романе Набокова; она запросто могла бы спрятаться в этой исполинской литературной постройке с множеством углублений и потайных ходов. Для перечисления основных перекличек набоковского романа с другими литературными текстами Альфреду Аппелю потребовалось сто сорок страниц, набранных мелким шрифтом. Имя Лихберга в его комментарии не упоминается. Однако в самом романе есть небольшой пассаж, который можно интерпретировать как

скрытый намек. Вспоминая, как он смотрел на Лолиту, когда та купалась в окружении других "нимфеток", Гумберт признается:

...и нынче, положа руку на больное сердце, я, право, не скажу, чтобы кто-нибудь из них возбудил во мне более острое влечение, чем она, или если и возбудил, так только в двух-трех исключительных случаях, при особом свете, при особой смеси ароматов в воздухе – однажды (случай безнадежный) бледная испанская девочка, дочка аристократа с тяжелой челюстью, а другой раз – mais je divague.

С какой целью Набоков вводит образ этой "испанской девочки, дочки аристократа" (заметим: не "дочки испанского аристократа")? У нее нет никакой явной функции в романе. Чуть дальше она вновь незаметно появляется в тексте в качестве "маленькой испанской подруги". Она – "меньшая нимфетка", "прозрачно-бледная красотка", вместе с которой Лолита прыгает через скакалку. На прощание Гумберт ласково кивает "застенчивой, черноволосой девочке – пажу моей принцессы"[47]. Но кто здесь кому кивает: Гумберт – нереализованной возможности, или его создатель – маленькой испанской нимфетке аристократа Лихберга? В любом случае, если бы Набоков в самом деле захотел спрятать в тексте благодарность за определенные пажеские услуги, вряд ли он мог бы найти для этого более элегантный способ.

Лотхен и фюрер

От искусства, к которому пристали кровь и "кусочки костного мозга", вернемся к жизни – не менее кровавой. 30 января 1933 года Гитлер был избран рейхсканцлером. Вечером того же дня в радиопрограмме, транслировавшейся по всей Германии, журналисты восторженно комментировали факельную процессию, двигавшуюся по направлению к рейхсканцелярии. Репортеры видят марширующие мимо них штурмовые отряды, "огромные массы людей", которые приветствуют фюрера. Затем радиослушатели получают возможность заглянуть и в саму рейхсканцелярию:

Адольф Гитлер с самым серьезным видом стоит у окна, его только что оторвали от работы, на его лице – ни малейшего намека на победное ликование или что-либо подобное, нет, только серьезное рабочее настроение. Его просто отвлекли. Но все же глаза его светятся, когда он смотрит на эту пробуждающуюся Германию, на эти марширующие массы людей из всех классов общества, всех слоев населения; здесь и научные работники, и пролетарии: стерты все классовые различия...

Запись этой радиопрограммы цитируется чуть ли не во всех исторических исследованиях, посвященных данному периоду; полный энтузиазма голос репортера памятен многим. Это – голос Хайнца фон Лихберга[48]. В 1933 году создатель первой "Лолиты", активно участвовавший в предвыборной агитации за Гитлера, пополнил ряды членов НСДАП. Вскоре он стал одним из ведущих сотрудников газеты "Фёлькишер беобахтер". Правда, уже через год оказалось, что его политическая

позиция все же не вполне соответствует линии партии. В феврале 1934 года в редакцию газеты поступило письмо, в котором "странная" "культурно-политическая деятельность" Лихберга подвергалась резким нападкам. Выступая в качестве театрального рецензента в партийном издании, он в пух и прах раскритиковал одну пронацистскую пьесу. Среди членов Национал-социалистической рабочей партии Германии были распространены сотни билетов, а тут газета "Фёлькишер беобахтер" втаптывает эту пьесу в грязь! И вообще, как сказано в письме, рецензии и обзоры господина фон Лихберга в последнее время очень часто вызывают неудовольствие со стороны членов партии[49].

Возможно, они его никогда особенно не любили. Хайнц фон Лихберг, судя по описаниям, отличался особой элегантностью; было в нем что-то от денди, легкий налет космополитизма, и очень может быть, что именно это не нравилось партработникам. По свидетельству очевидцев, он представлял тип всегда безупречно одетого, подтянутого, но несколько меланхоличного аристократа старой закалки, был прекрасным наездником, великолепным танцором, вызывающим восхищение у женщин, и в то же время обнаруживал сходство с традиционным образом отрешенного, одинокого поэта. Кстати, подобный тип людей был не совсем чужд и молодому Набокову.

Раскритикованный рецензент все-таки не лишился работы в "Фёлькишер беобахтер"; он, кроме того, продолжал писать развлекательные очерки для газеты "Берлинер локаль-анцайгер"[50]. Но, видимо, со временем у него усиливалось чувство неудовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Уже в 1933 году Лихберг жаловался Хансу Гримму, с которым был знаком еще с Первой мировой войны, что его буквально закабалило издательство "Шерль" (он сотрудничал с этим издательством в течение многих лет)[51]. В 1935 году Лихберг предпринял еще одну попытку выступить в роли писателя. Он опубликовал любовный роман с элементами жанра романа путешествий под названием "Плавучий маяк 'Нантакет'". Действие романа разворачивается в Нью-Йорке. Роман буквально кишит антисемитскими клише, но в нем много конкретных деталей нью-йоркской жизни, восходящих к собственному опыту автора[52]. Больше Лихберг не опубликовал ни одной книги, если не считать эссе для юбилейного сборника, в издании которого он принял участие спустя два года после выхода в свет упомянутого романа. В конце 1937-го, то есть в том же году, в котором Набоков уезжает из Германии, Лихберг навсегда прощается с читательской публикой.

Девятнадцатого декабря выходит его последняя статья в "Берлинер локаль-анцайгер". В ней он выполняет просьбу главного редактора, который хотел, чтобы каждый автор в канун праздника высказал свои рождественские пожелания читателям. Текст Лихберга достаточно резок, и автор практически не скрывает этого. Он пишет, что польщен оказанной ему честью, но сама просьба, как ему кажется, грешит избытком детского оптимизма:

> Видите ли, у нас у всех есть сокровенные мечты, которые мы скрываем в глубинах сердца, но вряд ли хоть один человек согласится быстренько переписать их вам в блокнотик. Или вы думаете, что кто-нибудь станет публично рассказывать о том, как его снедает безумная страсть к какой-нибудь Лотхен или Анхен?

Даже если не принимать во внимание позднейшую набоковскую игру с именами Лотте, Лолита и "Лоттелита"[53], можно почувствовать, что упоминание о тайной, гложущей страсти к Лотхен придает этой прощальной статье несколько зловещий характер. Хайнц фон Лихберг завершает свою публичную карьеру. Военная служба вновь выходит на первое место в его жизни. Лихберг делает карьеру в вермахте, а точнее, в разведке. Многое указывает на то, что его завербовал кто-то из кругов, приближенных к Канарису[54]. С 1939 года Лихберг входил в Верховное главнокомандование вооруженными силами Германии, а именно во второй отдел абвера. Очевидно, сначала он отвечал за пропаганду[55]. В 1941 году он стал членом главного штаба Северной группы армий Ц (Heeresgruppe C (Nord), а через год, уже будучи в чине подполковника, – членом оборонительного штаба 204 (Abwehrkommando 204). Через какое-то время его перевели в Польшу, в Лешно, где он служил в тайной военной полиции. О том, что́ ему довелось там делать и видеть, остается только гадать, так как до наших дней не дошло практически никаких документов. В феврале 1944 года Лихберга с неизвестным заданием отправили в Париж – город, из которого Набоков за четыре года до того ввиду приближения немецких войск уехал в Сен-Назер, откуда на одном из последних пассажирских теплоходов бежал в Нью-Йорк. Лихберг попал в плен к англичанам, был освобожден в 1946 году[56]. Он переехал в Любек, где умер в 1951-м, будучи "подполковником в отставке и писателем", как сказано в учетной переписи дворянских родов. Умер он бездетным; последним представителем дворянского рода фон Эшвеге оказался создатель первой "Лолиты".

Супруга Лихберга пережила мужа на двенадцать лет и умерла в 1963 году в Нойвиде на Рейне[57]. Перед глазами встает курьезная картина: а что, если тогда, когда ураган "Лолита" пронесся по Соединенным Штатам, а затем вновь перекинулся на Европу, в голове у вдовы мелькнуло воспоминание о юношеском произведении ее покойного супруга. "Лолита"... Не показалось ли ей это название знакомым?

Три возможности; растущая опасность

Неминуемо встает вопрос: имелись ли основания, чтобы название действительно показалось ей знакомым? Что́ перед нами? С чем мы имеем дело? Существуют три варианта ответа на этот вопрос – хотя, может быть, кто-нибудь предложит и четвертый[58]. Рассмотрим их поочередно.

Во-первых, не исключено, что Набоков никогда не читал рассказа Лихберга и что здесь налицо одно из тех случайных совпадений, которые часто встречаются в истории науки и искусства. Ведь мы уже со времен Аристотеля знаем, что, по законам вероятности, невероятное вполне может случаться. И происходит это даже чаще, чем мы готовы допустить, полагаясь на свою интуицию. Закон Литлвуда, получивший название по имени известного профессора математики из Кембриджа, гласит, что в жизни каждого человека в среднем раз в месяц происходит чудо; это лишний раз доказывает, сколь консервативен наш здравый смысл, когда речь идет о статистике. Так почему же не может быть так, что история с Лихбергом – это всего лишь прекрасный, странный, да-

же немного комичный пример тому, как жизнь сама складывается в узор, который кажется соответствующим некоему плану, но в действительности возник случайно? В некотором смысле это было бы классическим набоковским мотивом.

Конечно, все может быть. Правда, если уж говорить о статистике, нужно взвесить и сравнить все возможные варианты. Насколько велика вероятность того, что два автора независимо друг от друга создали в своих текстах образ мужчины, имеющего двойника и носящего фамилию Вальс (Вальцер, Walzer)? Насколько вероятно, что они абсолютно независимо друг от друга создали образ девочки-женщины по имени Лолита и описали соблазнение ею постояльца пансиона? И, наконец, насколько велика вероятность того, что оба они совершенно независимо друг от друга придумали историю об изобретателе уникального оружия, пришедшем в приемную военного министерства? (Мы, однако, забегаем вперед.) То, что Набоков во время своего пребывания в Берлине мог прочитать немецкую книгу, кажется, мягко говоря, более вероятным.

Вторая возможность вынуждает нас говорить в сослагательном наклонении[59]. В "Про́клятой Джоконде" Лихберга Набоков мог натолкнуться на тему, которая уже начинала выкристаллизовываться в его собственном творчестве. Затем он мог и забыть прочитанный рассказ. Впоследствии, привлеченные новой наживкой, из глубин памяти выплыли отрывки первой, немецкой "Лолиты". Набоков мог воспринять ее повторный приход как свое собственное творчество. В истории литературы известно множество подобных примеров; явление это носит название "криптомнезия", о его существовании каждый знает по собственному опыту[60]. Набоков наверняка не раз сталкивался с этим явлением; он признавался, что зачастую прочитывал за день по две-три книги, которые тут же забывал[61]. У Набокова, как и у многих других людей, часть им написанного корнями уходит в прочитанные когда-то тексты.

Преимущество второго ответа состоит в том, что он не преувеличивает роль случая и избавляет нас от многих сложных вопросов. Как же могло получиться, что автор, так гордившийся тем, что в каждом своем произведении он создает новый, ранее не существовавший мир, в последний момент заменил Жуаниту на Лолиту, если знал, что, делая это, он цитирует не очень талантливого предшественника? Вопрос и сама проблема отпадают, если признать, что он этого просто не сознавал. Недостаток же второго варианта ответа состоит в том, что ответ этот плохо сочетается с некоторыми убедительными деталями третьей версии.

А третья версия такова: Набоков прекрасно знал о рассказе Лихберга, он мог прочитать его не позднее 1933 года. В каких-то местах своего текста писатель постарался замести следы, а кое-где, наоборот, оставил их, поупражнявшись в искусстве, которое Томас Манн, владевший им в совершенстве, назвал "высоким списыванием"[62]. Акцент должен быть поставлен на слове "высокое". Как и в случае автора "Будденброков", речь тут идет отнюдь не о плагиате. "Je prends mon bien où je le trouve"*, – сказал однажды Манн, цитируя Мольера, и кто мог бы лишить его или какого-либо другого "литературного гранда" этого права? Лите-

* "Я беру свое добро, где нахожу его" (*франц.*).

ратура всегда была большим тиглем, в котором переплавлялись старые мотивы. Неужели Набоков должен был стать первым писателем, стремящимся избежать этого процесса, первым, для кого самое важное – материал, а не то, что́ автор из него делает? В рассказе нет ничего из того, что восхищает нас в романе "Лолита"[63]; последний ни в коем случае не может быть выведен из текста Лихберга. Все это не требует дополнительных пояснений, это очевидно для каждого, кто умеет читать. И все же: сознательно ли заимствовал и цитировал Набоков?

В пользу положительного ответа говорит многое, особенно если отступить чуть назад и посмотреть не только на образы обеих девочек, но на творчество двух писателей в целом. Нигде не сказано, что Набоков только в романе мог откликнуться на "Лолиту" Лихберга. Или – что он прочитал лишь один из двенадцати рассказов сборника.

Одна из наиболее ярких сцен первой "Лолиты" – магическое соревнование, которое устраивает для братьев Вальцеров повелительно-насмешливая Лола.

– Я люблю того из вас, кто сильнее!

Тут сюртуки мужчин лопнули: так напряглись и раздулись их мышцы. Но они увидели, что одинаково сильны.

– Я люблю того из вас, кто выше! – ее глаза сверкнули.

Услышав это, мужчины начали стремительно расти. Их шеи вытянулись и стали отвратительно тощими. Рукава сюртуков доходили им теперь только до локтей. Их лица уродливо растянулись, и мне показалось, что я слышу, как трещат их кости. Но ни один из них ни на волос не перерос другого.

Эту гротескную сцену Набоков, утрируя, развивает в 1933 году, в одном из своих рассказов ("Королек"). У него также встречаются образы двух братьев, названных "одинаковыми"[64], которые вдруг начинают стремительно расти; одного из них тоже зовут Антон. Братья угрожают новому соседу; это – история эмигранта, которого донимают и в конце концов убивают немецкие обыватели[65]. В начале описывается, как братья навещают нового жильца в его квартире. Тот уже смутно чувствует опасность, он в смятении, и перед его внутренним взором (как и в случае постояльца гостиницы в Аликанте) предстает странное видение:

Между тем братья стали раздуваться, расти, они заполнили всю комнату, весь дом, и затем выросли из него. <...> Огромные, победоносно пахнущие по́том и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унизительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Умоляю вас, отвяжитесь, я не трогаю вас, не трогайте и вы меня – я уступлю вам – только отвяжитесь[66].

Как и в "Лолите" Лихберга, таинственный рост здесь предшествует всплеску убийственной злобы. В обоих случаях преступление совершается на почве ревности; в "Корольке", правда, ревность наигранная: истинная причина убийства – ненависть, которую грубая посредственность испытывает к утонченному аутсайдеру. В рассказе "Королек" о братьях сказано, что у них "отхожее место взамен мозга" – достаточно грубый образ для Набокова, свидетельствующий о том, что описанная

ситуация эмоционально затрагивала писателя. Очевидно, его старые антипатии здесь переплелись с новыми впечатлениями от событий 1933 года. Сам Набоков, позже вспоминая об этом, писал, что рассказ создавался под впечатлением от зловещей, уродливой тени Гитлера, нависавшей в то время надо всей жизнью[67]. Если при написании сцены роста зловещих немецких братьев перед Набоковым маячил образ братьев Вальцеров, не воспринимал ли он их создателя как бельмо на глазу?

Атомит и волшебник из страны Оз

На мысль о том, что Набоков действительно мог иметь в виду Лихберга, наводит другая, еще более заметная перекличка. Если еще немного полистать "Про́клятую Джоконду", вскоре после "Лолиты" наткнешься на предпоследний рассказ сборника, "Атомит". В нем содержится не что иное, как сюжет "Изобретения Вальса".

В "Атомите" Хайнца фон Лихберга, занимающем около десяти страниц, рассказывается следующая история: изобретатель по имени Бобби приходит с двумя ящичками в военный департамент США. Там его проводят в приемную, а затем, после длительного ожидания, приглашают пройти в кабинет мистера Уилкинса. На вопрос этого господина о сути изобретения Бобби отвечает: "Я могу за один день покончить с любой войной!" Мистер Уилкинс принимает изобретателя за ненормального: "Да вы либо шут, либо сумасшедший!" Но Бобби доказывает ему, что он вовсе не шутит. Видя, что мистер Уилкинс собирается открыть один из ящичков, он говорит: "Если вы откроете его еще чуть пошире, мы оба умрем через секунду, а весь департамент, возможно, секунд через тридцать". Дело в том, что в принесенном им ящичке содержится один грамм атомита:

> Этого грамма вполне достаточно, чтобы за минуту убить около ста тысяч человек, при условии, что они будут стоять достаточно близко друг к другу.

Бобби, на деле оказавшийся отнюдь не сумасшедшим, берется продемонстрировать мисте́ру Уилкинсу мощь своей адской машины. Чиновника военного ведомства убеждает опыт над мышью, продемонстрированный изобретателем. Уилкинс вызывает к себе полковника Розенкампа и своего слугу Пебса. Испытание нового оружия на более крупных живых существах назначают на следующее утро. В мечтах изобретатель уже видит себя мультимиллионером. Опыт, проведенный на следующий день, удается. Как и было задумано, в результате испытательного взрыва в атмосферу попало четверть грамма атомита, и "еще прежде, чем до собравшихся донесся слабый звук взрыва, животные упали замертво". Однако вторая попытка, во время которой в атмосферу должно было быть выпущено большее количество атомита, оборачивается катастрофой. Неопытность дам, опоздавших к началу испытаний, приводит к тому, что они по ошибке приводят оружие в действие раньше, чем было запланировано, и убивают собравшихся мужчин. Таким образом, дамы, сами того не предполагая, позаботи-

лись о том, чтобы в будущем войны длились все же "дольше одного дня".

Такова, в кратком изложении, женоненавистническая и глуповатая сатира, в которой, как и в рассказе "Лолита", уже угадываются контуры будущего набоковского произведения. Вспомним, с чего начинается драма, на пророческую "атомную мистику" которой Набоков не без гордости указывает в написанном позже предисловии[68].

В военное министерство приходит человек, неустанно превозносящий свое изобретение: аппарат, будто бы способный вызвать в любой точке мира взрыв невиданной силы. И действительно, когда в третьем акте пьесы это новое орудие приводится в действие, оно уничтожает целый город. "Шестьсот тысяч... В одно мгновение!.."[69] Поначалу министр не верит ни одному слову изобретателя, считая его "просто-напросто умалишенным" и "комиком"[70]. Но вскоре Вальс предоставляет доказательства, взрывая при помощи своего "телемора" гору, которую видно из окна кабинета военного министра. (Как и у Лихберга, во время этого первого испытания погибают лишь небольшие животные; здесь, однако, умирает не банальная мышь, как в "Атомите", а изящные ящерицы. У Лихберга смерти удается избежать ослу; у Набокова выживает "белая, белая серна"[71].) После демонстрации этого опыта интерес к удивительному оружию стремительно возрастает. Министр, сопровождаемый, как и у Лихберга, полковником и слугой (но не Пебсом, а Хампом)[72], осознает, какие возможности открываются перед обладателем подобного средства. Он созывает своих генералов; в первоначальной редакции имена всех одиннадцати производны от "Берг"[73]. Как и в "Атомите", с изобретателем договариваются о проведении дополнительных экспериментов, которые оказываются чрезвычайно успешными. Сомнения в действенности оружия рассеиваются; господину Вальсу предлагают миллионы, получить которые возмечтал — раньше времени — изобретатель в "Атомите".

Но Вальс отказывается от денег, и здесь пути рассказа и драмы расходятся. Набоковское продолжение повествует о взлете и падении Вальса, о его мнимом мировом владычестве и последующем разоблачении. На самом деле Вальс на протяжении всех трех актов сидит в приемной министра (уже Бобби прождал там почти два часа) и выдумывает все действие пьесы. Набоков делает из сюжета Лихберга — если предположить, что он этот сюжет знал, — что-то абсолютно свое. Он насыщает его специфическими набоковскими мотивами. В качестве оружия, разрушающего мир, у него фигурирует не ядовитый газ, а нечто вроде атомной бомбы[74]; его главный герой — бедный, запутавшийся человек, жертва мечты о мировом владычестве, сквозь которую, как сквозь сито, все время просвечивает горькая действительность; иными словами, пьеса Набокова — это многоуровневое художественное произведение, его персонаж, изобретатель Сальватор Вальс, — не карикатура, а настоящий характер. Но в том-то и дело: зовут его — Вальс (по-немецки — Вальцер, Walzer), и в пьесе даже присутствует образ его родственника-однофамильца, словно Набоков не только не хотел сорвать с лихберговских братьев — двоюродных братьев — опознавательную именную табличку, но, напротив, стремился расположить ее на самом видном месте. И делает он это за пятнадцать лет до создания романа о девочке-

женщине, которая здесь, в драме, репетирует свой выход на сцену в образе Анабеллы[75].

Итак, обобщая, можно сказать, что в текстах Набокова встречается не только фамилия лихберговских братьев — которой писатель оказывает честь, вынося ее в заглавие, — но и одна сходная с лихберговской гротескная сцена, а также некоторые сюжетные элементы. Нужно быть ярым сторонником теории совпадений, чтобы посчитать эти перекличк случайными и не придать им никакого значения.

Тем более, что в романе "Ада" все карты выкладываются на стол, как сказали бы приверженцы третьей версии. И правда, здесь встречается книга под названием "Лолита", приписываемая не Набокову, а автору, имя которого заканчивается на "берг"*. Этот писатель выигрывает судебный процесс, так как ему удается доказать, что в фильме о Дон Гуане были использованы отрывки из его книги. В этой картине, подготавливающей трагическую кульминацию романа, Ада играет роль испанской девочки по имени Долорес.

Иными словами: есть книга под названием "Лолита", которую написал не Набоков, а другой человек, скажем — Вивиан Дамор-Блок; есть девочка-женщина по имени Лолита, испанского (не мексиканского или американского) происхождения; есть судебный процесс о плагиате и — в качестве настоящего автора "Лолиты" — некий господин, носящий фамилию... нет, не Лихберг: Осберг**[76]. Намек Набокова, казалось бы, достаточно прозрачен.

Противники этой версии могли бы возразить, что Набоков и так ничего не скрывает, достаточно однозначно изъясняясь в примечаниях к роману. Там он любезно объясняет читателю, что имя Осберх (Osberg) — это анаграмма. Под Осберхом подразумевается Борхес; именно Борхесу, с которым его назойливо сравнивали, Набоков в "Аде" ехидно отдает дань уважения, делая его автором "Лолиты". О том, что имеется в виду "тот самый" Борхес, свидетельствует характеристика Осберха как "испанского сочинителя претенциозных сказочек и мистико-аллегорических анекдотов", "любимого скорыми на руку диссертантами"; достаточно меткое, хотя и недружелюбное описание, вполне соответствующее набоковскому ви́дению аргентинского автора[77].

Следовательно, Осберх — это Борхес. С момента выхода "Ады" в свет такая интерпретация считается бесспорной. Она освящена мнением самого автора, и вопрос только в том, стоит ли останавливаться на этом толковании. Приверженцы третьего варианта ответа предложили бы пойти дальше и задаться вопросом: "При чем тут Борхес, какое он имеет отношение к испанским нимфеткам?" Испанская красавица по имени Лолита встречается только у Лихберга, и лишь у него есть парный мужской образ двух родственников по фамилии Вальцер, призрак которого — в образе двух Вальтеров — бродит и по "Аде"[78]. Одно значение фамилии Осберх отнюдь не исключает всех прочих. Уже в "Лолите" было много загадок; "Ада" же — это лабиринт. Любой филолог, который на свой страх и риск взялся бы давать такие далекие от текста толкования, какие в своих примечаниях — под псевдонимом Вивиан Дамор-Блок — предлагает сам Набоков, был бы уличен в маниакальном стрем-

* В русском переводе романа "Ада", выполненном С. Ильиным, — "берх".
** В переводе С. Ильина его фамилия передается как "Осберх".

лении к выискиванию аллюзий. При этом Дамор-Блок в своем комментарии еще достаточно сдержан. Как показал Брайан Бойд, благодаря разветвленной сети аллюзий в некоторых местах "Ады" возможны четыре уровня понимания. Таким образом, нельзя гарантировать того, что Набоков — этот король хитросплетений и многозначности — вкладывал в фамилию Osberg (которую, кстати, можно считать вполне удачной находкой)[79] один-единственный смысл.

Тем более, что мы знаем: после "Ады" Набоков в своем творчестве уже не перестает играть именами. В последнем набоковском романе "Смотри на арлекинов!"[80], который можно рассматривать как травестированную автобиографию, опять появляются Гумберт и Лолита, но под другими именами. Вадим, от лица которого ведется повествование, называет себя Думбертом Думбертом, а сидящую у него на коленях одиннадцатилетнюю девочку, с которой он познакомился и в которую влюбился в 1933 году, зовут, как и Лолиту, сокращенным именем Долли. Фамилия Долли — фон Борг; дворянское "фон" присутствует и в английском оригинале. Если бы тайной целью Набокова было разделение интерпретаторов на два лагеря, он не смог бы придумать более подходящего имени. Потому что здесь в очередной раз одинаково возможны две версии: либо тут вновь в игре имя немецкого аристократа, либо фон Борг (von Borg) — это опять-таки Борхес (Borges), на этот раз не в виде анаграммы, а в укороченном варианте.

Выбор в пользу какого-то одного значения сделать практически невозможно. Точнее, его *было бы* невозможно сделать, если бы Набоков не подключил к игре еще одно имя. У Долли фон Борг есть мнимый двойник: девушка по фамилии Дальберг[81]. В совокупности получается что-то уж слишком много совпадений: фамилии генералов в "Изобретении Вальса", производные от "Берг" (хотя пьеса была написана в то время, когда Набоков о Борхесе знать ничего не знал), затем Осберг, фон Борг, Дальберг, и все они так или иначе связаны с образом Лолиты... Мы, конечно, не можем доподлинно знать, имеется ли здесь в виду какое-то конкретное имя, но все же любопытно было бы выяснить, не открываются ли взору читателя еще какие-нибудь крутые горки в набоковском романном фрагменте "The Original of Laura" ("Подлинник Лауры"), относящемся к литературному наследию писателя.

У сторонников третьей версии имеются вполне весомые аргументы. Правда, ответ, даваемый ими, влечет за собой целый ворох новых вопросов, и главный из них: "Почему?" Для разработки темы, которая долго вызревала в его творчестве, Набокову вряд ли понадобился бы такой писатель, как Лихберг, уважение к его художественному гению он тоже вряд ли испытывал. Одно дело — прятать в своих текстах аллюзии на Пруста, Эдгара По, Пушкина, Шекспира, Флобера или Джойса, цитировать придуманные этими знаменитостями имена, мотивы, сюжетные линии, обрывки фраз или целые периоды, обогащая тем самым свое творчество. Но какой смысл в том, чтобы оказывать почести неизвестному автору и вплетать в свои тексты аллюзии на его произведения? Вот самый сложный вопрос во всей этой истории, и правильный ответ на него пока даже не маячит на нашем горизонте. Если не верить в случай, сложно не поддаться соблазну строить догадки о точках соприкосновения между Набоковым и автором "Джоконды". Возможностей для подобных пересечений было много, слишком много, чтобы мы мог-

ли хотя бы бегло рассмотреть их в этой книге[82]. С господином фон Лихбергом Сирина явно что-то связывало, и этим "чем-то" отнюдь не обязательно должна была быть симпатия. Если уж Набоков в своих романах с почти навязчивой последовательностью (даже в тех случаях, когда это не вполне встраивается в ход повествования) отпускает колкости в адрес Фрейда, Достоевского и еще дюжины своих любимых врагов — врагов, с которыми его так или иначе что-нибудь связывает, — то почему бы ему не подтрунить над этим немецким журналистом, писавшем о нимфетках? Но неужели он в самом деле мог снизойти до того, чтобы перенять даже имя персонажа и заглавие? Или Набоков был настолько убежден в том, что он — серна, а тот, другой, — обыкновенный осел, и так ясно чувствовал свое художественное превосходство, что мог играть со своим жалким предшественником и позволять себе по отношению к нему рискованные, злорадные шутки?

Подобное подозрение может возникнуть у каждого, кто возьмет в руки сценарий фильма "Лолита", написанный Набоковым в 1960 году в Голливуде. В этот текст писатель вставляет незаметные на первый взгляд мелочи, которых не было в романе. В одной из сцен, например, Лолита показывает новому постояльцу свое бальное платье и грациозно кружится перед ним, пока Гумберт не останавливает ее: "Подожди, Лолита. Не нужно вальса". В режиссерских ремарках упоминается еще одно имя: "В раннем утреннем свете на ее губах мерцает улыбка, делающая ее похожей на маленькую Джоконду". Про́клятая маленькая Джоконда! Или такая сцена: Лолита с двумя девочками сидит на бортике бассейна. Ее спрашивают: " — Лолита, ты испанка? — ЛОЛИТА (*смеется, пожимает плечами*")[83]. И вновь встает вопрос: кто здесь над кем смеется? Однако, как нетрудно заметить, мы уже переместились из филологической сферы в сферу психологии, а от психологии бессмысленно ожидать точных результатов — тем более, что мы имеем дело не только с непредсказуемым гением, но к тому же еще и с гением по части маскировки и фальсификации.

Итак, не будем делать вид, будто достигли ясности там, где еще много туманных мест. Мы подошли к концу — пусть не сенсации, но истории, в которой пока еще много вопросов, оставшихся без ответа; возможно, они никогда не будут решены. Даже если бы быстро прояснился первый вопрос — о генезисе набоковского текста, — остались бы другие, более важные: как факт существования "пра-Лолиты" влияет на статус романа (практически никак), уменьшает ли он значимость Набокова как писателя (ничуть), нужно ли нам корректировать свое представление о нем (в минимальной степени), узнаем ли мы благодаря двум "Лолитам" что-либо о взаимодействии высокой и низовой литературы (да, и немало), об отношении Набокова к немцам (об этом тоже) и о его умении направлять движение мысли интерпретаторов (о да!). Одно лишь известно наверняка. Две "Лолиты" соотносятся как гадкий утенок и гордый лебедь. Если этот образ кажется слишком надуманным, можно выразиться и более приземленным слогом. В своей "Лолите" Хайнц фон Лихберг — довольно неумело — орудует клеем, деревом, бумагой и бечевкой. Владимир Набоков использует аналогичные материалы. Но создает он прекрасного воздушного змея, который затем взмывает ввысь, в голубые просторы высокой литературы.

1. Стейси Шифф. Вера (Миссис Владимир Набоков). – М.: Независимая газета, 2002.

2. Далее следует некролог: "Хайнц фон Эшверге-Лихберг служил в кавалерии. Лошади всегда были его большой страстью. Он любил верховую езду, а в армии занимался ею и по долгу службы. По окончании Первой мировой войны, когда кавалерийскому офицеру пришлось расстаться с формой, он решил пересесть на Пегаса и в дальнейшем ходить в атаки на нем. Он поехал в Берлин, начал сотрудничать с издательством "Шерль", и газета "Берлинер локаль-анцайгер" предоставила ему большую арену, на которой он смог развернуться и скакать на своем крылатом коне всевозможными аллюрами. Берлин и берлинцы, их блеск, их особый нрав, их хвастливость – все это сделалось предметом его журналистского внимания, он писал об этом с юмором, а порой и с сарказмом, но и с любовью, умея находить слова, идущие от сердца к сердцу. Он всегда оставался джентльменом старой закалки: с мудростью философа отмечал слабости своих ближних и посмеивался над ними, но в то же время неизменно был готов встретить их с улыбкой всепрощения. Он хотел не только заставить людей задуматься, но и поднять им настроение. К жизни он относился очень серьезно – однако не серьезнее, чем нужно. Этот ироничный человек, рассказывавший о "мелочах жизни", вращался в мире берлинской журналистики до 1936 года, пока не была объявлена всеобщая мобилизация и армейская служба не заняла опять главное место в его жизни. Лишь после войны он вновь оседлал Пегаса, на этот раз в Любеке – городе, который больше других немецких городов напоминал ему Берлин. Читатели "Любекер нахрихтен" еще долго будут помнить Лихберга как создателя коротких рассказов и репортажей. Ему более не суждено было увидеть город на Шпрее, который он так любил. Быть может, именно тоска по старой родине лишила его той сопротивляемости, которая могла бы помочь ему справиться с последней болезнью..." ("Любекер нахрихтен" от 16 марта 1951 г.)

3. В справочной системе "Deutsche Bibliothek" ("Немецкая библиотека") приводятся годы жизни Лихберга: 1897–1937. Очевидно, за годы его жизни были по ошибке приняты даты, указанные в заголовке подготовленного им издания "Vier Jahrzehnte Typograph GmbH. 1897–1937" ("Сорок лет компании Типограф ГмбХ". 1897–1937). (См. базу данных на диске: Deutsche Bibliothek, Normdaten CD-Rom: Personennamen, Stand Juli 2003.) На самом деле Хайнц фон Эшверге-Лихберг родился 7 сентября 1890 года в Марбурге, а умер в Любеке 14 марта 1951 года.

4. В качестве псевдонима – Лихберг – Хайнц фон Эшверге выбрал старинную дворянскую фамилию. Род Лихбергов упоминался в XII веке. Эта фамилия произошла от названия горы Лойхтберг, расположенной

неподалеку от поместья Эшвеге, на территории нынешней Федеральной земли Гессен. Слово "Лойхтберг" ("Leuchtberg") происходит от немецкого "leuchten" ("светиться") и "Berg" ("гора"). Согласно семейному преданию, гора называется так потому, что когда-то она была местом грандиозных сражений и вся светилась от крови. (Эти сведения нам любезно предоставил Штефан фон Эшвеге.)

5. Отец Хайнца фон Эшвеге был полковником пехотных войск. Эрнст фон Эшвеге родился в 1858 году и умер 4 февраля 1915 года в Кёльне от раны, полученной в первые недели войны в битве под Лоббесом. В 1909 году он был командиром 3-го Бранденбургского егерского батальона в г. Люббене, с 1911 года — подполковником штаба пехотного полка графа Кирхбаха в Познани, а с 1913-го — полковником и командиром 53-го батальона Пятого Вестфальского пехотного полка в Кёльне. (Сведения любезно предоставлены профессором Кристианом Шеером, г. Берлин.) Мать Хайнц фон Эшвеге потерял рано, в возрасте семи лет.

6. "О шутовском зеркале души. Стихотворения" (Vom Narrenspiegel der Seele. Gedichte. — Darmstadt: Falken-Verlag 1917). Спустя три года вышла в свет еще одна его книга: "Крупная женщина. Мелочи жизни" (Die große Frau. Kleinigkeiten aus dem Leben einiger Menschen. — Darmstadt: Schahin Verlag, 1920).

7. В. Набоков. Лолита. Роман / Пер. с англ. автора. — М.: Известия (Библиотека журнала "Иностранная литература"), 1989, с. 351.

8. В самое последнее время Лолиту иногда даже причисляют к "мемам" ("meme"); это слово было введено в обиход Ричардом Доукинсом в его книге "Ген эгоизма": "Время от времени кто-нибудь добавляет новое понятие в человеческий банк вечных образов и концептов ("мемов"). Многие из них были впервые введены в обиход в научно-исследовательских работах, но некоторые восходят к художественным произведениям". К последним относится и "мем" нимфетки Лолиты, соблазнительницы предпубертатного возраста. См. также выступление Сандры П. Кляйн по Би-би-си 25 сентября 2001 г. (http:// www.bbc.co.uk/dna /360/A613054).

9. В выходных данных книги Лихберга помечено: "Права на издание в Америке принадлежат издательству 'Фалькен', Дармштадт, Германия, 1916".

10. Еще в 1975 году "Про́клятую Джоконду" можно было купить в берлинских букинистических магазинах за 50 пфеннигов. Указанием на то, что в "Джоконде" присутствует образ нимфетки, мы обязаны господину Райнеру Шеллингу.

11. В. Набоков. Лолита, с. 54.

12. См.: В. Набоков. Ада, или Радости страсти. // Собр. соч. амер. периода в 5 тт. Т. 4; Пер. с англ. С. Ильина. – СПб.: Симпозиум, 2003, с. 347: "...отмечу лишь, что должен существовать некий логический закон, устанавливающий для всякой заданной области число совпадений, по превышении коего они уже не могут числиться совпадениями, но образуют живой организм новой истины". Ван Вин в скобках замечает: "(Скажите, – спрашивает Осберхова маленькая гитана у двух мавров, носящих имена Эль-Мотело и Рамера, – чему точно равно наименьшее число волосков на теле, позволяющее назвать его 'волосатым'?)". Вопрос непростой, особенно если учесть, что задает его осберховская цыганка.

13. См. книгу Дитера Е. Циммера о берлинских годах Набокова: Dieter E. Zimmer. Nabokovs Berlin. – Berlin: Nicolai Verlag, 2001. S. 140.

14. См. книгу Брайана Бойда "'Бледное пламя' Набокова. Магия художественного открытия" (Brian Boyd. Nabokov's Pale Fire. The Magic of Artistic Discovery. – Princeton: Princeton University Press, 1999, p. 270). Набоков с детства читал немецкоязычные труды о чешуекрылых.

15. См. книгу Стейси Шифф о Вере Набоковой. Вера, работавшая в Берлине секретарем и стенографисткой, блестяще говорила по-немецки.

16. См.: Стейси Шифф. Вера.

17. В феврале 1944 года в письме к миссис Теодоре Шервуд Хоуп Набоков пишет: "Я с интересом прочитал отчет о Ваших немецких штудиях. Мне понравился отрывок о Гёте, но конец меня весьма озадачил. Я прожил в Германии 17 лет [sic] и уверен в том, что Гретхен была вполне утешена теми поношенными, запачканными кровью платьицами, которые ее дружок-солдат присылал ей из польских гетто и которые еще вполне можно было носить. Нет, я думаю, мы никогда не увидим немецкое воплощение статуи Бернара. Бессмысленно смотреть на гиену и надеяться, что в один прекрасный день приручение или ген доброжелательности превратит эту тварь в большую мягкую мурлыкающую кошку цвета черепаховой оправы. Увы, стерилизация и менделизм имеют предел. Этих тварей нужно усыпить хлороформом – и забыть о них" (Vladimir Nabokov, Selected Letters 1940–1977, ed. by Dmitri Nabokov and Matthew J. Bruccoli. – San Diego, New York, London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989, p. 47). В этом письме обращает на себя внимание не столько вполне понятная ненависть к немцам, сколько то, что автор перенимает ту самую логику, которую ненави-

дит. Он считает, что некая группа X от природы, генетически порочна, находится на одном уровне с животными и должна быть уничтожена. Автор письма, естественно, не хочет и никогда не хотел иметь ничего общего с языком и литературой этих гиен. В октябре 1945 года, в письме своему школьному другу, живущему в Палестине, он пишет: "Всю Германию нужно несколько раз подряд сжечь дотла, чтобы хоть немного утолить мою ненависть к этой стране, которую я испытываю, когда думаю о погибших в Польше". (Цитата взята из сообщения Юрия Левинга на Интернет-форуме Nabokv-L [sic] от 16 мая 2004 г.; оригинал этого письма находится в частном собрании.)

18. Один только набоковский комментарий к "Евгению Онегину" Пушкина свидетельствует о таких богатых познаниях в этой области, которым мог бы позавидовать любой германист.

19. В. Набоков. Под знаком незаконнорожденных // Собр. соч. амер. периода в 5-ти тт. Т. 1. — СПб.: "Симпозиум", 2004, с. 291. Набоков также цитирует "диковинную книгу" немецкого шекспироведа, "покойного профессора Гамма" (там же, с. 291, 300). Позднее Вера занималась сверкой немецкого перевода "Лолиты" и сочла этот перевод слишком чопорным; в частности, она бы предпочла, чтобы *haunches* были переведены как "ягодицы", а не как "бедра" (St. Schiff, Véra. S. 358).

20. О Гейне, Гёте, Гофманстале, Кафке, Фрейде см., например, в сборнике интервью Набокова "Strong Opinions" ("Нерушимые мнения"). Немецкое изд.: Vladimir Nabokov. Eigensinnige Ansichten. Hg. von Dieter E. Zimmer. — Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 2004 (Gesammelte Werke Band XXI). S. 172, 576.

21. Набоков, скорее всего, разделял мнение Федора, считавшего, что в Германии "литературы на самом деле нет, и давно нет" (В. Набоков. Дар. — М.: Аст — Харьков: Фолио, 2005, с. 365).

22. Речь идет о рассказе "Встреча", написанном в 1931 году. См. также: Zimmer. Nabokovs Berlin. S. 140.

23. По словам Набокова, "если бы да Винчи лишили зрения, он бы все равно оставался великим человеком, но если бы у Гитлера отняли его пушки, он бы превратился в простую 'не-сущность' (*nonentity*)". См.: Брайан Бойд. Владимир Набоков. Американские годы: Биография. — СПб.: Симпозиум, 2004.

24. В. Набоков. Машенька. Король, дама, валет. Защита Лужина. Рассказы // Собр. соч. рус. периода в 5-ти тт. Т. 2. — СПб.: Симпозиум, 2004.

25. Там же, с. 478. "Сказка" — не из тех, что могли бы сочинить братья Гримм или Ханс Кристиан Андерсен. В ней элегантно обыгрывается одна из классических мужских эротических фантазий. Дьявол предлагает застенчивому Эрвину исполнение его тайных желаний. Эрвин получает возможность в течение дня овладевать любым количеством женщин по своему выбору — всего лишь мысленно отдавая приказ. Единственное условие — сумма его избранниц должна составлять нечетное число. Эрвин весь день занимается сладостным подбором и портит все в самый последний момент, потому что во второй раз делает выбор в пользу уже избранной им девушки, так что число его избранниц уменьшается с тринадцати до двенадцати. Если бы он не избрал вторично "пра-Лолиту", он стал бы полновластным обладателем своего гарема.

26. См. книгу Брайана Бойда "Владимир Набоков. Русские годы, 1899—1940" (Brian Boyd. Vladimir Nabokov. The Russian Years, 1899—1940. — Princeton: Princeton University Press, 1990, p. 259). Нимфетка уже при первом своем появлении обнаруживает демонически-фантасмагорические черты, на которые прямо указывает молодой автор. В конце рассказа дьявол просит Эрвина прийти на улицу Гофмана. Таким образом, здесь, как и в других произведениях Набокова, содержится аллюзия на рассказы Э. Т. А. Гофмана, в которых сны и фантасмагорическая реальность незаметно перетекают друг в друга. От этой литературной "сигнальной мачты" тянется ниточка к "Лолите" Лихберга, где Гофман упоминается в самом первом предложении. Однако тянуть за эту ниточку слишком сильно не стоит: вероятнее всего, Набоков мог прочесть Лихберга (если он действительно его читал) лишь в начале тридцатых годов.

27. В. Набоков. Дар, с. 193.
Хозяин квартиры, которую снимает Федор — отчим его возлюбленной Зины, — неслучайно заговаривает об этом сюжете в духе Достоевского; это его собственная история. Он подбирается к юной Зине, его брак — сплошное фиаско; быть может, он вообще женился на матери только для того, чтобы быть поближе к дочери. Отчима Зины — автора первоначального замысла "Лолиты" — с Хайнцем фон Лихбергом объединяют антисемитские наклонности (там же, с. 191; см. также прим. 52). В соответствии с замыслом Набокова, во второй, ненаписанной части "Дара" этот персонаж должен был быть напрямую связан с новыми властителями Германии: в наброске второй части Зине не удается выпроводить из квартиры его племянника, "восторженного нациста" (см.: Boyd. Vladimir Nabokov. Die Russischen Jahre. S. 839).

28. The Annotated Lolita. Edited, with Preface, Introduction, and Notes by Alfred Appel Jr. Vintage. — New York, 1991, p. 358 (далее везде — Appel).

29. В предисловии к роману его вымышленный издатель Джон Рэй отмечает, что настоящую фамилию героини он изменил, но "ее первое

имя слишком тесно вплетается в сокровеннейшую ткань книги, чтобы его можно было заменить" (см.: В. Набоков. Лолита, с. 18). В интервью журналу "Плейбой" Набоков поясняет, почему он выбрал имя "Лолита": "Для моей нимфетки мне нужно было уменьшительное имя с лирической мелодией в нем. Одна из самых прозрачных и лучезарных букв – 'Л'. В суффиксе '-ита' много латинской нежности, которая мне также требовалась. Отсюда: Лолита". Ук. собр. соч. амер. периода, Т. 3, с. 567. (В. Набоков. Пнин. Рассказы. Бледное пламя. с. 567). Был и внешний повод для того, чтобы задуматься об этом имени: местечко в штате Колорадо, неподалеку от которого Набоков поймал первый экземпляр самки *Lycaeides sublivens NABOKOV*, называлось Долорес, то есть звучало как полное имя Лолы-Лолиты (см.: Appel, p. 333). Но топоним Долорес может вывести на имя Лолита лишь того, кому это имя уже знакомо. А к имени Лолита уж точно не придешь в ходе размышлений о лиричности буквы 'Л'. Лихберг, конечно, тоже не сам придумал это имя. Морис Кутюрье, издававший Набокова в серии "Плеяда", указывает на два французских текста, в которых также встречается имя Лолита: книгу "Курортная жизнь. Лолита" (1894), написанную Исидором Ге, и "Песню Лолиты" (1920), принадлежащую перу Рене Риша и отсылающую к "Песням Билитис" Пьера Луиса (1894) – роману, в котором образы нимфеток играют важную роль. Поразительную перекличку с началом гумбертовского текста можно найти и у Валери Ларбо, указывающего на всевозможные оттенки значения имен Долорес, Лола и Лолита в книге "Женские имена", опубликованной в 1927 году (сведения почерпнуты из сообщения на Интернет-форуме Nabokv-L [sic], опубликованного там в апреле 2004 г.).

30. Шарлотта Гейз проводила медовый месяц в Мексике, чем и объясняется ее выбор имени для дочери. Для белых представителей протестантского среднего класса подобный выбор в 1935 году достаточно необычен. Такого мнения придерживается и Чарльз Кинбот, комментирующий строки 679–681 поэмы Джона Шейда ("Пронесся югом ураган 'Лолита' / (То был год бурь), шпионил неприкрыто / Угрюмый росс...") следующим образом: "Почему наш поэт избрал для своего урагана 1958 года редко используемое испанское имя (иногда даваемое попугаям) вместо Лоис или Линды, – неясно". См.: В. Набоков. Указ. собр. соч. амер. периода. Т. 3, с. 331 и 485.

31. Appel, p. 332.

32. Сборник интервью Набокова "Нерушимые мнения" (Vladimir Nabokov. Strong Opinions. – New York: Vintage Books, 1990, p. 25).

33. Appel, p. 135, и В. Набоков. Лолита, с. 206.

34. В. Набоков. Лолита. Испанский аромат исходит и от имени Кармен, очень часто упоминающегося в романе.

35. Там же, с. 193.

36. В. Набоков. Ук. собр. соч. рус. периода. Т. 5, с. 520—584.

37. Там же, с. 582.

38. У Ады тоже есть такой испанский платок, и он наверняка хорошо подходит к ее воздушной и просторной черной юбке, носящей в романе "Ада" название "лолита" (В. Набоков. Ада, с. 79).

39. Гумберт Гумберт, рассказывая о своей первой ночи с Лолитой, не говорит о цветке, а задает присяжным риторический вопрос: "Лишил ли я ее девственности?" (В. Набоков. Лолита, с. 159). Скабрезный вариант кровавого цветка мы находим в той сцене, где рассказывается о последнем вечере, проведенном Гумбертом с Лолитой перед ее болезнью и бегством: "Я раздел девочку. <...> Ее коричневая роза на вкус отзывалась кровью" (там же, с. 274).

40. Мотив вещего сна, в котором рассказчик, будучи в Южной Германии, видит пансион в Аликанте, куда наяву ему только предстоит отправиться, также мог бы вызвать у Набокова повышенный интерес. Вещие и перекликающиеся друг с другом сны — это тема, которую он так или иначе затрагивает во многих своих произведениях. Да и в жизни Набоков стремился исследовать ее с той же тщательностью, что и английский философ Джон Уильям Данн, автор книги "Эксперимент со временем", по примеру которого писатель вел дневник снов.

41. А. Аппель по праву называет "Лолиту" книгой "об околдовывающих чарах, уходящих корнями в прошлое" (Appel, S. xxiii). Мифическая смена поколений Лол-Лолит, о которой идет речь у Лихберга, перекликается с мыслями Гумберта, представляющего, как он будет упражняться в "искусстве быть дедом" на внучке Лолиты, "бесконечно прелестной Лолите Третьей" (В. Набоков. Лолита, с. 200).

42. Там же, с. 30.

43. Там же, с. 30.

44. Хайнц фон Лихберг даже точно указывает продолжительность действия любовных чар. Когда рассказчик расстается с Лолитой, она со всей силой впивается в его руку своими маленькими зубами. "Эти шрамы любви, — заверяет он своих слушателей, — не изгладились за двадцать пять лет, протекших с той поры". Указание на конкретный временной промежуток мы находим и у Набокова, в той сцене, где Гумберт впервые видит Лолиту, свою ожившую первую любовь, от чар которой он так и не сумел освободиться: "Четверть века, с тех пор прожитая мной, сузилась, образовала трепещущее острие и исчезла" (В. Набоков. Лолита, с. 55). Чары любовного проклятия и здесь не ослабли за четверть века.

45. В одном из писем Набоков пишет о "сновидческом искажении" (dream-distortion) этой сцены, подтверждая тем самым, что ей присущи черты чего-то нереального, похожего на сон (см. "Избранные письма" Набокова: Selected Letters, с. 48).

46. В. Набоков. Лолита, с. 338.

47. Там же, с. 186, 189.

48. Вторым репортером был штурмфюрер Вульф Блей.
(См.: http://www.swr.de/swr2/zeitenwende/galerie/moments/1930–1939.html: Moments of History. Eine Komposition der Erinnerung; http://www.jacobasch.net/artikel7.htm: 75 Jahre deutscher Rundfunk.)

49. Письмо в редакцию "Фёлькишер беобахтер" от 1 февраля 1934 г., на имя господина капитана Вайсса; оригинал письма ныне находится в Федеральном архиве Кобленца.

50. Уже из заглавий ясно, что это за тексты: "Кот Юлиус в гостях", "Немного весны, немного любви", "Мышка и ореховый крем". Мышкой названа супруга рассказчика (Хайнц фон Лихберг был женат с 1921 года), и драматический узел повествования завязывается вокруг новой весенней шляпки жены, которую она купила, не посоветовавшись с мужем. Новые весенние шляпки присутствуют в качестве одной из тем и в рассказе "Мечта о большом выигрыше". Герои рассказа, муж с женой, на этот раз носящей имя Лили, спорят о том, что бы они сделали, если бы выиграли в лотерею миллион. Она хочет поехать в горы, он — в равнинные области Северной Германии... Все в таком роде. Фон Лихберг закончил свою жизнь в Любеке, то есть, похоже, его желание все-таки перевесило позицию жены (если, конечно, прочитывать рассказ о семейном споре как автобиографическое произведение).

51. Письмо от 7 сентября 1933 г. (Немецкий литературный архив, г. Марбах). Ханц фон Эшвеге был прямым потомком братьев Гримм (его отец Эрнст – внук художника Людвига Эмиля Гримма), но с Хансом Гриммом он в родстве не состоял.

52. Чем больше цитат, тем хуже для Хайнца фон Лихберга. Его рассказчик Петер Андерсен идет по еврейскому кварталу: "Иудеи, старики с пейсами, стояли, прислонившись к дверям грязных лавочек. Один из них схватил меня за рукав, желая затащить внутрь и всучить мне свой товар. Едва я успел высвободиться, как в меня уже вцепился следующий – молодой ухмыляющийся галилеянин, с золотыми зубами и пятнами жира на галстуке. Я видел его грязные руки, толстые пальцы, похожие на сардельки, черные обкусанные ногти. Мне вовсе не хотелось, чтобы он обтирал свои грязные ручищи об мой светлый костюм. 'А ну пусти!' – сказал я. Его ухмылка делалась все настойчивее. Рот перекосился, превратившись в щель, растянутую во всю ширь лица. В верхнем ряду справа у него не хватало двух коренных зубов [sic], вместо них виднелись черные пеньки. Но глаза его погрустнели. Он не ослаблял хватку. Из его рта потекли целые потоки слов и донесся отвратительный запах. 'Отпусти! – сказал я. – Немедленно!' Он украдкой покосился на мои руки. Увидев сжатые кулаки, выпустил мой рукав. Но стоило мне сделать шаг вперед, как он разразился проклятиями в мой адрес. И тотчас из всех дверей высунулись мужчины вроде него" (см.: Heinz von Lichberg, Nuntucket-Feuerschiff. Berlin: Verlag Scherl, 1935. S. 92). Переселившийся в Нью-Йорк немец по имени Карстен, которого рассказчик превозносит за его прекрасные манеры, признается, что тоскует по Германии, и критикует Америку: "Прошли хорошие времена. Крупные дельцы занимаются темными махинациями и разрушают страну. Все коррумпировано, везде у них свои люди, из страны выкачивают последнее. То, что процветает сейчас, цветет ложным цветом. Что нам сейчас нужно, так это сильная рука, очень властный человек – если *одного* [курсив оригинала] такого человека будет достаточно, – который поставит к стенке всех этих грязных биржевиков и взяточников". Андерсен отвечает: "Кому вы это объясняете – нам в Германии тоже нужен сильный человек, – но нам нужно бороться не только с грязью в своей стране, но и с заблуждениями и произволом наших врагов. Вы только подумайте о разоружении и о Версале" (там же, с. 155). Эти слова, по замыслу автора, были произнесены в 1930 году. В романе, вышедшем в свет в 1935-м, они приобретают характер пророчества, сделанного задним числом. В 1935 году "сильный человек" уже стоял у руля; бригады, приводившие в исполнение приказы о расстрелах, уже принялись за работу. В 1934-м их жертвой стал близкий родственник Лихберга Герберт фон Бозе, пресс-секретарь вице-канцлера Франца фон Папена, предпринявший неудачную попытку заручиться помощью Гинденбурга и свергнуть Гитлера с поста рейхсканцлера.

53. В. Набоков. Лолита, с. 161.

54. В пользу такого предположения говорит тот факт, что Лихберг состоял членом НСДАП с 23 июня 1938 года (в начале войны членство в партии еще было обязательным условием для вступления в ряды вермахта). Канарис основал новый — второй — отдел абвера (Abwehrabteilung II) всего за три недели до этой даты. Второй отдел руководил организацией диверсионной деятельности за границей, отвечал за связи с этническими немцами в других странах и пропаганду, а возглавлял его Хельмут Гроскурт.

55. В служебном дневнике Гроскурта имеется запись, относящаяся к концу 1939 года, в которой отмечено, что он разговаривал с капитаном фон Эшвеге о "пропаганде против североафриканцев". (Эти сведения нам любезно предоставил Ханс Воллерс из Мюнхенского института истории.)

56. Эти сведения нам любезно предоставила берлинская организация "Дойче динстштелле".

57. Данные сведения любезно предоставил нам Ханс Юрген фон Бозе.

58. Возможность изустной передачи сюжета, о которой М. Райх-Раницкий размышляет в "Шпигеле" (в статье "Настоящее открытие": Marcel Reich-Ranicki. Eine richtige Entdeckung. — Spiegel, Nr. 13, März 2004. S. 18), исключать нельзя, однако эта версия представляется не очень убедительной. Если предположить, что Набоков от кого-нибудь услышал историю лихберговской "Лолиты", нужно признать, что этот "кто-нибудь", рассказывая, вряд ли стал бы углубляться в детали, он наверняка опустил бы имена и не заострял бы внимание на образе нимфетки. Для того чтобы заметить этот образ, нужно было быть подготовленным к восприятию соответствующей темы, настроенным на нее так, как был настроен на нее автор "Сказки".

59. В моих предыдущих статьях различные версии излагались в ином порядке, так что некоторых читателей может удивить то, что второй и третий варианты ответа поменялись местами. Но теперь я хотел, чтобы третья версия незаметно приобрела больший вес благодаря перечислению все новых аргументов в ее пользу.

60. Существование криптомнезии по понятным причинам сложно доказать, но еще сложнее опровергнуть. Таким образом, теория, которая опирается на это понятие, не соответствует попперовскому критерию научности, так как, согласно Попперу, научная теория если и не может быть доказана, то — по крайней мере теоретически — должна поддаваться опровержению. Наш мир, однако, был бы гораздо проще, если бы в нем существовали только те феномены, которые могут быть описаны в

рамках научных — поддающихся опровержению — теорий; но подобному описанию подчиняется далеко не всё. Помочь доказать существование криптомнезии может лишь случай. Один подобный пример приводит специалист по Музилю Карл Корино. Перечитывая по третьему разу роман Якобсена "Нильс Люне", Роберт Музиль понял, что один эпизод "Человека без свойств" был создан, скорее всего, под влиянием прозы датского писателя (см. работу Карла Корино "Двойная Лолита": Karl Corino. Die doppelte Lolita. — Rheinischer Merkur, 15. April 2004). В дневниках Томаса Манна также встречаются подобные "сцены узнавания".

61. V. Nabokov. Eigensinnige Ansichten. S. 46.

62. Здесь, безусловно, возможны комбинации различных вариантов. Набоков мог поначалу отдавать себе отчет о влиянии того или иного источника, но затем вновь забыть о нем.

63. Том Болт, изучивший вопрос о возможных перекличках с Буниным, дает прекрасный перечень того, что характерно только для "Лолиты" Набокова и не встречается ни в одном произведении его предшественника. При всех совпадениях в сюжете, у Бунина "не может быть ни Куильти или Катулла, ни 'ацтеково-красных плавок', ни Мак-Фатума, ни 'гранитного обелиска в память баталии под Блю-Ликс', ни 'Касбимского парикмахера', ни 'знака Тигровой Бабочки', ни 'маленьких вопросительных звуков', ни 'большого розового пузыря, чем-то напоминающего детство', ни 'прекрасной, доверчивой, мечтательной, огромной страны'" (сообщение на форуме Nabokv-L [sic] от 26 мая 2004).

64. "Они, красный и серый, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми" (рассказ "Королек") См.: В. Набоков. Другие берега. Роман. Рассказы. — М.: Аст — Харьков: Фолио, 1997, с. 250.

65. "Королек" — предшественник созданного в 1937 году рассказа "Облако, озеро, башня", в котором группа немецких туристов мучает и (согласно одному из возможных прочтений этого текста) доводит до самоубийства робкого русского эмигранта. Вся соль более раннего рассказа заключается в том, что Набоков направляет читателя по ложному следу, заставляя его думать, будто работающий по ночам, погруженный в мечтания главный герой Романтовский — поэт, возможно, писатель-романист, но никак не фальшивомонетчик, не "королек" (в англоязычной версии рассказа, носящей название "Leonardo", это выдано уже в заглавии). Сама собой напрашивающаяся сегодня ассоциация — Леонардо—Джоконда — в 1933 году была еще невозможна; английское сленговое словечко "леонардо", обозначающее фальшивомонетчика, Набоков узнал лишь в семидесятые годы, когда они с сыном переводили рассказ на английский язык.

66. В. Набоков. Другие берега. Роман. Рассказы, с. 251.

67. Vladimir Nabokov. Erzählungen 2. 1935–1951. Deutsch von Renate Gebhart et al., цит. изд. 2. S. 607. Это место довольно нетипично для Набокова, который всегда возражал против прямых политических истолкований своих произведений.

68. См. немецкоязычное издание "Изобретения Вальса": Vladimir Nabokov. Walzers Erfindung. Drama in drei Akten. Deutsch von Rosemarie Tietze, in: Dramen, hg. von Dieter E. Zimmer. – Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag 200 (Gesammelte Werke Band XV). S. 191.

69. В. Набоков. Изобретение Вальса. Указ. изд. с. 566.

70. Там же, с. 528.

71. Там же, с. 540.

72. См. список действующих лиц: "Хамп, немой коротышка – слуга; генерал и герольд; учитель спорта". Значимые – забавные – имена дает своим персонажам и Лихберг; у Набокова такие имена воспринимаются как нечто искусственное.

73. В. Набоков. Изобретение Вальса, указ. изд., с. 541. "Берг" обыгрывается в именах персонажей и в английском варианте пьесы.

74. "Атомит" Хайнца фон Лихберга меньше напоминает пророчество; во времена Первой мировой войны газовое оружие не было оригинальной темой. Война с использованием газового оружия играет существенную роль в одном русском романе, который, может быть, также относился к числу источников "Изобретения Вальса". В нем тоже идет речь об изобретении нового вида оружия, использование которого делает войны бесперспективными для обеих сторон. Автор этого романа – Алексей Толстой. Первое издание "Гиперболоида инженера Гарина" вышло в свет в 1927 году, его последняя, расширенная и переработанная редакция была опубликована в 1938 году, то есть совсем незадолго до того, как была написана драма "Изобретение Вальса". Набоков лично знал автора романа: тот был вхож в дом его отца в Берлине. Просоветский настрой Толстого Набокову очень не нравился. Главный герой романа об оружии невиданной силы – благородный большевик, защищающий мир от злого гения Гарина и гнусного миллиардера, американского химического короля Роллинга. Набокова в этом тексте могло оттолкнуть практически всё, но это не значит, что он роман не читал. Напротив, ве-

роятность знакомства Набокова с "Гиперболоидом" очень высока. У Толстого, который разбирался в технических вопросах гораздо лучше, чем Сальватор Вальс, предсказывается – в разговорах персонажей – возможность изобретения атомного оружия. Что же касается изобретения самого Гарина, то его можно считать пророчеством в еще большей степени, нежели оружие Вальса. Это тепловой луч, своего рода лазерное оружие дальнего действия, предвосхищающее "звездные войны". Сюжетное сходство с Толстым заключается в желании Вальса использовать новое оружие в целях завоевания мирового господства. В романе отсутствуют сценические детали, характерные для "Изобретения Вальса" и "Атомита". Однако заключительная сцена "Гиперболоида инженера Гарина", в которой описывается бегство диктатора Гарина из дворца, чем-то напоминает бегство Кинбота из Земблы. То, что одним из двойников (!) Гарина является барон Корф, Набокову, наверное, могло показаться забавным; семье барона Фердинанда фон Корфа, своего прадедушки, немца по происхождению, Набоков посвящает несколько страниц автобиографии. (Сердечно благодарю директора петербургского музея В. Набокова Татьяну Пономареву за указание на роман Алексея Толстого.)

75. Эта Анабелла – ключевая фигура драмы. Ее образ Набоков тонко соотносит с изобретением Вальса (она также "более или менее реальна", как сказано в списке действующих лиц). Вальс хочет узнать от отца Анабеллы местонахождение его дочери, но тот отвечает: "Не трудитесь искать: она так же хорошо спрятана, как ваша машина". И за девушку, и за изобретение предлагается одинаковая цена, но в обоих случаях предложение о покупке отклоняется. Вальсу за его оружие предлагают два миллиона: "один миллион *до* доставки машины и один миллион – после". В следующем акте он сам просит отдать ему девушку за два миллиона: "один тотчас, другой по доставке" (В. Набоков. Изобретение Вальса, указ. изд., с. 555, 582). Иными словами, девушка эта – чистое наваждение; но и адская машина, как признается Вальс в конце пьесы, существует лишь "здесь, со мной, у меня в кармане, в груди..." (с. 584).

76. Набоков. Ада, с. 79. Имена Лолита и Осберг вводятся в романе как раз тогда, когда Ада достигает "правильного" возраста: "На пикник по случаю двенадцатилетия Ады <...> девочке разрешили надеть "лолиту" (прозванную так по имени андалусской цыганочки из романа Осберха, имя которой, кстати сказать, произносится с испанским "т", а не с глухим английским..." (с. 79.) Фильм, в котором Ада играет роль юной Долорес, воспроизводит некоторые детали новеллы Осберха, название которой заставляет вспомнить о Сервантесе – "Гитаночка" (La Gitanella); по мнению Б. Бойда, это название в параллельном мире Антитерры соответствует заглавию романа "Лолита" (см. информацию об "Аде" в сети Интернет: http://www.libraries.psu.edu/nabokov/ ada/ index.htm). Данная тема представлена в "Аде" с множеством ответвлений; одно из них приводит к Демону, отцу Вана, который в старости завязывает знакомства со все более юными "испанскими нимфочками";

"У последней его Розалинды имелась племянница лет десяти, едва опушившийся цыпленок", — замечает Ван (В. Набоков. Ада, с. 501).

77. Там же, с. 331.

78. В семье Ады есть два Вальтера Д. Вина. Брайан Бойд, перечисляющий в своем объемном комментарии к "Аде" другие, более заметные переклички с "Изобретением Вальса", не упоминает об этой отсылке к пьесе, где совершил свой первый выход на сцену персонаж по имени Вальтер (Вальс).

79. Скептикам это может показаться злонамеренной выдумкой, но речь тут скорее идет о прекрасной, сравнимой с редкостной орхидеей игре случая. Дело в том, что "Os" (химический знак элемента "осмий") в немецком языке может означать "свет" — в словосочетании "Auer-Os-Licht" (освещение по системе Ауэра). Немецкое слово "Osram" (означающее осмие-вольфрамовый сплав) — результат соединения слов "Osmium" ("осмий") и Wolfram ("вольфрам"). По имени изобретателя электролампы с металлической нитью накала свет лампы накаливания и получил такое название. Сделать же из Лихберга (Lichberg) Лихтберга (Lichtberg; в этом случае первым корнем является немецкое слово "Licht", "свет") — шаг, который напрашивается сам собой, и даже председатель Американской филологической ассоциации поддался этому искушению (см. статью Элайны Фантэм "О Лолите и проблеме плагиата": Elaine Fantham. On Lolita and the problem of plagiatism, in: American Philological Association, Newsletter, 4. 06.2004, Vol. 27, p. I).

80. В. Набоков. Прозрачные вещи. Смотри на арлекинов! Память, говори. / Пер. С. Ильина. // Собр. соч. амер. периода в 5 тт. Т. 5 — СПб.: Симпозиум, 2002, с. 220 и след.

81. Там же, с. 219. Настоящая фамилия девочки, с которой путают Долли, — Тальбот, но "приходящая нянька" недослышала по телефону ее фамилию и передает ее как "Толберд, Дальберг". Устраивая путаницу с именами, Набоков мог преследовать лишь одну цель — вплести имя Даль*берг* в ткань повествования, дать ему прозвучать.

82. Мы упоминаем об этих возможных пересечениях, поскольку широко распространено ложное мнение, согласно которому Набоков за те пятнадцать лет, что он прожил в Берлине, практически не контактировал с немцами. На самом деле все было, конечно, совсем не так. В частности, "отгороженность" Веры от немецкой среды была, мягко говоря, далеко не полной — она, как то увековечено в "Даре", ходила на службу в берлинскую канцелярию, стенографировала речи министров нацистского правительства, посещала танцевальные вечера, на которых появ-

лялась и "немецкая элита, а также многие представители дипломатического корпуса"; она ездила верхом в Тиргартене, занималась стрельбой, посещала занятия по высшему пилотажу, мечтала стать пилотом... (см.: Стейси Шифф. Вера). Да и ее мужу не удавалось полностью отгородиться от внешнего мира. Судьба, если бы ей было угодно, могла бы подстроить все так, чтобы Набоковы пересеклись на своем жизненном пути с господином фон Эшвеге-Лихбергом. Лихберг, может быть, играл в теннисном клубе в Далеме, членом которого Набоков числился с 1926 года; или он общался с кем-нибудь из представителей немецкой военной аристократии, у которых Набоковы снимали квартиры (с семьями фон Далвиц или фон Барделебен); вполне вероятно, что Вера и Владимир интересовались кругосветным полетом дирижабля "Граф Цеппелин", подробно освещавшимся и в журнале "Руль" (рассказ Набокова "Время и штиль" заканчивается апофеозом первых воздухоплавательных аппаратов). Возможности изучения данной проблематики еще далеко не исчерпаны, но без помощи случая, очевидно, никогда нельзя будет отыскать в ворохе – "стоге" – информации такого рода "иголку". Кстати, не исключено, что Лихбергу было знакомо имя Набокова; как журналист он должен был читать конкурентные издания, и от его взгляда вряд ли укрылось, что газета "Фоссише цайтунг" в форме романов с продолжением опубликовала целых два произведения Набокова-Сирина (в июле 1938 года – "Машеньку", напечатанную в газете под названием "Она придет – придет ли?", а в марте 1930-го – роман "Король, дама, валет. Игра с судьбой". В форме книги оба романа в переводе на немецкий язык вышли в свет в издательстве "Ульштайн".

83. См. немецкое издание сценария В. Набокова для фильма "Лолита": Vladimir Nabokov. Lolita. Ein Drehbuch. Nach den Originaltyposkripten zusammengestellt und übersetzt von Dieter E. Zimmer. – Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 1999 (Gesammelte Werke Band XV 2). S. 71 f., 312, 152 f.

Хайнц фон Лихберг

Рассказы

Перевод с немецкого Е. Ивановой

Лолита

КТО-ТО из гостей упомянул Э. Т. А. Гофмана. Его музыкальные новеллы.

Молодая хозяйка дома Беата положила апельсин, который собиралась чистить, обратно на тарелку, и сказала, обращаясь к молодому поэту:

– Я читаю эти новеллы довольно редко, но, можете ли поверить, они не дают мне спать по ночам. Здравый рассудок подсказывает, что все это фантазия, а тем не менее...

– Именно потому, что это не фантазия, милостивейшая графиня!

Один из гостей, советник посольства, благодушно улыбнулся:

– Но вы же не хотите сказать, что Гофман сам пережил все эти ужасы!

– Именно это я и утверждаю, – возразил поэт, – он испытал все это! Конечно, не на собственном опыте. Но так как он был поэтом, он переживал то, о чем писал, – или, скорее, он писал лишь о том, что прежде духовно пережил. Отсюда можно вывести различие между поэтом и писателем. В сознании поэта фантазия возвышает любое переживание до уровня реальности!

В маленькой гостиной в стиле ампир прекрасной графини Беаты стало совсем тихо.

– Да, думаю, вы правы, – сказал профессор, человек с утонченным вкусом, выглядевший очень моложаво для своих лет. – Я хотел бы рассказать вам кое о чем, что ношу в себе уже в течение многих лет, хотя до сих пор не уверен, пережил ли я это на самом деле или все это – плод моей фантазии. Но мой рассказ, очевидно, займет некоторое время!

– Мы просим вас, – сказала хозяйка дома.

И профессор начал рассказывать.

В конце прошлого века мои научные занятия привели меня в очень старый и большой город Южной Германии.

Как вы понимаете, с тех пор минуло уже больше двадцати лет.

Я жил на узенькой старинной улочке, потому что мне там нравилось. Неподалеку от моей квартирки находился маленький винный погребок – один из самых странных, какие мне доводилось видеть.

Осенью я часто заходил туда – ближе к концу дня, в тот предзакатный час, когда я ненадолго прерывал работу, чтобы отдохнуть.

© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2005
© Е. Иванова. Перевод, 2007

Погребок состоял из одной-единственной, сильно загроможденной комнаты с низким, осевшим потолком. У окон, выходивших на улицу, стояли два чисто выскобленных стола и жесткие деревянные стулья. В глубине комнаты, в темном углу возле голландской печи, стоял маленький третий столик и два странных кресла с подлокотниками, обитые темным ситцем. Над одним из кресел, у печи, висел черный шелковый кружевной платок, похожий на те, что по праздникам носят испанские девушки. Я никогда не видел там других посетителей, и по сей день не могу отделаться от мысли, что это не был обычный общедоступный кабачок.

По крайней мере, каждый вечер ровно в семь дверь дома запирали, а на окна накладывали ставни. Я тогда ни разу не спросил, в чем тут дело, потому что вскоре у меня возник необъяснимо сильный интерес к самим владельцам этого странного заведения.

Их звали Алоис и Антон Вальцер, они казались мне очень старыми людьми. Оба были невероятно высокими и худыми, абсолютно лысыми, но с окладистыми, длинными, растрепанными рыжевато-серыми бородами. Я всегда видел их в одной и той же одежде: в желтоватых панталонах и длинных черных сюртуках, болтавшихся на них. Очевидно, это были близнецы, потому что они поразительно походили друг на друга, и мне понадобилось много времени, чтобы научиться их различать по несколько более низкому голосу Антона.

Когда я приходил, они, не говоря ни слова, ставили передо мной — на столик у печи — стакан чудесного сладкого испанского вина и по-дружески улыбались. Алоис всегда сидел в кресле рядом со мной, Антон же обычно стоял, прислонившись спиной к окну. Оба курили какой-то очень ароматный табак из трубок вроде тех, что можно увидеть на фламандских гравюрах. Казалось, они все время чего-то ждут.

Сказать, что старики производили на меня впечатление чего-то гротескного, было бы неправдой, потому что слово "гротескный" родственно слову "смешной". В моем же восприятии Вальцеров преобладало ощущение их невыразимой усталости, почти трагической боязливости.

Казалось, женщины в этом доме не было — по крайней мере я никогда не замечал там следов женского присутствия. Скоро посещение закопченного винного погребка стало для меня потребностью, особенно когда пришла зима с ее ранними сумерками и долгими вечерами. Мои отношения с хозяевами становились все более близкими, и время от времени Алоис и Антон заговаривали со мной. Они, казалось, совершенно не интересовались сегодняшней жизнью, потому что всегда говорили лишь о давно прошедших временах, и притом странными, сухими, скрипучими голосами. Я рассказывал им о своих путешествиях, и всегда, когда речь заходила о южных странах, в их глазах появлялся выжидающий, боязливый блеск, в котором иногда прочитывалась печальная надежда на что-то. Казалось, они жили каким-то воспоминанием. Всякий раз, покидая их погребок, я испытывал странное чувство, что после моего ухода там случится что-то ужасное, но обычно дело кончалось тем, что после я сам смеялся над нелепостью таких мыслей.

Однажды, проходя мимо дома Вальцеров поздно вечером, я услышал тихие, чудесно-нежные, изысканные звуки скрипки. Эта удивительная музыка настолько пленила меня, что я остановился и долго стоял на улице. На следующий день я спросил стариков, что это было, но они лишь с улыбкой покачали головами.

Через несколько недель я вновь проходил как-то ночью мимо их окон. В тот раз, кажется, время было еще более позднее. Вдруг из-за ставен послышались такие страшные крики, такие неимоверные проклятия и ругательства, что я в страхе остановился. Без сомнения, голоса доносились из знакомого мне кабачка, но яростно спорили между собой явно не братья, потому что они не могли бы издавать такие глубокие, молодые, гневные звуки. Очевидно, там таскали друг друга за волосы двое молодых, сильных мужчин. Крики становились все громче, потом возбуждение спорящих достигло невероятного накала, время от времени то один, то другой из них с грохотом ударял кулаком по столу.

Вдруг раздался звонкий, как серебро, женский смех, и после этого звуки возбужденных голосов разрослись в сумасшедший рев.

Я застыл в оцепенении и стоял, не двигаясь с места, но мне и в голову не пришло открыть дверь и посмотреть, что же там случилось.

Тут до меня донесся женский крик, очень короткий, но наполненный таким страхом, что я до сих пор не могу его забыть. А потом все стихло.

Когда на следующий день я вошел в комнату, Антон, дружески улыбаясь, поставил передо мной, как обычно, стакан вина, все казалось таким же, как прежде, а потому я счел услышанное ночью за сон и постеснялся расспрашивать стариков.

На исходе зимы я уведомил братьев, что больше не буду к ним приходить, так как на следующий день отправляюсь в Испанию.

Мое сообщение, очевидно, произвело на Антона и Алоиса сильное впечатление, потому что их жесткие, до смешного некрасивые лица мгновенно побледнели, а глаза уставились на пол. Они вышли из комнаты, и я слышал, как за дверью они перешептывались друг с другом.

Через какое-то время Антон вновь вошел и спросил меня взволнованным голосом, не собираюсь ли я заехать в Аликанте; услышав утвердительный ответ, он смешными шажками засеменил вон из комнаты.

Чуть позже они оба вернулись и вели себя так, будто ничего не произошло.

За подготовкой к отъезду я забыл о стариках, но ночью мне приснился неясный, путаный сон, в котором присутствовал и играл какую-то роль маленький, скособоченный светло-розовый дом на одной из портовых улочек Аликанте, пользующихся дурной славой.

На следующий день по пути на вокзал я заметил, что ставни на окнах у Антона и Алоиса были — средь бела дня — наглухо закрыты.

В дороге я продолжал заниматься научной работой и вскоре забыл о незначительных происшествиях на юге Германии. Ведь когда путешествуешь, легко забываешь.

По пути я на несколько дней остановился в Париже, чтобы навестить друзей и побродить по Лувру. Как-то вечером, устав от картин, я зашел в кабачок в Латинском квартале послушать некоего удивительного барда, о котором мой знакомый говорил с восхищением.

Я увидел слепого старика, который действительно прекрасно пел своим серьезным, печальным голосом. На скрипке мастерски аккомпанировала его красавица-дочь.

Потом она играла одна, и вдруг я узнал ту изысканную, нежную мелодию, которая удивила меня несколько недель назад, когда я проходил мимо дома Вальцеров. Я поинтересовался и узнал, что это гавот, созданный Джованни Люлли во времена Людовика XIV.

Через несколько дней я отправился в Лиссабон и в первые дни февраля добрался через Мадрид до Аликанте.

Я всегда питал слабость к южным странам, в первую очередь к Испании. Там, если можно так выразиться, живут в полную силу, переживания особенно ярки, ибо солнце придает всем проявлениям жизни страстность и непосредственность.

Тамошние люди подобны их винам — крепким, обжигающим и сладким, но при брожении опасно-гневливым и способным мгновенно взорваться.

А еще меня не покидает ощущение, что в каждом южанине есть что-то от Дон Кихота.

Вообще-то у меня не было дел в Аликанте, но я люблю эти несказанно прекрасные ночи в порту, когда луна, виднеющаяся над крепостью Святой Варвары, рождает внезапные иллюзорные контрасты. Все немцы сентиментальны и склонны к романтике.

Когда я въезжал в город, на меня нахлынуло воспоминание о братьях Вальцерах и их странном жилище. Может, это игра моего воображения и я все придумываю, но сейчас мне кажется, что тогда я почти помимо своей воли направил мула мимо Дворца Альгорфа вниз, к порту. Там, на одной из старых рыбацких улиц, я нашел подходящее пристанище.

Гостиница, принадлежавшая Северо Анкосте, располагалась в маленьком покосившемся здании с большими балконами, втиснутом между другими подобными домами. Приветливый, разговорчивый хозяин выделил мне комнату с замечательным видом на море, и ничто как будто бы не мешало мне всю предстоящую неделю безмятежно наслаждаться этой девственной красотой.

Но на следующий день я увидел Лолиту, дочь Северо.

Она, по нашим нордическим представлениям, была совсем юной, у нее были южные, затененные ресницами глаза и редкий, золотисто-рыжий цвет волос. Тело — стройное и гибкое, как у мальчика, а голос — глубокий и темный.

Но пленила меня не только ее красота — от нее веяло странной загадкой, которая лунными ночами беспокоила меня своим вопрошанием.

Убирая мою комнату, девочка иногда неожиданно прерывала работу, останавливалась, сжимала красные улыбающиеся губы в две узкие полоски и напряженно смотрела на солнце глазами, полными страха. В этой отрешенной, трагической позе она напоминала Ифигению. В такие моменты я испытывал властное чувство, повелевавшее мне обнять этого ребенка и защитить его от неизвестной опасности.

Но бывали дни, когда Лолита смотрела на меня с немым вопросом в расширившихся глазах, и вечера, когда я видел, как она плачет.

В то время я и не думал об отъезде. Меня пленили юг — и Лолита.

Золотые, жаркие дни и серебристые, меланхоличные ночи.

А потом был тот незабвенный вечер, полный жизни и сказочных грез. Лолита, как случалось и раньше, сидела на моем балконе и тихо мне пела.

Но вдруг она отложила гитару — которая тут же соскользнула на пол — и робко подошла к перилам, где стоял я. Ища взглядом мерцающий лунный отблеск на воде, она, словно выпрашивающий что-то ребенок, дрожащими руками обхватила мою шею, приникла к моей груди и

начала горько всхлипывать. В ее глазах стояли слезы, но нежные губы улыбались.

Чудо свершилось.

— Ты такой сильный, — прошептала она.

Дни и ночи наступали и вновь уходили — неизменное поющее очарование отрешенности придавало еще большую загадочность ее красоте.

Но дни складывались в недели, и постепенно я начал осознавать, что мне пора ехать домой. Не то чтобы меня звали дела, нет, но слишком сильная, опасная любовь Лолиты вселяла в меня страх. Когда я признался ей в этом, она посмотрела на меня неописуемым взглядом и молча кивнула. Затем быстро схватила мою руку и со всей силы впилась в нее своими маленькими зубками. Эти шрамы любви не изгладились за двадцать пять лет, протекших с той поры.

Прежде чем я успел что-либо вымолвить, Лолита убежала и скрылась. После я лишь однажды видел ее...

Вечером, когда я сидел на скамейке перед домом, Северо завел со мной серьезный разговор о своей дочери.

— Подойди сюда, господин, — сказал он, — я хочу показать тебе кое-что и все рассказать!

Он повел меня наверх, в смежную с моей комнату. Пораженный, я остановился на пороге.

В прямоугольном помещении с низким потолком стояли только стол и три кресла. Это были те же кресла, или почти те же, что и в комнате братьев Вальцеров. Мне вдруг стало ясно, что в ночь перед отъездом из Германии я видел во сне дом Северо Анкосты!

На стене висел портрет Лолиты, столь хорошо написанный, что я подошел поближе, чтобы его рассмотреть.

— Ты думаешь, это Лолита, — с улыбкой сказал Северо, — но это Лола, бабушка Лолитиной прабабушки, удушенная сто лет назад во время разгоревшегося из-за нее спора двух ее возлюбленных!

Мы присели, и Северо, со свойственным ему дружелюбием, начал рассказывать. Он говорил о Лоле, которая была в свое время самой красивой девушкой в городе, такой соблазнительной, что мужчины умирали от любви к ней. Как рассказал Северо, вскоре после рождения дочери Лолу задушили двое влюбленных в нее мужчин, которых она мучила и довела до безумия.

С тех пор на семье лежит проклятье. Каждая женщина рожает только одного ребенка, девочку, и вскоре после родов сходит с ума. Но все женщины очень красивы — как Лолита!

— Так умерла моя жена, — прошептал он серьезно, — так же умрет и моя дочь!

Я не мог найти для него слов утешения, потому что в тот момент почувствовал сильнейший страх за мою маленькую Лолиту.

Вечером я нашел у себя на подушке маленький красный цветок, подобных которому никогда раньше не видел.

Прощальный привет Лолиты, подумал я, и взял цветок в руку. И тут я заметил, что вообще-то он был белым, а в красный цвет его окрасила — своей кровью — Лолита.

Вот как она любила.

В ту ночь мне не спалось. Меня преследовали кошмары. И вдруг, среди ночи, случилось страшное.

Я увидел, как дверь в смежную с моей комнату внезапно отворилась. В креслах у стола и посередине комнаты сидели три человека. Слева и справа — двое молодых, крепкого сложения светловолосых мужчин, а в центре, между ними, — Лолита. Нет, то была не Лолита, а Лола — или все же Лолита?

Перед ними стояли бокалы с красным вином. Девочка громко и шаловливо смеялась, но складка у рта придавала ее лицу жесткость и язвительность.

Вдруг мужчины взяли скрипки и заиграли. Я почувствовал, что кровь в моих жилах побежала быстрее: зазвучала уже знакомая мне мелодия, старый гавот эпохи Короля-Солнца. Когда они кончили играть, эта девочка-женщина с размаху бросила свой бокал на пол и вновь рассмеялась серебристым, воркующим смехом.

Тут один из мужчин — тот, который сидел лицом ко мне, — положил свою скрипку на стол и закричал:

— А теперь скажи нам, кого из нас ты выбираешь!

Она, смеясь, ответила:

— Того, кто красивее, — но вы же оба красивы. Вы красивы чуждой, холодной красотой, неведомой нам, южанам!

Второй мужчина закричал еще громче:

— Его ты хочешь или меня, скажи, женщина, или, клянусь Богом!..

— Вы меня любите, — нетерпеливо проговорила она, — вы ведь оба меня любите! Но если ваша любовь действительно столь сильна, тогда вы будете бороться за меня, а я умолю Матерь Божью явить чудо и показать мне, кто из вас двоих любит меня больше! Хотите вы этого?

— Да, — ответили они, обменявшись злобными взглядами.

— *Я люблю того из вас, кто сильнее!*

Тут сюртуки мужчин лопнули: так напряглись и раздулись их мышцы. Но они увидели, что одинаково сильны.

— *Я люблю того из вас, кто выше!* — ее глаза сверкнули.

Услышав это, мужчины начали стремительно расти. Их шеи вытянулись и стали отвратительно тощими. Рукава сюртуков доходили им теперь только до локтей. Их лица уродливо растянулись, и мне показалось, что я слышу, как трещат их кости. Но ни один из них ни на волос не перерос другого.

Тогда они так ударили по столу уродливыми кулаками, что скрипки свалились на пол. Мужчины разразились проклятиями.

— *Я люблю того из вас, кто старше!* — пронзительно крикнула она.

Волосы у них на головах начали редеть, на лицах появились глубокие морщины, руки ослабли и затряслись, а когда мужчины, брызгая слюной, в ярости и возбуждении вскочили с кресел, они с трудом удерживались на ногах. Их взгляды, полные ненависти и яда, поблекли, а пронзительные голоса, выражавшие злобу и разочарование, напоминали теперь воронье карканье.

— Заклинаю тебя Богом, женщина, — в отчаянии прорычал один из них, — скажи последнее слово! Скажи последнее слово — или отправляйся со своей треклятой красотой ко всем чертям!

Она, трясясь от смеха, с мокрыми от слез глазами, упала грудью на стол:

— Я полюблю того из вас — полюблю того, у кого борода будет длиннее и некрасивее!

Из их уродливых подбородков начали расти длинные рыжие волосы. У обоих братьев вырвались животные крики злобы и отчаяния. Они вскочили и стояли теперь друг против друга с поднятыми кулаками. Тут женщина решилась бежать.

Но не успела — мужчины набросились на нее и задушили своими костлявыми длинными пальцами.

Я не мог сдвинуться с места, по моему позвоночнику пробежали ледяные мурашки, и я закрыл глаза. Вновь открыв их, я увидал, что мужчины в соседней комнате, только сейчас с трудом оторвавшие взгляды от своей жертвы, — это Антон и Алоис Вальцеры.

Затем со мной, очевидно, случился обморок.

Когда я проснулся, солнце ярко освещало мою комнату. Я увидел, что дверь в смежную комнату закрыта. Быстро открыв ее, я обнаружил, что в ней все так же, как было накануне вечером. Мне, правда, показалось, что раньше на мебели лежал тонкий слой пыли, а теперь его нет. И еще мне почудилось, будто в воздухе витает легкий запах вина.

Через час я вышел на улицу и встретил Северо, шедшего мне навстречу. Он был бледен и растерян. В глазах у него стояли слезы.

— Этой ночью умерла Лолита, — тихо сказал он.

Не могу описать, что сталось со мной, когда я услышал его слова, но даже если бы мог, я посчитал бы святотатством об этом говорить.

Моя любимая, маленькая Лолита лежала в своей детской кроватке. Ее глаза были широко раскрыты, зубки впились в нижнюю губу, а благоухающие светлые волосы спутались.

Не знаю, отчего она умерла. Я был настолько растерян, что забыл спросить. Но точно — не от пореза на загорелой левой руке. Не от того пореза, который она нанесла себе, чтобы окрасить в красный цвет цветок — для меня.

Я закрыл ее ласковые глаза и, стоя на коленях, приник головой к холодной руке. Не знаю, сколько времени я так простоял.

До тех пор, пока не приблизился Северо и не напомнил, что через час отплывает мой пароход в Марсель.

И тогда я ушел.

Когда корабль был уже далеко в море, я в последний раз увидел вдали зубчатые очертания башен Святой Варвары. Я подумал, что эта крепость уже очень скоро увидит, как они опустят в землю дорогое мне маленькое тело. С силой, которая родилась из боли и которой я не ощущал в себе никогда прежде, я глазами и сердцем умолял высокие башни: "Передайте ей привет от меня, шлите ей привет в этот последний миг — и всегда, всегда!"

Но душу Лолиты я увез с собой.

Лишь много лет спустя я вновь побывал в том старинном южнонемецком городе. В доме Вальцеров жила теперь некрасивая женщина, открывшая в помещении бывшего винного погребка магазин семян.

Я спросил ее о братьях и узнал, что наутро после той ночи, когда умерла Лолита, их обоих нашли мертвыми. Они сидели в своих креслах у камина с застывшими улыбками на лицах.

Профессор, который во время рассказа непрестанно блуждал взглядом по столу, словно искал что-то, теперь поднял голову.

Через какое-то время открыла глаза графиня Беата.

— Вы — настоящий поэт, — сказала она и быстрым движением, от которого зазвенели браслеты на ее узком запястье, протянула ему руку.

Атомит

— Да, — сказал Бобби Кеннисон и постучал костяшками пальцев по металлическому ящичку, — как все-таки хорошо, что мой старик когда-то вдалбливал в меня химию! Теперь посмотрим, сможет ли кто-нибудь из них тягаться со мной! Я страшно разбогатею, если... ну, посмотрим!

Потрепав Билла Стейкса, своего товарища, по плечу (что должно было означать "До свидания"), он нахлобучил на голову шляпу и умчался прочь, прижимая к себе ящички.

Направился он прямиком в военный департамент США. При входе отдал письмо и свою визитную карточку.

Швейцар посмотрел на нее и насмешливо спросил:

— Что, изобретение?

— Естественно, — пробормотал Бобби, — а что же еще!

— Тогда, я думаю, вам придется подождать. Тут очередь. Ваш номер — 29-й.

Затем Бобби провели в комнату, в которой сидели десять-двенадцать мужчин — все с ящичками на коленях.

Прервав оживленный разговор, они с любопытством посмотрели на Бобби, который, несколько смущенный их вниманием, скромно присел на свободный стул. Затем разговор в приемной возобновился.

Через час сорок к нему подошел слуга и прошептал на ухо: "Вас вызывает мистер Грэхем Уилкинс!" Слуга провел Бобби в помещение, в котором за письменным столом сидел человек, ответственный за проверку новых изобретений. Он был в очках, у него было гладко выбритое лицо с очень широкими скулами.

Бобби и не догадывался, что этот угрюмый чиновник совмещает свою должность с другой — председателя Комитета по снижению количества новых американских изобретений.

Но все же злой взгляд мистера Грэхема Уилкинса не позволил ему произнести заранее заготовленную речь. Он лишь положил один стальной ящичек на стол, другой поставил на пол и начал теребить свою потертую шляпу.

— С чем вы к нам пожаловали? Чем можете нас порадовать? — резко спросил чиновник.

— Я могу, — пробормотал Бобби, — я могу за один день покончить с любой войной!

— Да вы либо шут, либо сумасшедший! — проворчал чиновник и потянулся к ящичку с намерением его открыть.

— Если вы откроете его еще чуть пошире, мы оба умрем через секунду, а весь департамент — секунд через тридцать, — спокойно заметил Бобби.

Мистер Уилкинс мгновенно отдернул руки и, потрясенный, снова опустился на стул.

— Дело в том, что в этом ящичке содержится один грамм атомита, — продолжил приободрившийся Бобби. — Этого грамма вполне достаточно, чтобы за минуту убить около ста тысяч человек, при условии, что они будут стоять достаточно близко друг к другу.

— Но как сто тысяч человек могут поделить между собой и съесть один грамм? — недоверчиво спросил широколицый.

— Атомит не едят, — с гордостью ответил Бобби, — его вдыхают. Мельчайшая частичка порошка за секунду полностью разрушает трахею и легкие. Сейчас я вам это докажу. Взгляните на эту банку. На дне, как видите, — обыкновенная мышь. Наверху, в крышке, находится кусочек ватки, побывавший в непосредственной близости от атомита. Нажав на этот рычажок, я выпущу ватку из крышки, и вы увидите результат.

Затем он наклеил три толстых пластыря на отверстия, через которые в банку поступал воздух для мыши, а сверху накрутил еще одну металлическую крышку.

— Мышь вся вспотела, она едва жива, — с интересом отметил д-р Уилкинс.

— Попробуйте посидеть три часа в стеклянной банке, вы еще и не так вспотеете, — дружелюбно заметил Бобби. — Не волнуйтесь, вы можете оставаться поблизости, с вами ничего плохого не случится!

Затем он нажал на рычажок, и из крышки выпала ватка, опустившись мыши прямо на спину.

Мышь тут же открыла крошечную пасть, протянула лапки и издохла.

— Великолепно, право, это просто бесподобно! — сказал мистер Уилкинс. — На живых существ бóльших размеров воздействие такое же?

— Как я вам и говорил, мистер Уилкинс!

— Да, неплохо бы произвести эксперимент! — сказал чиновник и позвонил. — Позовите сюда полковника Розенкампа, — приказал он швейцару.

Пришел полковник, с изумлением выслушал рассказ об изобретении.

— Я должен сам это увидеть, — сказал он.

— О, пожалуйста, — тут же отозвался Бобби, — аппараты для более масштабных опытов готовы. Необходимо лишь раздобыть несколько крупных животных.

— Мы могли бы пойти в дом напротив, — сухо произнес полковник, — там сейчас как раз проходит женское предвыборное собрание!

— Идея! — мистер Уилкинс приложил палец к носу, как всегда, когда что-нибудь обдумывал. — Там у нас внизу, в хлеву, доживает свой век старый осел. Полагаю, он нам подойдет!

— Хорошо, — согласился Розенкамп, — остальных животных добудем в клиниках.

Уилкинс звонком вызвал слугу.

— Пебс, — сказал он, — у нас там старый осел. Спуститесь вниз, его нужно...

— Простите, мистер Уилкинс, — прервал его Пебс, — насколько я знаю, у мистера Кензинга сейчас обеденный перерыв!

Тут полковник так рассмеялся, что ему пришлось сесть, и даже по суровым скулам мистера Уилкинса пробежала ухмылка.

— Нет, Пебс, на этот раз я имел в виду не мистера Кензинга, мне нужен настоящий, четвероногий осел, он там, в хлеву внизу!

— Мистер Кензинг — мой личный секретарь, — пояснил он Бобби Кеннисону.

Пебс вышел, чтобы отдать распоряжения насчет осла.

Проведение опытов было назначено на следующее утро, и Бобби в прекрасном расположении духа отправился домой. По дороге, в предвкушении того, что скоро станет мультимиллионером, он даже купил себе новую шляпу.

*

На другой день, рано утром, в сторону испытательного полигона потянулась странная процессия.

В грузовике тряслись старая слепая лошадь, жалкий осел из военного департамента и несколько собак, кошек и кроликов. В легковых машинах разместились мистер Уилкинс, мистер Кензинг, полковник Розенкамп и Бобби со своим помощником. В двух больших ящиках были упакованы все необходимые аппараты.

Миссис Мэйбл Уилкинс и мисс Мэгги Уилкинс тоже пожелали присутствовать на этом зрелище, но они, конечно же, не успели вовремя завершить свой утренний туалет.

Под руководством Бобби на поле шли необходимые приготовления. Он взял в руки две банки.

— В этом сосуде находится четверть грамма атомита, а в этом — полграмма. В крышке закреплен небольшой подрывной патрон, который я позже взорву с помощью проводов. Мы поставим банки вот здесь и привяжем подопытных животных к столбам, расположенным на расстоянии пятидесяти шагов. Я полагаю, что для первого эксперимента, с четвертью грамма, можно взять лошадь, пять кошек и трех кроликов. Ну а теперь давайте прикрепим проволоку к подрывным патронам, сами же возьмем остальных животных и отойдем на такое расстояние, с которого можно без опасности для жизни наблюдать за происходящим!

И ученые начали отходить, предоставив привязанные к столбам создания их судьбе, поставленной на службу науки.

Отступив на пятьсот шагов (максимум того, что позволяла длина проволоки), господа остановились, и Бобби присоединил оба мотка к контактному аппарату.

— Если я нажму на левую кнопку, — пояснил он, — я взорву банку с четвертью грамма атомита, а если воспользуюсь правой, разорвется банка, рассчитанная на более сильное действие. Во время второго опыта мы привяжем животных на расстоянии ста шагов от банок, хотя воздействие атомита будет гораздо более сильным, так как он с невероятной легкостью проникает в атмосферу. Но, господа, вам самим ничего не грозит, потому что перед тем местом, где мы сейчас находимся, я выльо бутылку с единственным имеющимся противоядием, моментально истребляющим малейшие следы атомита. Это средство будет содержаться и в защитных масках, которые в случае войны раздадут солдатам, обслуживающим пушки с атомитом. Итак, господа, внимание!

Он нажал на левую кнопку, и еще прежде, чем до собравшихся донесся слабый звук взрыва, животные упали замертво.

— Великолепно, — сказал мистер Уилкинс, — мы сможем отказаться от использования электрического стула!

Затем все отправились рассматривать жертв науки, чтобы лучше понять характер воздействия атомита.

В то самое время, когда они дошли до круга, образованного столбами, к оставленному ими контактному аппарату, возле которого, смирившись с судьбой, стояли старый осел и его товарищи по несчастью, приблизились две очаровательные фигурки в белых ботиночках, светлых летних платьицах, с пестрыми зонтиками в руках.

— О Мэгги, — сказала миссис Мэйбл Уилкинс, — посмотри, наши мужчины там, а здесь один из их аппаратов. Видишь, мы, кажется, все же не зря пришли, хотя они и были настолько бестактны, что не подождали нас. Посмотри, какая забавная штука!

Со страхом, свойственным женщинам в обращении с непонятными им предметами, Мэгги, помедлив, осмотрела контактный аппарат.

— Странный ящик с двумя кнопками и прикрепленной к ним проволокой! — сказала она.

В этот момент мужчины увидели женщин.

— Посмотри, Мэгги, они орут как ненормальные и все время показывают на тебя. Твой отец что-то кричит нам, — сказала миссис Мэйбл возбужденно, — мне кажется, они хотят, чтобы ты что-то сделала с этой штукой!

Мужчины уже осознали опасность и теперь кричали и жестикулировали еще отчаяннее.

— Поторопись, Мэгги, они становятся все настойчивее!

— Здесь кнопка, ее можно нажать, — беспомощно проговорила Мэгги.

— Так нажми, — приказала мать, — ты же видишь, они этого требуют!

Тут мужчины, как сумасшедшие, побежали в разные стороны, потому что уже поняли, что́ их ждет.

Мэгги нажала на кнопку.

— О, теперь они разбегаются, как психи, — засмеялась миссис Мэйбл, — ты только взгляни — оп-ля, они еще и на землю попадали! Ох уж эти мужчины, ни к чему не могут относиться серьезно! Всё-то они свои глупые шуточки шутят! Пойдем к ним!

И две дамы, в своих светлых платьицах милые, словно сама весна, засеменили к мужчинам, лежавшим на земле без движения.

*

А старый осел, радуясь тому, как все кончилось, рысцой затрусил обратно в город, в свой хлев. По пути, обращаясь к хромой таксе, ковылявшей рядом, он говорил:

— Вот видишь, друг, если бы не эти прекрасные дамы, нас бы сейчас уже не было в живых! А людям вообще больше не пришлось бы вступать в какие бы то ни было конфликты. Но благодаря этим замечательным женщинам во́йны в будущем будут длиться все же дольше одного дня.

Это был всего лишь старый осел, но для осла он говорил довольно разумно.

Элиас Канетти
Заметки для Мари-Луизы

Перевод с немецкого Анны Кацуры

© Carl Hanser Verlag, München 2005
© Анна Кацура. Перевод, 2007

От редакции

Неожиданным открытием 2005 года стала публикация в немецком издательстве "Ханзер" неизвестной рукописи Элиаса Канетти (1905—1994), классика австрийской литературы и лауреата Нобелевской премии. Рукопись была найдена в архиве Мари-Луизы фон Монтесицки (1906—1996), австрийской художницы, с которой Канетти познакомился в Англии, в эмиграции, и поддерживал дружеские отношения до конца своей жизни. Тридцать страниц, набело переписанных и перевязанных золотым шнурком, были подарены автором Мари-Луизе на день рождения, 24 октября 1942 года.

Много лет спустя, в предисловии к "Заметкам 1942—1985 гг.", Элиас Канетти признавался, что впервые начал писать их во время войны, когда, работая над главным своим произведением "Масса и власть", вдруг почувствовал, что не справляется с грузом возложенной на себя задачи: "Необходимо было создать какое-то регулирующее устройство для снятия напряженности, и я, в начале 1942 г., нашел таковое в заметках. Допускаемая этим жанром раскованность и спонтанность, ощущение, что заметки возникают сами по себе и никакой конкретной цели не служат, свобода, с какой я мог перечитывать их, ничего в них не меняя, все это спасало меня от фатального оцепенения".

Ниже мы публикуем отрывки из новой книги.

ГОСТИ к нему не ходили, и он раза три или четыре в день с чувством пожимал руку самому себе, всегда сообщая при этом потрясающие новости.

ОНИ сражаются между пальцами ног, в пупке, в ноздрях, сражаются в заднем проходе, под мышками, в ушах и во рту, нет ни одного укромного уголка, ни одного дюйма поверхности, ни одной поры — они сражаются везде, не на жизнь, а на смерть.

ТОЛЬКО среди зверей он еще способен смеяться.

В последний год войны на каждую слезу налагался штраф в размере десяти рейхсмарок. В сердца матерей были вмонтированы микрофоны.

ЕСЛИ бы знать, кто говорит изнутри него — этого, вон того или еще какого-нибудь человека! О, сколько мертвецов охотятся за живыми голосами, и как они друг друга толкают! Борьба между ними гораздо жестче, чем у нас, живых, ведь и повод для раздора куда серьезнее; зато побежденных никогда не убивают, а только изгоняют. И даже если такая унизительная драка — единственное, на что они способны, я благословляю их, я благословляю их за эти последние проявления жизни; пусть хватают, трясут и терзают меня — только пусть делают хоть что-нибудь. Мертвецы, возлюбленные мертвецы, как бы мне хотелось вас узнать, одарить и усладить прекрасными полновесными часами моей быстротечной жизни!

ВОРОНЫ над золотым жнивьем дают мне самое сильное ощущение жизни.

ЕГО снова охватывает безумие, что тут скажешь спокойным глазам?

ЗВЕРИ знают об огне больше, чем мы, люди, думаем, вот только вызывать и изгонять его они не умеют.

ДОСТОИНСТВО монет определяется нежным прикосновением многих ладоней.

ЧТОБЫ никто не торжествовал, он мечтает умереть тайком и во время последней трапезы съедает свое завещание.

ХРИСТОС умер слишком публично; жертва его стала вечным соблазном.

ОН сохранял глубокое почтение к старикам, восхищаясь каждым годом их старости, им еще не пережитым. Он боготворил детей, испытывая священный трепет перед каждым годом их детства, для него уже невозвратным.

ГОВОРЯ неуверенно, запинаясь, мы приближаемся к истокам языка.

ОН и мухи не обидит: маловато мяса.

КАЖДОЕ облако несет в себе будущее: мы только не умеем его прочесть.

ОН собирал листья; он раскладывал их друг подле друга на огромных столах. Те, что жухли, менял на новые. Для старых имелись отдельные камеры, никогда не переполнявшиеся; и только ему позволялось там копошиться. На столах же всегда было зелено и свежо; листья приклеивались капельками клея; их никогда не уносил ветер, теперь-то он был им не страшен; вместе с тем, они сохраняли некоторую подвижность, пусть и весьма ограниченную. Упорядоченность и обозримость листьев ему нравились. Столпотворение на деревьях всегда раздражало: один лист висел косо, другой прямо, но главное — все они самым бесстыдным образом стремились вверх. Он прекращал эту гонку и распределял свет равномерно. Борьба заканчивалась: больше никто никого не теснил, клей служил залогом мира и пристойного поведения. Прежде он прохо-

дил мимо деревьев с неудовольствием, стыдясь — при всей своей любви — различных трюкачеств и досадуя на то, что одни листья всегда оставались внизу, тогда как другие уютно устраивались наверху, где так много света; к тому же эти последние росли гораздо дальше, и он наказывал их за высокомерие: собирал лишь те листья, до которых дотягивалась рука; а выше не забирался. Частенько он с наслаждением размышлял о трагической участи тех, кто был с презрением им отвергнут: они падали на землю и сгнивали. О таких забывали и думать. А вот листья из его коллекции, пока сохраняли свежесть, удостаивались заботы и почтения, и даже потом, в камерах для престарелых, им жилось настолько хорошо, насколько было возможно при таком довольно внушительном количестве. Постепенно он научился угадывать их желания — читать по прожилкам: подержав одно из этих сияющих созданий против солнца, он уже через несколько мгновений мог сказать, что у того на душе. На его ладонях образовался особый кожный покров, благоприятный для листьев; руки он старался никому не протягивать и только по этой самой причине перебрался в страну, где рукопожатие было не в обычае. Он бы вообще легко отказался от любого общения, но считал, что почести, воздаваемые листьям, важно демонстрировать публично, и потому иногда все-таки приглашал в свои покои людей. С легкой снисходительностью он водил посетителей от стола к столу, где в самых благородных позах лежали тысячи листьев, — все как один, похоже, весьма довольные своей судьбой. Он давал только краткие пояснения, твердо зная одно: тому, кто не разделяет его страсти, никогда не овладеть этим искусством по-настоящему. Речи его звучали выразительно и делали листьям честь; каждый покидал собрание с чувством некоторого благоговения, этим удивительным созданиям подобающим, а иные — к сожалению, слишком немногие — даже по собственным дорожкам ходили потом с большей осторожностью, стараясь не наступать на упавшие листья. О пережитом они тоже говорили мало и негромко; и культ распространялся — благодаря лишь силе личного примера, без всяких проповедей; некоторые заводили собственные коллекции. Правда, таким он не помогал; он старался не давать советов; людям надлежало накапливать свой опыт; о том же, что происходило с увядающими листьями, он ни словом не упоминал; вторгаться в прибежище старости было строжайше запрещено.

"СПАСАТЬ" — это слово пробуждало в нем бурю сильнейших чувств. Мириады живых существ и сообществ нуждались в спасении, но на большее, чем страстные порывы души, он способен не был.

ОДИНОЧЕСТВО— это попытка человека держаться одинаково далеко ото всех живых точек вселенной, поскольку все они готовы его поглотить.

ПРИСТУПЫ страха повторяются с подозрительной регулярностью: бывают страхи ежемесячные, еженедельные, дневные и ночные. Они заявляют о себе так, словно их единственная задача — отмерить время.

ТОСКА и леность — угрюмая парочка.

ПЕРЕД ним так много целей, что уже не до стрельбы.

ДОЖДЬ — это проценты, взимаемые землей с неба за отобранные у нее облака.

ТРУДНО переносить тех, кто пишет на том же языке, что и ты, особенно если лично их *знаешь*. Что-то — либо их темы, либо их достижения — вечно тебя раздражает. Они подражают тебе: то противоречивостью, то оригинальностью, как когда. Возможно, дело тут в том, что человек пишущий реагирует на все обостренно и чувствует со стороны собратьев по перу некую угрозу. Однако слишком часто поддаваться защитному импульсу не стоит. Лучше всего — держаться подальше от тех, кто никогда не уподобится тебе по-настоящему; ведь если для них мир является добычей, то для тебя это воздух.

В особенности остерегайся любой философии, которая пытается свести жизнь к одному-единственному принципу. Тут всякий раз речь идет о *редукции* жизни; о ее оскудении и механизации; о какой-то божественной тирании; роль Господа может присвоить даже какой-нибудь недоучка.

СИМПАТИЯ к дуалистическим формам мышления: между жерновами двух основополагающих принципов многое перемелется, но и прибыток, несомненно, будет. Однако мне больше по душе такой дуализм, у которого один полюс плюралистичен — тогда у тебя оказываются сразу три вида оружия, три категории для познания мира: множественность, единичность (как ее противоположность) и двойственность — проявляющаяся в их воздействии друг на друга.

ОДИН час за чтением Ницше — занятием тяжким и неприятным — тем не менее пробуждает все дутые и приказавшие долго жить амбиции. Как же, должно быть, воздействовал этот человек на других!

КИТАЙСКАЯ лирика для людей образованных заменила, похоже, все, что раньше относили к "жанровой поэзии". Однако чужие клише, перевод которых связан со значительными трудностями, не становятся от этого менее избитыми.

Вчера старокитайские стихотворения (в английском переводе Уоли) впервые произвели на меня крайне удручающее впечатление — своим изяществом, своей сентиментальностью, своей холодностью, трезвостью, своим донельзя знакомым сновидческим языком (ведь в каждом сне хочется увидеть хотя бы что-то новое). Быть может, структура китайского стиха кажется такой рыхлой из-за отсутствия рифмы —

судить об этом я не берусь. В любом случае, даже со скидкой на возможные погрешности перевода, очевидно одно: отдаленность этой поэзии от мистического. В ней — красота живописного полотна, а не самой жизни. Даже чувства здесь *нарисованы*. Преобладает тенденция к уравновешенности и постоянству. Так можно найти успокоение — но не душевный покой. Сквозь изображения людей явственно проступают общепринятые нормы, но поскольку нет страсти, все это безжизненно. Зато каждая ситуация увидена по-особому, и ты понимаешь: то, что тебе показывают, уже было воспринято другими глазами. Стихи эти будто сочинены во время рыбалки, на тишайших водах: о жизни они дают столь же поверхностное представление, как чешуя — об организме рыбы. Терпеливо сносить все это способен лишь тот, кто не слишком часто заглядывает в Библию. Меня же Библия безнадежно "испортила": сделала невосприимчивым ко всему тому, что лишено внутренней энергии, да и не стремится ее иметь. Как же великим мудрецам удается остановить ток крови? В Библии наиболее сильные места отмечены чудным ритмичным биением — и даже когда человек спит и видит сны, кровь его не стоит на месте.

Китайский стих — гораздо более *продуманная* поэтическая структура, чем мы привыкли считать; к нему приближаются некоторые выдающиеся и прекрасные образцы французской лирики прошлого столетия, возникшие, правда, на волне мощного романтического движения, для которого *чудесные превращения* были одной из первооснов жизни. У китайцев же именно в стихах не полагалось писать о чудесах, коими так богата народная жизнь; эта лирика исполнена скептицизма, она создавалась высокопоставленными чиновниками или правителями, которым важно было показать, насколько свободны они от суеверий.

ОН ревнует к обрезкам ее ногтей.

ОН ничего не в силах от себя утаить: слишком чутко спит.

И вот является тот, кто даже птиц заставляет летать с одинаковой скоростью.

ОДНА правда всегда жалит другую в пятку.

ДВОЙНИК, Ка, Эйдолон, зачастую — товарищ; вот чем теперь стала для многих женщина. Подобные браки между двойниками нередки, особенно в Англии. Тут уважение, оказываемое жене, в значительной степени есть уважение к собственному отражению. Супруги всегда вместе и потому относятся друг к другу с почтением. То, что жена приобретает при этом, самоутверждаясь, она теряет как женщина. Она движется с мужем в унисон и не смеет выйти из этого образа. Хотя почувствовать себя женщиной она смогла бы, скорее всего, держась на

расстоянии; когда будет смотреть мужчине в глаза, вместо того чтобы семенить рядом.

КАЖДЫЕ несколько лет он заводит себе новую мать и каждую любит до отчаяния страстно. Сейчас ему восемьдесят, его последней матери только-только исполнилось двадцать.

ОН сидит на углях, но они не желают раскаляться.

ТОТ, кто молится успеху, во всех отношениях человек конченый: добившись успеха, он отождествляет себя с ним; а не добившись, изводит себя наифальшивейшей тоской.

В старости человек оказывается перед выбором: стать деревом или камнем. Дерево приятно пахнет, зато камень тверже.

В любой художественной форме дисциплина равносильна смерти: человек создан для большего, чем простое послушание и умеренность.

ПОКОЙ человека зависит от одной-единственной песчинки, из-за которой его многотонное тщеславие вдруг становится неподъемной ношей.

ЧУТКОСТЬ человека, с которым можно поговорить в любое время, недооценивается.

ХОТЕЛОСЬ бы, чтобы Библия воздействовала на меня безотносительно к моему еврейскому происхождению, как нечто инородное и совершенно новое, откопанное по счастливой случайности. Я все больше убеждаюсь в том, что она помогает мне приходить к самым смелым заключениям, как будто я прежде никогда ее не читал.

БОГ в роли *политика*: точно определить методы, посредством которых Богу удалось установить на земле Свою диктатуру, — предприятие трудное и рискованное. В таком деле надобно отбросить всякую ненависть и пристрастия, как и симпатии к собственным предкам, которых Он использовал для Своих деяний. И упреки в том, что для заповедей Богу было отпущено больше времени, чем его человеческим адептам, непозволительны. Тут должно смотреть хладнокровно, с любопытством и с восхищением, а не устраивать судилища; иначе, так и не познав Его толком, в мгновение ока снова окажешься в центре какого-нибудь маскарада. Библейский Бог интересен — никогда не являлось нам существа, более жаждущего власти: он карает только за предательство; вознагра-

дает только за верную службу; и притязает на то, чтобы обладать всем, поелику он все создал.

УДИВЛЕНИЕ живет случайностями. И задыхается, сталкиваясь с закономерным.

ЧЕЛОВЕК — мера всех *зверей.*

СИЗИФ потому и любит свой камень, что тащит его.

ОН грезит о Вирсавии, а Библия служит ему подушкой.

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ языков делает их более гибкими.

ЕГО обтесали как длинный столб; потом публично водрузили; и тысячи поклонников были тут как тут.

ОН не лжет, он потешается.

СОБСТВЕННАЯ память его ненавидит; она дает о себе знать неизменно тогда, когда следовало бы держать язык за зубами.

ЗАВОЕВАТЕЛЮ уже не выбраться назад из сетей географической карты.

МОРАЛЬ старика — это его здоровье.

КАЖДЫЙ день он облачается в новую дружбу, а старую отправляет в прачечную.

У мертвых дело спешное: норовят поскорее убраться из взрывоопасной зоны.

ДА умрет после войны всяк весельчак, слишком легко обо всем забывший.

РАДОСТНЫЕ города горят в огне, дома взрываются от хохота, церкви пыхтят, в подвалах — разливанное море пива и прокисших слов, а в нем — трупы пьяниц.

НАСМЕШКАМИ ничего не добьешься, как и любовью, добром, местью, верой, покаянием, гордостью, жизнью, смертью; как же тогда добиться хоть чего-нибудь?

ДОМА его удручают закрытые чемоданы. От них нет ключей, хотя это его дом.

ОН почитает себя как святого: собирает в воде свои отражения, выкапывает куски грунта со своими следами и относит домой; измеряет рост тени; замораживает собственные выделения; годами не стрижет волос; до боли полирует ногти; и трепещет от эха своих самых первых слов.

ТЕЛЕСНЫЙ контакт, по которому вечно тоскуют призраки, оборачивается для них жесточайшим разочарованием. Каждый раз люди и призраки испытывают при встрече безграничный ужас и отвращение друг к другу; и не без основания.

У всякой любви найдется ленточный червь, растущий вместе с ней.

МНЕ ненавистны *угловатости* человека, непереваренные им приказания.

ОБМАНЩИКОМ частенько становится тот, кому просто хочется подольше поговорить.

ТОТ, кто поддается инстинктам, гибнет в результате борьбы между ними. Тот, кто внимает разуму, безнадежно стар. Какой мучительный, какой мучительнейший выбор!

КАЖДОМУ человеку следовало бы иметь в запасе несколько языков: один — для матери, говорить на нем впоследствии никогда не придется; другой — исключительно для чтения, писать на нем никогда не осмелишься; на третьем — где не понятно ни слова — лучше молиться; на четвертом, имеющим отношение к деньгам, удобно считать; еще на одном — писать (только не письма) и совсем на другом — путешествовать, — этот пригоден также и для переписки.

ОН походил на исписанную бумагу. Но то были письмена, никем пока не расшифрованные.

МЫ слишком мало задумывались о том, что́ остается от людей умерших — действительно живого, рассеянного среди других; и пока не нашли способа подпитывать эти разрозненные останки, чтобы как можно дольше поддерживать в них жизнь.

В назначенные дни друзья покойного собираются и беседуют исключительно о нем. Говоря только хорошее, они делают человека еще мертвее. Уж лучше спорить, выступать "за" и "против", вспоминать о его тайных проделках; пока о человеке рассказывают удивительные истории, он меняется и не умирает. Пиетет, с которым на определенном этапе его пытаются законсервировать, — чувство отнюдь не дружеское. Оно порождено страхом и направлено на то, чтобы удержать покойного на безопасном расстоянии — лучше всего под землей, в гробу. Чтобы умерший продолжал свое разреженное существование, ему необходимо движение. Пусть иногда гневается, как раньше, пусть неожиданно обронит в своем гневе бранное словцо, известное только тому, кто теперь о нем рассказывает. Пусть будет нежным: помнящие его строгость и беспощадность должны вдруг почувствовать, как он умел любить. Хочется, чтобы каждый из друзей изобразил покойного по-своему и чтобы из этой галереи портретов возник его живой образ. Со временем хорошо бы еще привлекать к таким празднествам молодых и непосвященных и тем самым, по возможности, приобщать к судьбе незнакомого им человека. Некоторые вещи, с ним связанные, стоило бы передавать из рук в руки, и если на каждой ежегодной встрече помимо новой истории всплывало бы еще что-нибудь, до той поры остававшееся в тайне, — это было бы прекрасно.

ВРЕМЯ от времени — лучше почаще, но еще лучше всегда — следует обращаться к тому, что очень далеко и совершенно не подвластно твоему влиянию. Звезды, с тех пор как они так непомерно отдалились от нас, подходят для этого больше, чем Бог. Ведь, показываясь снова и снова, они остаются неизменными. Их много и могло бы быть еще больше. Они посылают свет, который, как известно, не вернуть обратно.

“Но я не изменял твоей душе, Кинара”

Поэты английского декаданса

Перевод и вступительная статья Григория Кружкова

Иллюстрация Обри Бердслей к книге Э. Даусона “Стихи”

© Григорий Кружков. Перевод, вступительная статья, 2007

"Старый чеширский сыр" и с чем его едят

I

"Старый чеширский сыр" — трактир, или, по-английски, паб, в тупичке возле Флит-стрит, называемом Двор Винных Пошлин, потому что там некогда располагалось учреждение, выдававшее лицензии на торговлю спиртным в Лондоне. На трактирной вывеске гордо значится: "Заново открыт в 1667 году". Подразумевается, что таверна на этом месте была еще в XVI веке (и в нее захаживал сам Бен Джонсон с друзьями), а после великого пожара 1666 года ее отстроили заново. Ответ на вопрос "С чем едят 'Старый чеширский сыр'?" очевиден — со стихами, ведь у каждого паба своя история, а у этого — однозначно литературная. Доктор Сэмюэл Джонсон, влиятельнейший писатель XVIII века, под старость заседал здесь каждый вечер. Кого здесь только не было, если верить книжке-проспекту — да отчего же ей не верить? — от Оливера Голдсмита до сэра Артура Конан Дойла.

Как возникла литературная аура "Чеширского сыра"? Здесь мы вступаем в область мистики и произвольных догадок. Вот моя гипотеза. В самой фразе CHESHIRE CHEESE ровно 14 букв (8 плюс 6), и тем самым она идеально подходит для сонетов-акростихов, посвященных таверне: два катрена на CHESHIRE и два терцета на CHEESE. И такие акростихи действительно писались!

У меня есть книжка 1924 года о таверне "Чеширский сыр", купленная на воскресном благотворительном базаре в Бронксе. Сколько роскошных старых книг купил я на этом еженедельном развале в местной церкви! И вдруг — эта полуразвалившаяся и скотчем заклеенная книга в бумажной обложке. Не просто потрепанная, а явно обгрызенная. Может быть, именно своей обгрызенностью она меня и привлекла. Ведь где мыши, там и коты. И, конечно, заставило вздрогнуть название: "Старый чеширский сыр". Тут уже раздалось не только попискивание, но и внятное мяуканье: *чеширский*! И коты в книжке действительно обнаружились. Но об этом позже.

Обложка книги "Старый чеширский сыр"

Автор книги не обозначен. Но это вполне мог быть астральный дух Льюиса Кэрролла — или его земной двойник. Стиль названия наводит на эту мысль. Он напоминает об одном из самых знаменитых парадоксов "Алисы в Зазеркалье" — о песне, которую собирается спеть Белый Рыцарь. Той самой, чье *заглавие* — "С горем пополам", но называется это *заглавие* "Пуговки для сюртуков", а сама *песня* называется "Древний старичок"[1]. Так вот, с нашей книгой ситуация очень похожая.

1. См. Л. Кэрролл. Алиса в Стране чудес. Алиса в Зазеркалье / Перевод Н. М. Демуровой. — М., 1978 . — (Литературные памятники). С. 201.

Название книги — *Чеширский сыр.*

А называется это *название* (на обложке): *Старый чеширский сыр города Лондона. Приют литераторов за 300 лет.*

Сама же *книга* называется (на титульном листе): *Книга о сыре. Рассказы и истории о 'Старом чеширском сыре', Двор Винных Пошлин, Флит-стрит, Лондон.* Ну, чем не Льюис Кэрролл?

Но не только отзвуками любимой "Алисы" заманила меня эта книга. Дело в том, что в знаменитой таверне "Старый чеширский сыр" в комнате на втором этаже несколько лет подряд собирались члены Клуба рифмачей, основанного Уильямом Йейтсом, друзья его молодости: Артур Симонс, Эрнест Даусон, Лайонел Джонсон и другие — английские поэты-декаденты 1890-х годов, которых Йейтс назвал в своих стихах "последними романтиками", а в своих воспоминаниях — "трагическим поколением".

II

Что же это была за компания, которая собиралась раз в неделю или две, чтобы читать и обсуждать стихи за кружкой эля, скромно попыхивая дешевыми глиняными трубочками?

Декаденты? Несомненно, хоть английское строгое воспитание и давало о себе знать; но многим удалось вполне успешно *разложиться* и даже перещеголять французов по части алкоголизма и ранних смертей.

Ниспровергатели? Конечно, хотя поэзия Теннисона, Суинберна и прерафаэлитов оставила отпечаток на их стихах; и все-таки это было первое поколение чистых лириков, отвергнувших тяжеловесные викторианские поэмы, социальные мотивы, риторику и вообще все, что можно изложить в прозе.

Эстеты? Пожалуй, хотя зеленых гвоздик в петлице, как Оскар Уайльд, они не носили и безупречных сонетов, как Эредиа, не чеканили; но они поклонялись Искусству и, сжигая себя на его алтаре, верили, что это божество достойно человеческих жертвоприношений.

Через двадцать лет, когда многих из них уже не будет в живых, Йейтс напишет о своих собратьях по Клубу рифмачей: "От вас я научился своему ремеслу". И еще так:

Соблазн беду на вас навлек,
И рано смолкли ваши песни,
Но за тяжелый кошелек
Вы не писали легковесней.
Молвой крикливых площадей
И славой вы не дорожили:
Вас ждет забвение людей.
Вы это право заслужили[1].

Иллюстрация Обри Бердслей к книге Эрнеста Даусона "Стихи" (1896)

1. У. Б. Йейтс. Серая скала (1914). Перевод Р. Дубровкина.

III

Дерек Стэнфорд в статье о поэтах 1890-х годов[1] приводит впечатляющий мартиролог поэтов — членов Клуба рифмачей. Эрнест Даусон, спившийся и умерший в 1900 году в возрасте 32 лет. Его ровесник Лайонел Джонсон, протянувший на два года дольше. Обри Бердслей, иллюстрировавший альманахи "Желтая книга" и "Савой", где активно печатались "рифмачи": он скончался от чахотки в неполные двадцать шесть. Оскар Уайльд, опозоренный и отсидевший в тюрьме: умер в возрасте сорока шести лет. Джон Дэвидсон, покончивший самоубийством в пятьдесят три. Даже самый удачливый из "рифмачей" Артур Симонс не избежал психического заболевания (в 1908 году), от которого до конца жизни так вполне и не оправился.

Одному лишь Йейтсу хватило духу, не истощив своего творческого потенциала, дожить до семидесяти четырех лет; но и у него, как однажды заметила Дороти Уэлсли, был такой вид, будто он вел постоянную борьбу с нездоровьем.

Вопреки духу меланхолии и обреченности, пронизывающего всю поэзию 1890-х, воспоминания современников о той поре полны всевозможных анекдотов, пикантных и смешных подробностей, мифов и легенд, которые всегда сопровождают быт богемы. Мы не будем углубляться в этот чересчур соблазнительный материал — на то есть другие авторы и книги[2]. Но несколько главных фигур из числа "рифмачей" мы попытаемся вкратце обрисовать.

IV

Первым идет Лайонел Джонсон (1867—1902). По мнению Йейтса, "его суждения доминировали в Клубе рифмачей и определяли лицо и направление этого сообщества"[3]. В той же статье дается портрет: ростом почти карлик, но идеально сложен, черты лица словно вырезаны из слоновой кости; решительный, надменный, в речах немногословный и безапелляционный. Вот примеры его высказываний: "Все важное уже открыто; науку следует оставить для кухни или мастерской; лишь философия и религия способны разгадывать великие тайны, но они уже давно сказали свое слово; джентльмен — это человек, знающий древнегреческий"[4].

Джонсон вел ночной образ жизни: он спал до семи часов вечера, после че-

1. Derek Stanford. Poets of the 90s. A biographical Anthology. — L., 1965. P. 19.
2. Например, Фил Бейкер. Абсент. — М., 2002.
3. W. B. Yeats. Essays and Introductions. — L., 1961. P. 491.
4. Ibid.

го принимал друзей и работал до утра в своем кабинете, окруженном высокими, до потолка, книжными полками. Он хвалился, что ему незачем выходить из дому: все, что нужно, под рукой. Джонсон был самым образованным из "рифмачей" — и сознавал свое интеллектуальное превосходство. Он говорил: "Мне нужно бы двадцать лет провести в пустыне, а вам, Йейтс, двадцать лет — в библиотеке".

Родился Джонсон в Англии, но корни у него были кельтские, и с годами он все больше чувствовал связь с Ирландией. Йейтс дважды брал его с собой в Дублин и Голуэй, привозил к своей родне в Слайго.

В 1891 году Джонсон перешел в католичество; он рассказывал, что кардинал Мэннинг говорил: "Поэты составляют третий чин священства". Жизнь Джонсон вел почти монашескую — ну, скажем так, наполовину монашескую. Женщин он избегал. Йейтс сформулировал это так: "Джонсон и Даусон, друзья моей юности: один — пьяница, другой — пьяница и бабник"[1].

Пьянство Джонсона с годами превратилось в неизлечимый алкоголизм. И это не противоречило его глубокому увлечению религией: ведь пьянство всегда можно рассматривать как попытку приблизиться к иному миру, стряхнуть с себя "сон жизни".

В нем жил парадокс: он сознавал свою обреченность и сам шел навстречу гибели — и в то же время был оппонентом всякого ноющего декадентства в духе "Il pleure dans mon coeur"[2], высмеивая его устами своего "мудрого доктора": "Нет, сэр, не верю я его слезам... Он врет, собака, врет и знает сам!"

Классическая закваска и преданность европейской традиции лежали в основе его мировоззрения. "Я остаюсь верен тому, что полюбил не вчера, — писал он незадолго перед смертью. — Новые повести, новые рассказы и стихи не составят мне компанию на Рождество. 'Меж мертвецов проходят дни мои', — сказал Саути. Какая жестокая ложь! Я бываю средь мертвецов, лишь когда меня окружают мои мертворожденные и безжизненные современники, а не в те ясные дни и сияющие ночи, когда со мной говорят мощные голоса древних — голоса славы. Удовольствие от классики неистощимо; отсюда ее сан и титул: классика"[3].

Йейтс прислушивался к своему другу и во многом разделял его устремления. Сравним, например, "Сон о былых временах" Джонсона, в котором он оплакивает "смерть прелести земной и гибель красоты", со стихотворением Йейтса, где забытая красота (forgotten loveliness) окружена тем же средневековым антуражем, что у Джонсона; мир гибнет, а она, неуязвимая, отлетает в свое надзвездное убежище, в тронный чертог,

Где стражи тайн ее сидят
В железном облаченье лат,
На меч склонившись головой,
В задумчивости вековой[4].

1. W. B. Yeats. Mythologies. — N. Y.., 1969. P. 331.
2. Имеется в виду стихотворение П. Верлена. В переводе И. Эренбурга "Сердце тихо плачет..."
3. The Academy, December 8, 1900. Cit. Derek Stanford. Poets of the 90s. P. 149.
4. У. Б. Йейтс. Он вспоминает забытую красоту. Впервые напечатано в журнале "Савой" (июль 1896 г.) под названием "О'Салливан Руа — Мэри Лавелл".

Думаю, что Йейтс видел в Джонсоне одного из таких стражей. Может быть, и весь кружок поэтов, собиравшихся в "Чеширском сыре", представлялся ему неким рыцарским братством вроде Артурова Круглого стола?

V

Вторым идет Эрнест Даусон (1867–1900). Впрочем, по количеству сплетен и легенд он, вероятно, первый. Нельзя сказать, что молва возникла на пустом месте; но она явно ориентировалась на расхожий стереотип: "английский Верлен", пьяница, на клочке салфетки в кафе набрасывающий обрывки стихов; опустившийся тип, под парами абсента не брезгающий проститутками самого низкого разбора.

Типичный анекдот — о том, как в 1896 году он привел Оскара Уайльда (недавно выпущенного из тюрьмы) в публичный дом в Дьепе, настоятельно рекомендуя ему испытать сей вид досуга. "Ну, как?" — спросил он через час, подождав мэтра у выхода. "Холодная баранина, — поморщился Уайльд. — Но вы все-таки расскажите об этом в Англии: это должно поправить мою репутацию".

В 1891 году Даусон влюбился — трогательно и безнадежно — в двенадцатилетнюю девочку Аделаиду, дочь поляка-трактирщика из Сохо, но через два года она вышла замуж за официанта. Это да еще самоубийство разорившихся родителей, говорят, окончательно выбило почву у него из-под ног. С 1895 года Даусон жил, в основном, во Франции, часто впроголодь; но умирать он приехал в Лондон, где и угас в доме сострадательных знакомых, ненадолго обременив их лишними заботами.

Воспоминания рисуют его симпатичным и мягким в обращении, но безвольным и рано состарившимся человеком. Так же, как Джонсон, он еще в молодости перешел в католичество. Между прочим, Обри Бердслей тоже принял католичество за год до своей ранней смерти. По-видимому, мистическая пища была необходима людям этого поколения; Йейтс получал ее в форме теософии, позже — розенкрейцерства.

> Танцуй, плясунья! Не смолкай, флейтист!
> Пусть будет каждый лоб венком увит
> И каждый взор от нежности лучист,
> Отец наш Розенкрейц в могиле спит.

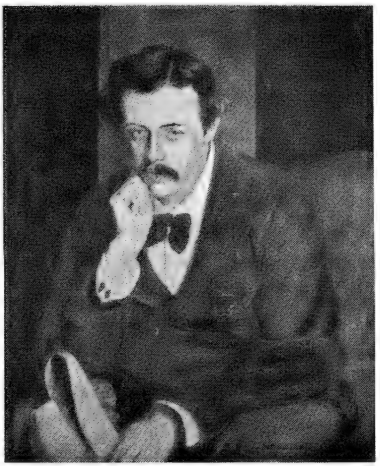
Если вынести Йейтса за скобки, то именно Эрнеста Даусона следует назвать самым талантливым поэтом английского декаданса. Трепет жизни, ее мимолетность и неудержимость, опьянение, безумие ("Тому, кто в Бедламе") — все эти вечные поэтические темы выражены у него сильней и гармоничней, чем у кого-либо другого из "рифмачей". К сожа-

Иллюстрация Обри Бердслей к книге Эрнеста Даусона "Стихи" (1896)

лению, Даусона мало знают даже в Англии; лишь его "Кинара" неизменно публикуется в антологиях. Но и это стихотворение обычно трактуется слишком плоско. Между тем главное в нем — не циническая усмешка, не безнадежная устремленность к гибели, а какое-то почти религиозное чувство, которое можно определить как "оправдание верой":

Я громче всех кричал, я требовал вина,
Когда же свет погас и я упал, как труп,
Явилась тень твоя, печальна и грозна;
Я так измучен был моей любовью старой;
Всю ночь я жаждал этих бледных губ:
Но я не изменял твоей душе, Кинара[1].

VI



Если уж Йейтс назвал Джонсона "пьяницей", а Даусона — "пьяницей и бабником", то для симметрии Симонса он должен был назвать просто "бабником". В начале 1890-х, по свидетельству самого Йейтса, Симонс вел жизнь завсегдатая мюзик-холлов и искателя любовных приключений[2].

Их знакомство перешло в дружбу не сразу, мешала разница поэтических принципов: Симонс ценил в поэзии непосредственность и остроту впечатления, Йейтс — страсть и глубину. Лишь позднее они сблизились и даже снимали вместе квартиру в Лондоне. Симонс был знатоком современной французской литературы (и не только французской), автором книги "Символистское

1. Ernest Dowson. Non Sum Qualis Eram Bonae, Sub Regno Cynarae.
2. W. B. Yeats. Memoirs. — N. Y., 1988. P. 36.

движение в литературе" (1899). "Все, что я узнал о современной континентальной литературе, – признается Йейтс, – я узнал от него"[1].

Они были ровесники. Артур Симонс (1865–1945) родился в Уэльсе от девонширских родителей. Приехав в Лондон, он вскоре сделался влиятельным журналистом и критиком. Причем он разбирался не только в литературе, но и в современной живописи, отлично знал театр английского Возрождения. В 1896 году, после закрытия "Желтой книги", Симонс возглавил новый альманах того же направления, "Савой", в котором часто печатался Йейтс (добавляя изданию немного особого кельтского колорита). Стихи самого Симонса явно подражательны – зависимы от Верлена и французских символистов; но декорации их оригинальны. В сборниках "Дни и ночи" (1889), "Силуэты" (1892) и других много импрессионистских зарисовок Лондона, его домов и набережных, ночных улиц и газовых фонарей, смутных теней, мелькающих сквозь занавес сумрака и дождя.

Интересно, как сходно бывает мышление поэтов, разделенных, казалось бы, непроходимой бездной. Изысканное декадентское стихотворение "Ночной гелиотроп" Артура Симонса на русский язык, насколько я знаю, никогда не переводилось, и вряд ли "поэт фронтовой обоймы" Евгений Винокуров мог его где-либо прочесть. И тем не менее сравним: "Ее когда-то звали – Мнемозина / И поклонялись ей. На мой же взгляд, / Она ведь просто вроде магазина / Универсального – или, вернее, склад, / Где весело навалены на полки / События за многие года. / И кажется, того гляди, подпорки / Не выдержат и рухнут – и тогда / Как я в поднявшейся неразберихе, / В том хаосе ночном, как в том аду / Облупленный твой домик на Плющихе, / В нем комнату, а в ней тебя найду? / Тьма беспросветна вечности. Найду ли, / Хлебнув забвенья из ночной реки: / Испуг во сне, и лифчик твой на стуле, / И две ко мне протянутых руки?"[2]

Ситуация практически та же: спящая женщина, случайная комната, разбросанная одежда – и ненадежная память, которая грозит или рухнуть и все погрести под собой – или прихлынуть внезапной волной из прошлого. Смотря по тому, какой водой сбрызнуть – мертвой, как у Винокурова ("хлебнув забвенья из ночной реки"), или живой, как у Симонса (запах "тех самых" духов):

Все это память впопыхах
Обрушит разом, как потоп,
Едва вдохну – в толпе, в гостях –
Духи "Ночной гелиотроп".

VII

В моей погрызенной книжице лишь пара страниц посвящена Клубу рифмачей. Однако здесь упоминается их первая антология 1892 года (на самом деле вышла и вторая – в 1894 году) и перечисляются участни-

1. W. B. Yeats. Memoirs. – N. Y., 1988. P. 36.
2. Е. Винокуров. Память.

ки собраний: Эрнест Даусон, Эдвин Эллис, Дж. Грин, Лайонел Джонсон, Ричард Ле Гальен, Виктор Плар, Эрнест Радфорд, Эрнест Рис, Т. У. Ролстон, Артур Симонс, Джон Тодхантер, Уильям Йейтс.

"Когда столь сладостные певцы встречаются, — умиляется анонимный автор, — можно быть уверенным, что вечер будет восхитителен, мир с его заботами исчезнет, и поэтические турниры "Сыра" и "Русалки" вновь оживут, как о том дивно писал мистер Эрнест Рис:

Где прежде "племя Бена"
Шумело на Флит-стрит,
И стол гремел, как сцена,
И стих бурлил, как пена,
И каждый был пиит, —
Там мы за чашей винной
Рифмуем, выгнав вон
Науку в шкуре львиной,
Прикрывшей зад ослиный
Бессовестных времен[1].

Так возвышается родословная "Чеширского сыра" присоединением к легендарной "Русалке", где и после смерти Шекспира его друг Бен Джонсон продолжал председательствовать в обществе своих учеников и питомцев ("племени Бена"). Выпад против науки напоминает о признании Йейтса, что в молодости он возненавидел науку "обезьяньей ненавистью". Очевидно, это чувство он разделял и с другими "рифмачами".

Фронтиспис меню.
Художник Джордж Крукшенк

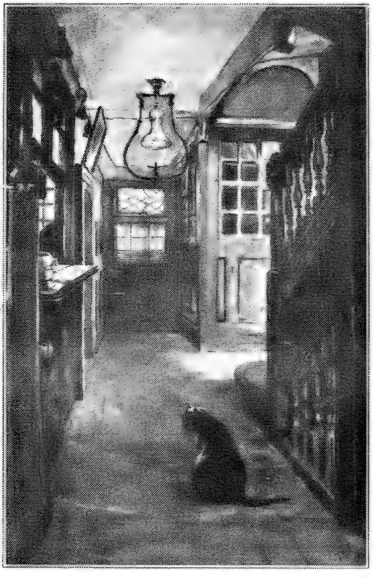
Среди иллюстраций, украшающих страницы книги, выделяются три, и первая — это фронтиспис меню "Чеширского сыра" работы блестящего Джорджа Крукшенка, которую можно долго рассматривать. Вверху — луна, плывущая в смутных темных небесах; пониже — крыша и стены таверны; еще ниже — обеденная комната в разрезе, где четверо застольцев смотрят на блюдо, вносимое официантом; справа в раме, напоминающей формой дверную, название таверны и год основания; внизу на особых скрижалях надписи, одна — неизвестно чья: "Пройдемся по Флит-стрит, мой дорогой!", и другая из Шекспира: "Что ж мне не отдохнуть в своей таверне?"

1. The Book of the Cheese, Being Traits and Stories of "Ye Olde Cheshire Cheese," Wine Office Court, Fleet Street, London. Ninth Edition. — L., 1926. P. 47.

В промежуток между обеденной комнатой, рамкой с названием таверны и скрижалями художник вкомпоновал еще круглую картинку, на которой мы видим изгибающуюся лестницу, ведущую на второй этаж. У подножья ее — толстый фолиант, на нем тарелка с цилиндрической головкой сыра, из которого аппетитно вырезан кусок. Круглую рамку приобнимает Коса Времени с удобной поперечной ручкой-хваталкой, и тут же, рядом с надписью "A. D. 1667", песочные часы.

И еще две полосные иллюстрации (художник Ф. Кокс) привлекли мое внимание. На одной (с. 45) — та самая лестница, освещенная лучами только-только начавшего садиться солнца. Вдалеке у двери лакей ожидает гостей. Гладкий кот сидит на третьей ступеньке снизу и смотрит вверх — туда, куда вскоре проследуют посетители. Вся картина наполнена предвкушением чего-то радостного, необыкновенного: и яркие лучи на полу, и ступеньки лестницы, похожие на строки стихов, и лоснящаяся спина кота. Называется картинка THE WAY IN (ВХОД).

На второй картинке — ночь; передняя уже в другом ракурсе; лестница теперь справа от нас, ее ступеньки-строчки не видны. С потолка свешивается какая-то огромная странная лампа (может быть, газовая?), бросающая неровные пятна света на пол и на потолок. Общее настроение — как в вангоговских ночных кафе с расплывающимся светом ламп и последними полубезумными посетителями. Но людей в коридоре нет. Лишь на переднем плане мы видим прежнего кота; он отвернулся от лестницы и смотрит куда-то вбок: может быть, учуял мышь? В его черном контуре (с крошечной лысинкой света на голове) что-то инфернальное. Картинка называется THE WAY OUT (ВЫХОД)



Клуб рифмачей в "Старом чеширском сыре" регулярно собирался, кажется, не более четырех лет. Темы были исчерпаны, рутина собраний приелась. Процесс и приговор Оскара Уайльда стали поворотной вехой. Вскоре Даусон уедет во Францию; Йейтс окажется на грани физического и нервного срыва; Бердслей умрет от чахотки. 1890-е годы и с ними то, что можно назвать недолгим английским декадансом, все быстрее катились под уклон.

Лайонел Джонсон

Заповедь молчания

Я знаю их — часы скорбей:
Мученья, упованья, страх,
Тиски обид, шипы страстей,
Цветы, рассыпанные в прах;

Бездонный ад над головой,
Пучины стон, недуг зари
И ветра одичалый вой —
Они со мной, они внутри.

Иной бы это разбренчал
На целый мир, как скоморох;
Но я о них всегда молчал:
Их знаешь ты, их знает Бог.

Сон о былых временах

Кристоферу Уоллу

О сколько ярких глаз и благородных лиц —
Век, предстающий нам в виденьях и мечтах!
Лучи на кудрях дев, на латах и клинках —
Как свет, сияющий с Платоновых страниц.
Усердие святых, в мольбе простертых ниц,
Учтивость рыцарей, неистовых в боях.
Увы, наследье их мы расточили в прах
И тщетно жаждем тех, исчезнувших зарниц.

Разбит златой алтарь, сожжен резной амвон,
Не проплывет аккорд органа с высоты
По волнам ладана. Лишь похоронный звон
Звучит среди руин. О сердце, знаешь ты,
Чью горестную смерть оплакивает он?
Смерть прелести земной и гибель красоты.

Мудрый доктор

Д-ру Бербеку Хиллу

Нет, сэр! Не верю я его слезам;
Пускай с утроенным вздыхает пылом,
Ища свое отрадное в унылом:
Он врет, собака! Врет и знает сам.
Хандра? Пусть пьет желудочный бальзам;
Прогулка, думаю, ему по силам.
А нет — пускай натрет веревку мылом
И отправляется ко всем чертям.

Довольно, сэр! Ваш друг — большой шутник,
Но мы умеем посмеяться сами;
Пусть он болтает, как завзятый виг, —
Ему не обмануть людей с мозгами.
Довольно портить аппетит стихами:
Нас в "Митре" ждет обед. Фрэнк, мой парик!

Non sum qualis eram bonae, sub regno Cynarae[1]

Вчерашней ночью тень вошла в порочный круг
Недорогой любви, и дрогнувший бокал
Едва не выскользнул из ослабевших рук;
Я так измучен был моей любовью старой;
Да, я был одинок, я тосковал:
Но я не изменял твоей душе, Кинара.

Пылая, я лежал в объятиях чужих,
Грудь прижимал к груди — и поцелуи пил
Продажных красных губ, ища отрады в них;
Я так измучен был моей любовью старой;
Проснулся я — день серый наступил:
Но я не изменял твоей душе, Кинара.

Я многое забыл. Как будто вихрь унес
Веселье, буйство, смех, лиловый блеск чулок,
И танцы до утра, и мусор смятых роз;
Я так измучен был моей любовью старой;
Из памяти я гнал немой упрек:
Но я не изменял твоей душе, Кинара.

Я громче всех кричал, я требовал вина,
Когда же свет погас и я упал как труп,
Явилась тень твоя, печальна и грозна;
Я так измучен был моей любовью старой;
Всю ночь я жаждал этих бледных губ:
Но я не изменял твоей душе, Кинара.

Dum nos fata sinunt, oculos satimus amore. Propertius[2]

Здесь, в тишине, под бледною луной,
Сама — ее изменчивый двойник,
О дорогая, помолчи со мной...
Как быстро мчится миг!

1. "Я уж не тот, каким был в царствие доброй Кинары" (*лат.*). Гораций. Оды. IV, 1.
2. "Пока судьба позволяет, очи насытим любовью" (*лат.*). Проперций. Элегии. II, 15.

Не надо слов! Лишь спрячь меня, укрой
В своих волос блистающую мглу!
Мне страшно; общей участи земной
Забыть я не могу.

О, если б этот миг продлился век!
Ужели мы с тобой обречены
На холод памяти, на мертвый снег
Проклятой седины?

И ты увянешь? И погаснет взор?
И станет плоть безжизненно-суха,
Как обратившийся в золу костер
Безумья и греха?

О померанец чувственного рта!
В нем смерти горький аромат. Позволь
Вкусить его, чтоб жизни пустота
Впитала эту боль;

Позволь прильнуть к тебе в последний раз
И умереть, упав к тебе на грудь!
Но прежде в омут этих темных глаз
Вглядеться — и уснуть.

Но если так нельзя — молчи! Представь,
Что мы в твоем саду под шелест крон
Лежим, переплетясь: и это — явь,
И это — вечный сон.

Любимая! Ты слышишь, как шумит,
Прощаясь, бедный сад? Уйдем с тобой
От времени, его измен, обид —
И смерти роковой.

Любовь прошла

Любовь прошла. За ней на путь попятный
Вступить поодиночке нам пора.
О время самой грустной в мире жатвы!
Любовь прошла.
О милая моя, еще вчера —
Но стрелки злы, мгновенья невозвратны;
Как губы холодны твои с утра,
Как взгляд уклончив! Слезы, ласки, клятвы —
Все в прошлом. Славная была пора,
Но наступило время горькой правды:
Любовь прошла.

Тому, кто в Бедламе

На рваном тюфяке, там, за решеткой ржавой,
Он в нервных пальцах мнет шуршащие пучки
Соломы высохшей и вьет, и рвет венки —
И тешит зрителей невиданной забавой.

О жалкие глупцы! Как вашей мысли здравой
Понять то, что таят горящие зрачки,
Когда вино ночей, затворам вопреки,
Их слезы и восторг венчает звездной славой?

Несчастный брат! И мне, коль можно, удели
Полцарства твоего безумного — вдали
От этих, сеющих и жнущих только ветер.

Дороже тленных роз, и здравья, и любви
Унылый твой венок, расцветший в лунном свете,
И одиночества высокие твои.

Даме, которая задавала глупые вопросы

Зачем я печален, Хлоя? Затем, что луна высоко
И не утоляет жажды разлитое молоко.

Затем ли, что ты прекрасна? Но повод чрезмерно мал,
Ведь кто залучил чечетку, тот журавля не поймал.

Быть может, затем я печален, что холоден этот свет
И мне не найти парома в тот город, где меня нет.

Затем ли, что ал твой ротик, а грудь как айва в цвету?
(Но сумрачен и бесцветен тот край, куда я иду.)

Затем, что увянут, Хлоя, и губки твои, и грудь?
Иду, куда ветер дует, и не печалюсь ничуть.

Артур Симонс

Апрельская ночь

Ты плясунья, а я безумец:
Мы с тобою
Бродим путаницей голубою
Опустевших лондонских улиц.

Заблудившиеся, как дети,
Бродим вместе,
Обдуваемы свежим ветром,
В марсианском газовом свете.

Ветер дует, как опахало,
Остужая —
После блеска и жара зала,
Где на сцене ты танцевала.

Хорошо по такой прохладе
В ночь апреля
Загуляться в полночном граде,
Друг на друга почти не глядя.

Ты красотка, я пустомеля —
Вот так пара!
Нам по лондонскому тротуару
Так блаженно брести без цели.

Повесть

Маячит тень передо мной,
Туманный беглый силуэт;
За ней иду сквозь бред ночной —
Из мрака в свет, из мрака в свет.

На фоне желтого окна
Или луной облитых вод —
Опять она, всегда она!
Неузнанная тень скользнет.

Она ведет сквозь ночь и мглу
Туда, где в волнах брезжит день;
И на пустынном берегу
Бесследно исчезает тень.

Ночной гелиотроп

Рассвет и белая постель,
Роман отброшенный в углу,
В бокалах — красный мускатель
И ворох юбок на полу;

Трюмо, туманное с утра,
Под ним — пуховки, пудра, грим:
Там где-то, в глубине стекла,
Живешь ты — гордая, как Рим;

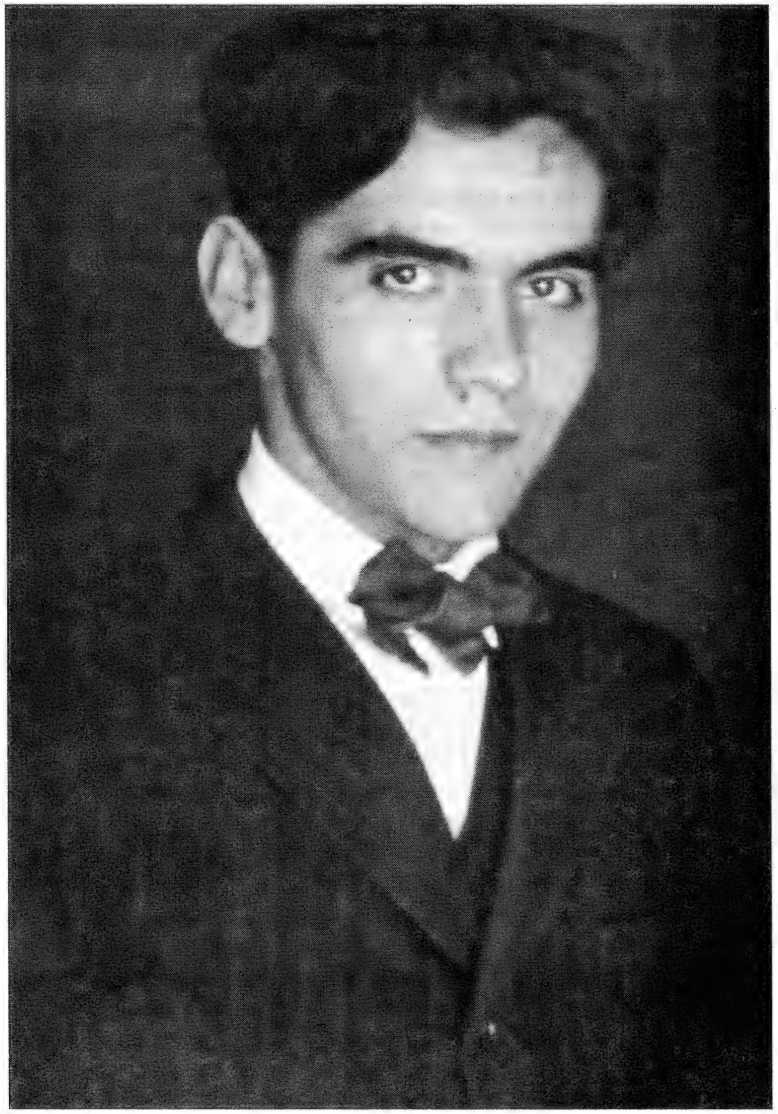
А здесь твой полусонный взгляд
И полуголое плечо
Меня тревожат и томят,
Пока я сам дремлю еще...

Все это память впопыхах
Обрушит разом, как потоп,
Едва вдохну — в толпе, в гостях —
Духи "Ночной гелиотроп".

Федерико Гарсиа Лорка

Небесный балаган

Перевод с испанского и вступление Анатолия Гелескула



© Анатолий Гелескул. Перевод, вступление, 2007

В первом сборнике Лорки — "Книге стихотворений", по юношески чувствительной, даже местами сентиментальной, озорным диссонансом вдруг возникает макабрический пейзажик. Отнюдь не зловещий и почти жизнерадостный:

Сейчас на горе далекой
наверно играют в кости
покойники — им так скучно
весь век лежать на погосте.

Перевод В. Парнаха

Само это имя — Федерико Гарсиа Лорка — как занавес трагедии. К несчастью, герой и рок, гений и злодейство столкнулись не на подмостках, как в пьесах Лорки, а на родине поэта, и театр был театром военных действий со всей свирепостью, присущей гражданским войнам. Сейчас, семьдесят лет спустя, гибель поэта по-прежнему кажется прологом испанской трагедии, первого акта трагедии всемирной. Кровь, пропитавшая землю, не высохла — и до сих пор проступает на страницах Лорки. История забрызгала стихи кровью и по-своему расставила акценты, выделив одни мелодии и приглушив другие, словом — заставив нас читать иначе, чем при жизни поэта. И очевидно, что гибель опустила траурную тень на облик художника и на всю его жизнь, целиком заполнив ее предчувствием и предвестием этой гибели. Но современники знали и запомнили Лорку другим. Один из них, Мануэль Висенс, дома, в семейном кругу, постоянно видевший Лорку с друзьями, свои полудетские впечатления подытожил кратко: "Они были молодыми и веселыми".

Две сценки, уцелевшие в семейном архиве, написаны Лоркой в начале 20-х в Студенческой резиденции. Два слова о самой Резиденции. Этот студенческий кампус при мадридском университете был задуман и создан испанскими просветителями Франсиско Хинером де лос Риос и Альберто Хименесом Фраудом как некая Академия без академизма. Одним из первых обитателей Резиденции стал будущий нобелевский лауреат поэт Хуан Рамон Хименес; тополя, которые он привез из Соснового ручья, родного селения на андалузской окраине, и посадил на Университетском холме, шумят и поныне. Собственно, в Студенческой резиденции (то есть "общежитии") за небольшую плату мог селиться кто угодно и черпать там новейшие сведения в любой области, от политэкономии до метафизики. При общежитии были театральный, концертный и лекционные залы, где выступали знаменитости тех лет, от великого Альберта Эйнштейна до невеликого, но одно время модного Андре Бретона. Там читали лекции Мария Склодовская-Кюри и Анри Бергсон, играла Ванда Ландовска, выступали Равель и Стравинский. Обитатели Резиденции селились и сходились не по корпоративному признаку, а по интересам или просто по дружбе. Так обстояло и с кругом общения Лорки. Сальвадор Дали учился в Академии изящных искусств (правда, изгонялся оттуда дважды и, подобно Чапаеву, академии не кончил). Луис Бунюэль учился инженерному делу, а "вечный студент" Гарсиа Лорка вообще ничему не учился. Все трое были с характером. Мадридские проделки Бунюэля порой опасно соприкасались с уголовным кодексом, а Дали даже умудрился угодить в тюрьму — за глумление над государственным символом (пинал означенный символ, а конкретно — от нечего делать гонял по улице пустую консервную банку цветов испанского флага). Отцов основателей Резиденции искренне любили и уважали: при встрече с почтенным Франсиско Хинером Лорка, как школьник, воровато прятал недокуренную сигарету. Но вообще с авторитетами обращались вольно, да и друг с другом особенно не церемонились. По-своему красноречив такой, например, сугубо быто-

вой эпизодик. В студенческой забегаловке за столом Бунюэль и Лорка. Бунюэль с арагонской прямотой сообщает: "Послушай, такой-то говорит, что ты педик". Оскорбленный Лорка со словами "Между нами все кончено" идет к двери. Бунюэль, догнав, кладет руку на плечо: "Завтра я с ним дерусь". Остается добавить, что Бунюэль был чемпионом по боксу. И "такому-то" завтрашний день явно не сулил радостей, даже со скидкой на то, что спортивный кодекс чести запрещает (по крайней мере тогда запрещал) боксерам употреблять свое искусство в быту.

Но помимо житейских разборок были вещи посерьезней. В конце 20-х студенческие волнения и закрытие университета стали началом революции, которая покончила с военной диктатурой и смела монархию. Это трудное время отразилось позже, в других драматических набросках Лорки. А в публикуемых сценках макабрический черный юмор, заставляющий вспомнить "Бобок" Достоевского, прежде всего антиклерикален. Это чувство сближало испанских интеллигентов, потому что коренилось в народном сознании. Хуан Рамон Хименес писал: "Испания — страна целиком земная и поддельно религиозная. Не христианская, а католическая". В Испании католицизм стяжал недобрую славу — и не столько фанатизмом и репрессиями, в чем протестанты ему ничем не уступали, сколько своей слаженной мощью. Церковь была не только единственным идеологом власти, но могущественным картелем; еще в XVI веке инквизиция, помимо геноцида, заправляла даже экспортом зерна и мяса. А в XIX, когда после революционных потрясений тучные испанские монастыри лишились земельных угодий, церковь целиком и весьма успешно переключилась на финансовые операции. Возник даже труднопереводимый слоган: "El dinero es católico" (в переводе на язык родных осин это звучало бы как "Барыш православен"). Понятно, что торгующие во храме не прибавили авторитета духовной власти.

Студенческая резиденция была наследницей Института свободного просвещения. В 60-х годах XIX века, когда после революции, недолгой республики и долгой реакции власть и церковь снова завладели университетами, возникло и выстояло первое в испанской истории независимое учебное заведение, полностью светское. Пример заразителен, и постепенно другие учебные анклавы начали отделяться от церкви и государства. Студенческая резиденция унаследовала от Свободного просвещения его четыре заповеди: свобода мысли, свобода знания, свобода убеждений, свобода совести. И его девиз: "Veritas liberabit vos" ("Истина освобождает").

Друзья Лорки по Студенческой резиденции прожили долгую и яркую жизнь. Дали на склоне лет в числе прочих маскарадных причуд изображал из себя кондового католика. Луис Бунюэль до конца оставался в жизни и творчестве стойким антиклерикалом. А Гарсиа Лорке не суждена была долгая жизнь, он ушел из нее молодым.

...Пробьет мой час, — писал за три столетия до него Франсиско де Кеведо —

> И та душа, что бог обрек неволе,
> та кровь, что полыхала в каждой вене,
> тот разум, что железом жег каленым,
> утратят жизнь, но не утратят боли,
> покинут мир, но не найдут забвенья,
> и прахом стану — прахом, но влюбленным.

Таким ушел и остался в памяти Федерико Гарсиа Лорка.

Современники вспоминали, что он удивительно читал стихи, а еще лучше пел. Но как-то не удосужились записать голос. На групповых фотографиях он

старательно, с неловкостью провинциала, смотрит в объектив, на любительских — задумчив, серьезен, грустен. Но иногда улыбается мальчишеской, лукавой улыбкой. Какой-то отсвет этой улыбки сквозит и в потусторонних сценках времен его студенческой молодости.

Тени

Драматическая поэма

Сцена первая

Старинный сад. Унылый речитатив воды. В задумчивых деревьях беглые наброски тумана. Появляются Тени.

Первая Тень. Если не против, передохнем в саду.

Вторая Тень. Почем ты знаешь, что это сад?

Первая Тень. По запаху былой воды и тихому воздуху.

Вторая Тень. Я ничего такого не чувствую.

Первая Тень. Ты, сколько тебя помню, только и знаешь, что спрашивать. Запоздалая привычка!

Вторая Тень. Я растерян. И честно говоря, до сих пор кажется, что я салат. Вечная жизнь ужасна!

Первая Тень. Пора бы сосредоточиться!

Третья Тень. Бог мой, вы были салатом?

Вторая Тень. Дорогой призрак! Хуже смерти нет ничего, даже жизнь. Во-первых, нельзя ни есть, ни пить, пока не утратишь зубы, губы и прочее...

Третья Тень. Вы правы, ох, как вы правы! Все такое потустороннее! Эфирный окорок, эфирные персики...

Вторая Тень. А вкус один!

Третья Тень. Что и бесит!

Вторая Тень. Когда я стал, как вы слышали, салатом... Кошмар! Такая мука, когда рвут листья и вгрызаются в твою белую сердцевину! Ох, вечную жизнь не перескажешь... Господи, как было хорошо, когда я мыкал ее человеком!

Третья Тень. И ведь самое ужасное — гадать, чем станешь... Меня это пока миновало, и потому еще тягостней... Хотя, по совести, я готов быть кем угодно, лишь бы не этим вечным ничем.

Вторая Тень. Дружеский совет — оставайтесь тенью, сколько хватит сил. Знали бы, каково стать салатом и хрустеть на зубах заезжего стряпчего или многодетного настоятеля.

Третья Тень. Не мне судить. Но, между прочим, компанию мне составил ваш министр и всю дорогу распевал, кстати, недурно. И на мо-

их глазах превратился поочередно в огурец, тыкву и под конец — не поверите! — в мыльный пузырь.

Вторая Тень. Плачевно, что и говорить... Но знаете, дорогой призрак, я, признаться, совершенно спятил. Ничего не понимаю! Какую тень ни встретишь, у каждой свой нрав и свой устав. На последней стоянке я столкнулся с чудаком, все еще верившим в Бога!

Третья Тень. Наверняка выкормыш Конгрегации святого Луиса Гонзаги[1].

Вторая Тень. Вряд ли. С ними я тоже встречался, эти не верят ни в чох, ни в сон и ни во что, особенно когда прибывают сюда. И предстают, так сказать, перед ликом.

Третья Тень. Перестаньте, друг мой! Счастливчик Гонзага парит сейчас в облаках вольной птицей!

Вторая Тень. Это уж как кому повезет! Сумей выслужиться!

Третья Тень (*саркастически*). Чем только ни тешатся на земле!

Вторая Тень. До поры до времени, приятель, до поры до времени!.. (*Вспоминает.*) Я, к примеру, служащий в Министерстве финансов, и жалованье, конечно, нищенское...

Третья Тень (*перебивая*). А я пэр Франции!

Вторая Тень. Поздравляю, только незачем подкручивать усы, здесь мы все одинаковы...

Третья Тень (*сквозь зубы*). Одинаковы, да не все!

Вторая Тень (*вспоминает*). Господи, остаться бы там! Проспект Алькала! Дон Матео Сагаста!..[2] Это еще при нем было... Перевелись политики, такого больше не дождемся... Боже мой, как хорошо жить! Даже при нищенском окладе! Но однажды я проснулся от дикой боли, глаза выкатились и шевельнуться не могу. Провалялся в постели, адски мучась, пока утром — будь оно проклято! — не вошла ко мне женщина, разбитная и бойкая на язык, с гнилыми зубами и ржавой зазубренной косой. "Послушай, Перес, — сказала она почти ласково, — пора это старое мясо отдать бедным червям на кухню, что-нибудь да сгодится, а ты немножко полетаешь по иным мирам для новых впечатлений... В конце концов для испанцев и смерть — развлечение. Ваша разбойничья натура должна возбуждаться на краю бездны. Даже странно, что испанцы не захватили и не колонизировали преисподнюю!" — "Мадам, — говорю, заикаясь, какие там колонии и злодеяния, дело давнее..." — "Еще чего! — восклицает она страшным голосом. — Куда Колумбу до генерала Мартинеса Кампоса!" Тут она вскакивает и начинает расхаживать по комнате, сбивчиво бормоча: "Решено, ты должен

1. Луис Гонзага, святой (1568–1591) — итальянский монах-иезуит, канонизирован в 1726 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Пракседес Матео Сагаста (1825–1903) — испанский политический деятель, в 1871–1873 гг. и в 1901 г. председатель правительства.

посетить луну. Да, именно луну. Или лучше Сириус, там тоже неплохо... Нет, готовься повидать луну". При виде щербатой гильотины я возопил: "Не хочу на луну, лучше Министерство финансов!" – "Идиот! – гаркнула она. – Как и все испанцы!" – "Мадам, – молил я, – Взгляните – ну какой из меня турист! Не убивайте, подождите, хоть пока выйду на пенсию!" – "Нашел отговорку!" – буркнула она... И вдруг я узнал в ней моего столоначальника, умершего пару дней назад; у покойника было такое жуткое выражение, словно он собирался сказать: "Перес, вы опять опоздали..." Позже он превратился в Альфонсо XII[2] и Фраскуэло[3]... Все плыло в красном тумане, потом удар, полная бесчувственность и где-то далеко-далеко шелест голосов: "Бедный Перес, бедный Перес!.." Самое удивительное, что я тут же, ничего не сознавая, стал салатом, натерпелся – не дай бог никому, и в итоге – перед вами бродячая тень, которая тоскует по площадям Бильбао и стихам Нуньеса де Арсе[4].

Третья Тень. Это делает вам честь!

Вторая Тень. Таков наш жизненный крах, который уносим с собой.

Третья Тень. Терпение, друг мой, терпение! Возможно, что-то еще повидаем. Есть у меня смутная надежда, что встретимся и с Богом.

Вторая Тень. Дожидайтесь.

Третья Тень. Нельзя же блуждать вот так, ни туда, ни сюда. И превращаться то в огурец, то в баядерку. Я отчасти доволен, потому что должен сознаться, не верил в иную жизнь. Вы не представляете, как мне стало хорошо, когда любовник моей жены всадил мне пару пуль на дуэли, и я очутился в невиданном саду с нарядными балеринами и накрахмаленными дипломатами, а хорошенькая ангелица с подкрашенными губками и картонными крылышками пролепетала: "Месье, вы уже тень и вечность будете проводить в облаках, так что позаботьтесь о вашем ревматизме..." Это было так неожиданно и так трогательно!.. Я ведь материалист. Вольтерьянец! А теперь чуть-чуть, но верю, что Бог, может быть, и существует.

Вторая Тень. Меньше пыла! Я вставал на коленки и верил в рай – иначе бы выгнали из канцелярии! – и в ангелов, и в архангелов верил, и в прочие силы небесные, и что мой благочестивый писк услышит Святая Троица, и так далее, и тому подобное... И нате вам – скончался, чтобы стать салатом. А ведь это Бог – или кто он там – за меня решил. Осенило.

Третья Тень. Успеем еще впасть в уныние... Пока что вопреки ожиданиям здесь неплохо... Единственное, чего недостает – понимаю,

1. Арсенио Мартинес Кампос (1831–1900) – испанский военный и политический деятель, генерал.
2. Альфонсо XII (1857–1885) – испанский король с 1874 г; умер от туберкулеза.
3. Фраскуэло (наст. имя Сальвадор Санчес Поведано; 1842–1898) – знаменитый испанский тореро.
4. Гаспар Нуньес де Арсе (1832–1903) – испанский поэт.

звучит неуместно — так это женщин. Нет ничего прелестней, отрадней и утешительней женщины!

Вторая Тень. Побывав салатом, я о них и думать забыл.

Третья Тень. Укроемся под деревьями. Сами знаете, что сулят наши туманы, сейчас заморосит.

Тени теснятся под ветвями ив и эвкалиптов.

Третья Тень. Ближе к стволу, там не так сыро.

Четвертая Тень. Господи, как устал! Доканали эти переходы и перелеты! И главное, не выпьешь чаю, здесь никто его не пьет. Что за неотесанная публика!

Пятая Тень. Вот именно!

Четвертая Тень. Чай — насущный продукт цивилизации.

Пятая Тень. Наинасущнейший. Есть Бог или нет, меня не заботит. Был бы чай!

Четвертая Тень. И вдоволь.

Пятая Тень. Пусть даже без сахара.

Четвертая Тень. Чай и следует пить без сахара. Сахар его портит и просто губит. Вся прелесть чая в нежном привкусе мха... и...

Пятая Тень. И земли.

Четвертая Тень. Простите, не земли, а лимона.

Пятая Тень. Сейчас уже не припомнить, а пить хочется.

Четвертая Тень. И ревматизм бы меньше мучил.

Пятая Тень. У меня так ноют ноги, так ноют!

Четвертая Тень. И у меня... Не смешно ли? Какие еще ноги? Мы бредим?

Пятая Тень. Действительно, бредни.

Первая Тень. Господа Тени! Только что прибыл гонец из иных миров, и сообщил, что видел Христа в каком-то закутке, отгороженном от беспредельности, и Тот ему заявил, что не может попасть домой к Отчему престолу. Поскольку Отца знает только по имени. И настойчиво просил, если набредем на дорогу, немедленно Его известить.

Третья Тень. С таким проводником, как ты, протянешь ноги. Которых нет.

Вторая Тень. В этом лабиринте любой застрянет.

Первая Тень. Господа Тени, призываю всех набраться терпения! Уверяю, что в конце концов мы наткнемся на Царство Божие.

Дряхлая Тень. И никогда туда не попадем. Так и будем слоняться взад вперед...

Первая Тень. Чем я виноват? Вечное блаженство не от меня зависит.

Вторая Тень. Для блаженства мне бы хватило Мадрида.

Третья Тень. А мне Парижа.

Пятая Тень. И чашки чаю.

Четвертая Тень. Кончится тем, что всех нас обзовут жалкими ревматиками.

Первая Тень. Прошу тишины. Что там за шум?

Третья Тень. Это душа вон из той пешей компании свалилась на Землю, чтобы воплотиться.

Первая Тень. И чья ж она?

Третья Тень. Испанского министра, того, что недурно пел. Я знал его и довольно близко.

Первая Тень. Дайте взглянуть! Куда она упала?

Вторая Тень. Куда-то в Андалузию.

Пятая Тень. В Андалузии чай не пьют...

Первая Тень. И во что она воплотится?

Третья Тень. Происходит зачатие. Будущий ребенок вырастет поэтом.

Первая Тень. Наверняка прескверным.

Вторая Тень. Не сомневаюсь.

Первая Тень. Что ж, пойдем искать дорогу; может, на сей раз больше повезет... Зови отставших.

Четвертая Тень. Какая тоска!

Иегова

Облачный занавес. Картонные кулисы подкрашены розовым (такого же бледного оттенка, как ленты, которыми украшают мертвых младенцев). В центре две средневековые скамьи и модное кресло с маркой валенсийской фабрики. В глубине сцены фанерное дерево с жестяными яблоками, на дереве – змей из зеленого муслина (желательно электрифицированный для световых эффектов в момент апофеоза).

Трубы (*из окаменелых ртов*). Тататаааа-тататаа!

Голос. Не услышит!..

Трубы. Татата-тааа!

Появляется Иегова, надутый и недовольный, в сопровождении дряхлого Ангела с выцветшим лицом и крыльями, траченными молью.

Ангел. Здесь вы отдохнете. Погода приятная.

Иегова. Аааапчхи!

Ангел. Не повредил ли вам душ?

Иегова. Слишком холодный, я наверняка простудился.

Ангел. Перед сном натру вас мазью со скипидаром... Будьте крайне осторожны, на таких высотах и в вашем возрасте насморк очень опасен. Вспомните бедного Михаила архангела.

Иегова. Ужасный конец! За всю мою долгую жизнь не видел такой пневмонии. Ни мое всемогущество, ни лекари из преисподней не смогли вырвать его у смерти. (*Зевает.*) А-ах!..

Ангел. Устали?

Иегова. Скучно, как в раю.

Ангел (*подмигивая*). Между прочим, у нас три новеньких ангелицы, весьма аппетитные... Не предстать ли им перед вашей августейшей особой?

Иегова (*вздыхая*). Эх, если бы раньше, когда не было этих морщин и я решал уравнения с тремя неизвестными, самые головоломные. Сейчас и шевельнуться лень... Да и предстанут-то с накрашенными губами. В годы моей молодости никто не красился. Стали подражать людям — вот и вырождаемся напропалую. Подражание губительно.

Ангел. Вы совершенно правы. Но теперешние ангелы вроде бедняков — глаз не поднимают...

Иегова (*ворчит под нос*). Не удивительно. Мы уперлись головой в потолок. Экая тоска!

Далекая труба. Тоска-а-а!

Ангел (*продолжая наушничать*). Бродят, опустив очи долу, и заглядываются на людишек... Виноват, на ваши образы и подобия!

Иегова (*в сторону*). Я лицо подставное, посредник. Возражал хозяину, да его не переспоришь, мальчишка с причудами... (*Громко.*) Вопреки всему мы должны держаться древних устоев!.. Ты, к примеру. Зачем отпустил усы? Кто тебе велел носить парик?

Ангел (*испуганно*). Господи...

Иегова. И почему от тебя так несет? Прежде от моих ангелов веяло философией, метафизикой, поэзией... моей любовью... А теперь разит одеколоном. В лучшем случае... Бездуховность! Суетность!

Змей (*загораясь изнутри*). Суета сует!

Иегова. Выключи свет и не скрипи, как старая балясина!

Змей (*погасая*). Старая балясина...

Иегова (*располагаясь в кресле*). Как раз вчера, когда я занимался гимнастикой по твоему совету, перед моим облаком толпились юнцы в кордовских шляпах, а один даже в костюме тореро. Такое, клянусь Собой, терпеть нельзя!

Ангел. Должно быть, андалузские великомученики. У них последнее время приступ патриотизма. Вам не докладывали, что позавчера бык святого Луки проснулся с двумя бандерильями?

Иегова. Как?!

Ангел. И что святой Фома заказал себе цилиндр?

Иегова. Какая наглость! Не говоря уж о гигиене!

Ангел. Кроме того, святой Христофор сейчас на ринге, а святой Георгий на теннисном корте.

Иегова (*яростно*). Цыц! Цыц! Задыхаюсь... (*Заходится кашлем*).

Ангел (*бережно хлопая по спине*). Будет, будет! Скушайте эту карамельку с ментолом, и сразу полегчает.

Иегова (*сморкаясь и кашляя*). Ах, где вы, блаженные дни Синая? Счастливые дни, когда загоралась Неопалимая купина!

Ангел (*уныло*). Ну да, тогда ведь еще не было спичек...

Иегова. Злосчастная тайна огня! (*Вытирает глаза.*) Мне надоело метать бисер! Я отдал всего себя! Всего! Я сжег себя и набит золой! Уже не могу вколачивать звезды! На своих плечах я принес беспредельность — и беспредельность пошла прахом! (*Терзает волосы.*)

Ангел. Это человек ее прикарманил и называет иксом.

Иегова. Какая разница!

Эхо. Разница, разница, разница...

Глубь сцены заполняется светящимися зигзагами.

Иегова. Но беспредельность цела, она там, за этим жутким потолком, который нас раздавит.

Ангел. Тише, ради Господа!

Иегова. О мои возлюбленные звезды! Знаю, знаю, Венерой сейчас лупят в мяч дюжие ангелы... Однако, должен признать, как ни жаль, успехи человечества; твои карамельки с ментолом полностью уняли кашель.

Ангел. Успехом человек обязан Вам! И выражает признательность вязаными кальсонами и... (*игриво приближаясь*) и пирожными...

Иегова (*впадая в детство*). Пирожное, пирожное! Хочу пирожного!..

Входит лакей с двумя рядами золотых пуговиц на крыльях и подносит Иегове блюдо, полное сладостей.

Иегова (*причмокивая*). До чего вкусно! До чего вкусно!

Ангел. Не удивительно, что мы подражаем людям.

Иегова (*неохотно кивает*). Если бы не беспроволочный телеграф! Эти магнитные волны совсем замучили. С тех пор, как меня чуть не парализовало током... (*Электромагнитная волна страшной силы швыряет блюдо в лицо Иеговы, залепив его кремом.*) Ай! Шутки прочь! Да когда ж у нас появится изобретатель и оградит от этих фокусов! (*Вытирает лицо.*)

Ангел. Вы же сами всемогущи!

Иегова. Стану я ломать голову! У меня и без того мигрень, не могу заснуть.

Ангел. У нас есть аспирин.

Иегова. Да, но привыкать к нему не советуют.

Ангел (*робко*). Ваш тайник и казна целы...

Иегова. Это на черный день. Один-единственный раз я туда заглянул. Настойка жизни и настойка смерти стоят закупоренные, в темном шкафу. Я всего лишь понюхал пару флаконов. И ужаснулся самого себя... Заглянул и в теплицу философий... цветы самые разные, но тоже боятся света. Безрассудно было все это приоткрывать, но молодость неразумна...

Ангел. Люди кое-что выкрали.

Иегова (*самодовольно*). Ха! Моим крысам достались опилки.

Человеческий голос (*вдалеке*). Ты не существуешь! Тебя нет!

Иегова (*вставая*). Как это понимать? Когда вот он я?! (*Выбегает на облачный балкон.*) Ах, канальи!

Хор людских голосов (*оглушительно*). Тебя нет! Тебя нет!

Иегова (*возмущенно*). Бестыжее племя! Я истреблю тебя вторично и окончательно!

Хор голосов. Ты себя выдумал!

Иегова. У-у-у-у!

Трубы. Тутутуту-тууу...

Раскаты грома. Близится возмездие. Для необходимого эффекта кипящая смола должна быть хорошего качества.

Иегова. Я распахну тайник, дабы покарать вас и стереть в порошок. Содрогайтесь и раздирайте грудь, ибо никто не будет помилован! Настал час моего гнева! Эй, ангелы, архангелы, власти и Силы Небесные! Сюда!

Появляются Силы Небесные. Они из картона, глаза освещены изнутри, движеньями управляют нитки в невидимых руках.

Силы. Мы пред Тобой.

Иегова (*накинув мантию и подбоченясь*). Я решил истребить человечество.

Андалузский великомученик. Оле!

Компатриот. Тссс...

Иегова. Люди уверены, что я не существую. Как вам это нравится?

Силы (*хором, как школяры*). Никак не нравится.

Иегова (*впадая в ярость*). Сегодня они протрут глаза! Увидят небо с овчинку!

Силы. Посоветуйся с Сатаной.

Иегова. Ладно, ради вас я приму его. Зовите. А ты приготовь закуску и колоду карт.

Силы. Осанна!

Исчезают.

Ангел. Спасибо, большое спасибо.

Иегова. Этот жестяной триангул[1], будь он проклят, зверски мешает. Подтяни его, а то болтается из стороны в сторону.

Ангел. А может снять?

Иегова. Спятил! Атрибут божественности!

Ангел. Виноват, простите...

Иегова (*устраиваясь в кресле*). Пока гость добирается, немного вздремну. Принеси книгу из того шкафа. Эта ученая белиберда — лучшее снотворное.

Ангел (*обиженно*). Не забывайте, что я был доктором философии...

Иегова. Нечего обижаться. Ты и теперь похож на книжного червя.

Ангел (*подает объемистый том*). Как вы просили....

Иегова (*читает*). Кант. "Критика... мм... разума"[2]... Признаться, не понимаю этого господина. Тем более, что пишет по-немецки...

Ангел. Все так говорят, особенно испанцы... Никто не понимает! А он неисчерпаемо глубок.

Иегова. Эти антимонии не для меня. И где теперь наш искусник?

Ангел. По рекомендации поступил в Чистилище.

Иегова. Там ему самое место.

Ангел (*подавая книгу*). Извольте еще.

Иегова. Тереса де Хесус[3]. Это не та помешанная, что носилась, распустив волосы, и требовала Иисуса?

Ангел. Та самая. Еще хуже стала.

Иегова. Приготовь ей душ, да похолоднее.

Ангел. Чтоб уснуть, советую развлекательное чтиво, весьма забавное.

Иегова. Автор?

Ангел. Валье-Инклан[1].

Иегова. Чур меня, чур!.. Однако пошарь в углу шкафа — ага, эту книгу рекомендовал Сатана для засыпания. Дай-ка сюда...

1. В иудаизме и христианстве треугольник, обращенный вершиной вверх, часто с изображением глаза внутри, — символ Бога и его всевидящего ока.
2. Имеются в виду трактаты Иммануила Канта (1724—1804) "Критика чистого разума" (1781) и "Критика практического разума" (1788).
3. Тереса де Хесус, святая (Тереса Иисусова или Тереса Авильская; наст. имя Тереса Санчес де Сепеда-и-Аумада, 1515—1582) — поэт-мистик, испанская религиозная деятельница и писательница.

Ангел (*читает*). Хулио Сехадор[2], пресвитер.

Иегова (*смеется*). Очаровательно! Ай да испанский клирик! (*Листает книгу.*) Наложил оковы на Христа?

Ангел. В наручниках.

Иегова. Стереги его! Этот безумец может наделать дел, когда меньше всего ждешь...

Ангел. Глаз с него не спускаю.

Иегова. А в клетку к поэтам заглядывал?

Ангел. Заглянул.

Иегова. Насыпал им проса?

Ангел. Да. И салата накрошил.

Иегова. Тогда, пожалуй, передохну.

Ангел. Храни Тебя Твой сон!

Иегова. Задерни мир занавеской.

Ангел (*смиренно*). Сию минуту!

Иегова (*сонно*). ...проклятые мухи...

Ангел. Сегодня он просто невыносим!

Темнота

1. Рамон Мариа дель Валье-Инклан (1866–1936) – испанский писатель, драматург, поэт.
2. Хулио Сехадор-и-Фраука (1864–1927) – испанский ученый, писатель и филолог, автор знаменитого "Словаря".

Мюриэл Спарк
Curriculum vitae[1]

Автобиографические заметки[2]

Перевод с английского Светланы Силаковой

Введение

Скупцы берегут деньги, а я — верных друзей и всевозможные бумажки. Бумажек у меня много, друзей — не в пример меньше, зато они лучшие в мире.

Меня всегда завораживали подробности. В прозе я щедро их рассыпаю — они создают атмосферу. Свое волшебство есть и в именах, даже совсем негромких. Почти все имена, упомянутые на этих страницах, в рассказе о первых тридцати девяти годах моей жизни, неведомы широкой публике, но мне они оттого только дороже.

После того как я стала известной писательницей, было опубликовано столько недостоверных мемуаров, а то и вовсе несусветных историй о некоторых эпизодах моей жизни, что я поняла: пора внести ясность.

Я решила не описывать здесь ничего, что нельзя подтвердить документальными свидетельствами или рассказами очевидцев: мне не хочется полагаться лишь на собственные воспоминания, как бы ни были они отчетливы. Искажения и измышления опасны тем, что ученые, не имея в виду ничего дурного, потом некритически их повторяют. Домыслы, точно блохи, скачут от человека к человеку, питаясь кровью разума. В том, что касается моей биографии, правда часто менее лестна и романтична, зато намного интереснее, чем выдумка. Правда как таковая нейтральна, в ней есть своя красота, свое очарование. Когда пишешь документальную прозу, о достоверности надо заботиться с особым тщанием. Вдобавок неточно изложенные факты порождают ложные предположения, из которых, в свою очередь, делаются ложные выводы. Хорошо ли вводить в заблуждение исследователей, пусть даже речь идет о сущих мелочах? В одной моей биографии, недавно вышедшей в свет, госпожа автор привела ложные сведения — описала некое событие, которое, как легко проверить, вообще не имело места. Я сделала авторессе замечание, а она искренне изумилась: по ее разумению, домысел выставлял меня "в выгодном свете". Но как ни посмотреть, она соврала.

© Muriel Spark, 1992
© Светлана Силакова. Перевод, 2007
1. Послужной список (*лат.*) (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Журнальный вариант.

Расписала, какие блистательные званые вечера я будто бы устраивала у себя дома в тот период, когда в действительности была бедна и почти безвестна. (А кому, скажите, понравится такой глумливый поклеп на его нищую молодость?) В числе моих гипотетических гостей дама упомянула двух известных людей, с которыми я в ту пору вообще не была знакома. "А какой, собственно, ущерб причинила вам эта неточность?" — недоумевала авторесса. Вы спрашиваете об ущербе? Фальсифицированы эпизоды трех биографий: моей и еще двух человек. Но страшен даже не моральный вред, а преступление против истины и науки.

В книге, которую вы держите в руках, — моя автобиография, доведенная до начала 1957 года, когда был опубликован мой первый роман. В это время мне редко встречались знаменитости, но я жила воистину насыщенной, полнокровной жизнью. Надеюсь, мне удалось рассказать, как из меня получилась писательница.

В Риме у меня была престарелая приятельница леди Беркли (для своих просто Молли). Я иногда бывала у нее в Палаццо Боргезе. Молли жила на широкую ногу. Когда я заговаривала с ней на ее любимую тему — о минувшем, она вызывала дворецкого и приказывала принести томик своих мемуаров, чтобы выверять по ним имена, даты и прочие факты[1]. По-моему, она поступала совершенно правильно. Возможно, всем нам следовало бы записать свои воспоминания, чтобы впоследствии, на закате дней, ничего не перевирать.

Многие из моих произведений автобиографичны. Работая над ними — как и над этой книгой, — я ощущала, что все лучше и глубже узнаю свою натуру. "Кто я?" — вечно вопрошают себя поэты. Когда я была начинающим литератором, мне заказали пьесу. Продюсера я впервые увидела, когда вручала ему первый акт. На следующий день пришла телеграмма: "Голубка зпт это то на что мы надеялись тчк позвоните мне завтра в десять утра зпт голубка". Я позвонила, как было велено, на следующий день в десять и представилась его секретарше. Он взял трубку. Я вновь представилась. "Кто вы, голубка?" — спросил он. "Хороший вопрос", — подумала я тогда и, без шуток, до сих пор так считаю. Именно в тот момент, много лет назад, я и решила написать автобиографию, чтобы было легче объяснить себе и другим, кто я.

Глава первая
Хлеб, масло и Флорри Форд

Отыскивая в памяти светозарные воспоминания моего младенчества, я обнаруживаю их без труда; куда ни глянь, они посверкивают там и сям, но, в отличие от более поздних, никак не желают выстраиваться хронологически. Словно вспышки молний выхватывают из темноты разрозненные картины моего эдинбургского детства — лет с трех-четырех и вплоть до школы, — высвечивая их во всех деталях. Но начни я нанизывать мои ранние впечатления на какую-то сюжетную нить, получилась бы фальсификация.

1. Мемуары Молли Беркли (Molly Berkeley "Winking at the Brim") были опубликованы в США в 1967 г.

Я родилась в 1918 году в Эдинбурге, в районе Морнингсайд, в доме номер 160 на Брантсфилд-плейс.

Хлеб

Хлеб покупали в булочной Хаудена. Выпекался он тут же, в полуподвале. Тротуар перед булочной был теплый — из решетки у самой двери струился горячий воздух. Пекарь носил приплюснутый белый колпак, похожий на перевернутое блюдо для торта, у мальчика-подручного шапка тоже была приплюснута, ведь противни с хлебом они таскали на голове. Так и вижу, как они поднимаются с грузом в булочную: лица и руки белые, халаты белые, ботинки припорошены мукой. <...>

Масло

Масло покупали в магазине молочной компании "Лютик".

Розовощекая девушка с аккуратно убранными под шапочку волосами, в белоснежном халате, под ярким светом лампы (если дело происходило зимой) стояла за мраморным прилавком меж двух огромных, по плечо, глыб сливочного масла. Одна глыба — свежее масло, другая — соленое. Многие предпочитали соленое: оно было дешевле. Свежее привозили с фермы каждое утро. Розовощекая продавщица брала лист специальной пергаментной бумаги и стелила на чашку блестящих медных весов. Потом брала две большие деревянные лопатки. Прежде чем отрезать вашу обычную порцию — фунт или полфунта, — окунала лопатки в белую с синим расписную фаянсовую миску, полную холодной воды. Выверенным движением клала порцию масла на весы и, словно скульптор, добавляла недостающее или убирала лишнее, пока не получалось столько, сколько заказывали. Затем следовал красивый и трудный трюк: переместив масло вместе с подложенной бумагой на прилавок, продавщица все теми же деревянными лопаточками рубила его на четвертьфунтовые кубики, а затем быстро и аккуратно сплющивала каждый, так что получался плоский круглый медальон. Наконец брала деревянный штамп и, окунув его в воду, шлепала по медальонам. На оттиске шли по кругу слова "Молочная компания 'Лютик'", а посередке маленькая девочка, опустившись на одно колено перед добродушной коровой, держала у самой ее шеи лютик. (То был намек на забаву моего детства: подносишь к подбородку подружки лютик и спрашиваешь: "Ты любишь масло?" Если на коже появляется слабый желтый отсвет цветка, это значит "Да". Сколько помню, подбородок никогда не говорил: "Нет".) Вся эта замысловатая процедура совершалась в мгновение ока.

В "Лютике", как в нашей семье звался этот магазин, мы покупали и яйца разных сортов. Для завтрака предпочитали свежеснесенные яйца, но для выпечки вполне годились лежалые, хранившиеся по тогдашнему методу — в растворе силиката натрия, именуемом "жидким стеклом". В один прекрасный день в "Лютике" установили удивительный аппарат для просвечивания яиц, куда их помещали одно за другим перед тем как вручить покупателю, для проверки на свежесть. Если в луче лампы яйцо

становилось полупрозрачным, это значило: хорошее. Тухлое выглядело бы мутным, но при мне такого никогда не случалось.

Совершив покупку в любом магазине, вы не торопились уйти, а вначале тщательно пересчитывали сдачу: не вышло ли какой ошибки? Продавец внимательно наблюдал за вашими действиями.

Именно с молочной компанией "Лютик" у меня ассоциировались строки Стивенсона, которые я знала чуть ли не с младенчества:

> Я поднялся рано-рано, до восхода полчаса.
> Я увидел, как сверкала в каждом лютике роса[1].

Сверкающая чистота и утренняя свежесть молочного магазина, девушка, колдующая над маслом, — эту картину я пронесла через все детство.

Чай

Для истории шестьдесят лет — не срок. Всего-то шестьдесят лет тому назад я ежедневно заваривала как минимум один чайник чаю для всей семьи. И получалось отлично. Каждый школьник, каждая школьница умели заваривать восхитительный чай.

Ставите воду на огонь и, когда она вот-вот закипит, заливаете заварочный чайник до половины, чтобы согрелся. Закипевший чайник — тот, что с водой — оставляете на слабом огне, а тем временем опорожняете заварочный и засыпаете чай из расчета одна ложка на человека плюс еще одна — "на чайник". Чтобы получилось идеально, требовалось до четырех ложечек чая. Насыпали его ложкой особой формы, похожей на крохотную серебряную лопатку. Чайница приятно пахла. Тащить чайник с кипятком к заварочному нельзя было ни в коем случае. Берете заварочный чайник, подходите с ним к плите и наполняете кипятком, но только не доверху.

Оставляете настояться на три минуты.

Чай полагалось пить из фарфора, из самых тонкостенных чашек, какие вы могли себе позволить. Толстостенная посуда убивает вкус чая.

Доливаете молока — ровно столько, чтобы в полупрозрачной жидкости как бы растекся туман. Сладкоежки могут добавить сахару. Сладкий пить чай или несладкий, каждый решал сам. Другие личные предпочтения и капризы за чаепитием не допускались.

Каждого, кто заходил в дом, приглашали выпить чашечку чаю, словно в романах Достоевского. Не знаю уж, по какому рецепту сам Достоевский заваривал чай. (Чай из самовара — это наверняка совсем другое дело: молоком его определенно не разбавляли, да и подавали не в чашках, а в стаканах с латунными или серебряными подстаканниками.) <...>

Тетя Герти и Флорри Форд

В Эдинбурге моего детства считалось, что "англичане" — люди пустые, вздорные, вечно всем недовольные. И одеваются слишком уж напоказ.

1. Цитата из стихотворения Стивенсона "Моя тень". Перевод Игнатия Ивановского.

Моя мать была англичанка. Каждый день она приходила встречать меня из школы, и каждый день я страшилась, что, заговорив с другими матерями, она выдаст свое сомнительное происхождение. К "иностранцам" относились вполне терпимо, но "англичане" были на особом счету. Их изобличал не только выговор, но и лексика, характерные выражения. Однажды, выйдя из школы, я услышала, как моя мама сказала матери моей одноклассницы: "Мне нужно сделать покупки". Я чуть в обморок не упала: разве так можно? Говорится: "Я пробегусь по магазинам" и никак иначе. Кроме того, мама носила зимнее пальто с оторочкой из светло-рыжей лисы, на манер тогдашней герцогини Йоркской, то есть нынешней королевы-матери[1] (которая, кстати, доселе ходит в подобных пальто и выглядит в них очень элегантно). Это было совершенно непростительно. Маме приличествовало носить твид, а в крайнем случае, в самые сильные холода, ондатровую шубку. Чулки она предпочитала шелковые (когда натуральные, когда искусственные), персикового оттенка — а следовало бы серые фильдекосовые. И не избежать бы маме молчаливого осуждения, если бы не ее врожденная приветливость, изливаемая на всех вокруг. Она с энтузиазмом знакомилась с новыми людьми и здоровалась со знакомыми. Пока я не появилась на свет, она была "учительницей фортепиано". У меня до сих пор хранится медная табличка с ее именем и званием.

Мой отец, еврей по национальности, говорил с сильным эдинбургским акцентом: в этом городе — в семье шотландских евреев — он родился и вырос[2]. Его можно было не стыдиться: он одевался так же, как другие отцы, так же произносил слова, рассуждал на общепринятые темы. По профессии он был инженером. <...>

Отпетые сорванцы играли в "Ты шотландский или англичанский?" — обвязывали камень веревкой и, раскручивая это орудие над головой, приставали к другим мальчишкам с вопросом: "Ты шотландский или англичанский?" Полагалось выпалить: "Англичанский" — и дать деру. Смысл игры состоял в погоне и последующей дуэли на веревках с камнями. Англичан среди играющих не было.

Существовал и другой вариант — когда спрашивали: "Ты шотландский или ирландский?" Оба эти вопроса восходят к тем временам и событиям, которые Вордсворт назвал "черными днями былых невзгод" и "битвами прежних дней"[3].

В одних старинных мемуарах ("Мэри Сомервилл"; издано дочерью мемуаристки Мартой Сомервилл в 1873 году) писательница сообщает, что ее мать маленькой девочкой в Шотландии, приблизительно в 1788 году, играла в "шотландцев и англичан", то был "налет на спорные земли, сиречь на границу между Шотландией и Англией, при котором противники пытались отнять друг у друга игрушки. Младших всегда принуждали быть англичанами, поскольку старшие девочки находили это для себя унизительным".

1. Имеется в виду Елизавета (1900–2002) — супруга короля Георга VI (1895–1952, годы правления 1936–1952).
2. Родителей писательницы звали Альберт и Сара Кэмберг. Спарк — ее фамилия по мужу.
3. Цитата из стихотворения Вордсворта "Одинокая жница" (перевод Игнатия Ивановского); под "невзгодами" и "битвами" подразумеваются времена вражды шотландцев с англичанами.

Если я оставляла кран в ванной незавернутым, мама говорила: "Закрой кран", а отец (если дословно переводить с шотландского диалекта) — "Закрой колодец".

Краны были "колодцами" и для наших богобоязненных соседей, и для сестры отца, моей тети Герти, которая одно время жила вместе с нами. Она бегала на свидания, нарядившись в темно-синий костюм с короткой юбкой и ярко-вишневую шляпу, плотно сидевшую на ее коротко остриженной, как повелевала мода, головке. Большинство своих поклонников она ни в грош не ставила и после свиданий делилась с нами своими язвительными, уморительно-смешными наблюдениями. Однажды, когда ее повели смотреть какое-то живописное место, тетушка воскликнула со своим характерным акцентом: "Какой пейза-шь-шь!", а кавалер пресерьезно заметил: "А-а, так вот как произносится это слово".

В нашем доме часто посмеивались над окружающими, и я лет четырехпяти переняла умение обращаться с посторонними учтиво, а потом, когда за ними закрывалась дверь, хихикать, если было над чем, или критиковать, если было за что. Иногда мы давали людям прозвища, под которыми они фигурировали в наших разговорах. Подобно другим воспоминаниям моего раннего детства, блестящим, как золотые слитки, эти прозвища не тускнеют в моей памяти, хотя я часто забываю, кем были их носители. Одна наша шапочная знакомая, которую мы с мамой иногда встречали на поле для гольфа, звалась Птичка-щебетунья. Эта женщина снимала квартиру у наших знакомых; хозяин дома уверял, что она "такая веселая, такая щебетунья". Но когда она, раздраженно взмахивая клюшкой, пыталась загнать мяч в лунку, вид у нее был мрачнее тучи. "Мы встретили Птичку-щебетунью", — со смехом доложила мать отцу, когда мы вернулись домой.

Мне подарили близнецовую кукольную коляску с двумя откидными пологами. Мои куклы, Куини и Рыжая Рози, восседали в ней лицом друг к другу. Помню, однажды я безо всякой на то причины вдруг разревелась и раскричалась. Тогда отец принес полотенце и стал вытирать щеки моим куклам, умоляя их не плакать. Этот спектакль так меня очаровал, что я утихомирилась; ясно помню свои чувства — интуитивную догадку, которая, знай я тогда подходящие слова, звучала бы так: "Не то чтобы я попалась на его уловку, но детский психолог он отменный!"

В театре я впервые побывала, видимо, в 1923 году, незадолго до того, как начала ходить в школу. Это было дневное представление в театре "Лисеум", определенно в выходной день, поскольку ни отец, ни тетя Герти не пошли на работу. Родители, оставив меня на попечение Герти, в лучезарном настроении отправились на скачки, а брата — он старше меня на пять лет — скорее всего, прихватили с собой. Точно помню, что мы с тетей Герти остались дома вдвоем. После ланча тетя, очень импозантная в своей вишневой шляпке и юбке выше колен, одела меня понаряднее и повела "слушать Флорри Форд".

Флорри Форд пела в варьете. Зал ломился от зрителей. Я еще никогда не бывала ни в таком большущем здании, ни в таком громадном зале: множество ярусов, уходящих в самую высь, и всюду, куда ни глянь, сидят люди. Занавес поднялся, и перед нами предстала пышногрудая мисс Форд в костюме, который в наше время назвали бы "боди": декольтированное трико, сплошь обшитое золотыми и медными блестками.

Зал встретил ее овацией. Звук аплодисментов был мне не в новинку: родители часто устраивали "музыкальные вечера" — мать играла на роя-

ле, аккомпанируя отцу или самой себе, и после каждой песни наши гости энергично хлопали. Но при всем честном народе стоять на сцене, которая с балкона показалась мне очень маленькой и далекой, — о, это было совсем другое дело, и я очень удивилась, как это Флорри Форд не робеет.

Однако мисс Форд держалась непринужденно, словно у себя дома. На сцене ненадолго появлялись еще какие-то люди, по большей части мужчины во фраках, но именно Флорри, вся в блестках, повелевала огромным залом. Она пела под аккомпанемент оркестра, а также танцевала. В моей памяти сохранился только один из номеров. Мисс Форд в своем переливающемся костюме полулежала у средней кулисы перед огромным радиоприемником с разноцветными светящимися лампами, почти не отличающимися от обыкновенных электрических лампочек. Ламповые приемники слыли тогда в наших краях верхом роскоши. Мой брат только что собрал детекторный приемник, состоявший из кристалла — маленького оплывшего сгустка какого-то блестящего металла — и проволоки, именовавшейся кошачий ус. Этот замысловатый, вселяющий благоговейный страх агрегат, если подключить к нему наушники за тридцать шиллингов и, осторожно поскребывая кошачьим усом по кристаллу, поймать сигнал, доносил до нас обрывочные, то и дело заглушаемые помехами передачи Би-би-си из Лондона. Приемник с таинственными лампами был нам пока не по средствам.

Нам — но не Флорри Форд. Приподнявшись на локте, она крутила ручки своего шикарного приемника и исполняла балладу "Давай помечтаем, папочка".

Домой мы с тетей Герти вернулись раньше, чем родители, и до их прихода со скачек успели накрыть на кухне стол для вечернего чаепития. Родители наперебой принялись вспоминать, какие лошади заняли призовые места, а какие, по выражению моего отца, "и посейчас еще скачут". Ну, а мы как провели день?

"Мы ходили на Флорри Форд", — сообщила тетя Герти, и родителей это почему-то так развеселило, что тетя с почти детским изумлением оглянулась на меня. Папа с мамой неудержимо хохотали. "Герти повела ее на Флорри Форд", — с трудом выговорила мама, задыхаясь от смеха. "Животики себе надорвут", — пробормотала тетя.

Отчего они стояли и смеялись посреди кухни, опираясь друг на друга, чтобы не упасть, я так и не поняла. И не пойму уже никогда.

Миссис Рул, *макрельщица* Джин и Кайзер

Сколько себя помню, я всегда жадно интересовалась тем, как люди себя ведут. Я была зорким наблюдателем, настоящим психологом-бихевиористом. Обожала слушать чужие разговоры. В нашу маленькую квартирку постоянно захаживали друзья родителей, просто знакомые, соседи. Посетителей было не счесть. Имена и лица из тех дошкольных лет врезались в мою память глубоко — глубже, чем все, кого я узнала в последующие годы.

Особенно я выделяла миссис Рул и ее мужа, профессора Рула. Это была молодая пара, приехавшая из Америки; мистер Рул, уроженец Новой Зеландии, уже имел сан пастора пресвитерианской церкви, но про-

должал изучать теологию в Эдинбургском университете. Некоторое время они прожили у нас; именно тогда в местном родильном доме появился на свет их прелестный малыш. Я, привстав на цыпочки, заглядывала в колыбельку полюбоваться на это чудо. Мою маму приятно поразило, что профессор Рул сам стирал пеленки. Помню миссис Рул с ямочками на щеках, сидящую у камина; в руках у нее очень занятные карточки: изнанка красная, на лицевой стороне — буквы. По этим карточкам она научила меня читать, воодушевляемая Эндрю К. Рулом, доктором богословия (эту подробность я выяснила, когда мне стало по силам разбирать его имя на конвертах). Мне тогда шел четвертый год. Итак, я обучилась грамоте рано; впрочем, в тогдашнем Эдинбурге никто не удивлялся, если дети начинали бегло читать и писать, не достигнув пятилетнего возраста. Отблески огня плясали на лице и руках миссис Рул, на бороде профессора Рула, в чаще которой скрывалась улыбка, на азбучных карточках, разложенных передо мной на подносе; я сидела перед камином на низком пуфике, а миссис Рул вещала: "*Ш* и *ч* вместе читаются *щ*". Потом Рулы вернулись в Америку, а драгоценные карточки остались мне на память. <...>

Я знала все о каждом, кто писал моим родителям письма или приходил в гости. Квартира была тесная, а мама никогда не отказывала себе в удовольствии высказываться вслух, обо всем что бы ни происходило. Я обожала, когда в дверь звонили.

Было у меня и еще одно удовольствие — ходить с мамой в гости. Чтобы занять детей, ничего не предпринималось — нас просто всюду таскали с собой, требуя, чтобы мы сидели тихо и не докучали старшим. Не всем моим сверстникам это нравилось, но для меня было величайшим наслаждением: я любила взрослые разговоры. Я не только отлично ориентировалась в нескончаемом списке действующих лиц, наводнявших нашу жизнь (большинство из них меня даже не замечало), — но помнила и множество других, фигурировавших в чужих рассказах. Часто я сталкивалась с людьми, которым довелось соприкоснуться с событиями воистину историческими.

Таким человеком была миссис Липетц. Я сознавала, что она очень стара. Каждый день после обеда она усаживалась в эркере в бельэтаже своей квартиры. Миссис Липетц родилась в Эльзас-Лотарингии, но говорила без акцента. Однажды, когда мы были у нее в гостях, она рассказала о своем детстве: как после франко-прусской войны в их школу приехал кайзер и дети побежали прятать свои французские учебники. Надо думать, это было в 1871 году, после Франкфуртского мирного договора. Поначалу я путала этого кайзера с другим, его внуком, о котором еще толковали все вокруг: "Великая война" закончилась лишь несколько лет назад. Но потом мне объяснили, что кайзер миссис Липетц умер.

Другой живой легендой, которую я не застала, чуть-чуть опоздав родиться, была Макрельщица Джин, о которой часто вспоминали мой отец и его друзья. Джин поражала воображение не тем, что торговала рыбой на эдинбургских улицах, громогласно расхваливая свой товар, — так поступали и другие жительницы зажиточного рыбацкого поселка Ньюхейвен. Но она делала свое дело с немыслимым шиком. Рыбу она развозила на телеге, козлы которой пришлось специально расширить по размеру ее исполинского корпуса; пальцы Макрельщицы Джин были

сплошь унизаны массивными брильянтовыми кольцами; отпуская товар, она гордо запускала сверкающие руки в бочонок с серебристой сельдью и макрелью.

Только понаслышке знала я и Эммелину Панкхерст[1], возглавлявшую движение за женскую эмансипацию и прежде всего — за предоставление женщинам избирательного права. Моя бабушка с материнской стороны, Аделаида Юззелл, принадлежавшая к Уотфордскому отделению движения суфражисток (как они сами себя называли), участвовала вместе с миссис Панкхерст в манифестациях. Все женщины являлись с зонтиками в руках. Бабушка рассказывала мне об этих событиях, когда я была еще совсем мала. Да, с миссис Панкхерст я познакомиться опоздала, мне оставалось лишь воображать себе эти сцены.

Мертвы, оба мертвы, кайзер миссис Липетц и Макрельщица Джин моего отца; умерли, и я не успела увидеть их даже мельком. И бабушкину миссис Панкхерст я знала только по чужим рассказам. В этом была некая непостижимая тайна. <...>

Соседи

Встретив на улице знакомого, вы либо останавливались с ним поговорить, либо, на ходу перебросившись замечаниями о погоде, шли своей дорогой. Если погода была хорошая, учтивые люди говорили: "Доброе утро, миссис N. Прекрасный сегодня день". Если же шел дождь или снег либо дул неистовый северный ветер, вы, не задерживаясь, произносили: "Доброе утро, миссис N. Погода по сезону". Запросто, по имени, друг к другу не обращались никогда.

На первом этаже многоквартирного дома по соседству с нашим находилась ювелирная лавка. Хозяева, семейство Пейдж, проживали при лавке, в задних комнатах. По воскресеньям с утра мистер Пейдж отправлялся на Маунд (эдинбургский аналог Уголка ораторов в Гайд-парке), влезал на принесенный с собой ящик и проповедовал то ли библейские истины, то ли свой взгляд на них. По воскресеньям на Маунде всякому дозволялось — и дозволяется доселе — публично высказывать свое мнение по любому вопросу (обычно толкуют на политические или религиозные темы), лишь бы его речи не были непристойными или подстрекательскими в широком смысле слова. После обеда, выполнив свой долг, рыжеволосый мистер Пейдж выезжал за город на своем мотоцикле с коляской. Его рыжеволосый сын Джеймс, школьник, забирался на заднее сиденье, а миссис Пейдж устраивалась в коляске, усадив на колени их маленькую дочку Изабел. Мы с братом оба были рыжие, и я ничуть не дивилась тому, что у нас рыжие соседи. В Шотландии всегда было сравнительно много рыжеволосых.

Изабел, моя ровесница, стала моей первой подругой. Окна наших квартир выходили как на улицу, так и на красивый зеленый лужок за домами, в просторном внутреннем дворе. Там-то мы и могли играть в полной безопасности под бдительным оком мам, следивших за нами из

1. Эммелина Панкхерст (1858–1928) в 1903 г. основала в Великобритании "Женский социальный и политический союз"; в 1905-м суфражистки под ее руководством перешли к активным действиям.

окон. Мы с Изабел играли в куклы, ставили некое подобие палатки или копали яму до самой Австралии, пока нас не звали пить чай. В Шотландии летние дни долги. Погода не всегда позволяла нам играть на воздухе, но в ясные дни солнце не закатывалось, казалось, целую вечность. Иногда случалось чудо: миссис Керр, наша соседка сверху, часа в три пополудни открывала окно и спускала нам на веревке корзинку с угощением. Не помню уж, в чем оно состояло, но мы неизменно ликовали и съедали все до крошки.

Миссис Керр была намного старше моей матери. Ее дочери Моди было тогда уже за двадцать. Она брала уроки пения. Служила Моди в каком-то государственном учреждении, но стремилась к сценической карьере, что подтверждали рулады, ежевечерне доносившиеся с верхнего этажа. На шум мы никогда не сетовали, даже в разговорах между собой: талант Моди признавался всеми безоговорочно. О том, как дочь совершенствует свою вокальную технику, миссис Керр повествовала эпическим тоном, призванным вселить в нас благоговейный трепет, и мы действительно благоговели. Златокудрая, голубоглазая Моди должна была участвовать в концерте: "Естественно, ей нужно есть печенку — ради голоса". Были заказаны огромные букеты цветов для торжественного вручения на сцене. "Так делают все, — пояснила миссис Керр. — Все певцы покупают букеты на собственные деньги и договариваются, чтобы их выносили на сцену".

Внизу, по правую руку от двери нашего подъезда, находилась кондитерская мисс Моррисон. За прилавком на специальном помосте величественно стояла сама хозяйка, казавшаяся очень высокой. Если доводилось прийти туда без мамы и попросить шоколадного драже или лакричных леденцов на пенни, мисс Моррисон дотошно выспрашивала, откуда у тебя эти деньги, кто их дал; а затем вопрошала, знает ли твоя мама, что ты хочешь потратить зажатую у тебя в кулачке монетку на сласти. Только удостоверившись в том, что эти и прочие основополагающие нормы морали не поколеблены, она снимала с полки банку с леденцами и отмеряла нужную порцию; а напоследок настоятельно советовала, чтобы мы немедленно шли с покупкой домой, а не проглатывали все в один миг, едва выйдя из лавки. По общему мнению, родители не должны были ссужать маленьких детей деньгами на всякое баловство — это, мол, дурной тон. <...>

Большой магазин тканей на той стороне улицы привлекал меня пневматическим трубопроводом. По трубам, прикрепленным к потолку, путешествовали специальные контейнеры с деньгами — достигали кассы и возвращались назад со сдачей. Мы вручали продавщице деньги. Она заворачивала их в чек, помещала в один из яйцевидных сосудов, качавшихся на проволоке у нее над головой, и, стремительно подпрыгнув, он исчезал в трубе. По его возвращении звенел звонок, и продавщица, привстав на цыпочки, доставала яичко с нашей сдачей. Я обожала смотреть, как эти контейнеры носятся туда-сюда между отделами и застекленной кассой. <...>

Прямо за углом, во Вьюфорте, жила Найта Макъюен, чрезвычайно похожая на меня внешне. Когда я впервые ее увидела, она уже училась в первом классе школы имени Джеймса Гиллеспи. Она шла с родителями,

держа их за руки. Точно так же, между своими родителями, шла в тот момент и я, только я еще не была школьницей. Моя мать подметила, что мы с этой девочкой — как две капли воды; должно быть, отец или мать Найты сказали ей то же самое. Я обернулась посмотреть и увидела, что девочка тоже обернулась и глядит на меня. У меня тревожно екнуло сердце, сама не знаю отчего — наверно, из-за того, что она была так на меня похожа. Ее имени я еще не знала. Позднее, в школе, хотя Найта училась на класс старше и мы никогда не играли вместе, на наше внешнее сходство часто обращали внимание. Волосы у нее были чуть рыжее моих. Спустя много лет, когда мне был двадцать один год, я повстречалась с Найтой Макъюен в Южной Родезии (ныне Зимбабве). Оказалось, что мы живем в одном пансионе. Там наше сходство также вызвало много разговоров. Однажды ночью муж Найты застрелил ее и застрелился сам. Я услышала два звонких девичьих вскрика. Затем грохнул выстрел, и еще немного погодя — второй. Эта история легла в основу моего рассказа "Пиф-паф, готово!"

Мифы и образы былого

Думаю, я была очень мала, когда, прежде чем съесть свою порцию, с помощью вилки превращала ее в пейзаж со вспаханными полями и канавами. Но я отлично это помню. Мне нравилось, чтобы на одной тарелке были зеленый шпинат, желтый турнепс, картофельное пюре и мелко нарубленное бурое мясо — для полной гаммы. Вилка вспахивала поля, проводя борозды, а места, где просвечивало дно тарелки, становились реками и озерами. Так мне было интереснее: обед становился разносторонним удовольствием, точно его готовили по правилам "nouvelle cuisine"[1].

Иногда темнота заставала нас с родителями вне дома. Вероятно, такое случалось по субботам, когда отец не ходил на работу. Зимой смеркалось в четвертом часу пополудни. Домой мы возвращались на трамвае; сквозь стекло я видела городские огни, образующие узоры на горизонте. Если мы шли пешком, я иногда уставала, и остаток пути отец нес меня на руках; тогда огни города качались вверх-вниз на фоне темно-синего неба.

На главных улицах Эдинбурга электрическое освещение появилось задолго до моего рождения, но у нас на Брантсфилд-плейс фонари попрежнему оставались газовыми. Правда, со времен воспетого Стивенсоном фонарщика —

> Мой чай почти готов. Погас свет солнечный в квартире.
> И время подойти к окну, чтобы увидеть Лири.
> Он с лестницей и фонарем приходит к нам на улицу,
> Смешно хромает и ворчит и, как всегда, сутулится[2] —

мы несколько цивилизовались: наши газовые фонари были оборудованы запальными горелками, и фонарщик, приступавший к своим обязан-

1. "Новая кухня" (*франц.*) — подход к кулинарии, разработанный во Франции в 70-х гг. XX в., главный принцип которого — эстетичный вид блюда, услаждающий не только вкусовые рецепторы, но и глаз.
2. Перевод М. Ганина.

ностям в сумерках, ловко включал их прямо с мостовой, орудуя длинным шестом. Обычно я, подобно Стивенсону, заранее усаживалась у окна в ожидании этого действа; спустя несколько лет, когда у меня появилась его книга "Детский цветник стихов", я ощутила духовное родство с этим давно умершим писателем: мы выросли в одном городе, у нас было столько общих впечатлений! Воспетые Стивенсоном "холмы родины": Брейд-хиллз, Пентленд-хиллз, Блэкфорд-хилл и одноименный пруд — все это было с детства знакомо и мне.

В дошкольные годы меня одевали не так, как других девочек. Мама и тетя Герти вязали мне платья из шелковой и шерстяной пряжи разных цветов: темно-синей, бронзовой, оттенка "старого золота". Выходное платье у меня было простого фасона, связанное из белого шелка "перышками". По торжественным случаям многих девочек наряжали в платья, похожие на балетные пачки. Мальчики обычно носили килты. В гости мы все являлись со сменной обувью в специальном мешочке и в прихожей переобувались — я поступаю так и доныне. Мама мигом преображала мои домашние туфельки в бальные, прилепив к ним розетки из розового сургуча. Гостей собирали на Рождество или на дни рождения. В те времена Рождество было в Шотландии праздником преимущественно детским. Многие магазины, конторы и фабрики в рождественский день работали; главным праздником был Новый год. В Хогманэй — новогоднюю ночь — визиты друзьям наносили сразу после двенадцати часов, чтобы, в соответствии с обычаем, стать первыми гостями в наступившем году. Хорошей приметой считалось, если порог вашего дома первым переступал брюнет.

На Хэллоуин — 31 октября — дети с вымазанными сажей лицами, в фантастических нарядах ходили по домам и выпрашивали мелкие деньги: "Пожалуйста, помогите гисарам" ("гисары" значит "ряженые").

Что касается Рождества, то в Эдинбург уже пришел английский обычай вывешивать на ночь чулки, и я честно вешала у камина свой. Мой брат Филип, более предприимчивый, вешал наволочку. У брата были умелые руки, и он часто делал для меня бумажные игрушки. В мой чулок они не вмещались — он просто раскладывал их в изножье моей кровати.

В гостях подарки раздавал Санти, одетый в свою традиционную униформу и говоривший с сильным шотландским акцентом (нас он называл ребятками). Насколько мне помнится, я лишь единожды осталась недовольна подарком из мешка Санти. То была религиозная, определенно кальвинистская книжка с картинками, где рассказывалось о Младенце Иисусе и о страшной участи детей, чье поведение не укладывается в надлежащие рамки. Когда я пришла с подарком домой, мама заявила, что хозяйка — дура набитая: как можно дарить такое детям! Эти слова уничтожили последние остатки моей веры в реальность Санти.

Помню себя в гостях у Фрэнсис Нивен, моей одноклассницы, с которой мы много лет дружили. Тогда мы были еще совсем малы. Со временем я полюбила ее дом на Говард-плейс — кстати, в соседнем здании родился Роберт Луис Стивенсон. В тот запомнившийся мне вечер хозяева усадили собравшихся детей — нас было примерно два десятка — за длинный стол в просторной, празднично украшенной кладовой, примыкавшей к кухне. Нам подали апельсиновый мусс, сервированный очень изящно: в чашечках из кожуры половинок апельсинов. Сзади стояли мать Фрэнсис и ее тетя, а также другие взрослые. Кто-то из них ска-

зал: "Вы только поглядите, как уплетают!" Мне показалось, что эту фразу расслышала я одна. И несмотря на то, что повод был глупейший, я страшно оскорбилась, хотя и не подала виду. "Как нехорошо так говорить", — подумала я и отложила ложку, совершенно охладев к вкуснейшему лакомству. Вероятно, я рассудила, что по поводу взрослых гостей никто не позволил бы себе такого унизительного замечания. К счастью, никто не заметил, что я перестала есть.

Когда наступало время возвращаться из гостей домой, за мной приходила мама. В те годы она уже коротко стригла свои черные волосы. Мама пудрилась и румянила щеки. Пудра была фирмы "Коти". Тон назывался "рашель". Карминные румяна покупались в аптеке на вес, мизерными порциями: щепотку красного порошка, стоившую два пенса, высыпали на листок белой бумаги, который складывали вчетверо. Среди чопорных шотландок, приходивших за моими подругами, моя мать определенно выглядела чужестранкой. Видимо, в ту пору меня тоже подстригли, как и многих других девочек: помню, меня спрашивали: "А где твои кудряшки?"

Какие только картины не всплывают в памяти... Отец умел, раскурив сигарету, пускать дым колечками, умел делать из салфеток кроликов и отбрасывать на стену тень, похожую на силуэт королевы Виктории. По его карманным часам я научилась узнавать время.

"Уголь!" — каждое утро слышалось с улицы; при необходимости мать окликала угольщика из окна, его лошадь замирала, и фургон с каким-то щелкающим звуком останавливался. И вот уже по лестнице с громким топотом поднимался черный — точно он и сам весь из угля! — человек с мешком, где было больше центнера[1], и ссыпал груз в специальный погреб, пристроенный к нашей квартире. "Центнер" — само слово звучало увесисто! Мы топили углем камины и грели на нем воду. Не раз в нашей трубе загоралась сажа, и отцу приходилось платить штраф. Иногда приходили трубочисты, еще чумазее угольщиков. Работали они вдвоем, обмениваясь странным кличем "оу-ух". Один прочищал дымоход внутри дома, а другой — со стороны крыши.

"Тряпки, бутылки, кости! Тряпье берем!" — вот еще один крик, долетавший с мостовой до наших окон. Зачем ему кости, напряженно размышляла я и размышляю до сих пор. Какие еще кости? *Чьи* кости? Лошади у тряпичника не было. Он сам толкал свою тележку, на которой громоздились старые картонные коробки, поломанные стулья, чайники, жестянки.

Моя мать придавала огромное значение предчувствиям и суевериям. Она никогда не носила зеленое. Я-то знала: это блажь, поскольку видела совершенно счастливых людей в зеленой одежде. Ее паническая боязнь грома и молнии мне тоже не передалась. В грозу она пряталась со мной в комнате с зашторенными окнами, крепко прижимая меня к себе, но на каникулах у моря — в Крэйле, что в графстве Файф, — я в непогоду обязательно спускалась вприпрыжку на замечательный тамошний пляж — поглазеть, как грозы движутся над Северным морем, подступая все ближе.

1. Имеется в виду английский центнер, равный 50,8 кг.

Мама считала, что класть обувь на стол — к несчастью. Но кто, собственно, кладет обувь на стол? Скрещенные нож и вилка — дурной знак. Увидев молодую луну, мама тут же, ничуть не стесняясь посторонних, трижды ей кланялась и переворачивала все купюры и монеты в своем кошельке на другую сторону. (Я и сама доселе это проделываю. Правда, для меня это лишь развлечение, но обычай я все-таки соблюдаю!) И мама, и ее мать любили вставлять в свою речь пословицы.

Моя бабушка: "Коль каркает курица, а женщина свищет, ни Бог, ни муж в них толку не сыщет"[1].

Моя мать: "Раньше семи утра засмеешься — раньше одиннадцати зарыдаешь" и "Сын для матушки сын, пока не женится, дочь для матушки дочь, пока в землю не ляжет" (мрачное предостережение мне).

Также часто повторялось: "Чтоб увидеть душу, загляни в глаза". (У самой мамы были прелестные карие глаза.)

Отец предпочитал менее глубокомысленные прибаутки в стиле мюзик-холла. Если в общем разговоре вдруг возникала пауза, он произносил что-нибудь вроде: "Если такая погода и дальше продержится, она не переменится". Выходя на прогулку, заявлял: "Возьмите, сударь, меня под ручку, зовите, сударь, меня Люси". Был еще загадочный человек, которого отец окрестил мистер Бумшток. Главная особенность мистера Бумштока состояла в том, что вообще-то его не существовало, — а потому ему можно было приписать самые разнообразные деяния. У отца были коронные танцевальные номера. Один из них, в народном стиле, он исполнял, придерживая брюки на коленях, как девушка — подол длинной юбки.

Он водил маму на танцы, облачившись в вечерний костюм, белый шарф и лайковые перчатки. Перчаток он не снимал, как мне говорили, и во время танца — так было принято. Мамино выходное платье — белое, с асимметричным подолом, обшитое стеклярусом, — превращало ее в кубышку, но вызывало горячее одобрение тети Герти.

Посреди ночи меня разбудили и потащили к окнам, выходившим во двор, — посмотреть фейерверк на лужайке. "Тысяча девятьсот двадцать второй год!" — сказала мама. Мне налили чуть-чуть теплого портвейна.

Я заболела корью. Увидела в зеркало свое лицо — все в красных точечках. Пришел доктор Тэчер в неизменной визитке, полосатых брюках и цилиндре. Цилиндр он положил тульей вниз на кровать. Мама держалась поодаль, хлопоча насчет чистого полотенца и тазика с водой — должен же доктор вымыть руки — и совсем не беспокоясь обо мне. Мимо дома неслись, дребезжа, трамваи; доктор Тэчер, морщась от шума, заставлял меня сказать "А-а-а". Доктор знал о легендарном нервном срыве, случившемся у моей матери за несколько лет до моего рождения. Она все еще гордилась тонкостью своей нервной организации: не могла оставаться дома в одиночестве — ее одолевал страх. Но на улицу выходить одна могла. Я воспринимала эту ее особенность хладнокровно, как должное: так уж жизнь устроена.

В наше повседневное существование были вплетены и другие истории и легенды о тех временах, когда меня еще не было на свете. Мой отец, младший из одиннадцати детей в семье, четырнадцати лет убежал

1. См.: Мюриэл Спарк. Memento mori. Перевод В. Муравьева. Мюриэл Спарк. Избранное. — М.: Радуга, 1984.

из дома и пробрался на корабль. Страдая от качки, он добрался до Киркуолла на Оркнейских островах, где его ссадили на берег и отправили в местный полицейский участок, а затем передали на руки его отцу, подоспевшему из Эдинбурга. Была еще история его помолвки с мамой, произошедшая в отдаленном прошлом — должно быть, в 1909-м: на какое-то время помолвка была расторгнута по настоянию тети Сары, родственницы моей матери; эта достойная дама узнала, что мой отец подарил невесте пару перчаток. На мужчину, дарившего незамужней девушке "предмет одежды", смотрели с немым ужасом. Это был конец света. Не знаю уж, как там уладили дело с помолвкой. Но конец света — Великая война — действительно случился и успел миновать, прежде чем я, четырехлетняя, услышала эту историю, вызывавшую теперь лишь смех. Мое рождение совпало со стремительными общественными переменами.

Бабушку и деда с отцовской стороны я не застала. В семье их называли "папа" и "бедняжка мама". Рассказывали, что у "бедняжки мамы" волосы были такие длинные, что она могла на них сидеть, и что она целыми днями читала у окна Библию. Так я ее себе и представляла: как она сидит у окна с Библией в руках, подложив под себя собственные волосы.

Дверной колокольчик

Как я любила его звон! Днем он возвещал о появлении подруг моей матери либо, в исключительных случаях, моих замужних тетушек по отцу. Вечером в дверь звонили более занимательные друзья семьи: многие из них были весьма эксцентричны и вызывали у меня огромный интерес.

Всего несколько месяцев назад я получила письмо от одного друга моих родителей, американца Джея Снайдера, который в описываемый период был студентом-медиком. Снайдеру запомнилось (речь идет далеко не о самом раннем моем детстве), что я была очень застенчива: все время удирала и пряталась под стол. Полагаю, так и было: под столом, покрытым длинной скатертью, ребенку очень удобно затаиться и подслушивать. Однако сама я, хоть режьте, этого не помню. Безусловно, в ранние годы жизни я была стеснительна, как и большинство детей той эпохи. Всем нам внушали, что выпячивать свое "я" нехорошо, и если только нас не просили прочесть стихотворение, сыграть музыкальную пьеску или спеть, мы рта не раскрывали.

На лестничной площадке имелся специальный механизм, казавшийся волшебным, — эдакий "сезам", с помощью которого мы, не спускаясь вниз, отворяли дверь подъезда гостям. Пока я не пошла в школу, люди были для меня намного важнее, чем игрушки или природа. Я уже начинала входить во вкус прогулок в холмах или у моря благодаря тому, что упивалась ароматами и чувством полнейшей свободы, а также благодаря стихам — ярким поэтическим образам; но покамест природа не доставляла мне такой незамутненной радости, как люди.

"Сезам" часто впускал только голос, окликавший снизу: лестница заворачивала за угол, и посетителя поначалу не было видно. Но вот перед нами, словно выходя из-за кулис на сцену, появлялся кто-нибудь из нижеописываемых: мисс Прайд, с маленьким личиком, покрытым красной сеткой сосудов, одетая в чистенькое коричневое пальто и коричневую шляпку, в бежевых перчатках и бежевых же шерстяных чулках. Ума не

приложу, что связывало ее с моими родителями, на чем зиждилась их дружба. Она была не чета ни тете Герти, которая вместе с мамой отплясывала на кухонном линолеуме чарльстон, ни рослой, белокурой, ласковой Фанни Пейген, которая приходила мыть полы. В то время Фанни была замужем за шофером автобуса, позднее овдовела, удачно вышла замуж вновь, потом еще раз овдовела и, по-прежнему красивая, водила дружбу с моим отцом; а в итоге после его смерти сделалась лучшей подругой моей матери. Милая Фанни Пейген! В те годы до всего этого было еще далеко, но и тогда Фанни резко отличалась от мисс Прайд, типичной женщины той эпохи. Я это прекрасно понимала, наблюдая, как мисс Прайд чинно пьет чай и с преувеличенной четкостью выговаривает слова. <...>

Была также мисс Макдоналд, птица более высокого полета, чем мисс Прайд, но за ее спиной шушукались: "Мисс Макдоналд немного не в себе". Наверно, мои родители привечали ее из жалости. Едва она заговаривала — все равно, о чем, — из глаз у нее начинали струиться слезы, стекавшие прямо в чашку с чаем. Унять плач хоть на миг ей было не под силу. Она вела судебную тяжбу с человеком, который выдвинул против нее ложные обвинения. Ее брат, юрист, исчерпал все свои возможности. Мисс Макдоналд злоупотребляла выражением "как говорится": "Мой брат, как говорится, уже не в состоянии, как говорится, ничего предпринять, как говорится..."

Намного менее загадочной и гораздо более близкой приятельницей семьи была Белла Майерс, веселая, широкобедрая. Все недоумевали, отчего она так и не вышла замуж — разве что потому, что ее сестра была красивее. Белла приносила на хвосте истории из жизни конторы, где работала, рассуждала о певцах, без умолку сплетничала. Моего присутствия она почти не замечала, что мне было только на руку. <...>

Визит королевской четы

Однажды я, как-то ненароком, узнала, что дети могут рождаться и вне брака. В Эдинбург с официальным визитом прибыли Его Величество Король (Георг V[1]) и королева Мария. По случаю этого грандиозного события наша приятельница миссис Харди — бойкая дама, которой в то время было девяносто лет, — договорилась, что нам оставят места на балконе одного изысканного магазина на Принсес-стрит, да еще и в первом ряду. Я сидела между мамой и миссис Харди. Последняя, по своему обыкновению, держалась очень прямо. Вдоль всей Принсес-стрит, куда ни глянь, развевались флаги. Погода была чудесная, солнечная. И вот появилась королевская процессия: экипажи, лошади. Колыхание плюмажей. Килты, волынки. В первом экипаже, сопровождаемый великолепными кавалеристами, ехал господин с бородкой клинышком, одетый в мундир и треуголку.

"Полицейский эскорт, — прошептала мама. — Главный констебль[2] Росс".

Тут миссис Харди, перегнувшись через меня, коснулась маминой руки. "Это короля Эдуарда сынок", — произнесла она. Как водится у взрос-

1. Георг V — король Великобритании (1865–1936; годы правления 1910–1936).
2. Главный констебль — начальник полиции графства или города.

лых, она и не подозревала, что ребенок может понять смысл ее слов. Вначале, правда, я не сообразила, в чем тут дело, хотя и знала, что король Эдуард[1] – отец нынешнего. Но тут же меня осенило: господин в следующем экипаже был почти неотличим от главного констебля Росса. Шляпа с плюмажем, сверкающий золотом мундир, бородка клинышком... Легко было обознаться и подумать, что это опять главный констебль едет, но сидящая рядом белолицая, румяная королева Мария в неизменной шляпке-токе и приветственно поднятая рука свидетельствовали: перед нами король Георг V, другой сынок короля Эдуарда. Вывод напрашивался сам собой. Я изумилась, как чудно́ устроена жизнь, а миссис Харди тем временем объясняла моей матери, что прекрасный цвет лица королевы Марии – "это все белила".

1923-й

Мои дяди, тети и кузены составляли особый, отдельный от нашего мир. Семья моей матери, Юззеллы, жила в Уотфорде, куда мы ездили на лето. Там обитали и мои дед и бабка с материнской стороны. Они держали магазин, где торговали разнообразными товарами, и в том же здании – над магазином и в задней части нижнего этажа – жили; однако места хватало нам всем. Обычно в первую половину сентября мы отправлялись в Уотфорд на пыхтящем и лязгающем ночном поезде, делая пересадку в Лондоне. <...>

Что касается моих эдинбургских дядьев и теток, то мои яркие воспоминания о них относятся к более позднему периоду моего детства. Дело в том, что они почти не заглядывали к нам запросто. Мы наносили визиты родственникам и делали ответные лишь в надлежащих случаях. Если же мои тетушки Рэй или Эстер вдруг заявлялись в наш дом без предупреждения, мама не знала, что и поделать. Рэй была помешана на чистом воздухе. Уверяя, что у нас душно, она требовала распахнуть настежь все окна. Тетя Рэй была галломанка: "Совсем как у французов!" – восклицала она в знак высшей похвалы. Эстер, старшая из сестер отца, была благочестивой, если не фанатичной иудейкой, и моя мать вечно спешила скрыть от нее все улики того, что на ужин будут запретные деликатесы вроде ветчины, бекона или свиных сарделек. Но тетя Эстер живо интересовалась тем, что я читала и сочиняла. За это я ее очень любила.

В сентябре 1923 года я пошла в школу. Учебники купили загодя. Все лето я жадно читала свою первую школьную хрестоматию; до сих пор перед моим мысленным взором стоят ее пасторальные иллюстрации (ибо среди героев этих книг для чтения никогда не было городских жителей). Кроме хрестоматии, я обзавелась пеналом и несколькими тетрадями, от которых исходил упоительный запах новизны. У меня имелись уличные туфли на шнурках, а также мои обычные домашние туфли с перемычкой, которая застегивалась на крючок. Была также черная велюровая шляпа, перетянутая красно-желтой лентой, с нашивкой "JGS", что означало "James Gillespie's School" – "Школа Джеймса Гиллеспи". На кармане моего темно-бордового блейзера имелась еще одна нашив-

1. Эдуард VII – король Великобритании (1841–1910; годы правления 1901–1910), его любовные похождения вызвали много пересудов.

ка — стоящий на задних лапах желтый единорог с подписью "Fidelis et Fortis" — девизом школы. Родители выяснили, что это значило "Верный и сильный". Какие мы все были умницы!

Не знаю, в каком возрасте, но еще до школы я стала обращать внимание на нищих: мужчин или женщин, иногда сопровождаемых детьми, которые приходили к нам во двор и пели. Когда мама сказала мне, что они голодны, у меня на глаза навернулись слезы. Обычно мама заворачивала мелкую монету в обрывок газеты и бросала нищим. Так же поступали и некоторые наши соседи. Качество исполнения — хорошо ли поют — никто не комментировал: это явно не имело отношения к делу. То была одна из примет тяжелого экономического положения после Первой мировой войны. Вернувшиеся с фронта солдаты не могли найти работу; социальные службы были бессильны. Однажды зимним вечером я видела, как мальчик лет семи — босой, в тонком пальтишке на голое тело — торговал газетами на Толл-кросс. Моя мать пришла в ужас. Эти дети в большинстве своем были обречены на смерть от туберкулеза. Говорили — думаю, так оно и обстояло на самом деле, — что их родители пропивают все до последнего пенса, включая заработки детей. Проходя по улицам, мы видели около зловонных пабов стайки детей, поджидавших старших. Обстоятельства скорее ограждали меня от таких зрелищ, но еще в дошкольные годы я ясно осознавала, как трудно живется многим. Безусловно, мы жили бедно, но были люди намного беднее нас, совсем неимущие, и, сознавая это, я крепко сжимала надежные руки родителей.

Иногда я сравниваю свое раннее детство с детством друзей, которые росли в роскошных домах с прислугой и с самого младенчества находились на попечении нянек. Как мне представляется, их дошкольные годы были гораздо менее насыщенными, чем мои: я столько людей видела, так много нового и поразительного узнавала! Меня не изолировали от светской жизни взрослых: не тетешкались со мной в уютной детской, не гуляли со мной ежедневно "вдали от обезумевшей толпы". Что бы у нас ни случалось, все происходило на моих глазах. По изобилию впечатлений эта ранняя пора не сравнится ни с какой другой. И вот, пятилетняя, тщательно подготовленная и досконально проинструктированная, я пошла в школу.

Глава вторая

В XVI–XIX веках добропорядочные состоятельные эдинбургцы, в первую очередь купцы, наперебой завещали свои капиталы на учреждение новых школ практически во всех районах города. Образование было в большом почете, и шотландцы считали его привилегией, которая должна распространяться на каждого. Школы эти стоят и функционируют и по сей день. Лишь немногие из них переменили статус или переехали в другие здания.

"Хериот скул", основанная Джорджем Хериотом (он же Звонкий Джорджи), процветает по-прежнему. Звонкий Джорджи, золотых дел мастер, ссужал деньгами самого Якова VI Шотландского (правившего также Англией под именем Якова I). Мэри Эрскин, вдова "Джеймса Хейра, аптекаря", оставила все состояние школе для девочек, которая от-

крылась в 1707 году и получила имя жертвовательницы. На деньги, завещанные издателем Джеймсом Доналдсоном (его деятельность пришлась на рубеж XVIII–XIX веков), ныне содержится школа для глухих детей "Доналдсонс хоспител". А достопочтенный Эндрю Карнеги[1], известный нам всем своими пожертвованиями на университеты и библиотеки, происходил из семьи рабочего ткацкой фабрики в Данфермлине, что неподалеку от Эдинбурга. По завещанию Карнеги проценты с его солидных банковских вкладов поступали, среди прочего, в бюджет школы и библиотеки в Данфермлине, а также многих шотландских университетов, включая Эдинбургский (ректором которого был сам Карнеги).

Когда в 1797 году скончался Джеймс Гиллеспи, торговец нюхательным табаком, часть его капитала пошла на школу для мальчиков и девочек – ту самую, где мне посчастливилось учиться. Благодаря дару Гиллеспи семьи вроде нашей – ограниченные в средствах, но мечтающие вывести детей в люди – могли при посильных тратах давать отпрыскам хорошее образование. Когда в возрасте пяти лет я стала школьницей, у нас в классе были и мальчики, но спустя несколько лет наше учебное заведение было преобразовано в "Школу высшей ступени для девочек имени Джеймса Гиллеспи". Она и доныне входит в число известнейших средних школ Эдинбурга.

В "Школе Джеймса Гиллеспи" я провела двенадцать лет – решающий период в формировании моей личности, во многом самый благотворный для меня как для писателя.

В стенах школы мы получали среднее образование, восходя по ступеням от подготовительного класса до выпускного. Нам постоянно, вновь и вновь, рассказывали о жизненном пути несравненного мистера Гиллеспи, прижимистого, но добросердечного холостяка. Ежегодно в День учредителя, отмечаемый в одну из пятниц июня, вся школа собиралась на торжественную церемонию, которая, если верить моим самым ранним воспоминаниям, начиналась с "Отче наш", а заканчивалась очень потешно: выстроившись на помосте, учителя, к немалому веселью учениц, нюхали табак в память о деле, которому посвятил себя почтенный основатель. Пока они, начихавшись, пытались прийти в себя, староста выпускного класса неизменно зачитывала цветистое и пространное прошение о том, чтобы со следующего понедельника учащихся распустили на каникулы, каковое непременно удовлетворялось. Между молитвой и вышеописанным финалом церемонии произносились нравоучительные речи, призванные воскресить в нашей памяти деяния достопочтенного Гиллеспи. В 30-е ритуал нюхания был отменен.

История Джеймса Гиллеспи, эсквайра, владельца фабрики в Спайло, – во многих отношениях самая чудесная из биографий местных купцов. В его фигуре с максимальной полнотой и яркостью воплотился дух Эдинбурга. Происхождения он был самого скромного – из народа. На портретах он вылитый деревянный щелкунчик: мясистый нос, сильно выступающий подбородок. Взгляд неизменно проницательный, губы горделиво поджаты – сразу видно преуспевающего человека.

1. Эндрю Карнеги (1835–1919) – промышленный магнат и филантроп.

Джеймс Гиллеспи и его старший брат Джон стали торговать нюхательным и курительным табаком в начале XVIII века. У Джеймса была собственная фабрика в эдинбургском районе Спайло, а его брат держал табачную лавку на Хай-стрит. Оба брата так и остались холостяками. Оба, как говорилось выше, слыли скуповатыми, но в то же самое время благожелательными людьми. Процветанию братьев Гиллеспи особо способствовала разразившаяся в Америке война: табак стал дефицитом, и цены подскочили. Мне приятно на досуге порассуждать о том, что своим хорошим образованием я отчасти обязана американской Войне за независимость. Если не ошибаюсь, Джеймс пережил брата. Он до преклонного возраста работал не покладая рук и сколотил крупное состояние. У него была собственная карета; рассказывают, что Гиллеспи попросил одного своего высокородного друга придумать для кареты девиз. Друг (Генри Эрскин) предложил фразу: "С понюшки табака прибыль велика". Тогда Гиллеспи решил обойтись без девиза и велел изобразить на карете только вензель. Один мемуарист так вспоминает об этом замечательном старике:

Мистер Гиллеспи жил вместе со своими работниками в патриархальной простоте; отнюдь не будучи скрягой, он, однако, отличался крайней бережливостью и рачительностью; его излюбленным изречением было "Не доходом экономят, а расходом". Даже на закате его жизни можно было видеть, как Гиллеспи в ночном колпаке и со старым пледом на плечах обходит цеха и проверяет, хорошо ли выполняет свои обязанности управляющий. И колпак его, и плед – все было в нюхательном табаке.

Некоего молодого человека – наверняка состоявшего с ним в родстве – Джеймс Гиллеспи воспитывал у себя, готовя к роли наследника; но после смерти Гиллеспи выяснилось, что этому юноше, его ближайшему родственнику, не завещано ни гроша. Честно говоря, такая низость плохо вяжется с образом владетеля Спайло, который, если верить рассказам, обедал со слугами за одним столом, был крайне снисходительным землевладельцем, любил свою лошадь и неусыпно пекся о скоте и прочей живности. Отчего же Джеймс Гиллеспи лишил молодого человека наследства? Говорят, он полагал, что желание остаться в памяти лиц, носящих одну с вами фамилию, – признак тщеславия. У этой легенды нет документальных подтверждений, если не считать истории Колинтонского прихода, написанной в пору, когда память о Джеймсе Гиллеспи была еще свежа в округе. Во всяком случае, склонность переступать через чувства ради принципов – типичная черта эдинбургцев; возможно, из-за нее молодой Гиллеспи и лишился наследства. Доподлинно известно, что по завещанию Джеймса ни один член семьи Гиллеспи не получил ничего.

Изначально его капиталы были переданы в доверительное управление с тем, чтобы доходы шли на содержание школы для мальчиков из бедных семей, а также – больницы. Постепенно характер благотворительного фонда видоизменялся, пока наконец его бенефициарием не стала "Школа Джеймса Гиллеспи" для детей обоих полов, где с учеников взималась довольно скромная плата за обучение. В мое время она подчинялась эдинбургскому управлению образования. Сегодня это государственная школа-пансион с совместным обучением. При каждой новой

реорганизации непременно всплывал вопрос о том, куда делись деньги Джеймса Гиллеспи, живо обсуждавшийся в местной прессе. Поговаривают, что они были просто перечислены на счета эдинбургского управления образования и растворились в его бюджете. Интересно, что в 1938 году на собрании опекунского комитета было отмечено, что школа переполнена — в ней обучается тысяча четыреста девочек и еще четыреста ждут очереди. Проблему предложили решить, увеличив плату за обучение. Председатель возразил: "Всякий раз, как мы повышали плату, желающих только прибавлялось".

Хотя с учениц и брали деньги, одним из главных достоинств школы была система дотаций и стипендий, финансируемых из фонда Гиллеспи. Поэтому туда могли переходить самые способные девочки из бесплатных школ, а хорошо успевающие ученицы "Гиллеспи" освобождались от платы за обучение. То был подарок судьбы таким семьям, как моя, неспособным оплачивать неуклонно возраставшие расходы на образование. С двенадцати лет я вносила свою лепту в семейный бюджет, учась бесплатно.

Официально "Школа Джеймса Гиллеспи" считалась пресвитерианской, принадлежавшей к лону Церкви Шотландии; гораздо позднее в нее была формально включена и епископальная. Однако в мое время в школе однозначно господствовала религия веротерпимости — правда, с непременной примесью пуританства. Стремление превратить добродетель в образ жизни всегда ведет к пуританству. Спросив у учителя, в чем разница между вероисповеданиями наших знакомых, мы запросто могли навлечь на себя обвинения в "нетерпимости".

Среди учениц были представительницы самых разных религий. Практически в каждом классе учились еврейки. Помню индуску по имени Коти, о которой мы были самого высокого мнения. Много было католичек. Некоторые девочки были из смешанных семей: мать, допустим, протестантка, а отец — еврей; или мать принадлежала к ирландской католической церкви, а отец — к епископальной. На нашей повседневной жизни эти различия почти не отражались. По-видимому, в школе считали, что Библия для всех этих вероисповеданий едина — не помню, чтобы на уроках религии нас разделяли на группы.

Шотландия традиционно славится многообразием сект. Сам Джеймс Гиллеспи особенно чтил ковенантеров. Эти набожные люди в XVII веке, держа в одной руке меч, а в другой — Библию, восстали против попыток навязать шотландцам англиканскую литургию. Ковенантеров можно было бы назвать реформаторами Реформации. Но Джеймс Гиллеспи пошел еще дальше. По убеждениям он стоял ближе к более суровой секте, камеронианцам, — ответвлению шотландских ковенантеров, названному в честь их виднейшего деятеля Ричарда Камерона. В политическом отношении камеронианцы энергично выступали против союза Шотландии с Англией. <...>

Здание, где мы учились, было выстроено в 1904 году для другой школы ("Гиллеспи" переехала туда в 1914-м). Оно было выдержано в эдвардианском стиле и отличалось весьма современной — по тогдашним меркам — внутренней планировкой: просторные классы, большие окна с видом на густые кроны деревьев и небо, где то взмывали, то пикировали к земле чайки. От моего дома до школы было десять минут ходьбы по аллеям с высоченными деревьями. За школой уходила вдаль другая ал-

лея из кустов боярышника, который в мае цвел темно-розовыми бутонами. Школу окружал обширный парк Брантсфилд-линкс — вересковая пустошь с перелесками.

Об учебе в подготовительном классе я помню сравнительно мало. Кажется, мы лепили из пластилина, пели рождественские гимны и читали вслух (в последнем я блистала). Еженедельно кого-нибудь награждали переходящей медалью. Однажды она досталась мне за рисунок, изображавший помидор. Помню свой помидор, нарисованный цветными карандашами на листе темно-коричневой бумаги; я никак не могла взять в толк, чего в нем такого выдающегося. <...>

Истопник, которого мы так и звали Топка, и его собрат Парки (сторож парка) зорко следили, чтобы в перелески вокруг школы не проникали потенциальные растлители малолетних или подозрительного вида зеваки в длинных макинтошах. Но на всякий случай нас призывали не делать гимнастические упражнения на низких ограждениях парковых дорожек: "Нехорошо, если проходящие мимо мужчины увидят ваше нижнее белье". Увы, эти кованые заборчики, как и многие другие чугунные украшения общественных мест, в войну были отправлены на переплавку на оружейные заводы да так и не были восстановлены.

С самых первых дней учебы у каждой ученицы была ближайшая подруга. До девятилетнего возраста моей наперсницей была Дафна Портер. Дафне кто-то растолковал, что такое секс, и она с совершенно невозмутимым видом изложила мне все это в меру своего разумения: отлично помню, как она, сосредоточенно занимаясь каким-то делом, — допустим, плетением венка из маргариток, — попутно объясняла мне, что именно "джентльмен" делает с "леди". После школы мы обычно ходили друг к другу в гости и пили чай. Однажды Дафна не явилась на занятия. Шли дни, шли месяцы, а Дафна все лежала в больнице. В конце концов она умерла. Унесла с собой в могилу все свои познания и свою красоту — она была прехорошенькая. Чем она болела, я так и не узнала. Ее мать, бледная, как призрак, появлялась на людях в глубоком трауре (по тогдашним эдинбургским канонам это означало: длинная черная вуаль, черное пальто, черные чулки и черные туфли). Встретив миссис Портер на улице, я подумала, что тоже могу умереть рано, и расстроилась, но больше потому, что вообразила горе собственной матери; себя мне было не так уж жалко. Я не знала, что сказать миссис Портер, — просто молча проводила ее до следующего перекрестка. Думаю, и она не знала, что мне сказать.

Итак, некоторое время у меня не было лучшей подруги, но скоро я обрела ее в лице Фрэнсис Нивен, с которой уже хорошо была знакома. Мы обе сильно увлекались поэзией и вообще литературой во всех ее формах. С тех пор и до самого окончания школы Фрэнсис была моей ближайшей подругой.

На стенах классных комнат, где мы занимались, обычно висели наши рисунки, отчеты об экскурсиях, вырезки из "Нэшнл джиогрэфик", изображения экзотических животных и птиц. Но сейчас я хочу рассказать вам о мисс Кристине Кэй — этом персонаже в поисках автора. В ее классе стены были украшены иначе: репродукциями шедевров Раннего и Высокого Возрождения — произведений Леонардо да Винчи, Джотто, фра Филиппо Липпи, Боттичелли. Репродукции она одалживала в каби-

нете искусства, у красавца Артура Кулинга, который преподавал в старших классах. Были здесь и голландские мастера, и Коро. И тут же — вырезанная из газеты фотография: фашисты Муссолини маршируют по римским улицам.

В руки мисс Кэй я попала в одиннадцать лет. Но с равным успехом можно сказать, что это она попала в руки ко мне. Ни я сама, ни моя учительница даже не подозревали, что из нее вырастет мисс Джин Броди, главная героиня моего романа, а впоследствии также пьесы, поставленной в Лондоне на Вест-Энде, кинофильма и мини-телесериала[1].

Почему я выбрала имя "мисс Броди", точно сказать не могу. Но недавно выяснилось, что Шарлотта Рул, молодая американка, научившая меня, трехлетнюю, читать, до замужества звалась мисс Броди и преподавала в школе. Возможно, в детстве я об этом услышала и информация бессознательно запечатлелась в памяти?

Кое в чем мисс Кэй не имела с мисс Броди ничего общего, а в других отношениях была личностью намного более значительной. Повстречав подобную особу "в жизни", мисс Кэй твердо и решительно поставила бы ее на место. И все же каждая ученица мисс Кэй с радостью и ностальгическим чувством непременно узнавала ее в образе "мисс Джин Броди в расцвете лет".

Мисс Кэй с первой же минуты поразила мое воображение. Прямо тогда я и начала о ней писать. Она просто захватывающе, феерически занимательно рассказывала о своих путешествиях. Вдобавок к стандартным сочинениям о моем собственном времяпрепровождении на каникулах я писала стихи о том, как провела отпуск мисс Кэй (в Риме, например, или в Египте, или в Швейцарии). Мне казалось, что ее впечатления намного интереснее моих собственных, и это очень импонировало мисс Кэй. Под ее чары целиком подпала и Фрэнсис, а вообще-то и весь класс. Это подтверждают многочисленные письма, которые я время от времени получаю от бывших учениц мисс Кэй.

Мне всегда нравилось наблюдать за учителями. Класс у нас был большой — около сорока учениц. Просторная комната, "на сцене" — один актер, а "в зале" сидят рядами, внимая ему и не сводя с него глаз, несколько десятков "зрителей" — по сути, это самый настоящий театр.

С первых же моих школьных дней мне были куда интереснее внешность, одежда и жесты учителей, чем содержание уроков. Но на занятиях мисс Кэй меня завораживала не только она сама, но и ее объяснения. Она была бы идеальной преподавательницей актерского мастерства, и неудивительно, что мисс Броди, ее реинкарнация, всегда считалась в театральных кругах выигрышной ролью.

Но не подумайте, будто мисс Кэй вела себя экзальтированно; лицедейство было ей чуждо. Она была глубоко верующей христианкой, хорошо знала Библию. Не могло быть и речи о том, чтобы, подобно мисс Броди, она влюбилась в учителя рисования или вступила в интимную связь с учителем пения. Но дети мгновенно угадывают потенциал человека, скрытые в нем способности по случайной (произнесенной, возможно, по совершенно иному поводу) фразе, по глазам, по улыбке. Нет,

1. The prime of Miss Jean Brodie. — L., 1961. (Мисс Джин Броди в расцвете лет / Перевод А. Михалева. — ИЛ, 1980, № 7; см. также: Мюриэл Спарк. Избранное. — М.: Радуга, 1984. — (Мастера зарубежной прозы).

мисс Кэй не была мисс Броди в буквальном смысле слова, но мне кажется, что в мисс Кэй была заложена потенциальная возможность стать такой, как рожденная моим воображением героиня.

С тех пор утекло немало воды. И вот через некоторое время после выхода "Мисс Джин Броди в расцвете лет" из печати Фрэнсис Нивен (ныне Фрэнсис Кауэлл) написала мне:

Определенно это на 75 % мисс Кэй? Милая мисс Кэй! Ее коротко остриженные седые волосы со стальным отливом, ее челка (и густые черные усы!), ее безоглядное преклонение перед Дуче! Это же ее выражение "сливки общества", это она в дополнение к программе давала нам сведения о музыке и изобразительном искусстве, так много нам открывшие, до сих пор не утерявшие для меня актуальности.

Дух того, что мисс Кэй преподавала нам "помимо программы", отчасти передан в воспоминаниях другой ее ученицы, Элизабет Вэнс. (Правда, к мисс Кэй не совсем применимо слово "преподавала". Ее захватывающие уроки были самыми настоящими спектаклями.) Вот что вспоминала Элизабет:

...Вперемешку со сведениями о великих итальянских художниках, французских импрессионистах и голландской школе живописи (особенно портретах Рембрандта), литературе, поэзии, искусстве декорирования интерьера (я переставила все безделушки на каминной доске в нашей гостиной, стараясь выстроить их в более приятную для глаза "линию") мы также получали отличную базовую подготовку по традиционным предметам — письму, чтению и арифметике (эти уроки приносят мне пользу по сей день). Как только ей это удавалось! Пока я училась у мисс Кэй, то просто обожала счет в уме, длинные примеры на деление и умножение, списки трудных в написании слов...

Когда недавно по телевизору шел репортаж из Берлина о воссоединении Германии, сквозь гром оркестров и раскаты фейерверков прорвался голос комментатора, произнесший "Унтер-ден-Линден", — и я мгновенно перенеслась в класс мисс Кэй и услышала ее голос: "В Берлине есть улица, которая называется Унтер-ден-Линден — это, девочки, значит "Под липами", — и на ней много меховых магазинов".

"Много меховых магазинов..." Типичный для мисс Кэй ход мысли. Мое детское сознание упивалось блистательной, ошеломляющей непоследовательностью ее рассказов. Так и видишь, как богатые, избалованные немецкие дамы, уже закутанные в меха, величественно шествуют под сенью берлинских лип.

Когда я впервые посмотрела экранизацию "Мисс Джин Броди", поначалу мне показалось, что атмосфера Эдинбурга передана неверно — цвета слишком ярки. От этого мнения я не отступаюсь, но, по-моему, мисс Кэй была бы только рада увидеть столь пестрый Эдинбург. Она обожала яркие краски и прививала нам чувство цвета. Блеклые дождевики выводили ее из себя: "Зачем делать ненастье еще более унылым? Нам следовало бы ходить в ярких плащах под голубыми или зелеными зонтиками" (в те времена зонты были только черные и коричневые). Она говорила: "Весной, девочки, я хотела бы видеть на вас ансамбли серого цвета из жакета и юбки, дополненные цитроновыми беретками.

"Цитроновый" означает "лимонный". Для получения этого оттенка берут пятнадцать частей желтого и одну — синего. В Париже цитроновую беретку надевают к серому костюму".

На уроках мы "писали" основные и дополнительные цвета, а также оттенки. Я не оговорилась — именно "писали" их красками: по методу мисс Кэй мы сначала обучались работать с цветом и только потом переходили к изображению геометрических форм, предметов. Для нее цвет уже сам по себе был формой. "Россетти отлично умел использовать взаимодополняющие оттенки — красновато-коричневый и оливково-зеленый". И она показывала нам картину, где в этих тонах изображалась встреча Данте с Беатриче. Не думаю, что нашу учительницу сильно интересовали Данте, Беатриче или сюжет: картина была для нее всего лишь праздником цвета. "Камиля Коро вы всегда узнаете, — говорила она, — по маленькому красному пятну, например шляпке. Это пятно и создает всю картину".

Основы теории цвета и изобразительного искусства мы, бесспорно, могли бы освоить и под руководством другой учительницы; в содержательном плане уроки мисс Кэй, вероятно, ничем принципиально новым не отличались. Что поражало наше воображение и делало Кристину Кэй воистину незабываемой, так это яркость ее переживаний, поэтичность ее индивидуальности, проявлявшаяся во всем, что происходило на уроке. А ее большие темные глаза, всегда сияющие, все замечающие! Думаю, в них-то и был главный секрет ее колдовского обаяния. От скульптуры она легко и непринужденно переходила к геометрии, от правил арифметики к правилам грамматики — в ее объяснениях все темы гармонически сливались. Попутно она знакомила нас с этимологией нашего родного языка — часто, не договорив фразу, делала паузу и привлекала наше внимание к тому или иному латинскому, греческому или англосаксонскому корню. <...>

В одной из сцен "Мисс Броди" героиня разъясняет ученицам, что английский глагол "educate" (просвещать) состоит из латинской приставки "e" (*наружу*) и латинской же глагольной формы "duco" (*я веду*). Об этом нам часто говорила и реальная мисс Кэй. Ее взгляды на просвещение были непоколебимы. Она считала, что просвещение — это "выведение наружу" того, что уже присутствует в ученике (кажется, эта мысль есть у Аристотеля), а не "вдалбливание" стороннего знания.

Был ли у мисс Кэй возлюбленный? Думаю, был, но давно, задолго до нашего знакомства с ней. Я помню ее примерно пятидесятилетней и теперь, глядя на нашу групповую школьную фотографию, вижу, что память меня не обманула. У мисс Кэй я проучилась два года, с 1929-го по 1930-й, в двух последних классах школы нижней ступени. Следовательно, она принадлежала к поколению умных, получивших высшее образование женщин, которые потеряли своих возлюбленных в Первую мировую войну. То была ужасная бойня. Мужчин попросту почти не осталось. Целое поколение старых дев. Убыль мужчин восполнилась, лишь когда подросли мои ровесники. И все-таки мисс Кэй рассказывала нам, как чудесно было танцевать вальс в длинных развевающихся юбках, и я интуитивно чувствовала: у нее были любовные переживания, была личная жизнь.

Явная пылкость, выдающая романтичную натуру, сквозила и в рассказах мисс Кэй о ее поездке с двумя приятельницами в Египет. Мисс

Кэй описала нам одно из платьев, которое она носила во время плавания, черное, все в крупных алых маках, "идеально подходящее к моему цвету лица". Путешествие воссоздавалось во всех деталях: мы ощущали зной и обоняли ароматы. Мы видели перед собой высокого, величавого гида (драгомана, как полагалось его называть) и чувствовали: мисс Кэй к нему неравнодушна. Беседуя с ней о дне Господнем в разных религиях (для мусульман священный день — пятница, для иудеев — суббота, для христиан — воскресенье), драгоман заметил: "Всякий день — день Господень", и его лицо озарилось одухотворенной улыбкой. Это глубоко тронуло мисс Кэй, как и появление гида на вокзале: когда она и ее спутницы покидали Египет, он пришел их проводить и вручил каждой даме по букету. Когда я пересказала эту необычайную историю маме, она заявила, что за эти букеты платит Кук (в то время крупнейшей туристической фирмой было агентство Томаса Кука). Я нашла это замечание ужасающе циничным, но интуиция подсказала мне, что правда на маминой стороне, и мы обе расхохотались.

Как я упоминала выше, Кристина Кэй была набожной христианкой. Принципы своей веры она самым впечатляющим образом проводила в жизнь. Например, не признавала гимн "Край надежды и славы"[1], считая, что он противоречит духу христианства. Нам категорически запрещалось подпевать, когда хор доходил до куплета: "Пусть все шире и шире раздвигаются твои границы, / Пусть Господь, сделавший тебя могучей, дарует тебе еще большую мощь". Разумеется, она была совершенно права. Рассуждая с несокрушимой последовательностью, она не оставляла камня на камне от некоторых норм морали, которые нам внушались. Это не могло не оставить следа в нашем сознании. В качестве замены вышеупомянутому гимну мисс Кэй рекомендовала нам строки из "Отпустительной молитвы" Киплинга:

> Вражде и смуте есть конец,
> Вожди уходят и князья:
> Лишь сокрушение сердец —
> Вот жертва вечная твоя![2]

Мисс Кэй не раз побуждала нас задумываться над словами, которые мы хором распевали во весь голос. Она учила нас всегда помнить, что мы люди, а не овцы — не поддаваться настроению толпы.

Всего упоительнее были ее уроки на темы Священного Писания. Она глубоко чувствовала поэтичность библейского языка. В младших классах, еще до мисс Кэй, преподавался шотландский катехизис. Мне очень нравилось его начало:

> Вопрос: В чем главное предназначение человека?
> Ответ: Главное предназначение человека в том, чтобы вечно радоваться о Господе и славить Его.

Знали мы и Десять Заповедей.

1. "Край надежды и славы" (музыка Элгара, слова Бенсона) — известный британский патриотический гимн.
2. Перевод О. Юрьева.

Лет в девять, еще до мисс Кэй, я испытала нечто, что, вероятно, можно назвать интуитивным религиозным переживанием. Играя с одноклассницами, я увидела, как дорожный рабочий попал под трамвай. Он отпрянул, широко расставив руки, бросился бежать и почти у бровки тротуара рухнул на мостовую. Нас, детей, поспешили увести, и я не могла узнать, что сталось с этим человеком — получил ли он травму или, возможно, удар током, умер он или выжил. Отец не нашел в вечерней газете никаких упоминаний о происшествии. Но фигура рабочего с раскинутыми руками надолго врезалась в мою память. Я нафантазировала, что он попал в Царство Небесное, воображала, как он, в кепке и рабочем комбинезоне, ходит среди райских кущ. У меня было чувство, что он мне помогает. Обо всем этом я никому не рассказывала.

Этот образ я носила в себе самое малое года два; затем призрак "моего рабочего" перестал меня преследовать. Я помнила лишь, что когда-то думала о нем неотступно.

Нередко на уроках мисс Кэй разбиралось Священное Писание, и это дало мне очень много — так доходчиво наша учительница толковала и поясняла на примерах иносказательный смысл Ветхого и Нового Завета. Отрывки, которые она задавала нам выучить, я до сих пор знаю наизусть. <...>

Два раза в неделю, если не чаще, я посещала абонемент публичной библиотеки. Я брала книги сразу на несколько человек: не только по своему билету, но и по родительским, если только Филипу не требовались какие-нибудь учебники. Я приносила домой по четыре книги за раз, в основном стихи, ведь все мои учителя готовили меня в поэты. Мне были особенно близки авторы XIX–XX веков: Вордсворт, Браунинг, Теннисон, Суинберн и так называемые георгианцы (тогда царствовал Георг V): Эдмунд Бланден, Руперт Брук, Уолтер де ла Мар, Йейтс, Джон Мейсфилд, Роберт Бриджес и — единственная среди них поэтесса — Элис Мейнелл. Я вечно отыскивала какие-нибудь новые стихи и несла их мисс Кэй: "А это вы читали? Посмотрите".

Мисс Кэй за свой счет водила нас с Фрэнсис в театр и на концерты, а иногда и в кино, если шла хорошая картина. Она умоляла нас не говорить об этом другим девочкам, "иначе они подумают, что я вас особо выделяю". Разумеется, она и впрямь нас выделяла. Но слова "вы — сливки общества" она адресовала всему классу. И говорилось это не для красного словца — разве могли *ее* ученицы быть посредственностями?

Среди наших тайных вылазок с мисс Кэй были и походы в театр на постановки современных стихотворных пьес. В то время существовала театральная труппа "Лига искусств на службе обществу"[1], деятельность которой казалась нам очень романтичной: актеры гастролировали в провинции, играли в деревнях и в маленьких городках, иногда ночуя в сараях.

Мисс Кэй сознавала, что наши родители, при всей их заботливости, почти не задумывались о том, как познакомить нас с высокой культурой. Она твердо решила: мы с Фрэнсис должны воспользоваться лучшим из того, что мог предложить Эдинбург. Мы были в восторге. Как много лет спустя призналась моей матери мисс Кэй, наша реакция была для нее

1. "Лига" входила в Союз деятелей искусств, связанный с лейбористской партией; он ставил своей целью нести искусство в массы.

лучшей наградой. Одним из величайших праздников для нас стал литературный вечер, где читал свои стихотворения Джон Мейсфилд[1]. Это было, по-видимому, в 1930 году, на самом пике его славы, когда он был удостоен звания Поэта-лауреата[2]. В те времена поэты порой собирали огромные залы.

Но самым чудесным из этих "выходов в свет" с нашей обожаемой мисс Кэй было выступление Анны Павловой, несомненно величайшей в мире балерины того времени, в театре "Эмпайр". То были ее последние гастроли, вскоре Павлова скончалась. Она танцевала "Умирающего лебедя". Помню, как медленно опускался на подмостки лебедь, помню, как раздались прощальные, предсмертные звуки — это балерина дважды поскребла пальцами по доскам сцены, точно птица коготками, и затихла. Нам с Фрэнсис было по двенадцать лет. Мы не впервые смотрели балет, но дотоле и помыслить не могли, что можно танцевать так, как Павлова и ее труппа. Мы не уставали обсуждать увиденное. У нас с Фрэнсис вообще была куча затей — мы сообща сочиняли рассказы о природе и жизни на Марсе, писали стихи. Что-то сталось с нашими тетрадками?

В том году я впервые напечаталась — пять моих стихотворений включили в антологию юных поэтов "Дверь в молодость". Я принадлежала к самым младшим участникам сборника. Это обстоятельство, а также количество стихов привлекли к ним определенное внимание. В них была своя лиричность. Одно стихотворение было о времени (в нем я отмечала, что "пока слагаются стихи о Времени, само оно стремительно бежит"); другое — об охоте на оленя, которому удается уйти от погони; в третьем, море сравнивалось то с кровожадным львом, пожирающим корабли, то, в другом состоянии, с конем; в четвертом, я протестовала против травли лис и использования кроличьих капканов...

Мои стихи, появлявшиеся на страницах школьного журнала, часто были вдохновлены рассказами мисс Кэй о теории относительности. Я сочиняла стихи о Вселенной, где, например, описывалось, как жители других планет "Поднимают глаза к небу и говорят: / 'Как сегодня ярко светит Земля'". Мисс Кэй самым недвусмысленным образом пророчила мне большое писательское будущее — возникало чувство, что от этой участи мне не уйти.

Кристина Кэй была учителем-экспериментатором. Однажды, вычитав нечто о мистическом родстве душ между детьми, рожденными под одним знаком Зодиака, она рассадила нас по партам в соответствии с нашими гороскопами. На некоторое время меня разлучили с "козерожкой" Фрэнсис и посадили с одной занудой-"водолейкой". Что дал эксперимент? Ничего. Но даже это "ничего" мисс Кэй каким-то образом претворила в поразительное открытие, в свою победу.

Ее отец умер, когда она была совсем еще девочкой, и ей пришлось взять на себя заботы о делах семьи. Она поведала нам, как, получив неверный счет за газ, пошла разбираться в надлежащую инстанцию. Мы с одноклассницами — начинающие феминистки — зачарованно внимали

1. Джон Мейсфилд (1878–1967) — английский поэт, прозаик, драматург и журналист, близкий друг Йейтса.
2. Поэт-лауреат — почетное звание; в отличие от одноименного звания в США является пожизненным.

рассказу мисс Кэй о том, как клерки, пересмеиваясь, толкали друг друга в бок: подумать только, представительница слабого пола желает обсудить счет во всех деталях! "Но, — продолжала мисс Кэй, — я проверила этот счет вместе с клерком, все до последней цифры. Вначале он говорил, что не видит ошибки. Но когда я попросила проводить меня к начальнику, принялся перепроверять все заново. Потом отошел пошептаться с сослуживцем. Наконец подошел ко мне, очень удрученный, и признал, что в вычислениях есть ошибка. Я заставила их исправить счет и оплатила его на месте. Это им был урок, — произнесла мисс Кэй со своей ласковой мудрой улыбкой, — чтобы впредь не насмехались над молодыми женщинами, которые приходят по делу".

Мисс Кэй всегда удавалось каким-то волшебным образом привлечь нас на свою сторону, какое бы мнение она ни высказывала. Шотландских аристократов она еще терпела и даже уважала (за воспитанность), но английских — нимало. Она периодически критиковала английских герцогов, которые — как она рассказывала, презрительно поджав губы, — каждое утро, выйдя из ванны, падают в объятия услужливых лакеев, чтобы те досуха растерли их полотенцами. Эта картина нас очень веселила. Признаюсь, язвительные замечания мисс Кэй нередко доводили нас до смеха.

Во внеурочное время мисс Кэй сама превращалась в прилежную слушательницу: посещала в Эдинбургском университете публичные лекции по теологии, истории, немецкой поэзии и другим подобным дисциплинам и где-то еще — по гигиене и "правильному уходу за руками и волосами". Внимала историкам искусства и специалистам по методике, не пропускала ни одного воскресного концерта профессора Тови, видного эдинбургского музыковеда и дирижера. Со всеми этими познаниями, а также впечатлениями от своих летних, пасхальных и рождественских каникул, мисс Кэй возвращалась в класс и щедро делилась ими с нами. <...>

Я продолжала пользоваться некоторой известностью как "наша школьная поэтесса". Настало время описать одно забавное и несколько двусмысленное событие, произошедшее в моей жизни, когда мы уже расстались с мисс Кэй и сделались старшеклассницами. Это было в 1932 году, когда отмечалось сто лет со дня смерти сэра Вальтера Скотта. Среди эдинбургских школьников проводился поэтический конкурс, который был организован неким "Вересковым клубом", основанным в 1823 году. Первую премию получила я за стихотворение о Скотте, а третью — еще одна ученица "Школы Гиллеспи". То был двойной повод для ликования, все пришли в восторг. Причем в такой, что я не решалась высказать свое отношение к премии. Да я и не смогла бы объяснить, что именно меня коробит. В качестве награды мне должны были вручить стопку книг (это-то меня устраивало...), а заодно надеть на голову корону (о Господи!) — прилюдно, на какой-то юбилейной церемонии в честь Скотта. Моя мать была безумно рада, как и почти все мое окружение в школе и за ее пределами. Я же чувствовала себя коровой-рекордисткой с сельскохозяйственной ярмарки в Дамфрисе, но стоически вытерпела соответствующий ритуал. Короной меня увенчала знаменитая актриса Эстер Ролстон. Какое отношение она имела к поэзии или сэру Вальтеру Скотту, так и осталось для меня загадкой. Сама корона показалась мне вульгарной — эдакая дешевая побрякушка. Единственным, кто открыто

разделял мою точку зрения, был наш сдержанный, обычно молчаливый директор Т. Дж. Бернетт. Он знал: раз уж я получила премию, деваться мне некуда, — и все-таки дал мне понять, что осознает всю нелепость этой коронации. Он был прежде всего хороший администратор, человек крайне немногословный. "Мишура", — сказал он мне шепотом и тут же произнес перед всей школой поздравительную речь. По словам его дочери Мейды, в кругу семьи он заметил: "Эта девочка писать умеет". Я чувствовала: ему за меня обидно. После торжества мисс Кэй, с газетной вырезкой в руке, навестила нас на верхнем этаже, где мы учились. Она не позволила себе ни одного слова, которое умалило бы пафос события. И все же обронила, демонстрируя классу фотографию в газете[1]: "Обратите внимание, как Мюриэл держит руку. В этом изгибе — вся ее тонко чувствующая натура".

И действительно, на снимке было заметно, что во время церемонии меня передернуло.

По случаю награждения Фрэнсис сделала для меня маленький "лавровый венок" из крашеного воска. Я до сих пор бережно храню его. К венку прилагалось сочиненное ею четверостишие, начинавшееся словами: "Пускай ты вознеслась к вершинам славы, где голова кружится..."

Совсем недавно мне представилась возможность напомнить Фрэнсис эти строки, а заодно отметить, что находиться на "вершинах славы, где голова кружится" по большей части весьма утомительно.

Как весело нам с Фрэнсис было вместе! В выходные мы бродили по Ботаническому саду. Однажды закопали там под старым деревом какие-то бумажки — кажется, написанный сообща рассказ. Но что это был за рассказ и зачем нужно было его закапывать в землю, ума не приложу — помню только, что он был вдохновлен "Кельтскими сумерками"[2]. В одном классе на верхнем этаже шум ветра слышался наиболее отчетливо. Мы с Фрэнсис прозвали это помещение "Комнатой Мэри-Роуз" в честь пьесы Дж. М. Барри[3].

Итак, закончились наши занятия с мисс Кэй, и мы перешли в первый класс школы высшей ступени. Мы разрывались между новыми, такими разными предметами: для каждого был свой учитель со своим отдельным кабинетом. Многие из этих преподавателей ходили по коридорам в развевающихся профессорских мантиях.

Учитель рисования, красавец Артур Кулинг, в цветистых выражениях хвалил мои стихи, но о моих рисунках хранил красноречивое молчание. Кули, как его прозвали девочки, сам много работал как живописец. Его выставки проходили с успехом; одну из его картин, полотно с интригующим названием "Le Bateau à la Moustache Jaune"[4], приобрела галерея Маклеллана в Глазго. Кулинг писал также декорации для наших школьных постановок пьес и оперетт.

1. Эту вырезку (а также многие другие из документов и рукописей из архива Мюриэл Спарк) можно увидеть на сайте Национальной библиотеки Шотландии http://www.nls.uk/murielspark/index.html

2. "Кельтские сумерки" (по названию книги У. Б. Йейтса), или Ирландское возрождение, — направление в ирландской культуре рубежа XIX–XX вв., связанное с бурным ростом национального самосознания, а также интересом к фольклору.

3. Джеймс Мэтью Барри (1860–1937) — драматург, романист, эссеист, журналист; автор пьесы "Мэри Роуз"; прославился повестью и пьесой для детей "Питер Пэн".

4. "Корабль с желтыми усами" (*франц.*).

Кули жил неподалеку от Фрэнсис. Мы до того "втюрились" в этого невероятно рафинированного красавца, что нарочно старались сделать крюк мимо его дома, надеясь хоть мельком увидеть нашего кумира. Но он выделял среди учениц только нахальную умницу Бетти Мерсер, немножко анархистку, очень миловидную. На школьном балу он весь вечер просидел с Бетти, причем они не танцевали — только беседовали. Потом мы спросили у Бетти, о чем. "О косметике", — ответила она.

Однажды, когда мы донимали Кули своей болтовней на уроке, он объявил: "Девочки, извольте немедленно замолчать, иначе я разобью это блюдце об пол".

Он держал блюдце высоко над головой, пытаясь на наглядном примере втолковать нам, что такое овал. Мы приумолкли, но все же не замолчали, и Кули, как и обещал, швырнул блюдце на пол. Этот поступок потряс и очаровал нас. Инцидент с блюдцем пригодился мне для "Мисс Броди в расцвете лет".

Учитель истории мистер Гордон — мы звали его Джерри — был невысок и светловолос. О нашей неиспорченности и о безупречной нравственности наших наставников можно судить уже по тому, что Гордон попросил меня пересесть за первую парту и, объясняя материал, все время гладил меня по голове — и никто не находил в этом ничего предосудительного. Мне это льстило, других девочек страшно смешило, но и только. С психикой у Джерри Гордона все было в порядке. Как вспоминает в письмах моя одноклассница Элизабет, если Джерри замечал, что какая-нибудь ученица отвлеклась, он кидал в нее мелком. "Это сильно разнообразило уроки", — замечает Элизабет.

Греческий преподавался факультативно, и его изучали только три девочки. Ради этого урока нужно было являться в школу к восьми утра. Мне нравилось спозаранку шагать через парк Линкс, особенно по свежевыпавшему снегу, оставляя первые отпечатки на девственно белых дорожках. Фонари еще горели, и, оглянувшись, я видела при свете зари протянувшуюся от Брантсфилд-плейс длинную череду следов — моих, и только моих. Брантсфилд-линкс нравился мне во все времена года. Летними вечерами — а они в Шотландии долги — я играла там в гольф вместе с братом и его друзьями. <...>

Румяная Маргарет Нейпир (Ниппи), весьма эрудированная женщина, преподавала естествознание и математику. В младших классах арифметика у меня шла туго, но алгеброй и геометрией я увлеклась прежде всего благодаря преподавательскому мастерству мисс Нейпир. Не знаю уж почему, но она поверила в меня, хотя знала, что я пишу стихи. И в результате я получала высокие оценки по естествознанию и математике. Заглядывая в свою старую тетрадку по естествознанию, где детским почерком описаны наши "эксперименты", я вспоминаю, что следует из опыта по сжиганию фосфора в герметичном сосуде, частично заполненном водой. Перед моими глазами снова возникает оборудование и реактивы: стеклянный колокол, щепотка фосфора, крышка тигля, лоток для стока воды. Снова чувствую необычный, какой-то странно бодрящий запах кабинета естествознания. Подобно всем английским школьникам, мы называли уроки естествознания "вонючками".

Математику и естествознание попеременно вели несколько учителей, в том числе Сэнди Бьюкен, прямой и тощий, как палка. Он внушал нам, сколь коварен и обманчив внешний вид, особенно у веществ, не

имеющих ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Он научил нас леденящему кровь нравоучительному стишку:

Погиб наш Томми, пропал ни за что,
Лежит он в сырой могиле.
Он жажду хотел утолить Аш-Два-О,
А выпил Аш-Два-Эс-О-Четыре.

Отлично помню, как с отчетливым эдинбургским выговором он произносил: "...не имеющие ни цвета, ни вкуса, ни запаха". Тогда я рассудила — и до сих пор так думаю, — что таковы и некоторые люди: бесцветные, безвкусные, ничем не пахнущие. Держись от них подальше: не исключено, что они способны отравить тебе жизнь. Сэнди Бьюкен выглядел очень элегантно, когда шел по Линксу: шляпа, перчатки, трость, длинное зимнее пальто. Но по сексапильности он все же не мог тягаться с Кули.

Под впечатлением, будто мои литературные наклонности могут чем-то обогатить ее уроки, находилась и мисс Андерсон (Анди), учительница физкультуры и танцев, а также старший тренер по командным играм. Танцы мне давались лишь немногим лучше, чем физкультура, а к физкультуре я вообще не имела способностей. Что до командных игр, то я, по выражению капитана наших хоккеисток, годилась только на "зрительскую скамью". Но Анди просила меня высказываться о танцах, которые мы разучивали, особенно народных, считая, что мое образное мышление принесет пользу. Однажды я сидела на полу по-турецки, прислонившись к гимнастическим брусьям, и наблюдала за группой девочек, исполнявшей танец "Мельница". Подошла Анди и поинтересовалась моим мнением. Уж не помню, что именно я ответила, но это был верх дипломатичности. Я встала и что-то такое изрекла: мол, исполнительницы танцуют прекрасно, но режиссерское решение не слишком удачно — водяную мельницу надо изображать в ускоренном темпе. Думаю, это удовлетворило Анди, и она велела аккомпаниаторше играть быстрее. Фрэнсис танцевала необыкновенно грациозно. Более того, со временем она превратилась в рослую красавицу; о ней справедливо говорили, что она не ходит, а плывет, точно лебедь. Характер же у нее совершенно не изменился: она осталась такой же милой, как и в детстве.

Что до Анди, то это была настоящая великанша, но, несмотря на атлетическое телосложение, ее жесты и движения были грациозны. Пояс своего спортивного костюма Анди, по тогдашней моде, носила на бедрах, завязав аккуратным бантом. Этим поясом можно было бы обмотать трех женщин обычного сложения. Черты лица у Анди были правильные. Она завивала волосы щипцами, носила темное кожаное пальто и приезжала в школу на собственном автомобиле — маленьком, черном, очень спортивном. Насколько я могу судить, не будь тело Анди столь громадным, ее гимнастические трюки все равно выглядели бы впечатляюще. Казалось, у нее внутри пружины, словно в новомодных матрасах, которые тогда только-только появились в магазинах. <...>

Какими цветущими и крепкими выглядели наши учителя и учительницы, когда выходили на хоккейное поле, участвуя в традиционном ежегодном матче: команда преподавателей против школьной сборной! Как они носились по полю, размахивая клюшками, особенно Кули и ма-

тематик Тейт — веселый рыжеволосый исполин. Иногда члены учительской команды поскальзывались и шлепались в грязь — тогда зрители злорадно аплодировали и принимались их издевательски подбадривать. Возглавляла учительскую команду Анди и иногда приводила ее к победе ("Вперед, Ниппи!").

Минуло шестьдесят лет. Средний возраст этих умных, полных энтузиазма людей, которые были нашими учителями, составлял примерно сорок лет; они были в расцвете сил. Не могу поверить, что почти никого из них больше нет на свете, что все они лежат в земле, — они так живо мне помнятся, все без исключения.

Мне представляется, что в нашей дневной школе, где так удачно был организован учебный процесс и царила благожелательная атмосфера, мы пользовались преимуществами, которых нет у учеников школ-пансионов. Параллельно учебе текла другая жизнь, домашняя, тоже насыщенная событиями и делами. Мы соприкасались и с миром людей, крайне далеких от наших школьных забот.

Сравнивая наше отрочество с жизнью подростков в последующие годы, Фрэнсис недавно написала мне: "Мюриэл, никому так не посчастливилось, как нам". И хотя мы жили без телевидения, антибиотиков, противозачаточных таблеток и — по крайней мере, моя семья вплоть до конца 30-х — без электричества, при волшебном свете газовых рожков, я склонна согласиться с Фрэнсис.

Глава третья

В полчетвертого или в четыре часа пополудни мы выходили из школы и окунались в свою параллельную, домашнюю жизнь — жизнь Эдинбурга конца 20-х — начала 30-х годов текущего столетия. Район Морнингсайд смотрел в будущее с надеждой. Здесь чистоплотность шла рука об руку с праведностью, голь была хитра на выдумки, не все то было золото, что блестело, а честность слыла лучшей политикой. С этими прописными истинами никто не спорил; они вселяли в нас уверенность в собственных силах, которой не могла поколебать даже экономическая нестабильность. Но наступили времена, когда все вокруг заколебалось.

В мае 1926 года, когда мне было восемь, в Великобритании состоялась всеобщая забастовка, продлившаяся девять дней. В нашей школе занятия продолжались, но не все дети могли их посещать — не ходил транспорт. О причинах и социальных предпосылках забастовки нам откровенно поведали учителя. Я склонна думать, что они были на стороне трудящихся, хотя официально оставались над схваткой. В любом случае, у нас у всех по спине поползли мурашки — чувствовалось, что революция вполне возможна. <...>

Как и полагалось в моем возрасте, я играла с одноклассницами в распространенные уличные игры, которые, впрочем, скоро переросла. Мы знали множество игр со скакалочкой, запускали волчки и гоняли по аллеям обручи.

Вместе с родителями нас в семье было четверо душ, как выражался отец. Брат Филип интересовался естествознанием. В 50-х он эмигрировал в США, где занимался химическими исследованиями при Министерстве военно-морского флота. Ныне он ушел на покой, живет в Сан-

Диего и шлет мне оттуда воспоминания о наших поездках в городок Уотфорд графства Хартфордшир, где мы ежегодно проводили каникулы у родственников со стороны матери. Филип вспоминает:

...еще за несколько недель до отъезда я начинал строить в коридоре из стульев "поезд". Радостное предвкушение нарастало; но вот наконец наступал великий день, и такси везло нас на Каледонский вокзал. Мама делала в дорогу сандвичи: с яичницей и с кресс-салатом, иногда с ветчиной, брала фрукты и, разумеется, непременную бутылочку вина. Самое поразительное, что еще до отправления поезда мама уже успевала раздать наши сандвичи соседям по вагону и к Карстейрсу еды уже не оставалось. Только после пересадки в Крюэ нам удавалось выпить чаю в вагоне-ресторане...

Локомотивы тогда были паровые, кочегары поддерживали огонь всю ночь (наше путешествие длилось восемь часов). Прежде чем поезд отправлялся в путь, весь вокзал заволакивало клубами дыма, разъедающего глаза. Дежурный, вооруженный двумя флажками — красным и зеленым, наконец-то взмахивал зеленым и дул в свисток. Только тогда поезд трогался, да и то не сразу — вначале он лишь беспокойно вздрагивал и кряхтел. На каждой остановке человек с фонарем и железным молоточком проходил вдоль вагонов, осматривая и простукивая стальные суставы и колеса поезда, оглашая ночь громким, но успокоительным звоном.

Наши уотфордские каникулы я описала в рассказе "Гойки-еврейки", который почти ни в чем не расходится с фактами. Правда, главное внимание в нем уделено моей бабушке Аделаиде. Экспансивная по натуре, внешне она выглядела довольно неказисто по сравнению с моим рыжеволосым дедом Томом Юззеллом, который, по слухам, был младше ее на пятнадцать лет.

Родители Тома держали в своих руках всю уотфордскую торговлю зерном. Том был высокий, сутуловатый; заношенный твидовый пиджак болтался на нем как на вешалке; темно-серые брюки пузырились на коленях. Я ни разу не видела его в другой одежде — только в этих обносках, которые, однако, казались на нем нарядом аристократа. Бабушку он явно любил: всегда провожал ее взглядом, буквально не отрывая глаз.

Юззелл — старинная, довольно редкая английская фамилия, имеющая французское происхождение. В Уотфорде я знала множество Юззеллов. Это имя даже носила одна из улиц. <...>

Уборная была пристроена к дому; правда, чтобы туда попасть, следовало выйти во двор. Брат показал мне отверстие в стене судомойни, к которой примыкала уборная, но этого ему показалось мало: всегда готовый покрасоваться передо мной, своей самой благодарной аудиторией, он схватил метлу и ткнул черенком в дырку. Тут же из уборной с возмущенным воплем вылетела бабушка — мелькнули лишь белые нижние юбки.

Наши двоюродные бабушки Нэнси и Салли Юззелл жили на Викаридж-роуд, что я считала вполне резонным, поскольку понятие "викарий" было краеугольным камнем их мирка. О чем бы с ними ни говорили, в беседе неизменно ни с того ни с сего всплывал викарий — правда, нельзя не признать, что круг обсуждаемых тем был весьма узок. Их дом пропах неповторимым ароматом хозяек — всеми моющими и чистящими средствами той эпохи. В нем слились запахи карболового мыла и графита (которым чернили плиту и каминную решетку), пчелиного

воска (служившего для натирания мебели и вообще всех деревянных поверхностей) и скипидара, которым этот воск растворяли, смеси парафина с трепелом — тертым известняком (ею начищали медные подсвечники и дверные ручки), уксуса, который добавляли в воду при замачивании белья, хлорки, которой белье отбеливали, и нашатырного спирта, применявшегося невесть для чего. Духом всех этих ядов пропиталась одежда моих двоюродных бабушек и занавески на окнах. Мне чудилось, что даже печенье, которое они подавали к чаю, отдает нафталином. <...>

Нэнси действовала на Салли как суккуб. Правда, никаких доказательств тому у меня нет — я полагаюсь лишь на мою детскую интуицию да на несколько уклончивых фраз, оброненных старшими. Если бы не совместное житье с Нэнси, Салли была бы доброжелательнее. Я всерьез радовалась тому, что состою с этими дамами лишь в отдаленном родстве и от них не завишу.

Было известно, что они не одобряли женитьбы своего брата Тома на Аделаиде, но с тех пор много воды утекло. Салли сидела, сложив руки на коленях, покамест Нэнси говорила за них обеих, причитая, как на похоронах, — по крайней мере, так казалось мне. Это Нэнси первой спешила сообщить в письме о том, что какая-нибудь молодая жительница Уотфорда забеременела до брака.

Когда жившая с нами в Эдинбурге бабушка умерла, Нэнси поместила в "Уотфорд обсервер" объявление, которое в избытке самодовольства переслала нам: "После длительных, терпеливо сносимых страданий она опочила в Господе". Далее следовало четверостишие, начинавшееся: "Отныне золотой венец на ней..." Моя мать просто вскипела, прочитав все это, ее вполне резонно покоробило выражение "длительные страдания", поскольку бабушка, хотя ее и парализовало на исходе дней, страдала не так уж долго. Мы заботились о ней изо всех сил. Что до того, "опочила" ли она "в Господе", это еще был большой вопрос.

Отец моей бабушки был иудеем, а мать — христианкой. Сама же бабушка неизменно вступала во все организации и общины, какие только возникали в Уотфорде. Она была суфражисткой и участвовала в манифестациях за предоставление женщинам избирательного права. Состояла в Союзе матерей при англиканской церкви. Пробовала посещать собрания методистов и спиритов. К подобным мероприятиям сводилась ее "светская жизнь". Когда она скончалась в Эдинбурге, уотфордский Женский церковный союз прислал надгробную плиту, которую моя мать и установила на ее могиле. Но поскольку кладбище было еврейское, плиту быстренько куда-то убрали. Сорок лет спустя мой сын установил на месте ее последнего упокоения надгробие с древнееврейской надписью. <...>

Мне шел восьмой год, когда дед умер, и наши идиллические ежегодные поездки в Уотфорд прекратились. Этому предшествовало странное событие, которое произвело на меня глубокое впечатление. У нас на кухне, над камином, висела увеличенная фотокарточка представительного старика, по виду — настоящего патриарха, доставшаяся нам от семьи отца. Не знаю, кто таков был этот патриарх, но в родстве с нами он точно не состоял; я часто гадала, почему его портрет оказался у нас. Возможно, то был уважаемый человек — знаменитый раввин или талмудист. Однажды вечером портрет свалился со стены. Никто не постра-

дал, но стекло разбилось. Мама сильно расстроилась и сказала, что это дурной знак, — наверное, забеспокоилась о своем отце, болевшем бронхитом. И действительно, на следующий день пришла телеграмма: родителей вызывали в Уотфорд. Дедушка умер от воспаления легких незадолго до их приезда. Патриарх больше не вернулся на стену.

Тем летом бабушка закрыла магазин. Мы все вчетвером поехали за ней; она переселилась к нам в Эдинбург, где и провела последние четыре года своей жизни.

Года три, до своей тяжелой болезни, бабушка участвовала почти во всех семейных прогулках и развлечениях. Вечером она никуда не выходила — в семь уже ложилась. Мои родители днем напряженно трудились, но почти каждый вечер проводили вне дома — в гостях или в кино. Мы с братом часто оставались вместе с бабушкой. Обычно я читала или делала уроки, пока она дремала или слушала радио, которое казалось ей настоящим чудом. Филип, также занятый своими уроками, часов в девять кипятил нам чай. К десяти все мы укладывались в постель. <...>

С приездом бабушки пришлось потесниться. Я уступила ей свою комнату. В течение нескольких лет я стелила себе на диване и засыпала здоровым, глубоким сном. Если бы мне, восьмилетней, тогда сказали, что я живу в плохих условиях, я бы сочла это замечание бредовым. Я знала, что у некоторых девочек есть собственные комнаты, но знала и то, что у других даже кровати настоящей нет. Между двумя фактами — существованием имущих и существованием неимущих — я не видела противоречия. Они сливались в единый аккорд, как и многие другие явления окружавшего меня мира, которые теперь, задним числом, могут казаться мне диссонирующими.

Примерно через три года с бабушкой случился удар. Мне было одиннадцать. В ту пору я открывала для себя сладость поэзии и искусства благодаря нашей замечательной учительнице Кристине Кэй. Мои школьные дни стали упоительны; я осознала, что жизнь таит в себе невиданные возможности, и это отчасти сказалось и на моем параллельном, домашнем существовании. Как мисс Кэй и ее коллеги стали зернами, из которых выросли герои моего романа "Мисс Джин Броди в расцвете лет", так и новые беды, связанные с болезнью бабушки, заставили меня со всей остротой осознать, что такое старость; конечно, об этом явлении я знала и раньше, но дотоле оно было чем-то отвлеченным, не имеющим никакого касательства к жизни нашего дома. Думаю, эти впечатления в итоге стали фундаментом моего романа "Memento mori", где все герои преклонного возраста.

Пока у бабушки не случился удар, я успела понять, как работает ее память — картины прошлого возвращались в виде обрывков, зарисовок. Я и сама училась вспоминать. Когда бабушка рассказывала о своей сестре Китти — как та хвасталась своими нарядами, я подначивала: "И что ты ей тогда сказала?". — "Я просто вышла из комнаты и сказала: 'Прощай, Роттен-Роу'". Я знала, что Роттен-Роу — это знаменитая дорожка "Rue du Roi"[1] в Гайд-парке, где богачи ежедневно совершают прогулку верхом. Я считала бабушку очень остроумной, и она знала, что всегда может меня рассмешить. В последний раз, когда у нее хватило сил под-

1. Бытует мнение, что название "Rotten Row" (*англ.* — гнилой проезд) происходит от искаженного французского словосочетания "Rue du Roi" — (дорога короля).

няться с кровати и посидеть с нами, она, уходя из комнаты, поддерживаемая моей матерью, внезапно сказала: "Прощай, Роттен-Роу", что сильно опечалило всех нас. <...>

Когда мне стукнуло лет двенадцать, с бабушкой случился второй удар, и остаток жизни — почти год — она была полностью прикована к постели. Мама находилась при ней безотлучно.

Физически мама была скорее сильной, но бабушка была довольно грузная. Я часто помогала маме поднимать бабушку с постели и усаживать на приставленный к кровати "стульчак" — деревянное сиденье с откидной крышкой, под которой находился глубокий ночной горшок. Я старалась быть под рукой, поскольку эту обязанность, в отличие от других дел, требующих физических усилий, не могли взять на себя отец с братом. Мама говорила, что для бережного перемещения бабушки с кровати и обратно нужна скорее сноровка, чем сила. И вправду: наблюдая за мамой, я сама научилась управляться — сколько помню, не перенапрягая мускулы, — и с этого времени у мамы появилась возможность иногда выходить по вечерам с отцом "в свет". Если бы нам сказали, что от двенадцатилетнего ребенка нельзя требовать, чтобы он находился при бабушке в качестве сиделки, я решила бы, что эти люди просто не способны взглянуть на дело глазами моей бабушки. У меня даже возникло бы подозрение, что они желают ей зла.

Но в принципе мама не поощряла во мне интереса к домоводству. На сей счет у нее была своя теория: "Если ты чего-то не умеешь, на тебя это и не взвалят", кроме того она полагала, что "позже" я еще успею всему научиться. Сама она хорошо готовила блюда английской кухни, но заниматься уборкой ей было скучно, и она прилагала лишь минимальные, самые необходимые усилия. Вместо нее все мыла и драила домработница, приходившая раз в неделю.

У бабушки в комнате было небольшое бюро, которым я пользовалась, когда за ней присматривала. Там было много ящиков для хранения бумаг и заветных сокровищ, а также покатая, обтянутая кожей крышка, которая, откидываясь, превращалась в горизонтальную столешницу. За любым письменным столом я всегда чувствовала себя счастливой. Пока бабушка дремала, я делала уроки, сочиняла стихи, читала взятые в библиотеке книги и писала письма, адресованные, как правило, моей лучшей подруге Фрэнсис, с которой мы сидели за одной партой. Фрэнсис тоже писала мне письма; на следующий день мы ими обменивались. Ни у меня, ни у нее не было телефона. Мы писали друг другу о прочитанных стихах или делились идеями природоведческих исследований. Вечера, когда я ухаживала за бабушкой, перемежались другими, когда наша обожаемая мисс Кэй водила нас в театр или на концерты. Тогда дома оставалась мама.

Когда бабушка умирала, меня, сколько помню, позвали к ней в комнату, чтобы я присутствовала при последних минутах ее жизни. Было часов девять вечера. Доктор только что ушел. Волосы у меня были накручены на бигуди. Я почему-то сочла, что в таком виде появляться у смертного одра неприлично: перед дверью сняла бигуди и причесалась. Бабушка была без сознания. Слышался странный звук. "Предсмертные хрипы", — прошептал отец. В бабушкином горле что-то происходило, глаза у нее были закрыты. Но вот хрипы прекратились. Она громко вздохнула и скончалась.

Ярче всего она мне вспоминалась здоровой, в Уотфорде, когда, полная жизни, она торговала в магазине. У меня в памяти прежде всего всплывали ее сардонические, грубовато-остроумные замечания, которые она отпускала, тихо обсуждая с мамой некоторых соседей. Однажды я подслушала обрывок их разговора, явно не предназначавшегося для моих ушей. Речь шла о чьих-то супружеских трудностях. Мама задала вопрос отчасти риторический: "Ну скажи, как угодить мужчине?" — "Старайся, чтоб у него ни желудок, ни конец не голодали", — отвечала бабушка. <...>

На Хэллоуин мы с Фрэнсис превратили одну из комнат первого этажа ее дома в "логово ведьм". В красивом старинном камине ревело пламя. Дар создавать надлежащую атмосферу проявился у Фрэнсис с самого детства. Ее хэллоуиновская "постановка", заведомо малобюджетная, была бесподобна: скрытая под таинственными драпировками мебель, отсветы огня на стенах и потолке, скатанные ковры, поставленные на попа, — точь-в-точь зловещие, разглядывающие нас фигуры. Надев черные картонные колпаки, мы уселись у камина: ели жареные каштаны, произносили заклинания, зачитывали нараспев самые безумные из собственных стихов и рассказов.

В детстве мне то и дело дарили кукол. В основном я использовала их для разыгрывания пьес, которые импровизировала тут же, по ходу действия. В двенадцать лет я получила в подарок велосипед. И обнаружила, что могу сочинять стихи и истории, пока мчусь по тротуарам (для езды по мостовой, среди машин, мой велосипед не был приспособлен) и распугиваю звонком горожан, которые мирно выгуливают собачек. <...>

Те, кому довелось взрослеть в Эдинбурге 30-х годов, не могли не чувствовать: общество лихорадит. Скрыть это было совершенно невозможно, хотя по Эдинбургу экономический кризис 30-х ударил меньше, чем по многим другим британским городам. Мужчины и женщины выстаивали длинные очереди за еженедельным пособием по безработице. Ветераны Первой мировой с медалями на груди все еще собирались в оркестры и играли на улицах, а прохожие кидали им мелкие монеты. Среди ветеранов были люди на деревяшках, в пиджаках с пустыми рукавами, с лицами, иссеченными шрамами.

Собственно, то была глобальная экономическая депрессия; как бы в противовес ей молодежь стремилась к переменам, к более вольной жизни. В условиях экономической нестабильности свобода от условностей была вполне достижима, тем более что терять нам было почти нечего. "Прогрессивные люди", даже из числа наших буржуазных знакомых, не запрещали своим детям бегать по пляжу нагишом. Вошло в моду лечение природными средствами вроде вегетарианской диеты. На каждом шагу открывались курсы "красоты и здоровья". "Ты веришь в свободную любовь?" — спрашивали друг друга умненькие подростки. Впрочем, как правило, дальше разговоров дело не заходило — дети из семей среднего класса редко начинали половую жизнь до брака. На каникулах мы совершали далекие пешие вылазки, обходившиеся почти даром. В торговле явственно ощущалась конкуренция. Цены повсюду снижались — их падение продолжалось вплоть до начала войны в 1939 году.

В выпускном классе школы я, семнадцатилетняя, читала "Семь столпов мудрости" Т. Э. Лоуренса[1] – увесистый том, из которого не помню ни слова. Обособленный слой состоятельных людей покамест существовал, но деньги как таковые перешли в другие руки. Богатство уже не было непременным атрибутом аристократии; собственно, оно постепенно утекало сквозь пальцы тех, кто столетиями держался за свои состояния. В те годы многие известные в высшем свете семейства были вынуждены просить родственников, приехавших к ним погостить, о возмещении "расходов на проживание".

Как мне следовало распорядиться своей судьбой? Я предпочла бы поступить в университет, но разве что ради диплома, который, впрочем, не сулил мне ничего, кроме расплывчатых привилегий при устройстве на работу. Учиться я любила, но исключительно по своей собственной методике – мне нравилось рыться в книгах в публичной библиотеке, отбирая самые интересные. Я обожала всевозможные поэтические антологии, позволявшие сравнивать стихотворные размеры и формы, анализировать, соответствуют ли они темам. Впрочем, не знаю, получился бы из меня настоящий ученый. Шансы повстречать другого такого наставника-вдохновителя, как Кристина Кэй, почти равнялись нулю. В любом случае учеба в университете была мне попросту не по карману. Допустим, меня освободили бы от платы за обучение, но и тогда расходы на жизнь в течение трех-четырех лет и маловероятность трудоустройства по окончании учебы превращали университет для меня, молодой женщины, не имеющей никаких личных средств к существованию, в недоступную роскошь.

Кроме того, я видела оборотную сторону медали. Я подметила, что многие девушки постарше, учившиеся тогда в Эдинбургском университете, были настоящие зануды: серьезные и при этом какие-то инфантильные, лишенные женского шарма и чувства стиля. Атмосфера там царила, в сущности, пуританская. Изящества боялись, точно дьявольских козней. Тогдашние университеты, что резко отличает их от нынешних, во многом были лишь некой дополнительной ступенью средней школы. Юноши и девушки созревали позже. Думаю, редкая студентка тогда могла бы сказать вам, кто такие Гари Купер или Конрад Фейдт (мой кумир), Мэделайн Кэрролл[2] или Марлен Дитрих. С другой стороны, к двадцати годам эти девушки могли написать диссертацию о Джоне Донне (но это и я бы могла).

Итак, я выбрала колледж Хериота-Уатта (ныне университет), чтобы усовершенствоваться в практической стилистике английской письменной речи. Особенно меня интересовало реферирование, и я прослушала на сей счет специальный курс. Я очень ценю краткость и всегда стараюсь выразить свои мысли как можно более лаконично. Считалось, что в колледже Хериота-Уатта готовят практиков, людей дела.

Он носил имена вышеупомянутого Джорджа Хериота – придворного ювелира, увековеченного сэром Вальтером Скоттом в "Приключениях Найджела"[3] – и Джеймса Уатта, прославленного изобретателя паро-

1. Мемуары британского разведчика Томаса Эдварда Лоуренса (1888–1935), более известного как Лоуренс Аравийский.
2. Конрад Фейдт (1893–1943) – немецкий киноактер; Мэделайн Кэрролл (1906–1987) – английская киноактриса, известная по фильмам Хичкока.
3. В русском переводе романа – Гериот.

вой машины. Это Уатт придумал термин "лошадиная сила". В его честь названа единица мощности — ватт. Рассказывают, что тетя бранила маленького Джеймса за праздность: "В жизни не видывала такого бездельника: за целый час и слова не скажешь — все поднимаешь с чайника крышку да опускаешь обратно, держишь над паром то чашку, то серебряную ложку, глазеешь, как он бьет из горлышка да как ложка запотевает, потом считаешь, сколько капель воды образуется".

Колледж субсидировался из денег, завещанных Хериотом преимущественно на нужды научно-технического образования. Меня очень привлекала идея более научной атмосферы в целом и более научного подхода к английскому языку, в противоположность вольному, гуманитарному, поэтично-возвышенному, который практиковался в "Школе Гиллеспи". Друзьям мой выбор показался странным. Но в действительности колледж Хериота–Уатта вполне удовлетворял моим желаниям и потребностям. Для английских деловых текстов — в коммерции и банковском деле, в промышленности и даже в политике — характерна прямота, чувство меры и отсутствие пустой риторики. Полученные в колледже Хериота–Уатта знания и навыки сослужили мне хорошую службу — пригодились спустя много лет, когда я работала в фирме, занимавшейся связями с общественностью, и писала речи для владельцев и управляющих промышленных предприятий. Меня и доселе завораживает та манера речи, свойственная хорошим администраторам, которую переняли самые успешные молодые политики последнего десятилетия. Я нахожу "менеджерский" стиль, лишенный экивоков и жеманства, достаточно выразительным. На современных съездах, конгрессах и парламентских заседаниях ни к чему проповеди и фигуры речи, тягучие каденции и звонкие поэтические метафоры.

Но я чувствовала: чтобы достичь желанной цели — писать о жизни, — вначале нужно самой что-то в жизни испытать. Еще тогда я пришла к убеждению, что основы литературы, ее суть, находятся не в самой литературе, а вовне, в окружающей действительности. Между тем в 30-е годы в нашем районе Эдинбурга почти ничего не менялось. <...>

Я любила ходить с братом на танцы. Мне позволялось общаться со всеми кавалерами, которые мне приглянутся, при условии, что я буду приводить их домой и знакомить с родителями. Но больше всего меня притягивали друзья брата — американцы, студенты-медики. Они были намного старше меня. Год за годом каждое воскресенье трое из них приходили к нам ужинать, часто со своими приятелями.

Но я была еще слишком юна, чтобы стать "девушкой" кого-либо из этих студентов. Мы с Фрэнсис окончили школу в 1935 году в возрасте семнадцати лет. Пока я посещала колледж Хериота–Уатта, Фрэнсис, если я ничего не путаю, училась на секретаршу, как и очень многие наши одноклассницы, не пошедшие по научной стезе. Обучение секретарскому делу стоило дорого, но я понимала: кое-какие навыки в этой области не помешают, когда я буду искать работу. Я устроилась учительницей в маленькую частную школу Хилл-скул неподалеку от нашей квартиры, в доме 35 по Колинтон-роуд. Работала я бесплатно, но взамен меня безвозмездно обучали стенографии и машинописи. Эти навыки очень пригодились мне в жизни. Свои вещи я пишу от руки, но умение быстро, без посторонней помощи печатать рассказы и статьи принесло мне неоце-

нимую пользу, когда я начала публиковаться. Для писателя большое подспорье — умение записывать стенографическими знаками беседы, деловые переговоры, случайные реплики, подслушанные в поезде или в ресторане.

Днем в Хилл-скул я преподавала английский, арифметику и природоведение. Классы были небольшие, примерно по шесть учеников. Мальчики там учились маленькие, девочки — постарше, в возрасте от десяти до шестнадцати лет. Некоторые из учениц, почти мои ровесницы, одновременно обучались секретарскому делу у той же преподавательницы, что и я. К учебе тут подходили далеко не с той серьезностью, к которой я привыкла за двенадцать лет в "Школе Гиллеспи". Девочки просто коротали тут время перед тем, как отправиться на континент в какой-нибудь пансион благородных девиц. Мальчики готовились в школы-интернаты. Это были дети из богатых семей, но не испорченные, ничуть не избалованные. Милые и наивные, они получили чересчур тепличное воспитание. Увлечь их на уроке было легче легкого. В основном я просто давала материал по учебнику. Возможно, чему-то я их и научила. Больше всего им нравилось рассказывать о своих братьях и сестрах: сообщать, как их зовут, сколько им лет, какого цвета у них глаза и волосы.

Еще не успев как следует овладеть машинописью и стенографией, я сообразила: на мне сильно наживаются. Школа Хилл-скул "для девочек старшего возраста, а также подготовительная школа для мальчиков" находилась в довольно большом доме с красивым садом. Все вопросы решали владелицы — две мисс Филип, родные сестры, которым тогда шел шестой десяток. Одна была толстая, другая — худая, одна — жизнерадостная, другая, соответственно, раздражительная. Обе директрисы откровенно подлизывались к родителям — и в этом тоже проявлялся разительный контраст со школой, которую окончила я. Было ясно: барышни Филип только и думают о том, как зашибить побольше денег. Частные школы всегда грешат чем-то подобным.

Преподавательница стенографии и машинописи — увядшая дама без малейших способностей к чему бы то ни было, кроме своей профессии, сестры Филип и я составляли весь штат учителей. Заведение было престижное и прибыльное.

Я проводила четыре-пять уроков в день, а также выполняла кое-какую канцелярскую работу. Вознаграждением для меня служил один час занятий машинописью и стенографией ежедневно. Отработав год, я сочла, что доросла до того, чтобы мне платили зарплату. Но в своем юном возрасте я не умела выдвигать финансовые требования — не знала, как завести об этом разговор. Я просто сказала сестрам, что хочу подыскать себе место секретарши, ведь теперь я умела быстро печатать слепым методом и заполнять страницы стенографическими знаками. Я думала, что сестры вполне довольны мной как учительницей, и ожидала, что меня попросят остаться, предложив какую-никакую, но плату. Дудки! "Хорошо", — сказали они и распрощались со мной. Полагаю, вскоре они нашли другую даровую молодую учительницу без диплома на тех же условиях.

Чтобы иметь карманные деньги, я весь год занималась по выходным с мальчиком, который завалил самый важный экзамен. Результаты этого экзамена, который сдавали в двенадцать лет, при переходе из младших

классов в старшие, буквально предопределяли судьбу человека на всю оставшуюся жизнь. Переэкзаменовка прошла успешно, и отныне я была вольна искать оплачиваемую работу; мне было восемнадцать, и я больше не хотела зависеть от родителей.

Я стала взрослой, хотя официально совершеннолетие наступало в двадцать один год. Прошли те времена, когда отец, завернувшись в простыню, изображал привидение, чтобы нагнать на меня страху, если я приходила домой поздно. (Пока я была школьницей, "поздно" значило в десять вечера.)

Главным магнитом для ищущих работу была Принсес-стрит и респектабельный Нью-таун с его красивыми площадями. Одна сторона этой знаменитой улицы оставалась незастроенной: вдоль нее тянулась низина с садами Принсес-стрит-гарден, а в ее глубине возвышался величественный холм, увенчанный древним Эдинбургским замком. Здания на другой стороне были сплошь заняты (а длина улицы составляет целую милю!) шикарными магазинами и закрытыми клубами. Я решила, что было бы здорово работать в районе Принсес-стрит, желательно на какой-нибудь площади.

Рабочих мест не хватало. Я разместила энное количество объявлений в газетах, вполне сознавая, что претенденты исчисляются сотнями. Несколько раз меня приглашали на собеседования, где я открыла для себя жизнь с неизвестной стороны. Иногда наниматели — юристы или члены городского совета — любопытствовали, отчего это у меня "иностранная фамилия": Кэмберг. (Мой отец ни за что не соглашался переименоваться в Кэмбера, как сделали его брат и прочие родственники, в большинстве своем бизнесмены. Отец считал, что ему — инженеру-механику, всегда обеспеченному работой, — незачем менять фамилию и, более того, нечего ее стыдиться. Он часто шутил, что королевская семья, сменившая во время Первой мировой войны фамилию Баттенберг на ее дословный английский перевод Маунтбаттен, ему не указ, — он лично фамилию Маунткэм брать не станет[1].) Если наниматели проявляли интерес к моей фамилии, я поясняла, что она еврейская и, видимо, немецкого происхождения. Это часто вызывало удивление, поскольку ничего характерно еврейского в моем облике не было. Да и все Кэмберги были светловолосые и синеглазые. Цвет лица достался мне в наследство от уотфордских Юззеллов, но в остальном я выглядела настоящей шотландкой: волосы рыжеватые, глаза синие, лицо круглое с эдаким деревенским румянцем. В молодые годы я была более или менее склонна к полноте — как видно по фотографиям, иногда более, иногда менее. На поэтессу или интеллектуалку я внешне не походила ничуть.

Хотя в 30-е годы антисемитизм захлестнул всю Европу, я не могу сказать, что при поисках работы в Эдинбурге 1936 года когда-либо ощущала себя жертвой дискриминации. Трудности были в другом — в недостатке квалификации и полном отсутствии опыта работы. "Оскорбили" меня на собеседовании всего единожды — это слово я ставлю в кавычки, поскольку почувствовала себя не столько оскорбленной, сколько заинтригованной. Не помню уж, в какой фирме это случилось. В тесном кабинете меня ждал низкорослый толстячок лет тридцати, никак не старше.

1. Berg (*нем.*). mount (*англ.*) — гора. Battenberg и Mountbatten — гора Баттен; а Camberg и Mountcam — гора Кэм.

Мне же еще не исполнилось девятнадцати. Собеседование происходило по окончании рабочего дня, что было вполне в порядке вещей. Он пригласил меня сесть на стул сбоку от его стола, задал несколько вопросов, а затем подвинул свой стул так, что, сидя чуть ли не нос к носу со мной, почти касался своими коленями моих. А потом уставился на меня пристальным взглядом — точно насквозь просвечивал. Это длилось не меньше пяти минут. Я спокойно смотрела мимо него, не опуская глаз. В тогдашней Шотландии наниматели старались "внимательно присматриваться" к кандидатам на работу, но я была не так наивна, чтобы счесть его намерения невинными. Он меня "весь обслюнявил взглядом", как я про себя именовала подобное. Интуиция подсказывала мне, что надо и бровью не вести — сидеть, как сидишь. Наконец собеседование завершилось. Он сказал, употребив общепринятую формулу вежливости, что известит меня о своем решении по почте. Спустя два дня, к моему удивлению, он прислал письмо с учтивым приглашением на повторное собеседование. Разумеется, я не пошла.

Вскоре после этого я нашла работу на Принсес-стрит, 106, в конторе пожилого владельца дорогого универсального магазина женской одежды "Уильям Смолл и сыновья". Меня взяли без долгих церемоний — им просто понравилось мое заявление. Моим начальником оказался Уильям Смолл собственной персоной, милейший человек. Его огромный кабинет был обставлен совсем как гостиная: рояль, роскошный ковер, много цветов. Мои свежеобретенные познания в скоростной стенографии по методу Питмэна пропадали втуне: мистер Смолл диктовал неспешно, перемежая абзацы деловых писем философскими рассуждениями, шотландскими пословицами и сухими сентенциями, как-то: "Большинство стариков умирает в ноябре". Ему самому в то время было, видимо, далеко за семьдесят. Фирмой руководил его сын Гордон, высокий, статный, обходительный человек лет тридцати. Иногда Гордон заходил в кабинет, наигрывал несколько мелодий на рояле и снова уходил. Порой я заставала мистера Смолла-старшего над грудой образцов хлопчатобумажных тканей в тонкую полоску: он присматривал себе рубашки на следующий сезон. Для пожилого шотландца у него был весьма авангардный вкус. Я помогала ему выбирать ткани в тонкую цветную полоску, затем убеждала отважиться на еще более смелый рисунок и наконец составляла подробное письмо-заказ на крупную партию рубашек. Рабочий день пролетал незаметно, как во сне. Мы также коротали время, обсуждая многочисленные благотворительные организации, которым мистер Смолл жертвовал деньги. Терпеливо и основательно он взвешивал их заслуги и потребности.

Видя это старомодное, спокойное отношение ко времени, я только дивилась, как умудрился мистер Смолл создать фирму и добиться ее процветания. В бухгалтерии магазина царила деловитость без суетливости. Я ходила туда печатать письма и помогать другим сотрудницам, если мистер Смолл оставался дома, что случалось редко (его останавливали только сильные снегопады). Там работали четыре женщины: старший бухгалтер и три ее подчиненных. Весь день они писали, склонившись над бухгалтерскими книгами, макая перьевые ручки то в синие, то в красные чернила. У меня ручка была наливная — подарок брата Филипа. Но тогда на наливные ручки смотрели косо — мол, их владельцы "пыль в глаза пускают".

Вначале моя зарплата составляла три фунта в месяц, но за восемь месяцев ее постепенно подняли до шести. В 1936 году в Эдинбурге молодая девушка могла неплохо прожить на эту сумму. Работникам магазина вдобавок предоставлялась скидка на любые покупки. Я тратила там все деньги, какие могла выкроить из своего бюджета, – я всегда любила красивую одежду.

"Смолл и сыновья" в то время считался одним из пяти лучших магазинов дамской одежды в Эдинбурге. Все продавщицы этих роскошных заведений были облачены в длинные черные платья и ходили особым скользящим шагом, почти как современные манекенщицы. У входа покупательниц приветствовал высокий господин в цилиндре и визитке. С полупоклоном – точнее, лишь слегка наклонив голову, – он вопрошал: "Мадам угодно..." После того как мадам выражала желание приобрести чулки или платье, господин артистичным жестом подзывал одну из сирен в черном: "Мисс Смит, не будете ли вы так любезны обслужить мадам?" или "Мисс Фрэзер, не соизволите ли вы проводить мадам в отдел белошвейных изделий?" (Этим эвфемизмом обозначались корсеты, пользовавшиеся в то время большим спросом. Речь шла не о старинных корсетах на китовом усе, а о новоизобретенных: двусторонних, из эластичного материала, без застежки. Надевались они через голову. Всякая женщина отчего-то считала, что ее фигура обязательно нуждается в "поддержке".) Меня завораживал этот нескончаемый балет галантных жестов, начинавшийся прямо у дверей магазина и завершавшийся в диккенсовской конторе.

За все время работы у Смолла мне так и не приелась атмосфера фирмы – смесь роскоши, неподдельного изящества и скудоумия. Я жадно впитывала этот дух. Проходя в кабинет мистера Смолла через элегантные торговые залы, я подслушивала диалоги между клиентками и продавщицами: с такой нелепостью и жеманством я больше нигде и никогда не сталкивалась. В воздухе витала надменность (источаемая клиентками) и подобострастие (источаемое продавщицами). Я часто подумывала написать веселую книгу под названием "Универмаг". До сих пор я ни разу не касалась этой темы, но, возможно, еще успею. Опыт работы у "Смолла и сыновей" определенно обострил во мне умение подмечать характерные черточки людей.

Часть заработка я тратила на книги и грампластинки. Последнее очень радовало моего отца – мы успели обзавестись радиолой. Отец любил записи Карузо, мама предпочитала легкую музыку – английские романтические баллады. Один-два раза в неделю я ходила на танцы. Кино я никогда не посещала одна – меня всегда кто-нибудь да приглашал, обычно поклонники. "Анна Каренина" и "Дама с камелиями", где играла Грета Гарбо, тогда молодая, находившаяся на пике славы, "Тридцать девять ступенек", снятые Хичкоком в период творческого расцвета, – вот новинки, поражавшие воображение моего поколения. Нынче эти картины – старая добрая классика.

В 1935 году издательство "Пенгуин" начало выпускать дешевые переиздания в бумажных обложках – первые в Англии "покетбуки". Книги в твердом переплете обычно продавались по семь-восемь шиллингов. "Пенгуины" же поначалу стоили шесть пенсов, а позднее подорожали до девяти. Покупателям новинка понравилась – то были трудные времена

безработицы и низких заработков. Я скупала почти все свежие "пенгуины". Начала с "Ариэля" Андре Моруа — романа о любви по мотивам биографии Перси Биши Шелли. Это прелестная, хотя и весьма недостоверная вещица; после нее я заинтересовалась жизнью писателей XIX века, особенно Перси и Мэри Шелли. Спустя шестнадцать лет я сама написала критико-биографическое исследование "Мэри Шелли"[1].

Следующая же книга — "Прощай, оружие!" — познакомила меня с Эрнестом Хемингуэем. Но моим любимым "пенгуином" за весь первый год существования серии, 1935-й, стал "Паб поэта" Эрика Линклейтера[2]. Мне казалось, что мир этой книги максимально близок к той взрослой жизни, в которую я мало-помалу вступала. Интонация Линклейтера отличалась раскованностью и юмором, которые напрочь отсутствовали в привычной мне современной прозе; но это не мешало автору говорить о серьезных вещах. Вдобавок Линклейтер был шотландец — родная душа. "Паб поэта" я и сейчас с удовольствием перечитываю. В первую партию пенгуиновских переизданий попали и Агата Кристи с Дороти Сейерс. <...>

От моего дома до магазина Смолла было пятнадцать-двадцать минут езды на трамвае. Я всегда ездила домой обедать, хотя времени еле хватало: мама должна была непременно повидать нас всех днем — иначе у нее начинали шалить нервы. Итак, ежедневно я проводила в трамвае час с лишним, коротая время за чтением газет, в основном "Скотсмена". Ясно помню фотографию: король Эдуард VIII (подготовка к его коронации[3] была тогда в полном разгаре), прибывший с официальном визитом в Турцию, сидит рядом с президентом Кемалем Ататюрком в открытом экипаже. Подпись: "Король Эдуард отвечает на приветственные крики толпы..." Но никакой толпы на фото нет — только несколько обеспокоенных полицейских, предусмотрительно расставленных вдоль шоссе.

Коронация так и не состоялась, и вскоре поползли слухи о грядущем отречении. Речь короля, в которой он отрекался от престола, я слушала по радио вместе с одним из моих кавалеров, Сидни Освальдом Спарком (мы звали его СОС), в его клубе. В следующем году я стала невестой Спарка.

В моем кругу все спрашивали друг друга, за Тедди они или за отречение. Я же считала, что исход этого дела не будет иметь никаких реальных последствий. Я никак не могла уяснить — да и теперь не могу, — что, собственно, изменилось бы для британской нации, стань Уоллис Симпсон "супругой правящего монарха". Всю эту историю я находила нелепой и очень занятной; меня веселил напыщенный язык официальных заявлений той поры. Но поскольку королевская семья не имела законодательных полномочий, я полагала: кто бы ни восседал на престоле, наша жизнь принципиально не изменится — те же возможности, тот же ассортимент доступных продуктов и товаров.

1. Мэри Шелли в сборнике: Загадочные англичанки. — М.: Прогресс, 1992.
2. Эрик Линклейтер (1899–1974) — британский прозаик, пользовавшийся популярностью в 30-е гг. XX в.
3. Эдуард VIII, в народе Тедди (1894–1972) — король Великобритании; в 1936 г. унаследовал престол, но отказался от него в связи с планируемой женитьбой на разведенной американке Уоллис Уорфилд Симпсон.

Другое дело — правительство. Сама я, будучи несовершеннолетней, еще не имела права голоса. Но мне было ясно, что все политические партии Великобритании выступают против фашизма и диктаторских режимов. В 1936 году сэр Освальд Мосли, лидер британских фашистов, попробовал провести антисемитский марш в Уайтчепеле, одном из еврейских кварталов Лондона, но эта затея провалилась. У Мосли были сторонники среди маргиналов и быдла, в числе которых — многочисленные уличные громилы, но на английской почве его движение не прижилось. Муссолини являл собой фигуру комическую, осмеиваемую в мюзик-холлах. К угрозе со стороны Гитлера относились серьезнее. Но в тот период многим казалось, что Гитлер способен внять голосу разума и с ним можно "договориться". Однако более проницательные уже прозрели. В Великобританию начинали перебираться вместе с семьями первые немецкие беженцы, опасавшиеся гитлеровских гонений, — в большинстве своем врачи. <...>

Какого-либо определенного вероисповедания у меня не было, но мне была свойственна интуитивная религиозность. Бывало, что, слушая по радио красивую музыку, рассматривая в Шотландской национальной галерее замечательную картину, читая чьи-то стихи или сочиняя свои, я ясно ощущала: есть нечто превыше моего "я". Особенно отчетливым это чувство было, когда я писала стихи; я была убеждена, что иногда получаю доступ к знанию, которое никак не могла получить по обычным каналам, — к тому, чему меня никто не учил, чего я сама не слышала и не видела. Я знаю, что подобные феномены наверняка можно объяснить рационально, самыми разными способами. Но в молодости интуитивная уверенность, что познания и идеи "даются мне свыше", заменяла мне религию. Однако я никогда не ассоциировала эту мистическую работу сознания с экстрасенсорными способностями — все заверения тех, кто якобы таковыми обладает, я считала полным шарлатанством. В школе я получила религиозное воспитание в пресвитерианском духе, за что всю жизнь благодарю судьбу, ведь главный упор делался на красоте Библии. От родственников с отцовской стороны я получила сведения и о некоторых иудейских обрядах, но на мое воспитание — в отличие от моего брата — эти традиции не очень повлияли. У меня навсегда остались светлые воспоминания о вечере, когда мы отмечали Пейсах у тети Эстер, старшей сестры моего отца. Ее муж, дядя Айседор, был турецкий еврей, чем я в школьные годы очень гордилась — как-никак, доля восточной экзотики в собственном семействе. В тот вечер дядя Айседор объяснил мне, что сладкие блюда символизируют радостные эпизоды перехода евреев через Красное море, а горькие травы — трудности. Символический смысл этой ритуальной, театрализованной трапезы стал для меня настоящим источником вдохновения.

К 1937 году многие из моих подруг и друзей обручились или вступили в брак. Мне страстно хотелось вырваться из Эдинбурга и посмотреть мир. Возможно, потому-то я и согласилась на помолвку с Сидни Освальдом Спарком. На моей руке появилось бриллиантовое кольцо. СОС вскоре уезжал в Южную Родезию (ныне Зимбабве) работать учителем, для начала заключив контракт на три года. Он был на тринадцать лет старше меня. Я находила его интересным человеком, как,

собственно, и всех "зрелых" (по моим тогдашним меркам) мужчин. Моим родителям не очень-то хотелось отпускать меня, девятнадцатилетнюю, в такую даль. О С. О. Спарке им было известно очень мало: друзей у него в Эдинбурге было немного, работал он в последние годы в других городах. Познакомилась я с ним на танцах. Особенно беспокоился мой отец. Я и сама точно не знаю, отчего вышла замуж именно за этого человека, а не за любого другого из более молодых поклонников, водивших меня на танцы. И, видимо, никогда уже не узнаю. Мой выбор оказался крайне неудачным. Мы не знали, что у бедняги было не все в порядке с головой — в тот период его заболевание никак не проявлялось. Одна моя подруга, с которой мы недавно обсуждали эту историю, предположила, что Спарк оказывал на людей гипнотическое воздействие. Как ни странно, к этой же мысли пришла и моя мать спустя много лет после моего замужества: наблюдая, как Спарк общается с окружающими, она обнаружила, что их реакцию невозможно объяснить рационально.

Как бы то ни было, меня пленил человек, приносивший мне охапки цветов, когда я болела гриппом (с учетом моего жизненного опыта своим девизом я должна сделать фразу "Бойся мужчин, цветы приносящих"). Я радовалась, что в далекой Африке мне не придется ничего делать по дому — можно будет спокойно посвятить себя творчеству. Свою роль сыграла и неодолимая тяга к приключениям — как-никак, поехать на другой, незнакомый континент! Мой будущий муж дал понять, что страдает от одиночества; мне стало его жалко. С. О. Спарк уехал в Африку первым, без меня. Спустя несколько месяцев он прислал мне билет в один конец до Южной Родезии. Там мы и должны были пожениться.

Мисс Кристина Кэй, Фрэнсис Нивен и я устроили прощальное чаепитие. Фрэнсис тоже готовилась к замужеству. Во взгляде мисс Кэй я улавливала какую-то непонятную грусть. Я чувствовала: ей не хочется, чтобы я уезжала. Больше я с ней не виделась. Мои родители, Филип и один из моих дядьев, Джо Шапиро, проводили меня до самого Саутгемптона и усадили на корабль. На борту среди пассажиров отец повстречал своего знакомого лет сорока, тоже инженера. "Присмотрите за моей дочерью", — попросил его отец. (Какая ирония: в течение всего двухнедельного плавания инженер пытался за мной волочиться — буквально проходу не давал.) Провожающим велели сойти на берег. И вот 13 августа 1937 года я впервые в жизни отправилась в путешествие без сопровождающих. Для начала теплоход "Виндзорский замок" должен был доставить меня в Кейптаун.

Глава четвертая

В Африке я научилась не пасовать перед жизнью. В Африке я научилась ставить на первое место долг — суть предназначения человека — и оттеснять на периферию все частное: горести, тревоги и страхи, выпадавшие на мою долю. Я поняла: если считать неприятности чем-то преходящим, так оно на самом деле и получится. Силы я черпала в элементах некой первобытной мудрости и правды, присущих жизни на просторах тропического пояса Земли.

Плавание из Саутгемптона в Кейптаун длилось четырнадцать незабываемых дней. Как и большинство молодежи на корабле, я плыла третьим классом. Среди моих попутчиков были студенты и такие же невесты, как я. Люди постарше путешествовали с семьями. Было еще несколько лакеев и горничных, чьи господа обитали наверху, в каютах первого класса. Все пассажиры принадлежали к белой расе.

Двое суток напролет молодежь веселилась, отплясывая под оркестр и поглощая изысканные яства за длинными столами в кают-компании. Влюбленный инженер уже начал преследовать меня, а я удирала. Тут мы вошли в пресловутый Бискайский залив. В те времена лишь немногие корабли были оборудованы успокоителями качки, позволяющими сохранять равновесие в штормовую погоду; у нас такого устройства не было. Я слыхала, что переход через Бискай воистину ужасен. Свою репутацию залив вполне оправдал. Меня швыряло по койке туда-сюда. Казалось, уже все равно, жить или умереть. Чтобы удовлетворить любопытство, а заодно проветриться, я кое-как взобралась по трапу наверх. Палубы были безлюдны, если не считать горстки матросов. Их лица тоже отливали зеленым. Прелестных юношей и девушек, блиставших в обществе в первые вечера плавания, нигде не было видно. "Где цветы? Дай мне ответ"[1]. Я доползла до уборной и исторгла из себя все, что съела за всю свою жизнь. Обе мои соседки по каюте лежали пластом: они приняли какое-то средство от морской болезни, прописанное корабельным врачом. Пузырек стоял на тумбочке, и, поддавшись на уговоры моих исстрадавшихся, ослабших попутчиц, я налила себе большую дозу почти убийственного зелья. И, видимо, ее проглотила, поскольку проснулась с ощущением пустоты в голове на следующий день, когда Бискайский залив остался позади и жизнь на "Виндзорском замке" вновь весело забурлила.

Почти все испытанные мной яркие впечатления я воспела или, по крайней мере, использовала как фон для своих произведений. Но лишь теперь, когда я пишу эти строки, спохватилась, что почему-то никогда не описывала жизнь на борту пассажирского судна. Возможно, когда-нибудь я это сделаю — идея хорошая. Не могу себе представить лучшего антуража для романа или рассказа, чем двухнедельное плавание из Саутгемптона в Кейптаун в нашей пестрой, богемной компании. Очень многие из привилегированных пассажиров первого и второго класса ежедневно спускались к нам: именно у нас в третьем классе шла настоящая жизнь.

Та ядреная микстура вспомнилась мне много лет спустя, в начале 60-х, когда я плыла через Атлантику на "Куин Мэри" вместе с моим редактором Аланом Маклином. Нас обоих тошнило. Качка была сильная (правда, намного слабее и той, что вытрясла из меня всю душу тогда в Бискайском заливе, и гнусной болтанки, измотавшей меня на транспортном судне, которое во время войны везло солдат по океану кружным путем — из Кейптауна в Ливерпуль через Азорские острова). В общем, мы вызвали медсестру. Она пришла к каждому из нас в каюту, вооруженная старомодным многоразовым шприцем с каким-то силь-

1. Аллюзия на популярную антивоенную песню "Где цветы?", известную в исполнении Марлен Дитрих и Пита Сигера.

нодействующим средством. Мы оба провалялись на койках трое суток, лучшую часть путешествия. Когда в последний день в открытом океане мы наконец-то смогли выползти на палубу и увидеться, то единодушно заключили: эти лошадиные дозы вкатывают всем, кто жалуется. По слухам, то же самое заведено и в тюрьмах. Мы с Элом решили, что во время морских переходов больше никогда ни на что жаловаться не станем.

Но вернемся в 1937 год, на лайнер пароходства "Юнион касл". Жизнь на борту била ключом. К тому времени я была уже наслышана о "пароходных романах", заканчивающихся вместе с плаванием, и не находила ничего дурного в том, чтобы немножко пофлиртовать, тем более что в ближайшем будущем мне предстояло выйти замуж и остепениться. У меня была еще одна веская причина подыскать какого-нибудь молодого человека, с которым было бы весело танцевать и играть в спортивные игры на палубе, – требовалось отвадить назойливого инженера, который ходил за мной, точно шпик (весь рейс вид у него был довольно кислый). Моим кавалером стал двадцатилетний красавец студент из Южной Африки, возвращавшийся домой вместе с родителями. Кожа у него была необыкновенно белая. Он отнесся ко мне серьезнее, чем я рассчитывала, и даже его родители поступили весьма небанально – стали расспрашивать, уверена ли я, что хочу продолжать путь в Родезию. Я показала им всем троим бриллиантовое обручальное кольцо, красовавшееся на моем пальце. Было что-то трогательное в их горячем желании, чтобы в Кейптауне я прервала путешествие и стала женой их сына. Уж не чувствовали ли они, что брак со Спарком будет для меня ошибкой? Позднее я много об этом размышляла. Безусловно, я поощряла ухаживания студента больше, чем собиралась поначалу. И все же, как ни судить, время мы провели славно. Сидели вечерами на палубе, озаренные сиянием Млечного Пути, танцевали под оркестр, валялись в шезлонгах, пока нашу нежную кожу не слишком опаляло солнце, посещали концерты, которые непрестанно давали наши попутчики: виолончелист и певица, тут же, на теплоходе, познакомившиеся и составившие импровизированный дуэт.

Судно зашло на Мадейру. По шаткому веревочному трапу мы спустились в шлюпку, которая отвезла нас на берег. В те дни, когда о туристическом буме никто и слыхом не слыхал, Мадейра была самым настоящим островом мечты. Всюду цветы – в основном георгины, анемоны, гвоздики и какие-то необычайно яркие маргаритки. Местные жители увешивали нас гирляндами, одаривали букетами. Я впервые увидела, как выращивают гуавы и манго, бананы, папайи и апельсины. Женщины занимались своеобычным рукоделием – вышивали белые льняные скатерти нитками кофейно-коричневого оттенка (этот стиль островитянки переняли в 1850 году от одной англичанки). Попадались просто великолепные узоры. Шиллингов за пять, если не дешевле, я купила скромную скатерть. Надо сказать, что к жениху я ехала безо всякого приданого. Собственно, он об этом даже не вспоминал – да и я тоже. В нашем кругу считалось, что довольно и ума. Но скатерть с Мадейры – мое единственное приданое – много лет напоминала мне о дне, проведенном на этом прекрасном острове, где буйно росли цветы и фрукты, а в соборе было пусто – там молилось лишь несколько крестьянок в темно-серых шалях.

Мы держали курс на юг вдоль побережья Африки, пересекли тропик Рака, затем экватор (что ознаменовалось помпезным ритуалом макания в бассейн) и вошли в пояс тропика Козерога. Я была потрясена, увидев своими глазами легендарный Южный Крест — как он запросто сияет в небе. По ночам вода фосфоресцировала. С утра до вечера летучие рыбы скакали над океаном, как балерины. Я чувствовала себя завзятой путешественницей.

Мои южноафриканские друзья взяли с меня клятву писать им часто-часто и вскоре приехать в гости. Когда пароход прибыл в Кейптаун, мы сказали друг другу: "До скорого свидания!" До чего же странно: вся семья — отец, мать и их юный сын-студент — отчего-то была уверена, что в Родезии я не задержусь надолго. Они дали мне свой адрес: "Приезжайте, когда хотите, как к себе домой". Но больше я с ними не виделась. Примерно через год мой поклонник написал мне в Родезию. В конверт были вложены фотографии, сделанные на борту судна и на Мадейре. Я не ответила: у меня уже начались нелады с мужем.

Поскольку я была несовершеннолетней, в Кейптауне меня встретил сотрудник туристического агентства Томаса Кука, в фуражке с заметными издали буквами "Томас Кук" на околыше. Он должен был проводить меня на поезд, идущий в Солсбери, столицу тогдашней Южной Родезии (теперь этот город называется Хараре) и сдать с рук на руки охраннику. Представьте себе, его молодой помощник — парнишка с кожей шоколадного цвета — держал в руках букет, предназначавшийся мне! Я мгновенно вернулась в школьные годы: увидела, как мисс Кэй описывает затаившим дыхание ученицам свое увлекательное путешествие по Египту и драгомана, вручившего ей на прощанье цветы; вспомнила мамино замечание: "За эти букеты платит Кук" (в моем случае, правда, то был мой жених — мужчина, цветочные дары приносящий). В поезде букет поставили на мой столик в вагоне-ресторане. Я чувствовала себя взрослой искушенной дамой.

Южная Родезия была самоуправляемой территорией Великобритании, то есть имела собственный парламент, но исполнительная власть принадлежала губернатору, который и представлял интересы британской монархии. Страна находилась "под протекторатом" (весьма расплывчатый термин!) Министерства по делам доминионов, действовавшего (особенно в сфере "вопросов жизни туземного населения") в тесном союзе с Министерством по делам колоний. Однако внутренней политикой ведал парламент, состоящий из выборных депутатов — поголовно белых. Законодательство, как и в большинстве африканских колоний, было основано на римско-голландском праве. Все это порождало весьма своеобразное положение дел — всегда кто-нибудь да оставался в обиде. В 1937 году в стране жило около 55 тысяч белых. Быстрыми темпами росло чернокожее население, составлявшее на тот момент около полутора миллионов.

Не знаю, как можно было не чувствовать, что такое положение вещей долго не продержится. Я сразу поняла: стабильностью здесь и не пахнет, и очень дивилась, что англичане приезжают в Родезию с намерением обосноваться там на веки вечные. Эта страна казалась им продолжением Южной Африки. Но атмосфера той эпохи — недолгого зати-

шья между двумя мировыми войнами — уже явно была неблагоприятной для родезийского государственного устройства. В то время Южной Родезии как государству исполнилось пятьдесят лет[1]. Здесь царил абсолютно чуждый мне дух первопроходцев. Я ни за что не смогла бы сойти за "свою" в местном обществе. Вскоре я приняла решение: проживу в Родезии, как было договорено заранее, три года и постараюсь накопить за это время максимум впечатлений.

Поскольку большую часть территории Зимбабве занимает плато, расположенное на высоте от четырех до пяти тысяч футов над уровнем моря, климат там субтропический. Я приехала весной, как раз перед началом сезона дождей и самой знойной поры года. Наш брак был зарегистрирован мировым судьей в Солсбери 3 сентября 1937 года. При этом не обошлось без бюрократических проволочек.

В девятнадцать лет я считалась несовершеннолетней. Где, вопросил мировой судья мистер Смит, находится мой отец? Без его позволения мне нельзя выходить замуж. Мне же и в голову не пришло, что нужно привезти письменное разрешение отца. Пришлось послать телеграммы моим родителям и главному шерифу Эдинбурга: только заявление последнего, основанное на письменных показаниях моего отца под присягой, могло вполне удовлетворить власти Родезии. В Эдинбурге отец (скрепя сердце, как я догадывалась и как позднее подтвердил он сам) поклялся, что не возражает. Наконец бумага пришла в Родезию, и нас зарегистрировали.

Скоро я обосновалась в гостинице в маленьком городе Форт Виктория[2], где работал мой муж. Форт Виктория расположен в южной части страны, неподалеку от знаменитых руин Великого Зимбабве[3], которые при мне еще были окружены густыми джунглями. К руинам вела лишь узкая расчищенная просека. Я до сих пор радуюсь, что мне удалось увидеть этот замечательный памятник истории народов банту примерно в том виде, каким его узрели в XIX веке "первооткрыватели" — отважные путешественники-европейцы. По оценке современных историков, сооружения были воздвигнуты примерно в IX веке нашей эры местными африканскими племенами. Часть их использовалась как жилища, другие служили храмами. Остатки построек представляют собой лабиринт из каменных стен, протянувшихся по всей долине. Стены внушительные, футов восемь в высоту; из-за них выглядывает приблизительно тридцатифутовая коническая башня. Неподалеку высится горка из гранитных валунов и блоков. Взобравшись на нее, попадаешь в так называемый "акрополь": многоярусные выгородки — предположительно жилые помещения, и резко отличающееся от них сооружение — видимо, храм. Многие из первых исследователей, рассматривая резные фризы вдоль стен, приходили к выводу, что перед ними руины изначальных Копей царя Соломона, воздвигнутых абиссинцами или финикийцами. Возможно, этот памятник цивилизации Зимбабве, неожиданно вырастающий перед путником среди суровых, девственных джунглей, и впрямь вдохновил Райдера Хаггарда на создание известного романа; но

1. Южная Родезия как государство существовала с 1890 г.
2. Ныне Масвинго.
3. На языке племени шона слово "дзимбадзамабве", или сокращенно "зимбабве", означает "дома из камня". Таким образом, памятник истории дал имя всей стране.

результаты радиоуглеродного анализа и других, более современных методик доказывают, что создатели комплекса, по-видимому, все-таки принадлежали к местному населению.

В первые мои недели в Родезии я обожала посещать руины. Жизнь в Форте Виктория казалась мне слишком неспешной, ленивой. То была всего лишь жизнь английской деревни, приспособленная к местным условиям, а об английских деревнях я по личному опыту знала мало. Жена аптекаря, врач, викарий англиканской церкви, жены других учителей — все они сделали мне визиты, кое-кто оставил визитные карточки. Одна даже была с загнутым уголком[1]. У меня таковых не было, да и обзаводиться ими я не собиралась. Собственно, я считала себя и слишком молодой, и слишком интеллектуалкой, чтобы вести чопорную жизнь добропорядочной замужней дамы. Почти сразу после приезда я начала предвкушать, как через три года вернусь домой, и потому решила накопить как можно больше экзотических впечатлений. Цветы, окрашенные очень ярко, распускались моментально: особенно вьюнки, вдруг испещрявшие весь вельд через полчаса после дождя. Начало весны было выдержано в желтых, золотистых и коричневых тонах. Позднее им на смену приходили зеленые.

Меня сразу же поразила красота чернокожих жителей этой области. Еще до отъезда в Африку я слышала, что благодаря образованию белые превосходят черных интеллектуально, и это действительно было так. Но никто ни разу не упомянул, даже намеком, что, несмотря на плохое питание, спартанские условия жизни и примитивную медицину, коренные жители Южной Родезии в физическом отношении выглядели просто идеальными человеческими особями, как правило совершенно затмевавшими своих белых соседей и соседок. Очень многие из черных родезийцев были просто великолепны. На их фоне завоеватели выглядели какими-то инфантильными и хилыми. Под лучами местного солнца кожа европейских женщин рано увядала.

Поговорить было не с кем. В нескольких сотнях миль — все-таки слишком далеко — жила Дорис Лессинг, тогда юная девушка, еще почти подросток. Как я мечтала побеседовать с кем-то вроде Дорис! Коренная уроженка Родезии, она, несомненно, уже тогда выделялась своим интеллектом. Но с Дорис я познакомилась лишь много лет спустя.

Белые женщины нигде не появлялись без пачки "Голд лиф" — местных родезийских сигарет, расфасованных по сто штук. Мне эти женщины, курившие без передышки, совсем не нравились. В Солсбери, куда мы переехали из Форта Виктория, их было пруд пруди. Они были неколебимо уверены в своей неотразимости, ведь в колонии на одну женщину белой расы приходилось трое белых представителей мужского пола, что приводило к яростным стычкам между мужчинами. Иногда доходило и до убийств.

Некоторые мои знакомые дамы носили на шее ключи — они запирали от черных слуг сахар. "Фунтами тащат, фунтами", — уверяла меня одна из них. Я рискнула сказать, что, возможно, сахар слугам жизненно необходим. Дама восприняла мои слова как посягательство на самое святое. Общаться с коренными африканцами не свысока, а на равных

1. Согласно светскому этикету, загнутый уголок на визитной карточке обычно означал "был лично и не застал дома".

считалось недопустимым. Правда, белому такое чудачество сошло бы с рук, зато черного, с которым белый обошелся бы по-дружески, постигла бы суровая кара властей земных и небесных. Насколько я понимаю, если бы я выпила свой утренний кофе не в столовой, а на кухне, за одним столом с моим поваром Мозесом, мне бы никто и слова не сказал. Но Мозесу сотней способов "указали бы на место", придираясь по мелочам.

Однако к тому моменту, когда я приехала в Родезию, были осуществлены некоторые реформы (всегда под нажимом Лондона, против воли белых родезийцев). В мои времена черные африканцы уже никогда не сходили с тротуара на мостовую, уступая дорогу белым, как раньше предписывал закон. Благодаря протестам английской общественности черную молодежь, которая, не желая работать на земле, вела бродячий образ жизни, уже не принуждали побоями к повиновению. Но иногда я обмирала от ужаса, когда белые — в основном африканеры — с гордостью повествовали о том, как "приструнили" наглого черного. В моем рассказе "Занавеска, отдернутая ветром" описан подобный инцидент: вернувшийся домой фермер застал под окном у своей жены пикканайна (так мы называли чернокожих мальчиков) — тот через щель в занавесках глазел, как хозяйка кормит ребенка грудью. Фермер застрелил "преступника" на месте. Эту историю поведала мне самодовольная белая дама лет сорока пяти, с которой я познакомилась в одном из тех бесчисленных пансионов, куда меня забрасывала судьба в годы замужества. (Характер у моего супруга был неуживчивый, и его вечно переводили из школы в школу.) Моя соседка, по-видимому, вполне одобряла действия фермера, но сожалела, что времена уже не те. Я обомлела, у меня просто дыхание перехватило. А собеседница, не замечая моей реакции, продолжала в том же духе — мол, какая жалость, беднягу фермера в тюрьму посадили, на целых три года. <...>

Наши друзья-британцы относились к черным намного более разумно и цивилизованно, но грубая, часто гнусная атмосфера, так сказать, "фронтира" незаметно заражала людские души. Я осознала, что жить в такой обстановке мне не по нутру.

Когда я ждала ребенка, муж вполне серьезно предложил мне прервать беременность: его уже начинало преследовать чувство неприкаянности и неуверенности. Я наотрез отказалась. Мой сын Робин родился в Булавайо 9 июля 1938 года. Роды продолжались около полутора суток — чересчур долго. Я вконец выбилась из сил и уже перестала надеяться, что ребенок и я переживем это испытание. И в самом деле, мы оба лишь чудом остались живы и здоровы. От боли я откусила себе ноготь. Муж принес мне в палату маникюрный набор и букет цветов. Именно с этого времени у него отчетливо проявились симптомы серьезного нервного расстройства, которым он страдал всю жизнь. У него случались приступы гнева, он впадал в агрессию и, как и прежде, со всеми ссорился. Родители написали мне из Эдинбурга, что его сестра, оказывается, лежала в клинике для душевнобольных. Как-то раз, в минуту временного просветления сознания, муж сказал мне: "Однажды все это покажется тебе дурным сном", и я почувствовала: это вещие слова. Как бы то ни было, я поняла, что он нуждается в психиатрическом лечении. После рождения сына наши интимные отношения больше не возобновлялись. Я повезла мужа на водопад Виктория, надеясь, что там ему по-

легчает. Сама по себе поездка была чудесная, но там мне стало ясно, что наш брак уже не спасти. Странно, но факт: созерцание водопада Виктория придало мне мужества и помогло не сломаться и в последующие тяжелые годы. Водопад стал для меня символом душевной стойкости. Мои религиозные убеждения еще не устоялись, но я ощутила: чувства, которые я испытала у водопада, были, в сущности, мистическим опытом. Водопад Виктория принадлежит к числу тех творений природы, которые можно поставить в один ряд с величайшими шедеврами искусства.

Мне кажется, всякий человек должен хоть раз в жизни посетить это подлинное чудо света: пусть оно станет местом паломничества для всего человечества. Не знаю, почему у водопада Виктория не проводятся конференции по разоружению. Не могу назвать другого такого зрелища, которое наводило бы созерцающего на столь же разумные мысли о бренности человека и о его истинной величине в сравнении с природой.

Спустя несколько лет, живя в Лондоне, я сочинила рассказ "Серафим и Замбези". Путешествие по Замбези и путь к водопаду через таинственный Лес Дождя описаны там как мистическое переживание. Языком метафор я передала свои впечатления от душевной черствости местного белого населения.

Водопад находится посреди русла широкой реки Замбези, по которой проходит граница между Замбией (бывшей Северной Родезией) и Зимбабве. Максимальная глубина пропасти, в которую низвергается вода, — триста пятьдесят пять футов[1]. Вода льется в клокочущую бездну; любоваться потоком можно, стоя прямо напротив него, на другом краю ущелья. Сухие сведения о высоте, ширине и глубине водопада не дают ни малейшего представления обо всей величественности этой картины. Обычно к ущелью идут через густой Лес Дождя. Его название объясняется тем, что в воздухе там все время висят водяные брызги. Помню, в лесу мне встретился человек, закутанный, как и я, в клеенчатый плащ, чтобы не промокнуть; он казался великаном двенадцатифутового[2] роста. Увеличились и деревья — таковы уж удивительные свойства этой поразительно прекрасной водяной пыли. Шум водопада слышен за двести футов. Подходишь ближе — и это уже самый настоящий рев. Местные именуют водопад Musioa-tunya (Гремящий дым). Окруженный со всех сторон этим оглушительным рокотом, переводишь взгляд то кверху, то книзу, то влево, то вправо: нет больше ни неба, ни леса, куда ни посмотри — один только грандиозный водяной каскад.

Незабываемым чудом оказалась и сама река Замбези. Я плыла на пароходе среди гиппопотамов и крокодилов. На невысоких деревьях, окаймлявших берега, кишмя кишели болтливые обезьяны. Веселые и ловкие мальчишки дурачились среди орхидей, жадно разинувших рты.

Ни в Солсбери, ни в Булавайо я не была так счастлива, как за городом. Мне нравилось бывать на фермах. В сельской местности царила более непринужденная и демократичная атмосфера: белые и черные, не особенно церемонясь, работали вместе.

1. 108.275 м.
2. 3,6 м.

В Булавайо у меня началось заражение крови, и я чуть не умерла. Помню лишь ширмы вокруг моей койки и лица, склоненные надо мной. Доктор Роуз Шугармен, с которой мы потом очень сдружились, сказала: "Вы тяжело больны". — "Знаю", — ответила я. Спустя два дня я села на кровати и слопала почти всю коробку шоколадных конфет, которую мне принес кто-то из посетителей. Антибиотиков тогда еще не было. Своим исцелением я обязана аспирину и, вероятно, своему молодому организму.

Я написала домой письмо, полное ностальгии, — вспоминала, как славно было играть в Эдинбурге в гольф, хоть я и нечасто этим занималась. В Солсбери и Булавайо были поля для гольфа, и отец прислал мне красивый набор клюшек в изящном футляре. По случаю рождения внука он приготовил мне подарок: миниатюрные часики, инкрустированные бриллиантами, — но почте не доверил и ждал случая вручить их мне лично. Часы я храню до сих пор, а клюшки куда-то запропастились (моя африканская жизнь была полна превратностей) — интересно, какова их судьба?

Нас все время переводили из школы в школу, из района в район. Это мешало наладить быт, а также свидетельствовало о том, что карьера у мужа не задалась. Но стоит мысленно перевернуть бинокль, и, может статься, препятствия обернутся преимуществами. Во всяком случае, эта кочевая жизнь позволила мне хорошенько изучить всю Южную Родезию. Больше всего мне понравилось место, обитателям которого мало кто завидовал, — Гвело, аграрный район в центре страны. Условия жизни в Гвело были самые примитивные. Я чувствовала, что нахожусь в настоящей Родезии — Родезии первых колонистов. Электричества не было. Мы обходились парафиновыми лампами, за которыми нужен был глаз да глаз. Воду наши слуги носили за несколько миль в канистрах из-под бензина, взвалив их на спину. Раз в неделю нам удавалось принять ванну. Затем наступил сезон дождей: шквальные ливни и внезапные грозы, перемежавшиеся безветренной жарой, когда из трещин в стене выбирались крылатые муравьи. В Гвело мой маленький сын был безмерно счастлив. Местные черные были очень радушны и доброжелательны, особенно по отношению к маленьким детям. Сын был привередлив в еде, но я часто находила его в жилище слуг, где он ел с ними из одного котла.

Прожив в Африке два года, я пришла к мысли, что с мужем дальше оставаться не могу. Он балансировал на грани безумия, и то, с чем я сталкивалась по обе стороны этой грани, мне никак не нравилось. Вел он себя все агрессивнее. Я пробовала говорить с ним на языке логики, но вскоре обнаруживала, что бьюсь понапрасну. Когда же муж Найты Макъюен, которую я знала по школе, застрелил ее в том же пансионе, где жили и мы, мне стало по-настоящему страшно. У моего супруга был маленький револьвер, так называемый детский браунинг, из которого он любил палить в коридорах и во дворах. Я спрятала револьвер и, сколько муж ни требовал, отказывалась его вернуть.

Ровно через два года после того, как был заключен наш брак, началась война. Теперь мне нечего было и думать об отъезде из Родезии: гражданскому населению запретили покидать страну. Все транспортные средства, кроме междугородних поездов, поступили в исключительное распоряжение военных. С 3 сентября 1939 года морское пассажирское сообщение практически прекратилось.

Мой муж ушел в армию. Из наземных войск перевелся в ВВС, а затем обратно. Я наняла надежную няню по имени Эстер. Она была "цветная" – то есть мулатка, дочь белого чиновника из Дурбана и женщины из племени зулусов. Мы втроем – я, сын и няня – перебрались в новое жилище. Итак, я официально оставила мужа. Поскольку уехать из Африки было невозможно, мне пришлось устраиваться на работу. Хорошо еще, что Эстер относилась к своим обязанностям ответственно, окружая нас с Робином трогательной заботой.

Я начала долгие и утомительные, как тогда полагалось, хлопоты о расторжении брака. По нормам римско-голландского права, действовавшего в Родезии, бракоразводный процесс был чрезвычайно сложной процедурой. Впрочем, в те времена даже в Великобритании следовало всеми силами скрывать "сговор" – неформальную договоренность между разводящимися. Если судья подозревал, что супруги в "сговоре", расторжение брака откладывалось на неопределенный срок; если же факт договоренности был доказан, в разводе отказывали. При наличии детей судьи предпочитали оставлять их с отцом. Стоило лишь заикнуться о психическом заболевании или жестокости одного из супругов, как развод автоматически отменялся: по закону эти обстоятельства считались основаниями для предоставления права на раздельное проживание, но отнюдь не для расторжения брака. Вескими основаниями для развода служили супружеская измена (особенно со стороны жены) и уход из семьи. Я выбрала последнее. Раз муж не хотел меня бросить, я бросила его сама. Я втайне договорилась с ним о том, что сама оплачу расторжение брака, – точнее, эти расходы с готовностью покрыл мой отец из своих трудовых, тяжело доставшихся сбережений. Отец помогал и мне, а потом, когда подвернулась оказия, оплатил проезд в Англию. К счастью, в последние годы его жизни я пользовалась достаточным успехом как писательница, чтобы, в свою очередь, обеспечить ему более комфортное существование. И я была счастлива, что могу вернуть долг, хотя доброта, любовь и верность неоплатны.

Моему отцу СОС никогда не нравился, но теперь антипатия перешла в глубокое отвращение. Мама, более терпимая по натуре, жалела моего бывшего мужа: впоследствии, когда он вернулся в Эдинбург лечиться (и лечению этому не было ни конца ни краю), приложила все усилия, чтобы заверить его в своем дружеском участии. Благодарности она не дождалась.

Мне тоже было жаль человека, за которого я вышла замуж. Вся коллизия напоминала мне сюжет тогдашней литературной новинки – романа Стефана Цвейга "Нетерпение сердца" о молодом офицере, который из жалости обручился с девушкой-калекой. В итоге герой осознает, что больше не в силах притворяться, а девушка, почувствовав себя обманутой, кончает самоубийством. Хотя, на первый взгляд, история моего брака сильно отличалась от этого сюжета, я тоже с самого начала испытывала к мужу скорее жалость и сочувствие, чем любовь. Если бы мой муж не внушал сострадания, я вела бы себя гораздо жестче.

Жилось мне тяжело, а ведь я была еще совсем молода! Однажды вечером друзья позвали меня на танцы, и я самым невинным образом танцевала с одним своим знакомым, офтальмологом Шенкманом. Тут появился мой муж и прямо в зале набросился на Шенкмана с кулаками.

Разумеется, мужа вывели, мы с доктором возобновили танец, но из-за подобных преследований я уже не решалась никуда ходить с друзьями. Это в значительной мере отдалило меня от общества.

Как бы то ни было, я спаслась чудом. Если бы я не настояла на разводе, один Бог знает, что бы со мной сталось. В самых недвусмысленных выражениях я заявила мужу, что жить с ним не буду ни за что, но, если он согласится на развод, я, возможно, смогу ему помочь. Свое слово я сдержала, но, как оказалось, помочь ему было выше моих сил. "Из нас двоих ты была лучше приспособлена к жизни, ты была сильнее — не чета мне", — писал он мне из психиатрической клиники, уже после развода. В этих письмах он казнился, во всем винил себя, но, как резонно заметила по этому поводу одна моя подруга, слова "я" и "себя" тут ключевые. "Ты мне велишь: 'Перестань хныкать', но разве я могу, черт подери!" — писал он мне в октябре 1944-го, когда я уехала из Африки. Я осознала: некоторые люди попросту неспособны ради блага близких взять себя в руки; по-видимому, даже негуманно ждать от них такого подвига.

После развода я не вернула себе девичью фамилию — иначе получилось бы, что у меня одна, а у сына другая. В те времена так вообще было принято: разведенная женщина продолжала жить под фамилией прежнего мужа, если только не выходила замуж вновь. Позднее, начав литературную карьеру, я порадовалась своему выбору. "Кэмберг" — звучит хорошо, но немножко пресно. Зато в "Спарк"[1] есть что-то живое, яркое.

Я хотела начать жизнь заново и в меру своих сил этого добилась. Вскоре после того, как муж ушел в армию, я повела сына проверить зрение к доктору Шенкману и познакомилась с его регистраторшей, молодой, ужасно хорошенькой и прямодушной Мэй Хейгейт. У нее была дочка Гейл, примерно того же возраста, что и Робин. Муж Мэй, Ник, тоже служил в армии, и она тоже была вынуждена ютиться в меблированных комнатах. Мы сразу же прониклись друг к другу симпатией. Мэй предложила мне сообща снять квартиру. У Шенкмана она работала, чтобы уделять больше времени дочери, хотя окончила Бристольский университет и была блестящим специалистом-античником. Я же устроилась секретаршей к обаятельному бизнесмену Бэзилу Фросту, которому в Булавайо принадлежала торговая фирма.

Мы с Мэй съехались. Перевезли в новую кваритиру все, включая мебель и нянек. О нас заботился преданный повар Мозес. Он был человек сдержанный, полный достоинства. "Прирожденный джентльмен", — говорила о нем Мэй. Сказались не только его доброе сердце, но и выучка, полученная им в миссионерской школе. Миссионеры, о которых говорено столько дурного, в действительности были лучшей частью родезийского общества. Опекаемые ими африканцы жили хорошо и получали отличное образование. Своей независимостью Зимбабве отчасти обязана влиянию христианских миссий. Одним из величайших подвижников колонии был англиканский миссионер и поэт Артур Ширли Криппс. Он часто снимал с себя и дарил нуждающимся африканцам одежду или отдавал им ужин со своего стола, а сам мерз и голодал. Как ни странно, белые его очень уважали.

1. Букв.: "искра" (*англ.*).

Несколько лет мы с Мэй прожили в Булавайо в одной квартире. Первый этап моего бракоразводного процесса завершился. Суд принял так называемое условно окончательное решение, и примерно через год следовало ожидать окончательного вердикта. Мой муж уже лежал в психиатрической клинике, а муж Мэй, обаятельный Ник, к тому времени умер от пневмонии. Мы с Мэй пережили вместе немало злоключений. Она была хороша собой: натуральная пепельная блондинка, и очень многие мужчины пытались за нею ухаживать. А как обстояли мои дела? Милейший Бэзил Фрост (он был старше меня на двадцать лет) подолгу смотрел на меня, сидя за своим письменным столом, восхвалял мою красоту и свежесть, живописал, как его пленяют эти мои качества. На деле же нам с Мэй покуда было не до романов: нас словно окутывала пелена скорби. Была и еще одна причина для печали — мы чувствовали себя отрезанными от родины. Дети стали для нас всем в жизни. В выходные мы устраивали для малышей пикники или водили их в кино смотреть приключения Лесси — тогда она уже стала звездой. <...>

Мне пришло в голову, что неплохо было бы устроиться в начальную школу — Робин ходил бы в подготовительный класс и всегда был бы у меня под боком. Я предложила свои услуги в качестве младшей учительницы пансиону при англиканском монастыре и сходила на целых четыре собеседования с матерью-настоятельницей. После первого же моя приятельница, преподававшая в этом пансионе, известила меня, что впечатление я произвела прекрасное — "такая молоденькая, такая свежая". Где-то я эти слова уже слышала — ну конечно же, от пылкого Бэзила Фроста. "Ей понравился твой цвет лица, твои золотые волосы".

Ну хорошо, а какого она мнения о моих профессиональных качествах? На втором собеседовании мать-настоятельница известила меня, что вакансия, возможно, найдется. "Понимаете, — сказала она, — все эти невзгоды, эта война — из-за евреев. Нам требуется больше таких, как вы". И она еще некоторое время разглагольствовала в том же духе, порой вперяя в меня зачарованный взгляд. Для этой женщины лет сорока с небольшим, наделенной вполне приятной наружностью, евреи были настоящей идеей-фикс: она чуть ли не брызгала слюной от злости. С такой ненавистью мне еще не приходилось сталкиваться. Я что-то пролепетала о гитлеровской пропаганде, но мать-настоятельница оборвала меня на полуслове. "Гитлер совершенно прав, — заявила она. А войну подстроили евреи."

Дома я сказала Мэй, что еще несколько раз схожу в монастырь, — мне было интересно, как далеко зайдет мать-настоятельница. Мэй подумала, что я шучу. Но перед четвертым собеседованием, на котором должно было решиться, возьмут ли меня на работу, я сказала Мэй: "Час пробил. Сегодня объявлю ей, что я еврейка".

Сказано — сделано. Я не назвала себя "наполовину еврейкой" или "английской еврейкой". Я просто произнесла: "Кстати, я сама еврейка". Она не поверила: "Это неправда". — "Что — неправда?" — переспросила я. "То, что вы сейчас ска..за...ли", — прошептала она.

Я тут же развернулась и ушла: белолицая, золотоволосая. У ворот меня ждала Мэй с ручной тележкой, в которую она умудрилась запихнуть обоих наших малышей. Мы купили всем мороженого и с гордым видом отправились домой.

Все эти годы я никогда не переставала писать стихи. Дважды я подавала свои произведения на поэтический конкурс в Родезии и оба раза побеждала. Я печаталась в местных журналах. У меня было стихотворение под названием "Птичка-уходи" — о печальном, хватающем за сердце крике серого турако, который слышался в вельде повсюду. "Уходи, уходи", — заклинал турако. Мне казалось, что он обращается ко мне, и через много лет я описала в повести "Птичка-уходи" приступы печали, терзавшей меня в то время, тупость и недоброжелательность некоторых фермеров-буров; поведала, как обескуражила тех, кто тосковал по "родине", встреча с новой, незнакомой Англией — сильно переменившейся, бездушной, где очень многие думали только о наживе. Я и сама была "птичкой-уходи".

Говоря о влиянии африканских впечатлений на мое позднейшее творчество, следует упомянуть и о радиопьесе "Русло высохшей реки", в основу которой легло реальное происшествие в Африке: машина, которую я вела, потеряла управление на ухабах, скатилась в русло высохшей реки и разбилась. Жизнь Южной Родезии и те огромные сложности, с которыми там были сопряжены межрасовые браки, отражена и в рассказе "Портобелло-роуд".

В 1942 году, когда для меня начался период относительной свободы — бракоразводный процесс продвигался и вскоре должен был завершиться, — я иногда выбиралась в гости или на танцы: друзья вполне резонно убеждали меня не сидеть в четырех стенах. Командование ВВС развернуло широкомасштабную программу подготовки и переподготовки летчиков, и с нами то и дело знакомились жизнерадостные молодые люди, только что приехавшие с родины. Среди них был молодой лейтенант Артур Фогго, защищавший Лондон во время ожесточенных немецких бомбежек в начале войны. Артур вызывал у меня нежность, и только; но как много оттенков было у этой нежности! Он же питал ко мне более глубокие чувства. В любом случае, нам было очень хорошо вместе. Затем Артур и вся его часть получили назначение "домой". Вновь изведав печаль, я проводила его на поезд до Кейптауна, откуда он отправлялся в Англию морем. Два дня спустя, 6 октября 1942 года, из Кейптауна пришла телеграмма: "Отбываем немедленно напишу как только прибуду. С любовью Артур Фогго". Зная, какое внимание уделялось тогда секретности, я подивилась тому, что сообщение Артура не завернула военная цензура, ведь оттуда легко было извлечь информацию. Телеграмма была отправлена в 18.17 и доставлена мне в тот же вечер после десяти.

Южная Африка официально считалась нашим союзником, но на деле помогала вяло и неохотно, как я обнаружила впоследствии, когда, дожидаясь оказии для возвращения в Англию, прожила некоторое время в Кейптауне. Я часто задумывалась, сколько друзей Артура в тот вечер послали телеграммы, где открытым текстом разглашалась информация о передвижениях войск. То ли по вине шпионов, то ли по чистой случайности корабль был торпедирован в ту же ночь, вскоре после выхода из Кейптауна. Вместе с судном ушли на дно Артур и его товарищи. Эта весть настигла меня недели через две. У кое-кого из пилотов в Родезии остались молодые жены, с которыми они здесь и познакомились. Летчики этой части вообще снискали всеобщую симпатию. Вся колония надела траур.

Мэй пыталась всеми правдами и неправдами добыть пропуск для возвращения на родину. Друзья рассказывали нам в письмах, как тяжело ударила по Англии война. Но я твердо решила, что должна быть дома в военное время — не могу оставаться в стороне. Мне надоело сидеть в изоляции. Пребывание в колонии всю душу у меня вымотало. После смерти Артура Фогго я так пала духом, что мне было уже все равно, чья бомба свалится мне на голову.

На исходе 1943 года возобладало ощущение, что еще несколько месяцев — и войне конец. В Кейптауне появилась возможность попасть на корабли, идущие в Англию. Вопрос был в том, как добраться до Кейптауна. Но на этом этапе войны никто и не думал везти в Англию детей. Я решила поехать одна — иначе, мне казалось, я с ума сойду. В Гвело я познакомилась с замечательными католическими монахинями из школы при доминиканском монастыре. В тамошнем пансионе жило довольно много малышей, которых война разлучила с родителями. Я была уверена, что в этой школе Робин будет в полной безопасности — так оно и оказалось. Даже мой муж писал из психиатрической клиники, отстаивая на бумаге свои "законные права", что ничего не имеет против монахинь из Гвело. Там Робин мог играть с детьми моих друзей, а мои друзья, в свою очередь, за ним приглядывали. Милейшая профессиональная воспитательница и ее родные почти каждый день водили Робина к себе домой и регулярно мне писали, что меня очень поддерживало. Когда я покидала Родезию, Эстер, уже некоторое время работавшая в другом месте, неожиданно пришла на вокзал меня проводить. Нам было грустно расставаться.

Я планировала подготовить все для того, чтобы Робин смог поселиться у моих родителей, ожидавших его с нетерпением, — лишь бы война закончилась и запрет на гражданское пассажирское сообщение отменили. Все прошло как по маслу. В марте 1944-го я добралась до Англии, а в сентябре следующего года со мной воссоединился сын. Мои родители очень ему обрадовались. Мама полагала, что внук сильно изменил ее жизнь к лучшему: в те годы она страдала депрессией, связанной, вероятно, с климаксом. В начале войны мои родители, откликнувшись на кампанию "Спасите детей!", приютили у себя маленькую беженку из Германии. Затем она уехала к родственникам в США, и мои родители очень по ней скучали. Теперь же, с приездом Робина, мама в одночасье помолодела, а Робин с первой же минуты к ней привязался. Это было замечательно. У меня отлегло от сердца: после всех кочевий мой сын наконец-то обрел надежный домашний очаг у моих родителей в Эдинбурге. Мой папа практически заменил Робину отца.

Из Южной Родезии я вырвалась хитростью — добилась у судьи (того самого мистера Смита, который зарегистрировал мой брак) разрешения на трехмесячную отлучку в Кейптаун с целью изучения литературы и драматургии. Просто уехала и не вернулась. В конторе пароходства я записалась в очередь на билет до Англии. В ожидании отплытия подрабатывала, но жилось мне очень трудно. Платили мало, особенно молодым англичанкам — африканеры смотрели на них свысока. Если человек спрашивал у полицейского-африканера дорогу по-английски, он просто не отвечал. Кроме того, рабочих мест попросту не хватало. Случались забастовки, и вообще экономическая обстановка была кризисная. В те месяцы, пока я ожидала оказии до Англии, мою жизнь очень

скрашивала Мари Бонапарт (греческая принцесса Мари)[1], с которой я сдружилась на почве нашего общего интереса к литературе. Мари, как и вся греческая королевская семья, находилась в Южной Африке в эмиграции. Жили они всем скопом на довольно маленькой вилле, которая стала для меня оазисом цивилизации посреди Кейптауна.

Верхние этажи занимали тогдашняя греческая принцесса (позднее королева) Фредерика (с ней я вновь повстречалась спустя много лет в Риме, где она также жила в эмиграции) и ее проказливый маленький сын (ныне бывший король Константин[2]). Мари Бонапарт красила волосы в ярко-рыжий цвет. На ее изрезанном глубокими морщинами лице сияли проницательные глаза. Слушая принцессу Мари, нельзя было не удивляться блеску ее интеллекта, такого неожиданного в убогом антураже эмигрантского быта.

Часто, если гостиная была занята, мы беседовали в спальне. В этой комнате царила особая атмосфера, которую я затем привыкла ассоциировать с теми немногими русскими эмигрантами, которых знала лично или по чужим рассказам, или с еврейскими профессорами и их женами, нашедшими себе убежище в Южной Родезии. На каминной доске соседствовали семейные фотографии в серебряных рамках, большая пачка "Бимакса"[3], какие-то растрепанные рукописи, книга стихов Эдгара По, о котором хозяйка писала книгу, и красивая ваза.

Разговаривали мы о литературе. Принцесса Мари, одна из лучших учениц Фрейда, рассматривала словесность под углом психологии. Этот подход оказался мне в новинку и весьма меня заинтересовал, но в итоге я рассудила, что при этом слишком многое остается за скобками. Должно быть, предположила я, существует некое автономное "чувство литературы", которым некоторые читатели и критики наделены от природы в дополнение к пяти обычным. Не имея его, невозможно судить о литературных произведениях.

Гостиная принцессы Мари была более изящной и безликой, чем ее спальня-кабинет. Входя, вы вручали свои перчатки дворецкому — между прочим, белому. Он же приносил чай. Подробностей наших разговоров я не помню, но я находила Мари Бонапарт чрезвычайно интересной собеседницей. Она, казалось, столь же внимательно выслушивала мои реплики, хотя в то время я вряд ли имела что сказать. Но я показывала ей свои стихи, и она ими восхищалась — полагаю, не только из вежливости.

В Африке я читала очень мало, но вдумчиво. В Родезии выбор книг был крайне узок — только ненавистные мне бульварные романы да Шекспир и Библия, проштудированные мной от корки до корки. Иногда, благодаря большому везению, мне попадалось что-нибудь из "пенгуиновской" серии "Нью райтинг", и я жадно набрасывалась на эту ред-

1. Мари Бонапарт (1882–1962) — правнучатая племянница Наполеона Бонапарта, супруга греческого принца Георга; психоаналитик, ученица Зигмунда Фрейда, автор книги об Эдгаре По.
2. Константин II — последний король Греции (р. 1940; годы правления 1964–1967). После переворота "черных полковников" поселился в Италии. В 1974 г. монархия в Греции была упразднена официально.
3. "Бимакс" — диетическая пищевая добавка из зародышей пшеницы. Широко использовалась как источник витаминов и фолиевой кислоты.

кость. Я читала Элиота и все вещи Айви Комптон-Бернетт[1], какие только могла найти.

Кейптаун был куда прогрессивнее, чем населенные пункты Родезии, — как-никак большой город, — но с интеллектуальной жизнью тут все еще было туго. Наверно, Мари Бонапарт тоже это чувствовала. Что касается политики, к ней она была почти равнодушна. Экспансия коммунизма, в ужасе предрекаемая тогда всеми, ее не пугала. В одном из своих писем ко мне в Англию она заметила: "Русские — народ художников. Так что искусство не умрет".

Когда я пришла к Мари Бонапарт проститься, она попросила меня передать письмо Анне Фрейд, жившей в Лондоне. Я выполнила поручение. Мисс Фрейд принялась жадно расспрашивать меня о своей подруге: как она держится, как справляется с жизненными трудностями. До сих пор недоумеваю, что препятствовало Анне Фрейд получить эти сведения обычным образом, по почте. Она ведь наверняка переписывалась с Мари. Но, возможно, в те дни, когда действовала военная цензура, представительница греческой королевской семьи могла далеко не обо всем писать дочери Зигмунда Фрейда. И действительно, я сама подивилась, что письмо, которое вручила мне принцесса Мари, было в заклеенном конверте — весьма странно!

В Кейптауне царила какая-то ирреальная атмосфера. Население делилось на три категории: цветных, черных и белых. К цветным относились малайцы, индусы и люди смешанных кровей. В кинотеатрах и других общественных местах было по три отдельных входа с табличками "Цветные", "Черные" и "Белые". Меня это очень веселило — в те мгновения, когда не удручало. В автобусах была надпись "Не плевать" на английском и африкаанс. Я снимала комнату в квартале под названием Гарденз — Сады, где морские офицеры разных национальностей, спускавшиеся на берег с заходивших в порт кораблей, навещали моего соседа по площадке — стареющего джентльмена, известного под именем Девонька Лонсдейл, — в самое неурочное время. В Кейптауне происходит действие моего рассказа "Жена хозяина ломбарда". Думаю, в нем отразилось мое отношение к белым южноафриканцам, которые, как мне представлялось, не желали трезво смотреть на окружающую действительность и "жили в своем собственном мире". Даже их манера выражаться была сюрреалистична. Еще сильнее, чем в Родезии, я ощутила, что мир белых жителей Африки какой-то ненастоящий. Я жаждала реальности моей родины, даже если это означало бомбежки.

В конце февраля 1944 года мне сообщили, что можно плыть на военном транспорте. На деле это просто значило, что на судне, предназначенном для переброски войск назад в Англию, вдруг оказались свободные места. Собралось около тридцати женщин, рискнувших отправиться в это путешествие. Мы жили в тех же условиях, что и солдаты: в тесном кубрике с койками в четыре яруса. Нам велели спать в одежде — желательно в черных брюках. На случай, если судно будет торпедировано, черные брюки предпочтительны, гласила машинописная инструкция, поскольку акулы обычно не замечают предметы темных тонов. (Не сомневаюсь, в кают-компании немало побалагурили над этим

1. Айви Комптон-Бернетт (1884—1969) — английская писательница, автор более двадцати романов.

советом.) Ни днем, ни ночью нельзя было расставаться со спасательными поясами. Нам дозволялось мыться соленой водой. В общем, нам жилось не хуже и не лучше, чем самим военным.

Корабль шел в Ливерпуль, но извилистым маршрутом — петлял по океану, чтобы ускользнуть от немецких подлодок. Из Кейптауна в Ливерпуль мы добирались через Азорские острова. Плавание продлилось три недели. Незадолго до того как покинуть Кейптаун, я купила несколько поэтических сборников: казалось, я уже лет сто не видела новых стихов. Во время своего опасного путешествия я читала "Драй Селвэйджес"[1] Т. С. Элиота, изданный отдельной брошюрой.

А путешествие и впрямь было рискованное. Но любопытно, что ощущение опасности обратно пропорционально количеству людей, которые с тобой эту опасность разделяют. В то время, как и в другие дни войны, страх притуплялся, когда я сознавала, что "все мы в одной лодке". Африку я покинула без сожаления и не испытала ничего, кроме счастья, когда мы прибыли в Ливерпуль — мрачный, неотапливаемый, затемненный — кромешно-черной мартовской ночью.

Глава пятая

В военное время в Великобритании действовал закон, согласно которому все женщины моложе сорока пяти лет, не обремененные маленькими детьми, больными родственниками и т. п., были обязаны зарегистрироваться и получить направление на работу. Речь необязательно шла об оружейных заводах — помощью фронту считался труд в самых разных сферах.

Весной 1944 года, повидавшись в Эдинбурге с родными, я отправилась в Лондон — мне в любом случае надо было зарабатывать на хлеб. Верьте не верьте, но я предпочла Лондон спокойному Эдинбургу, захотела "почувствовать на себе", что такое война. В первую же ночь в затемненном Лондоне я узнала цену своей блажи. Приехала я поздно вечером и остановилась в гостинице на вокзале Юстон. И почти немедленно взвыли сирены, которые я дотоле слышала только в кинохронике. Патрульные гражданской обороны окликали с улицы всех, кто нарушал предписание о светомаскировке. В тот период немцы буквально забрасывали город зажигательными бомбами. Налет продлился всю ночь. Многие постояльцы отеля спустились в полуподвал, но я рискнула остаться в номере. Большинство сходилось во мнении, что во время войны безопасных мест не существует.

Вскоре я обосновалась в доме 82 на Ланкастер-гейт, в "Клубе Хелены", основанном в давние времена дочерью королевы Виктории, дражайшей принцессой Хеленой, для "особ женского пола из хороших семей со скромными средствами, которые, поступив на службу в Лондоне, вынуждены жить отдельно от родных". С него-то я и списала "Клуб принцессы Тэкской" в романе "Девушки со скромными средствами".

"Клуб Хелены" был очаровательным местечком. Много лет он почти беспрерывно служил мне лондонским домом. Жили там по большей

1. Один из квартетов из поэмы Т. С. Элиота (1888–1965) "Четыре квартета" (1943).

части секретарши. Управляющая клубом, сущий ангел во плоти, носила устрашающее звание "надзирательница", но ничего грозного в ней не было: миссис Г. С. Тейлор отлично выполняла свои обязанности и обращалась с нами как радушная хозяйка. Как она обрадовалась, узнав "Клуб Хелены" в моем романе! <...>

Для самых молодых девушек — тех, кому не исполнилось и двадцати, — предназначались большие комнаты, где стояло до четырех кроватей. Плата, включающая завтрак и ужин, была очень скромной. Я сняла отдельную комнату на верхнем этаже с видом на густые кроны Кенсингтонского сада. Она обходилась мне в один фунт двенадцать шиллингов шесть пенсов в неделю. За обед в клубе или ужин для гостя нужно было доплатить два шиллинга шесть пенсов.

В 1944 году набор продуктов, выдаваемый по карточкам, был еще более скудным, чем в начале войны, и так продолжалось еще несколько лет, даже после того как война кончилась. Мы сдавали свои продовольственные карточки в клуб, и нас умудрялись кормить вполне сносно. Из сосисок, яичного порошка, мясных консервов "Спам" и сухого молока получалась порция еды. На десерт подавали яблочный пудинг или пирог. Импортных фруктов (апельсинов, лимонов, бананов) было не достать. Но сколько помню, о еде мы и не думали. Всем жилось одинаково, и повсюду гибли люди.

"Клуб Хелены" был перестроен из двух домов, объединенных под одной крышей. Очень просторный, он был отделан со сдержанным, но дорогостоящим изяществом, которое никак не вязалось с вносимой нами мизерной платой. На первом этаже находилась большая гостиная, к которой примыкала широкая терраса — там мы могли принимать друзей, — а также не менее просторная музыкальная комната, где можно было поупражняться на рояле или просто помузицировать. Горничные прибирали в комнатах и заправляли наши постели. К тому же все мы были молоды и, несмотря на войну, жизнерадостны.

Если ночью завывали сирены, мы волокли свои тюфяки в подвал и укладывались спать там — если, конечно, утруждали себя спуском вниз. Однажды я так разленилась, что на сигнал воздушной тревоги даже бровью не повела, но мигом вскочила, когда совсем неподалеку упала бомба и в моей комнате выбило взрывной волной стекла. Осколки разлетелись в разные стороны, я же не получила ни царапины.

Совсем недавно, наведавшись на Ланкастер-гейт, я обнаружила, что в здании полным ходом идет реконструкция. Но мне до сих пор не верится, что "Клуба Хелены", где я прожила столько времени, больше нет.

Особенно живо мне вспоминается один случай: ночь, густой лондонский смог, затемнение. Я приехала на вокзал Юстон из Эдинбурга, где навещала родных. Ни одного такси. Ума не приложу, что делать, — стою одна-одинешенька, совершенно не понимая, в какую сторону идти в этом непроглядном тумане. Тут появляется полисмен с электрическим фонариком особой конструкции — для условий затемнения: массивная черная рукоятка, тусклый луч падает под ноги, на мостовую. Спрашиваю, ходят ли автобусы. Нет, отвечает он, движение прервано из-за тумана. Чемодан у меня был довольно тяжелый, но я подхватила его, готовая идти пешком в любую сторону, куда посоветует полисмен. Он спросил, где я живу. "Мне надо в район Бейсуотера, — сказала я, — к Ланкастер-гейт". — "Пойдемте", — сказал он, взяв у меня чемодан. И, полагаясь на свой фонарь и хо-

рошее знание Лондона, проводил меня до места. Человек он был веселый и лишь отшучивался, когда я пыталась его благодарить.

Работу я нашла в два счета, благодаря невероятному везению. Вскоре после приезда в Лондон я записалась в библиотеку и взяла на дом несколько книг, в том числе книгу моей любимой Айви Комптон-Бернетт "Старшие и высшие".

На следующее утро я пришла в местное бюро по трудоустройству. Я была готова на любую работу. Заполнив анкету, я заняла очередь в отдел, ведающий секретарскими вакансиями, и раскрыла "Старших и высших".

Наконец я вошла в маленький кабинет. "Присаживайтесь", — произнесла немолодая серьезная женщина. Перед ней на столе находился каталожный ящик с карточками — данными о вакансиях. Я вручила ей заполненную анкету. Тем временем женщина взглянула на мою книгу, которую я положила на стол, повернула корешком к себе... "Айви Комптон-Бернетт!" — радостно воскликнула она. Вскоре мы уже беседовали о литературе. Проболтали мы долго. Кажется, я утверждала, что жесткие темы, которые затрагивает Комптон-Бернетт, сближают ее с древнегреческими драматургами, а ее стиль, по сути, сюрреалистичен. Моя новая приятельница считала мисс Комптон-Бернетт одной из умнейших женщин, пишущих по-английски. И так далее и тому подобное.

Когда же зашла речь о вакансиях, госпожа инспектор по трудоустройству — так называлась ее должность — отодвинула в сторону ящик с карточками и достала из ящика стола еще одну. "Вы ведь интересную работу ищете?" — "Да, конечно", — сказала я. "А согласитесь выполнять секретные задания Министерства иностранных дел? Работать надо за городом, много часов в день, по ненормированному графику".

Она тут же позвонила и договорилась насчет собеседования. Мне следовало явиться на верхний этаж Буш-Хауса[1] в Олдвиче и никому не рассказывать, куда пойду и зачем. Мило улыбнувшись, она пожелала мне удачи. Надеюсь, я скрасила ее день; она мой — определенно.

Тесный кабинет на верхнем этаже Буш-Хауса был точно орлиное гнездо, высоко вознесшееся над Лондоном. Мужчина с черной бородой, принявший меня, казался в этой каморке несоразмерно огромным: он был невероятно тучный и высокий. То был Сефтон Делмер, в 30-е годы — видный журналист, европейский корреспондент "Дейли экспресс". Его секретарша, светловолосая Бетти Колборн, развеяла мои опасения, кратко описав ожидающие меня обязанности, но ничего не сказав о том, чем занимается сама организация. Как она пояснила, вначале меня проверят — сотрудники спецслужб должны изучить мое прошлое, что займет несколько недель. Я заметила, что в моем случае проверка может сильно затянуться, поскольку я только что из Африки.

— Вы приплыли с военным конвоем? — спросил Делмер.

— Не знаю, — ответила я с легкой улыбкой.

То был простейший тест: нас всех предупредили, что мы "ничего не знаем" о передвижениях кораблей и войск, как в данный момент, так и

1. Большое здание в центральной части Лондона, где ныне находится Би-би-си.

в прошлом. На стенах общественных зданий были расклеены огромные плакаты: "Распуская язык, ты обрекаешь на смерть наших солдат".

Три недели я убивала время, бродя по Лондону из конца в конец в полном упоении: как здесь все непохоже на Африку! Города я почти не знала: ведь до войны я лишь ненадолго приезжала сюда с родителями. Лондон под бомбами — вот тот Лондон, который я впервые — в реальности, а не по книгам — изучила по-настоящему. Денег у меня было в обрез, следовало срочно найти работу. Я очень боялась, что в Министерство иностранных дел меня не возьмут: очень уж несолидно выглядела на бумаге моя скромная квалификация. Но, видимо, моя приятельница из бюро по трудоустройству дала мне хорошую рекомендацию, сделав упор на моем природном уме. С самого начала меня предупредили, что о своих обязанностях я должна помалкивать и на все расспросы отвечать расплывчато — мол, просто служу в Министерстве иностранных дел. В войну во всех министерствах появились временные сотрудники, но слова "Министерство иностранных дел" по-прежнему были окружены неким ореолом. Узнав, что я туда устроилась, моя соседка по столовой "Клуба Хелены" обронила: "Наверно, у вас прекрасные связи". Я пояснила, что связи тут ни при чем — все решил случай, но вряд ли она мне поверила.

Работа у меня оказалась интереснейшая. Мне была отведена самая скромная роль, но именно благодаря моему статусу мелкой служащей — на меня обращали не больше внимания, чем на муху, — мне открылся весь сверхсекретный мир комбинаций и уловок, применявшихся для целенаправленного и успешного обмана противника в сумеречной сфере "черной пропаганды" или "психологической войны". О нашей работе исчерпывающе рассказал Сефтон Делмер (ныне покойный) в своих мемуарах "Черный бумеранг", выпущенных в 1962 году издательством "Секер энд Уорбург". Эту книгу определенно стоит прочесть.

Наш отдел, ведавший политической разведкой, входил в "МИ-6", тайную разведывательную службу Министерства иностранных дел. Я работала в "Группе Делмера" в поселке Милтон-Брайен (или в "МБ", как мы называли свою контору между собой), что в окрестностях Уоберна. Хотя вся ответственность лежала на Делмере, вместе с ним или в смежных ведомствах трудились такие люди, как Ричард Кроссмен, Иен Флеминг и Роберт Брюс Локкарт[1]. Все они время от времени появлялись в нашей конторе. Среди сотрудников было много видных ученых, которые находились на работе практически круглосуточно. Собственно, "МБ" представлял собой настоящий "мозговой трест" с высочайшей концентрацией блестящих умов.

Делмер, которому тогда было сорок лет, родился и вырос в Берлине — его отец преподавал в местном университете английский язык. В 30-е годы Делмер в качестве корреспондента "Дейли экспресс" часто встречался с нацистскими лидерами. Он хорошо знал немецкий менталитет, а языком владел как коренной житель. В общем, у него было все, чтобы успешно руководить основанной им организацией.

1. Ричард Кроссмен (1907–1974) – английский политик; Брюс Локкарт (наст. имя Роберт Гамильтон;1887–1970) – британский дипломат, агент спецслужб, причастный к "заговору послов" в Москве в 1918 г.

Отделу подчинялись две радиостанции. Сначала появилось "Солдатское радио Кале" ("Soldatensender Calais"), а позднее, на финальной стадии войны, уже при мне, заговорил мощный передатчик "Немецкое радио Атлантика, вещание на коротких волнах" ("Deutscher Kurzwellensender Atlantik").

"Черная" пропаганда принципиально отличалась от "белой", которой занималось Би-би-си. Мы выдавали себя за лояльных, преданных фюреру граждан Германии. Новости излагались в такой форме, чтобы немцам казалось, будто они слушают свою же радиостанцию. Под этой оберткой скрывалась тонкая и эффективная антинацистская пропаганда.

Достоверное и подробное изложение фактов, разбавленное правдоподобной ложью, — такое было не по части Би-би-си, открыто хвалившейся нашими победами и презрительно преуменьшавшей мощь врага. Некоторых британских министров ужасали методы Делмера, но он и бровью не вел. Как бы то ни было, почти все вокруг восхищались предприимчивостью и интеллектом нашего начальника.

Помимо новостей, мы передавали для солдат музыку — непременно лучшие и самые популярные мелодии.

Из мемуаров Делмера следует, что он с самого начала сформулировал задачи отдела (приступившего к деятельности в 1941 году): главной мишенью должна была стать верхушка нацистской партии:

> Я видел, что преданные своему делу гитлеровские функционеры поразительно эффективно сплачивают немецкую нацию, побуждая ее работать на военную машину. Я был под большим впечатлением от того, как успешно Геббельс и его подчиненные, от высокопоставленных чиновников до рядовых сотрудников, поднимают боевой дух немцев, воодушевляют их на то, чтобы они отдавали все больше сил фронту, приносили все новые и новые жертвы ради победы. Если бы нам удалось очернить этих лидеров в глазах немцев, создать мнение, что это лишь продажная и праздная номенклатура, которая требует от простых людей самопожертвования, а сама продолжает купаться в роскоши, — что ж, тогда мы подсекли бы германский милитаризм под корень. А заодно и подсказали бы простым немцам отличную отговорку, оправдывающую всякое пренебрежение воинским долгом, любую халатность: "Зачем мне утруждаться, — мог бы теперь сказать себе простой солдат, — если этим свиньям из партийного руководства безнаказанно сходит и не такое".

В сюжетах часто фигурировали обыкновенные немцы, причем не вымышленные, а проживающие по реальным адресам. Это убеждало слушателей в достоверности сообщений. Имена и адреса Делмер брал из немецких газет и журналов: из колонок с мелкими рекламными объявлениями, извещений о крестинах, бракосочетаниях и похоронах: "Если мне требовался шофер из округа Кассель или зеленная лавочка в берлинском районе Ханза, я просто лез в свои папки..."

Другим источником информации служили лагеря военнопленных. Помещения в бараках, а также деревья на территории, под которыми прогуливались пленные, были оборудованы подслушивающими устройствами. Это помогало узнать, какие настроения преобладают среди солдат, и брать на заметку свежие жаргонные выражения.

Когда в 1944 году я пришла работать в группу Делмера, наша рутинная повседневная обязанность по-прежнему состояла в том, чтобы растравлять в немецкой армии беспокойство о состоянии дел на родине, а гражданскому населению Германии внушать сомнения в успешности военных действий, которыми руководят столь коррумпированные лидеры. Делмер всегда радовался, когда военнопленные ссылались на сочиненные им истории как на реальные.

Как-то я сама, просматривая одну английскую газету, обнаружила среди новостей выдумку Делмера. Это случилось после Дня "Д"[1], когда мы убеждали немецких солдат, воевавших в Европе, сдаваться в плен, неустанно стараясь их деморализовать. В своей пропаганде мы между строк намекали, что подкреплений они не получат; все силы брошены на Восточный фронт, а на Западном, во Франции, вместе с немецкими частями воюют плохо подготовленные, ненадежные иностранные подразделения. Немцы уже и так были склонны презирать итальянскую армию благодаря своей собственной пропаганде, особенно с тех пор, как Италия в 1943 году заключила сепаратный мир с антигитлеровской коалицией. Перспектива воевать локоть к локтю с итальянцами ничуть не прельщала немецких солдат.

И вот в английской газете я, к своему огромному удовольствию, прочитала написанную всерьез заметку о том, что силы антигитлеровской коалиции нуждаются в переводчиках с итальянского для проведения допросов военнопленных, ведь на Западном фронте во вспомогательных частях служит столько профашистски настроенных итальянцев! Разумеется, это была неправда. В тесной каморке отдела новостей, где стояло только два стола, мой и Сефтона Делмера, он при мне сочинил это сообщение и на мне же опробовал, поскольку никого посолиднее под рукой не оказалось.

Собственно, Делмер дал своей книге название "Черный бумеранг" именно потому, что методы психологической войны имеют тенденцию "разворачиваться на 180 градусов" и бить по тем, кто их применяет. Над нами постоянно висела опасность дезинформировать свою же сторону, и одно время такое случалось. Но в глазах Делмера гораздо важнее было воздействие мифов, созданных "черной" пропагандой, на образ мыслей в послевоенной Германии.

"Черная" пропаганда раздувала легенду об антинацистском заговоре генералов. Заговор действительно имел место — 20 июля 1944 года на Гитлера было совершено покушение. В отличие от гестапо, наш отдел узнал о покушении за два месяца до него — пленные немецкие офицеры в своем лагере (разумеется, прослушиваемом) сплетничали о графе Штауффенберге[2].

На этом этапе войны, выступая в духе "пламенного германского патриотизма", мы легко обманывали рядовых, а порой и отдельных офицеров. Генералам же внушалось, что они должны вдуматься в подтекст сообщений нашего радио — поверить, что, если заговорщики одержат верх над Гитлером и верхушкой нацистской партии, антигитлеровская

1. День "Д" — 6 июня 1944 г., начало высадки англо-американских войск в Нормандии.
2. Клаус фон Штауффенберг — подполковник Генерального штаба вермахта, организатор и исполнитель неудачного покушения на Гитлера; был арестован и казнен.

коалиция охотно поддержит новый режим и заключит с ним мир. На деле же государства коалиции ничего подобного не планировали.

Делмер пишет:

В сентябре 1944 года я узнал, что заговорщики действительно слушали наши передачи и интерпретировали их именно так, как я рассчитывал. Мне жаль, что генералы закончили свои дни на мясницких крюках Гитлера. Но признаюсь, моя совесть совершенно спокойна — я не раскаиваюсь в том, что внушил им ложные надежды. Эти люди и весь социальный слой, к которому они принадлежали, с самого начала опекали партию Гитлера, финансировали ее. Они, как спекулянты, наживались на гитлеровском Третьем рейхе. А восстали против него лишь тогда, когда крах Гитлера и провал его стратегии стали очевидны.

Дикторами на наших радиостанциях были немцы-военнопленные — истинные патриоты своей страны, считавшие, что противодействовать Гитлеру и нацистам — их долг. Среди них были аристократы и коммунисты, ученые и люди искусства; один мой знакомый из пленных — простой батрак — очень возмущался эсэсовцами. По своему статусу эти люди оставались военнопленными. Ради их собственной безопасности мы обеспечивали им анонимность. В нашей группе их знали только под псевдонимами: Отто, Курт... По окончании войны им обещали предоставить британское гражданство.

Наш комплекс в Милтон-Брайене, занимавший пять акров и окруженный высоким забором из железной сетки и колючей проволоки, охранялся круглосуточно. Штаб размещался в двухэтажном кирпичном здании, напоминавшем казарму или маленькую фабрику. Другие здания, кирпичные и панельные, были разбросаны по всей территории. В парке щипали траву олени.

В отделе я числилась "секретарем общего профиля": формулировка невнятная, зато гармонирующая с атмосферой секретности.

Обычно мой рабочий день длился с четырех часов вечера до полуночи, если не поступало каких-то особых распоряжений. Жила я — точнее "находилась на постое" — в Уоберне, в уютном старинном доме приходского священника, переданном в распоряжение нашего ведомства, вместе с еще пятью (если не путаю) девушками. Все мы выполняли те или иные обязанности в отделе.

Я научилась пользоваться шифратором — выкрашенным в зеленый цвет телефонным аппаратом, в трубке которого все время стоял звон, препятствующий подслушиванию. Надо было научиться слушать собеседника "сквозь" звон. Многие из сюжетов, которые мы передавали в эфир, перемежая их отличной танцевальной музыкой, касались конкретных населенных пунктов, только что разбомбленных нашей стороной. Эту информацию я каждый вечер получала от офицера связи из BBC, а он — от вернувшихся с задания экипажей бомбардировщиков. Телефон звонил, я брала трубку, ждала, пока на том конце назовут пароль, потом один из нас двоих предлагал: "Перейдем?" — и мы переходили на разговор по шифратору, который стоял в соседней комнате. (Спустя много лет я побывала в Индии; музыка, постоянно звучащая по тамошнему радио, показалась мне очень похожей на шум шифратора.) Записав подробности налета, сколько самолетов вышло на задание и сколь-

ко вернулось (увы, зачастую возвращались не все), я печатала информацию на машинке и передавала Сефтону Делмеру. Его эксперты со сверхъестественной точностью вычисляли, какие улицы и города подверглись бомбардировке, после чего несложно было установить вероятные адреса разбомбленных домов и кварталов и сочинить правдоподобную историю задолго до того, как известия поступят на немецкое радио. Под сурдинку в наше сообщение вставлялся высосанный из пальца комментарий — мол, как жаль, что пилотов люфтваффе теперь накажут за то, что им не удалось сбить англо-американские самолеты. <...>

Мое рабочее место находилось в тесном кабинете Делмера, соседствовавшем с отделом новостей — чудесным очагом кипучей деятельности. Благодаря сказочному везению у нас был телетайп, напрямую соединявшийся с Германией — с ведомством Геббельса. Это сокровище впопыхах оставил, даже не попытавшись его уничтожить, лондонский корреспондент какого-то немецкого агентства новостей, спешно покинувший страну после объявления войны. Бесценный агрегат звался у нас "хеллшрайбер"[1] — так сказать, "адописец". Он позволял нам, по выражению Делмера, "перебить вкус" вражеской пропаганды в наших бюллетенях. Среди операторов хелл-шрайбера были немецкие евреи-беженцы: полагаю, работа приносила им колоссальное удовлетворение.

По шифратору поступала не только информация из Верховного штаба экспедиционных сил коалиции и других источников в армии. Каждый вечер со мной выходил на связь Уайтхолл — а именно пресс-бюро Министерства иностранных дел. То были новости общего характера, еще не переданные для публикации в завтрашние газеты; мы обычно обо всем сообщали первыми. Часто в беседах по шифратору мы соскальзывали со служебных тем на частные, и вскоре мой коллега Колин Метвен и я сделались добрыми друзьями — на многие-многие годы, как доказало время.

Колин, как и я, был временно разлучен со своим ребенком из-за войны: его дочь Дейдре отослали в безопасную Канаду. Мы с Колином виделись по выходным (раз в две недели мне давали увольнительную на четыре дня). Несмотря на весь аскетизм военного времени, "Савой", "Ритц", "Кафе Ройяль", "Прюнье" и другие знаменитые рестораны, знатоком которых был Колин, отчасти сохраняли свою особую ауру. О более скромных заведениях Колин, казалось, даже не слыхивал; во всяком случае, он прилагал максимум усилий, чтобы развлечь меня во время вылазок в Лондон. Видимо, в деньгах он не нуждался, но для меня было гораздо важнее, что он был на редкость интересным человеком и обладал тонким чувством юмора. Мы ходили в театр, а перед этим часто обедали в Батском клубе — дамы туда допускались — в обществе друзей Колина.

Разумеется, о работе мы не говорили — это же было запрещено. Я никогда не спрашивала Колина о его обязанностях, да и ему не приходило в голову интересоваться моими. Он знал только, что работаю я "за городом".

1. Слово составлено из английского hell (ад) и немецкого Schreiber (писец, писатель, пишущее устройство).

Отношения у нас с Колином были чисто дружеские, что, возможно, лишь укрепляло взаимную привязанность. Он был намного старше меня, дважды женат и дважды разведен, очень хорош собой, неизменно и непринужденно обаятелен, но, насколько я поняла, его здоровье было подорвано серьезным ранением, полученным на Первой мировой. На шее у него остался зловещий шрам от пули.

В то время мне вообще не хотелось заводить романов, и Колин — приятный собеседник и щедрый хозяин застолий, питавший ко мне искреннюю симпатию, всегда готовый дать здравый совет, — был для меня именно тем, что требовалось. Я точно знаю, что и он находил приятность в общении со мной.

Я с юности чувствовала, что не просто существую, а накапливаю впечатления для будущей литературной работы. Интуитивно понимала: ничто пережитое, даже самые мрачные из моих африканских дней, нельзя вычеркивать из памяти. Но ко времени знакомства с Колином Метвеном я ощутила: накопленным пора "делиться". Как именно это делать, я представляла себе неясно, но желание уже вызрело: хотелось шире, чем прежде, раскрыть душу миру, оставить в нем такой же глубокий отпечаток, какой оставило в моей душе пережитое. Хотелось, чтобы мои произведения несли людям радость. Я жаждала писать такие стихи, эссе и, возможно, пьесы, которые читатель пропустит через себя, примет близко к сердцу. В тот период я еще не была готова к этой задаче, да и напряженная работа не оставляла мне свободного времени, но по утрам я часто писала стихи.

Порой я проводила утро в Бедфордшире, прогуливаясь с кем-нибудь из военнопленных. Нам разрешалось под свою ответственность брать их на пешую или велосипедную прогулку в радиусе пяти миль от комплекса. Ради победы над Гитлером они страшно рисковали: об их деятельности могли донести германским властям, их самих прямо в Англии могли убить члены тайных организаций, существовавших в лагерях военнопленных. А если мы проиграем войну... но нет, об этом и помыслить было невозможно.

Пленные жили в отдельном доме в Уоберн-Сэндз под надзором офицера разведки. Каждый день их привозили на работу на служебном автобусе, который всегда забирал в Уоберне меня и других сотрудниц; после полуночи тот же автобус вез нас домой. Я решила не ограничиваться общением с кем-то одним, как поступали некоторые наши девушки, но брать на прогулки всех пленных по очереди. Как оказалось, то был самый занимательный способ провести время в ясные весенние дни 1944 года. Деревенские жители смотрели на нас опасливо. По пленным сразу было видно, что это иностранцы — уж не шпионы ли спустились на парашютах? Но местных заранее предостерегли, что к нам не следует соваться с вопросами, а немцев — что им запрещено заходить в пабы и магазины. Однажды меня и моего спутника-пленного остановил на деревенской улице полисмен, новичок в этих местах. "Где вы работаете?" — спросил он. "В Министерстве иностранных дел, — сообщила я и, указывая на пленного (то был батрак Ганс), пояснила: — А это наш зарубежный гость, важная особа". Ознакомившись с моим пропуском и позвонив с местной почты по продиктованному мной номеру, полисмен распрощался с нами, вполне удовлетворенный: "Не обессудьте, мисс, служба есть служба". Не сомневаюсь: узнай полисмен, что Ганс — немец-

кий военнопленный, он, возможно, лишился бы чувств от ужаса. Хорошо еще, что он не попытался допросить Ганса — английским тот почти не владел, мы объяснялись при помощи словаря. Иногда Ганс, человек бывалый, где-то доставал продукты для пикника в немецком стиле: сало, хлеб и сосиски. Я тоже приносила что-то. Ганс, надо сказать, был склонен к пессимизму. По обе стороны дорог в этой местности тянулись густые рощи. Как-то он заметил: "Здесь будут высадиться парашютисты Гитлера. Много парашютисты. Будут прятаться лес. Они будут прилететь". Я почувствовала: он хочет, чтобы его разубедили. И сказала, что парашютисты вряд ли выберут для десанта лесистую местность, а если попытаются высадиться на полях, мы просто их всех перестреляем, одного за другим.

Позднее я с печалью вспомнила эту свою фразу. Сын нашей уоберн-ской экономки служил в парашютно-десантных войсках. Однажды, получив увольнительную, он ненадолго приехал ее навестить. Я видела, как он возвращался назад, шел пешком по дороге мимо тех самых рощ, где я недавно успокаивала Ганса. Вскоре этот молодой английский десантник погиб при высадке в Арнеме.

Другим моим любимцем среди военнопленных был Курт, австрийский граф. Он носил монокль и потрепанный парадный мундир, красный с золотыми позументами. Его английский был безупречен. Когда мы хотели внушить немецким солдатам идею государственной важности, голос Курта звучал выразительно и проникновенно. По живописным дорогам и тропкам Бедфордшира мы с ним бродили пешком, а иногда брали у кого-нибудь на время велосипеды. Я начертила циркулем на карте пятимильный радиус, но поскольку на случай вражеского вторжения с английских дорог убрали все указатели, нам приходилось выбирать маршрут по наитию. Эти прогулки в чудесные весенние и летние деньки — одно из счастливейших воспоминаний моей жизни. По дорогам почти никто не ездил: в целях экономии бензина личный автотранспорт был вне закона. Несмотря на войну, приятно было находиться в зеленой Англии после стольких лет палящего африканского зноя.

Мы говорили о том, что будет "после войны". Курт знал, что поражение Германии предрешено — вопрос лишь в том, долго ли осталось ждать. Он сознавал, что разбить Германию необходимо, но искренне сочувствовал своему народу. Хотя наша сторона приняла все меры к тому, чтобы сохранить анонимность военнопленных, сотрудничающих с союзниками, все они не уставали тревожиться за семьи, оставшиеся на родине. Курт часто говорил, что, если нацисты забрали его жену, он, "естественно", пустит себе пулю в лоб.

Некоторые из этих пленных приняли британское подданство и остались в Англии — об этом я узнала в 1948 году от одного из них, молодого веселого коммуниста Отто. <...>

В доме священника я подружилась с другими девушками, занимавшими разные должности в отделе. Но поскольку наш график работы совпадал редко, регулярно — собственно, каждый день — я виделась только с одной своей соседкой. Таких странных взаимоотношений, как с ней, у меня никогда ни с кем не было. Ее звали Марсель Куэннелл. Ее муж (впрочем, к тому времени они уже разъехались или официально развелись) был писатель Питер Куэннелл, авторитетный литератур-

ный критик и автор биографий, которого я тогда почитала чуть ли не как Бога.

Марсель была очень высокая, худющая, с маленьким, очень белым лицом. По ней было видно: эта женщина много выстрадала. Если я ничего не путаю, родилась она в Бельгии. Обычно она на всех смотрела цинично-проницательным взглядом. Подчеркивая свой рост, Марсель носила туфли на пробковой платформе четырехдюймовой толщины — последний крик тогдашней парижской моды. Походку они уродовали вконец, а между тем Марсель отличалась природной грацией — я же видела, как легко она сбегает по утрам с лестницы в нашем доме.

Марсель хорошо давались иностранные языки. В отделе она выполняла обязанности цензора. Во время эфира цензор на всякий случай дежурил у тумблера, сличая фразы диктора с печатным текстом, чтобы, если диктор начнет нести отсебятину, мгновенно прервать трансляцию.

Марсель было уже за тридцать. В ней всегда чувствовалась отстраненность, какая-то непостижимая тайна. По утрам именно она варила нам кофе на кухне. Из-за графика утро для нас начиналось поздно, и потому унылый нормальный завтрак из выданных по карточкам продуктов (поджаренный хлеб с маргарином и чай) давно уже кончался, когда мы прямо в халатах, к ужасу экономки, спускались в просторную кухню. Мне всегда нравился кофе, сваренный по рецепту Марсель. Она готовила его на газовой плите, медленно помешивая. Кофе, в те дни презираемый большинством населения Британии, продавался без карточек.

У Марсель были приступы мании величия, сильно меня тревожившие. Она запросто могла заявить во весь голос, так, чтобы слышала экономка, надзиравшая за посудомойками в соседнем помещении:

— После войны ей придется вернуться в свой домик на две семьи, засучить рукава и взяться за работу.

Марсель страшно негодовала и оттого, что экономка называла посудомоек и уборщиц "мой штат". Я находила апломб экономки и ей подобных крайне забавным, но Марсель это не смешило. Достопочтенная экономка, не оставаясь в долгу, за глаза честила Марсель: "Ишь раскомандовалась, иностранка. А саму через разводный суд уж протащили так протащили". Помню, я возразила, что тоже развелась с мужем и что нигде никого не протаскивают. Но экономка слышать ничего не желала. У нее были претензии только к Марсель.

Иногда я сама становилась жертвой аристократических замашек Марсель. "Не понимаю, как вы можете жить в Англии на один оклад, — провозглашала она. — У меня триста фунтов годовой ренты, а они вычитают половину в качестве налога с нетрудовых доходов". В другой раз она заострила внимание на том, что я живу в своей комнате одна, без соседок, хотя мне всего двадцать шесть: "Отдельные комнаты предназначены для лиц старше тридцати".

Таких, как она, я еще никогда не встречала. В ней чувствовался какой-то душевный надлом. Однажды, поддавшись минутному порыву, я сказала ей: "Мне жаль вас". Я говорила искренне. Никакой снисходительности в моей фразе не было. Лицо у Марсель сделалось растерянное. "Нечего меня жалеть", — пробормотала она. Немного погодя с самым любезным видом она принесла мне брусочек французского мыла (мыло жестко нормировалось, а хорошего мыла вообще было не до-

стать). Помню ее в дверях моей комнаты. "Надо же, — выпалила я, не подумав. — Как вы похожи на Марию Стюарт!" — "Вы не первая так говорите. Почему?" — "Просто вдруг показалось", — сказала я. В ней и впрямь было определенное сходство с известными портретами королевы Шотландии.

Я подозревала, что в секретном учреждении рискованно держать таких, как Марсель, но ни с кем не делилась своей догадкой — в конце концов, не моего ума дело.

Один пленный — высокий красавец с довольно безрассудным характером — сделался на время кавалером Марсель. Очевидно, у них завязались, мягко говоря, романтические отношения.

Однажды этого пленного не привезли в комплекс. Оказалось, его вернули в лагерь военнопленных по ряду причин, в основном, думаю, из-за недисциплинированности. Разумеется, за ним вели строгий надзор. Да он и сам в интересах самосохранения не стал бы открывать товарищам по плену, где побывал и чем занимался. Вдобавок с него взяли подписку о неразглашении. Но так уж случилось, что Красный Крест, или еще какая-то международная организация, договорился с Би-би-си и государственным радио Германии об обмене программами типа "Привет семье": "наш" Билли сообщает из немецкого плена своим родным в Олдем, что, дескать, жив-здоров, а "их" Фриц шлет столь же утешительную весточку своим в Кёльн.

Наш бывший помощник, друг Марсель, вызвался участвовать в одной из этих передач. Спецслужбы сплоховали, и голос, который доселе зачитывал новости на волнах нашего "Радио Кале", теперь зазвучал из лагеря военнопленных. А голос был узнаваемый. Мне осталось неизвестно, вычислили ли немцы этого дурня по голосу, докопались ли, кто он такой (тогда его семью почти неизбежно постигли бы репрессии). Но переполох поднялся страшный, а Марсель некоторое время дула губы, одновременно подыскивая себе кого-нибудь новенького.

Этот случай, художественно его переосмыслив, я использовала в своем романе "Теплица на берегу Ист-Ривер". В связи этих двоих было нечто сюрреалистическое, таинственное; думаю, сюжетная линия хорошо вписалась в общую атмосферу романа.

Спустя некоторое время по окончании войны Марсель покончила жизнь самоубийством. Я искренне скорбела, прочитав об этом в газете. Странная, гордая Марсель! Я интуитивно ощущаю, что еще до нашего знакомства она испытала неимоверные душевные муки. Людям такой породы почти невозможно помочь. Когда мы встретились, она уже отгородилась некой незримой стеной, через которую — и то на миг — могло "перелететь" только спонтанное проявление сочувствия да душистый брусочек редкостного французского мыла. Что довело ее до такого отчаяния: наркотики, алкоголь, мужчины? Или просто нервы не выдержали — долго ли можно жить без кожи? Я всегда ее помню. Просто не могу забыть. <...>

Когда я ночевала в "Клубе Хелены", после ужина у меня собирались мои тамошние подруги. Мы варили кофе и болтали. Иногда пили херес — этот драгоценный напиток дарил мне Колин. Моя лучшая подруга по "Клубу", красавица Памела Флуд, любила слушать мои новые стихи. Она знала толк в поэзии, и замечания у нее были дельные.

Если работы было невпроворот (например, в связи с высадкой англо-американских войск в Европе), в город меня не отпускали. Но неиспользованные выходные накапливались, и, отработав месяц подряд, я брала отпуск на восемь дней и отправлялась в Эдинбург к родным. Разумеется, пассажирские поезда были вынуждены давать дорогу военным эшелонам и часто опаздывали часов на семь-восемь, так что путешествие длилось часов пятнадцать, если не дольше. Обычно всю дорогу приходилось стоять. Не знаю, откуда у нас брались силы, но мы держались.

Как-то на обратном пути из Эдинбурга я разговорилась с девушкой, которая работала няней в одной семье в северном Лондоне. Я планировала провести ночь на вокзале, но моя новая знакомая горячо убеждала меня переночевать у нее в Сент-Джонс-Вуде. Хозяева, "господин профессор" с женой, куда-то уехали, дом пустовал. Я с готовностью согласилась. Во время войны такие приглашения были вполне в порядке вещей.

Жили они неподалеку от крикетного стадиона "Лордз". Переступив порог, я вскоре сообразила по дарственным надписям на страшно заинтересовавших меня сборниках стихов ("Луису от Уистэна" и т. п.), что "господин профессор" — не кто иной, как поэт Луис Макнис[1]. Я ужасно всполошилась: вдруг хозяева вернутся и застанут меня здесь? Но приятельница меня успокоила, и я великолепно выспалась в бомбоубежище системы Моррисона (так назывались встроенные кровати, защищенные сверху стальным балдахином). Рабочий стол, письменные принадлежности и книги Луиса Макниса произвели на меня сильное впечатление (этот случай, позднее описанный мной в эссе "Дом поэта", стал также толчком для замысла рассказа "Дом знаменитого поэта").

У меня появилось чувство, что я в буквальном смысле слова вошла в литературный мир. Оказывается, он реален. Метафорическое материализовалось.

Глава шестая

В 1946 году я устроилась в отличный ежеквартальный журнал "Арджентор". Как я получила эту работу, не помню и даже в своем архиве не нахожу подсказок. Наверное, узнала о вакансии из объявления в газете или от какой-нибудь соседки по "Клубу".

Осенью минувшего года мой сын Робин приехал из Африки, и некоторое время я прожила в Эдинбурге, прилагая все усилия, чтобы ему было хорошо в новом доме и новой школе. Но в Эдинбурге выбор вакансий, на которые я могла претендовать, был слишком скуден. И вдобавок мне было уже негоже жить с родителями, тем более что они вызвались заботиться о моем сыне, а я сама при разводе отказалась в пользу Робина от всех претензий на денежные выплаты, полагавшиеся мне от бывшего мужа. Итак, я обосновалась в Лондоне, но при любой возможности наведывалась в Эдинбург. Тогда-то я и впала в настоящую зависимость от телефонной связи: то и дело звонила родным или они — мне. Из Министерства иностранных дел меня временно направили — "отко-

1. Луис Макнис (1907–1963) — англо-ирландский поэт и критик.

мандировали", как это называлось, — в Службу информации вооруженных сил США. Атмосфера там была приятная, но Служба уже сворачивала свою деятельность в Лондоне. Итак, я устроилась в "Арджентор" — впервые в жизни занялась работой, которую можно было назвать литературным трудом.

Ежеквартальный журнал "Арджентор" был официальным органом Национальной ассоциации ювелиров. Это было прекрасно оформленное издание, по стилю и формату похожее на "Конисёр". Главной моей обязанностью был поиск и отбор в музеях, библиотеках и художественных галереях материалов для статей; я буквально упивалась этим новым занятием. Даже сейчас, просматривая содержание первого номера, к которому я приложила руку, я вновь испытываю удовольствие. Моя неопытность вовсе не смущала редактора, и я, воодушевленная его доверием, бесстрашно взялась писать на темы, в которых доселе вообще не разбиралась. <...>

В "Арджентоpe" помещали замечательные иллюстрации. Свою задачу журнал видел в том, чтобы поддерживать мастерство ювелиров на высоком уровне, знакомя читателей с историей и современными достижениями ювелирного искусства, а также часового дела и смежных ремесел. Для начала мне поручили работу над статьей (опубликованной за подписью редактора) "Живописцы — золотых дел мастера", где рассказывалось о многочисленных живописцах Возрождения, которые начинали с этого ремесла свой путь в искусстве. Позднее, незадолго до ухода из "Арджентора", я самостоятельно изучила историю ордена Золотого руна и изложила ее в пространной статье, которой до сих пор очень довольна. В ней нет и следа ученической незрелости: я и сегодня переиздала бы ее без колебаний.

Ювелирное искусство было неиссякаемым кладезем самых разнообразных тем. Обычно мне вручали статьи специалистов, требовавшие литературной обработки. Я научилась редактировать тактично. Сколько помню, в основном дело сводилось к вычеркиванию лишних прилагательных.

Мой рабочий день был чрезвычайно долог: сначала музеи, потом редакция... Иногда я трудилась над какой-нибудь интересной статьей и дома, засиживаясь до поздней ночи.

За работу, сделанную дома, и за мои собственные материалы мне ничего не доплачивали. Меня это вполне устраивало: работа мне нравилась, а заодно я осваивала практическую сторону журналистики: редактуру, вычитывание гранок и прочие этапы подготовки номера к печати.

Весной 1947 года я приняла дела у Галлоуэя Кайла, престарелого редактора "Поэтри ревю" (журнала Поэтического общества). Мне было двадцать девять лет.

Мой друг по Министерству иностранных дел Колин Метвен переехал к сестре в графство Перт. Но еще много лет он оставался для меня опорой: мы обменивались пространными письмами, он призывал меня звонить ему из Лондона за его счет, что я частенько и делала. Но все-таки мне было одиноко. Пожив некоторое время в меблированных комнатах, я скоро вернулась в "Клуб Хелены". Там не смолкала громкая жизнерадостная болтовня, иногда мешавшая мне работать — но по крайней

мере, вечером меня окружали подруги. А столовая с сытными блюдами вообще была выше всяких похвал. <...>

В Поэтическое общество я вступила в 1946 году, увидев афишу литературного вечера, который оно устраивало.

В 1947-м в майском номере журнала Общества, выходившего раз в два месяца, сообщалось, что мне присуждена первая премия на конкурсе любовной лирики за сонет в стиле метафизической поэзии. "Стихотворение прекрасное. В нем есть настроение", — написал в отзыве председатель жюри. Перечитывая сонет сегодня, я ясно вижу: атмосфера в нем есть, но в то же самое время это лишь старомодное упражнение в литературном стиле, который, по моим расчетам, лучше всего соответствовал вкусам жюри.

Председатель жюри, профессиональный юрист (впоследствии судья) Т. Кристмас Хэмфрис стал моим близким другом. Тоби, как звали его друзья, очень мне помог впоследствии в дни испытаний — и не только здравыми юридическими советами, но и дружеским участием, столь необходимым мне в ту пору. Его жена Пак тоже была сердечна и радушна. Как пишет Тоби в своих мемуарах "По обе стороны круга":

> ...в Поэтическом обществе зрела буря. За двадцать лет своего существования общество, основанное шевалье Галлоуэем Кайлом, объединило под своей эгидой видных литераторов и собрало прекрасную библиотеку. Но вот для Кайла пришло время уйти на покой, а его преемница, сама того не желая, сделалась причиной крупного раздора. Миссис Мюриэл Спарк была избрана генеральным секретарем и редактором "Поэтри ревю". Эта молодая, очень привлекательная шотландка, наделенная шармом, энтузиазмом и организаторскими способностями, не по своей вине сыграла роль скорее "пороховой бочки", чем "новой метлы"...

Другой мой друг тех времен, поэт Джон Хит-Стаббс, лаконично прокомментировал: "Для них ты была слишком авангардна".

Но оба они слишком упрощают случившееся.

Мне предложили занять пост генерального секретаря Поэтического общества и редактора 'Поэтри ревю' с месячным окладом в тридцать фунтов и бесплатной служебной квартирой в здании общества на Портмен-сквер, 33. Я согласилась ради квартиры — надоело скитаться по чужим углам. Моему сыну уже исполнилось девять лет; я подумала, что хорошо было бы устроить его в школу-пансион неподалеку — тогда бы мы чаще виделись. Колин Метвен горячо поддержал мою идею: на складе в Лондоне он держал кучу домашнего скарба, от мебельного гарнитура до кастрюль и сковородок. Выждав для подстраховки несколько месяцев, я договорилась, чтобы первые ящики с имуществом, одолженным мне Колином, доставили на Портмен-сквер. Нашла в Сассексе школу-пансион, которая была мне по карману, учитывая деньги, выделяемые на обучение Робина его отцом. Сам Робин страстно желал переселиться поближе ко мне.

Но меня поджидали сразу два сюрприза. Во-первых, Поэтическое общество не спешило обеспечивать меня квартирой. Я отлично понимала, что бывшего редактора с женой, престарелых супругов, нельзя просто так выгнать на улицу, но в здании имелась еще одна квартира, которую сдавали за номинальную плату состоятельной паре, не имев-

шей никакого отношения к Обществу. Кажется, их даже не успели предупредить о необходимости съехать, так как началась свара из-за редакционной политики "Поэтри ревю". Во-вторых, мой бывший муж через своих поверенных неожиданно воспротивился отъезду Робина из Эдинбурга.

В квартиру я так и не въехала. И тут я осознала, что на работу меня взяли, потому что думали, будто мной легко манипулировать; я же пребывала в убеждении, что рулить — право того, кто у руля.

Прежде чем принять дела, я поставила условие, что авторам будут выплачиваться гонорары. Уровень публикаций в "Ревю", где дотоле преобладали дилетантские опусы, сразу вырос. В прежние времена журнал изливал много желчи на "модернистов". Моя первая редакционная статья в обновленном журнале начиналась так: "Может быть, мы наконец перестанем проклинать модернистов?" Это воодушевило поэтов, но страшно расстроило некоторых читателей, ведь имена Элиота, Паунда и Одена дотоле были бранными словами.

Обнаружилось, что некоторые авторы попросту платили за свои публикации. Так, некая мисс Элис Хант Бартлетт из Нью-Йорка прислала мне очередной обзор американской поэзии с совершенно бредовыми цитатами, а заодно чек на двадцать пять долларов, выписанный на мое имя. Я отнесла чек казначею, но он заявил, что взять его не может, ведь он выписан не на Общество, и вообще, по-видимому, деньги предназначены лично мне. Я вернула чек мисс Бартлетт вместе со статьей. В ответном письме она сообщала, что предыдущий редактор всегда принимал ее чеки с благодарностью и что она "провидит" тесное сотрудничество между нами. Она также "провидела" помпезное празднование Дня поэтов в Нью-Йорке: предлагала провезти виновников торжества по Пятой авеню на разукрашенных платформах типа карнавальных колесниц.

Вскоре я не поладила с одним весьма активным членом исполнительного комитета Общества. То был некий Роберт Армстронг, черноволосый, низкорослый, весь скрюченный — и душой, и телом. Я напечатала одно его стихотворение, принятое к публикации прежним редактором и, по моим меркам, довольно сносное. Но не посчитала нужным вынести его имя на обложку — включить в перечень авторов, завершавшийся словами "и другие". Это мое преступление и вдохновило Армстронга на письма, которые я и сегодня, спустя сорок пять лет, перечитываю, обливаясь холодным потом: сколько в них мелочного тщеславия! По своему обыкновению, Армстронг писал мне на служебных бланках с шапкой "Налоговый инспектор Ее Величества, округ Уиллесден". Приведу здесь один отрывок из его длиннейшего послания:

После Вашего предложения, а затем и обещания, данного в тот вечер, когда Вас познакомили с сэром Миллингтоном-Дрейком, я был удивлен, найдя, что попал в категорию "других" (впрочем, я рад, что Вы упомянули широко известные имена, хотя в ряде случаев их вклад в номер довольно незначителен).

Осмелюсь заметить, что Ваше решение перечеркнуло мои расчеты на то, что "Ревю" станет подспорьем для моей дальнейшей карьеры в изданиях Государственной службы и других сферах журналистики (в коих я скрываюсь под псевдонимами "Критик", "Зритель", "Домовой" и "Наблюдатель"). Не пасуя перед трудностями, я прикладывал немало усилий для того, чтобы спасти Вас

и Ваше Общество от полной безвестности, — и одно-единственное дополнительное подтверждение признания не стало бы излишним....

То было лишь предвестье, первые раскаты грома. Но я немедленно нажила себе злейшего врага в лице Роберта Армстронга, написав в ответ:

Я не обещала, что вынесу Ваше имя на первую страницу "Поэтри ревю". Я помещаю имена авторов на это почетное место не для того, чтобы сделать им приятное или повысить их статус, а чтобы привлечь внимание к содержанию журнала...

Письмо я завершила на умиротворяющей, стопроцентно лицемерной ноте:

"Поэтри ревю" — моя неустанная забота. Благо журнала я ставлю выше всех личных отношений, даже с такими прекрасными людьми, как Вы.

Но я так и не вынесла ни разу имени вышеозначенного господина на обложку: это место отводилось для тех, кто выпустил хотя бы одну книгу стихов. За исключением немногих — Роя Кэмпбелла, Алекса Комфорта, Джона Хита-Стаббса — наши авторы не вошли в историю литературы, но все равно я старалась привлекать в журнал лучшие силы. <...>

В людях, одержимо любящих поэзию, — особенно в тех, кто сам стихов не пишет, — в подобной ситуации отчего-то пробуждается нечто дикарское. Энтони Уиттом, сотрудник Поэтического общества в недавнее время, совершенно справедливо заметил в письме ко мне:

Складывается впечатление, что мир поэзии уже по самой своей природе обречен дробиться на враждующие кружки, которые, в свою очередь, размножаются делением....

И вот жена председателя Общества получила анонимное письмо. Оно не достигло цели, поскольку содержало обвинение, будто вечерами я порхаю по Вест-энду в обществе председателя; его почтенная супруга отлично знала, что в это время суток он носу из дома не кажет. Несколько раз я встречалась с председателем за ланчем, но тем наше общение и ограничивалось. Его ретроградные взгляды на поэзию не совпадали с моими, так что некоторое напряжение между нами ощущалось, но я была готова проявить терпимость.

Интереснее было другое — кто же послал анонимку? Я хотела пойти с ней в полицию, но, по совету Тоби Хэмфриса, самого опытного юриста среди нас, большинство исполнительного комитета решило проигнорировать инцидент.

В мой кабинет в красивом георгианском особняке, занимаемом Обществом, проторили дорожку молодые поэты. Они горячо надеялись, что в реорганизованном журнале для их творений найдется местечко. И я в самом деле кое-кого из них напечатала. Выдающихся дарований среди них не оказалось, но писали они совсем не так, как поэты прежних времен. Рваные ритмы, странные мысли, вольность выражений — все это коробило очень многих, хотя и не всех, читателей старой закал-

ки. Одним из моих преданнейших сторонников был восьмидесятидвухлетний вдовец, бригадный генерал сэр Джордж Коккерел, в молодости бывавший на концертах Листа. Он любил людей занятных, а зануд терпеть не мог.

Молодые поэты подносили дары — стихи, посвященные мне. Комплименты я с удовольствием выслушивала, но на мою редакционную политику это ничуть не влияло. <...>

Оценив ситуацию, я рассудила: самое худшее, что может мне сделать эта клика неудачников, — сместить меня с поста. Я и сама уже начинала ощущать, что держаться за эту работу не стоит — ведь я так и не смогла вселиться в обещанную квартиру, — но твердо решила добросовестно выполнять свои обязанности, покуда числюсь редактором.

Чуть ли не самым несносным из моих недоброжелателей был банкир и литератор-дилетант, шестидесятилетний Уильям Кин Сеймур, вот уж посредственность "от Бога".

Вначале он был со мной очень любезен. С его женой, писательницей Розалиндой Уэйд, меня как-то познакомили на званом обеде. Она разговаривала со мной подчеркнуто холодно. На следующий день Кин Сеймур в крайне взволнованном состоянии явился ко мне в кабинет и принялся извиняться за жену. "А почему, собственно, вы так беспокоитесь?" — поинтересовалась я. Тут-то он и признался, что ночей не спит — все бродит по коридорам и галереям в своем особняке, думая обо мне. О своих чувствах он поведал жене.

Я просила его передать супруге, что не отвечаю ему взаимностью. Подчеркнула, что он ставит меня в ложное положение. Но, услышав мою отповедь, он только воодушевился. Тогда я выпроводила его из кабинета и написала Розалинде Уэйд письмо, без обиняков сообщая, что ее муж мне не нужен и у меня есть возлюбленный (это была истинная правда). Ответа Розалинды я не помню, но у меня осталось четкое ощущение: отвергнув ее мужа, я оскорбила ее гораздо сильнее, чем если бы его возжелала.

Прочтя мое письмо, Уильям Кин Сеймур ворвался в мой кабинет, вопрошая, правда ли, что у меня есть возлюбленный, и кто он, собственно, такой.

Я уведомила, что мой друг — молодой поэт Говард Сарджент, бухгалтер по профессии, активно участвующий в деятельности Поэтического общества и издающий собственный журнал "Аутпостс". Мой роман с Говардом начался, как только я пришла работать в Общество и оказалась среди тамошней неописуемой фауны. Главное достоинство Говарда состояло в том, что он великолепно танцевал. Я обожала ходить с ним на танцы. Меня привлекало и то, что он во всем был мужчиной.

После вышеописанной истории Уильям Кин Сеймур люто меня возненавидел. Не скрою: где бы я ни работала, мне нигде больше не приходилось иметь дело с таким множеством самых настоящих сумасшедших. Остается лишь согласиться с мыслью, что поэзия глубоко воздействует на души.

Как-то раз ко мне явились озадаченные работники типографии. Чьи распоряжения им выполнять — мои или некого мистера Роберта Армстронга? Он приходил и давал указания касательно журнала.

И так далее и тому подобное. Интересно, как поступила бы в подобных обстоятельствах неглупая молодая женщина нынешнего поколения.

Что касается меня, то мне претила сама мысль о том, что я должна интриговать, перетягивать на свою сторону "влиятельных лиц". Все мои сторонники, будучи нормальными людьми, продолжали заниматься своими обычными делами. Талантливые поэты и умные люди в руководстве Общества, а также, как оказалось впоследствии, многие столпы литературного мира были слишком хорошо воспитаны, чтобы плести козни против своих противников и готовить этакий путч в добровольной ассоциации любителей поэзии. Ни им, ни тем более мне и в голову бы не пришло бомбардировать президентов Общества кляузами, как поступали обиженные поэты, которых раздражало все новое. Кстати, президенты даже не появлялись на заседаниях — их власть была чисто номинальной. Естественно, после моего ухода очень многие из солидарности со мной отказались от членства, не желая ввязываться в дальнейшие свары.

Разумеется, отнюдь не все три тысячи членов Общества, гневно брызгая слюной, потрясали своими отвергнутыми рукописями, но у меня и моих друзей сложилось впечатление, что недовольных большинство. Многие полагали, что, подписавшись на журнал по новой, повышенной цене, автоматически резервируют там место для своих опусов. Так я осознала, что редактор должен быть абсолютно независим от чего бы то ни было. Мало внутренне стремиться к этой независимости — ее надо добиться на практике.

С сожалением вспоминала я об "Арджентоpe" — наглядном доказательстве того, что журнал добровольного общества может быть интересным и основательным. И все же я сознавала, что даже после моего ухода "Поэтри ревю" еще нескоро скатится до того жалкого уровня провинциального церковноприходского бюллетеня, каким я его застала, когда приняла дела. <...>

Я уже начала искать более подходящую работу. Колин Метвен в письмах из графства Перт убеждал меня не увольняться. Он и Тоби Хэмфрис полагали, что уход по собственному желанию не позволит мне претендовать даже на выходное пособие. К большому неудовольствию председателя Общества, я предпочла, чтобы меня уволили, что принесло мне компенсацию в размере трехмесячного оклада. Да и то Колин советовал мне требовать значительно больше.

Но я была рада поскорее покинуть царство раздоров и чванства, этого страшнейшего из грехов, которому подвержено искусство. Меня приютили Хэмфрисы. Мои противники изложили свою версию событий во всех крупных газетах, но лишь сами себя наказали: пресса подала случившееся в неблагоприятном для Общества свете, и его члены были крайне недовольны. Впрочем, численность Общества сильно уменьшилась: мое увольнение повлекло за собой массовый исход поэтов как талантливых, так и бездарных. (Вынуждена признаться, что очень многие мужчины и женщины, преданно меня поддержавшие, были весьма слабыми стихотворцами.)

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему ряды членов Общества так сильно поредели, председатель выразился так: "По вопросу о продолжении сотрудничества с миссис Спарк возникли легкие разногласия..."

Но разногласия продолжаются и по сей день. Только что мне прислали вырезку из "Дейли телеграф" от 27 января 1992 года. Заголовок

статьи гласит: "Раздоры в Поэтическом обществе. Президент сложил с себя полномочия" (руководство не сошлось во мнениях по поводу приобретения нового помещения).

При содействии Тоби Хэмфриса и группы поэтов-новаторов я основала новый журнал, "Форум". Он снискал одобрение прессы, но без субсидий продержался недолго. Впрочем, тем временем я нашла новую работу на полную ставку и пересмотрела свои планы на будущее. И окончательно порвала с Говардом Сарджентом.

Наша связь продлилась полтора года. Работа Говарда требовала разъездов, так что виделись мы не каждый день. Для "Поэтри ревю" Говард делал очень много, хотя, на мой вкус, чересчур вмешивался в дела журнала. Он был страшно ревнив. Не выносил моего доброго приятеля, почтенного казначея Общества, — полагал, что сам мог бы гораздо лучше справиться с его обязанностями. Но сильнее всего, как видно из сотен его писем, хранящихся в моем архиве, Говард ненавидел мою, как он выражался, "любовь к мужскому обществу" — цитата дословная. Отнестись к этому упреку с серьезностью, какую вкладывал в него Говард, я никак не могла — не такой я человек. Я охотно соглашалась, что и впрямь люблю бывать в мужском обществе, тем более что живу в "Клубе Хелены", среди как минимум шестидесяти девушек. Уточняла, что я также люблю находиться в обществе женщин, которые любят мужское общество. Но письма Говарда изобличали его неуверенность в себе. Он клялся мне в вечной любви, но прямо вскинулся, когда я сказала, что нет на свете такого мужчины, ради которого я пожертвовала бы своими отношениями с сыном. Он надулся. Затевал ссоры со всеми свободными мужчинами, с которыми я просто бывала в обществе. К одному из них он явился домой в восемь утра выяснять отношения.

Друзья, на чью объективность я вполне полагаюсь, находят любовные стихотворения, которые посвящал мне Говард, вполне недурными. Я же затрудняюсь их оценить. Эти стихи обращены не к живой женщине, а к какому-то надуманному идеалу, рожденному фантазией эгоиста. Меня же он совершенно не знал и даже не пытался узнать. В то время ему было немного за тридцать, он состоял в браке, но решил развестись. Процесс развода зашел не так далеко, как можно было бы заключить со слов Говарда. В одном письме — длинном, отчаянном — он описывал, как "признался" жене, и повторял ее доводы против развода, многие из которых показались мне абсолютно разумными, особенно ее замечание, что без помощи прислуги я ни за что не смогу поддерживать порядок в его доме, а нанять прислугу ему не по карману. Честно говоря, я очень расстроилась, что меня втягивают в унылую супружескую склоку — я-то думала, что под их браком практически подведена черта.

Когда Дейдре, дочь Колина Метвена, приглашала меня к себе на балы "с кавалером", я дважды приходила в сопровождении Говарда. Но этот высокий блондин, несмотря на свою вполне презентабельную внешность, не пришелся там ко двору. Колин считал, что он мне не подходит. По мнению моих родителей, он "меня не стоил". Робин отмалчивался, но я чувствовала, что сын тоже никогда не сможет привязаться к Говарду. Однажды рано утром меня осенило: Говард и мне не нравится. Не нравится по вполне объективным причинам.

У Говарда было два любимых слова — "цельность натуры" и "сострадание". Он вечно апеллировал к этим добродетелям. Если мы выходили

из ночного клуба и ему не удавалось уговорить таксиста отвезти нас в наш район, он принимался вопить: "Где ваше сострадание?" Я осознала, что никогда не выйду замуж за Говарда хотя бы потому, что с чувством юмора у него плоховато.

"Цельность натуры... Сострадание". На деле сам он не был наделен ни тем, ни другим. Когда, покинув бурные воды Поэтического общества, я осваивалась на новом месте (в журнале "Юропиэн аффейрз"), а попутно возобновила работу над собственными произведениями, которыми столь долго пренебрегала, Говард прислал мне невообразимо мерзкое и злобное письмо (от 21 апреля 1949 года), особенно неожиданное после его многословных признаний в любви и преклонении. Видимо, к тому времени я уже сказала ему, что не согласна связать себя с ним прочными узами, но мы можем остаться друзьями. Возможно, это-то его и взбесило. Теперь, когда в "Поэтри ревю" ему от меня уже не было проку, он задним числом обвинил меня в заносчивости: "Ты пыталась сделать из меня подкаблучника" и так далее. "Тебе бы только посиживать в мягком кресле и грезить о былой славе". Он дал выход своим истинным чувствам — и как же они были вульгарны: он глумился именно над тем, чем раньше раболепно восхищался. И даже если он был прав насчет моей "заносчивости" (хотя я, в сущности, лишь выполняла свои редакторские обязанности), все равно, настолько распоясаться... Я нашла его упреки мелочными и подловатыми. Но больше всего, до глубины души меня потрясло выражение "былая слава" по отношению к "Поэтри ревю". В то время я думала о будущем — об издании собственных книг. Делать карьеру в журналистике я вовсе не собиралась. И тут я осознала, что Сарджента разоблачили его же амбиции. Я знала, что он честолюбив, но и помыслить не могла, что он способен мечтать о столь ничтожной цели. "Слава" — вот что значила для него та кошмарная малооплачиваемая должность, с которой я только что уволилась. В любом случае, в то время лучшими поэтическими журналами были великолепные "Хорайзон" и "Поэтри Лондон". Но для Говарда даже орган Поэтического общества был "чертогом славы".

Вскоре я заключила договор на составление вместе с еще одним литератором сборника статей о Вордсворте. Говард, разволновавшись не на шутку, позвонил мне и заявил, что с моей стороны — измена работать не с ним. Я решительно поставила его на место.

Чтобы мне насолить, он обратился в другое издательство и заключил договор на свою книгу о Вордсворте.

В конце 50-х я получила от Говарда Сарджента письмо — кажется, по поводу каких-то стихов. Почтовая бумага, на которой оно было написано, заставила меня вздрогнуть — подумать только, с кем я едва не связала жизнь! Вверху листка он поместил свое имя, напечатанное огромным — в пять раз крупнее, чем полагалось на именной бумаге, — шрифтом. Здесь же значились аббревиатуры, извещающие о его членстве в нескольких профессиональных ассоциациях бухгалтеров. Очевидно, это и была его вожделенная "слава". <...>

Спустя два года после моего ухода из Поэтического общества Джон Мейсфилд, в то время поэт-лауреат, сказал мне: "Художнику любой жизненный опыт на пользу".

Я тоже всегда так считала.

Кое-что из пережитого в Поэтическом обществе я, по своему обыкновению, перенесла в мир художественного вымысла – в частности, в роман "Умышленная задержка".

Глава седьмая

После истории с Поэтическим обществом я осознала ценность документов и прочих письменных свидетельств: они помогают исправить чужие неточности и проверить достоверность собственных воспоминаний. И потому с 1949 года вплоть до сегодняшнего дня я не выбросила ни одной бумажки. Почти все полученные мною письма, все мои заметки, все мои чековые книжки, все ежедневники, списки адресов и телефонов, переписка с агентами и издателями всего мира, с налоговой инспекцией, с бухгалтерами, юристами и букмекерами (приезжая в Англию, я с удовольствием посещаю ипподром) – я сохраняю все это, ничем не пренебрегая, в своем колоссальном архиве. Единственное исключение – и то лишь отчасти – письма Дерека Стэнфорда, моего друга и соавтора в 50-е годы. Приходили они ежедневно, одно за другим, невероятно пространные – я просто не могла уберечь все. Тем не менее уцелело более пятисот его писем.

Теперь, спустя пятьдесят с лишним лет, мое собрание уже само по себе – готовая история общественной и светской жизни. Я всегда знала: если понадобится, мой тщательно упорядоченный архив всегда меня поддержит, станет моим немым, но объективным свидетелем. И потому уже много лет невозмутимо продолжаю творить, меж тем как безрассудные литераторы, "биографы" и журналисты – а таких немало – печатают нелепые и лживые россказни о моей жизни, часто восходящие к чьим-то смутным воспоминаниям, дополнительно перевранным при пересказе. Более того, благодаря любезности ряда университетских библиотек, предоставивших в мое распоряжение тексты моих писем, которые были ими приобретены, я всегда знала: в надлежащий момент я смогу при необходимости расставить все точки над "i". С ученых, пишущих книги о моих произведениях (что для меня великая честь), или со студентов, выбравших мое творчество в качестве темы дипломной работы, вряд ли стоит спрашивать строго, если они по простоте душевной черпают "объективные факты" из небрежной писанины случайного "очевидца".

Пять сотен писем Дерека Стэнфорда – бесценная хроника моей повседневной жизни. В них зафиксировано, где я находилась практически в любой день любой недели любого месяца, даты моих переездов из одной съемной каморки, служившей мне и гостиной, и спальней, в другую, а также над чем я столь увлеченно работала тогда-то и тогда-то. Почти все письма Дерек отправлял из своей квартиры в Хаунслоу[1], а изредка – из книжного магазина в Ричмонде, где подрабатывал. В них также описываются литературные труды Дерека и его отношения с друзьями. Иногда мне было недосуг даже вскрыть конверт – ведь Дерек писал мне чуть ли не ежедневно; и только теперь я наталкиваюсь на эти послания, почти полвека пролежавшие нераспечатанными. Дерек много со-

1. Округ в составе Большого Лондона.

общал о своих недомоганиях; не будем мелочны и не станем теперь разбираться, был ли он ипохондриком или и впрямь здоровье его подводило. В любом случае он то и дело извещает, что "произошло худшее: я слег с простудой" или "врачи советуют мне не выходить в вечернее время на улицу".

Дерек Стэнфорд, молодой критик и поэт, приблизительно мой ровесник, был полной противоположностью Говарда Сарджента, этого "настоящего мачо". Дерек происходил из добропорядочной "простой" семьи. Единственный ребенок в семье, все то время, пока я его знала, он жил с родителями в доме 46 по Лулуорт-авеню в Лемптоне, Хаунслоу. Забавный, чрезвычайно эксцентричный, малорослый, хилый, почти начисто облысевший. Он не танцевал, не играл в теннис — это с ним как-то не вязалось. Начитанный, склонный к научным штудиям, он — как я обнаружила не сразу — отличался неукротимым, чуть ли не врожденным презрением к фактам. Впоследствии эта черта отразилась и на том, как он обошелся со мной.

Не успели мы познакомиться, как он загорелся идеей совместного литературного труда, и я охотно согласилась. После Говарда я находила общество Дерека приятно освежающим; его любовь к литературе была заразительна. Дерек не отвлекался на такие мелочи, как ревность. Если при нем я кому-то звонила или звонили мне, он никогда не спрашивал: "Кто этот мужчина?" — к таким мелочам он был искренне безразличен. "Вот как ведут себя цивилизованные люди", — думала я; а сама, в свою очередь, невозмутимо воспринимала — и правильно делала — рассказы Дерека о его былых "объектах плотской страсти", которую в него вселяли "как женщины, так и мужчины" (цитирую дословно). Я считала, что его прошлое и его родители — не мое дело. От разговоров о своих родителях он всячески уклонялся — почему, я так и не узнала. Своих родителей и Робина я ни от кого из знакомых не прятала. Маме Дерек понравился — показался человеком неординарным, "колоритным". Отец отнесся к нашей дружбе настороженно. Когда спустя несколько лет она потихоньку сошла на нет, у отца отлегло от сердца — он вполне резонно вспоминал историю моего брака с человеком, о чьем прошлом мы ничего не знали. Еще позднее, когда мое имя обрело некоторую известность и Дерек продал мои письма к нему (штук семьдесят — все, какие сохранил), мой отец заметил: "Этот тип лишь в одном повел себя как порядочный — не женился на тебе".

В то время (это было в 60-е годы) я охотно согласилась с отцом.

Раз уж речь зашла о письмах, перескочу на несколько лет вперед и расскажу, как те мои письма к Дереку снова всплыли в моей жизни. Это было ужасно.

В начале июля 1963 года некий коммерсант из США, Лью Д. Фельдман, поинтересовался, не желаю ли я продать какие-нибудь свои рукописи или письма. Я отказалась, но, уступив напору, позволила ему зайти и "дать экспертную оценку" манускриптам моих романов. Я написала об этом визите моему поверенному Майклу Рубинштейну. Фельдман хотел увезти все мои бумаги на такси. Разумеется, я не согласилась. Он как бы ненароком обмолвился, что располагает моими письмами к Дереку Стэнфорду и, возможно, согласится мне их продать. Я написала об этом Рубинштейну так: "И не подумаю выкупать эти письма — гордость не позволяет. Письма довольно смирные, но даже будь они безрассудными и чудовищными, я все равно не стала бы их выкупать". Недавно, прочтя

их в ксерокопии, я осознала, что была совершенно права. Это по-дружески теплые, какие-то асексуальные, гладко написанные послания, повествующие в основном об издателях и гонорарах, о литературе и религии. Однако меня встревожило заявление Фельдмана, что у него есть "и другие материалы". Я отчитывалась перед Рубинштейном: "Когда я заявила, что любая написанная моей рукой страница, если это не письмо, получена им от вора, он ответил: 'Вполне вас понимаю, момент деликатный'". Деликатный! Каков гусь!

Вскоре после этого я обнаружила, что из моих сундуков пропали две драгоценные тетради с моей "ювенилией" и несколькими ранними рассказами. В них я своим полудетским почерком аккуратно переписывала собственные стихи, среди которых попадались и довольно зрелые по стилю. Тетради как сквозь землю провалились. Лишь относительно недавно я обнаружила, что весной 1952 года привезла их из Эдинбурга в Лондон, о чем и упомянула в письме к Стэнфорду. Ныне они всплыли в библиотеках двух американских университетов, которые приобрели их вместе со стопкой других моих рукописей у Фельдмана. К университетам я претензий не предъявляю — их администрация сочла Фельдмана порядочным человеком. И из-за писем не особенно огорчаюсь: по закону они — в материальной своей форме — являются собственностью адресата, хотя авторское право сохраняется за мной. Но двух украденных тетрадей моего отрочества мне жалко. Для меня это семейные реликвии, именно то, что хотели бы получить в наследство мой сын и внуки моего брата. Однако эти тетради, хранящие мои детские грезы, стали источником наживы для каких-то алчных чужаков. <...>

Я виделась с Фельдманом еще один раз, тоже в 1963 году, когда работала в Нью-Йорке над книгой. Он вновь предложил мне все те же мои письма к Стэнфорду, на сей раз окрестив их "интимными до бесстыдства". По совету моего поверенного я пошла к Фельдману домой — взглянуть на письма, с которыми он так носился. Для моральной поддержки я взяла с собой своего литагента и друга Ивана фон Аува. Фельдман достал из ящика стопку писем. (Разумеется, украденных у меня рукописей не показал.) "Тысяча пятьсот долларов", — сказал он. Было ужасно смотреть, как его пальцы стискивают листки, исписанные мной когда-то в прошлой, другой жизни, когда я была так бедна, с такой готовностью терпела лишения ради литературного успеха, когда захворала от недоедания... Я взяла письма со стола. Не вчитываясь, перелистала. Иван не без юмора заметил: "За полторы тысячи она может вокруг света объехать".

И верно, в 1963-м полторы тысячи долларов были крупной суммой. Но я в любом случае не стала бы выкупать эти письма. Спускаясь вниз на лифте, мы с Иваном обменялись замечанием, что нам обоим хочется хорошенько отмыться. Впрочем, вместо этого Иван повел меня в "Павильон", что на Пятьдесят седьмой Восточной улице, и угостил чудесным ланчем.

Главным недостатком Дерека Стэнфорда как литературного критика была небрежность. Его книгу о Кристофере Фрае публично заклеймил друг Фрая Роберт Гиттингс[1]. В основном Стэнфорд перевирал мелкие

1. Кристофер Фрай (1907–2005) — английский драматург; Роберт Гиттингс (1911–1989) — английский поэт, литературовед.

подробности, даты, названия книг. Тогда, в начале 50-х, безалаберность моего соавтора озадачивала меня и тревожила.

В 60-е, уже сделавшись признанной писательницей, я вдруг узнала — после того как Стэнфорд продал мои письма, — что он собирается написать обо мне книгу. Меня передернуло. Я вообще считала, что писать обо мне книги еще рановато. Свое мнение я выразила в открытом письме в "Таймс литерари сапплмент".

И вот книга Стэнфорда вышла. Разумеется, она буквально кишела неточностями и стала одним из основных источников тех ошибок, которые принимаются учеными и студентами за чистую монету.

Стэнфорд окрысился на меня за то, что я состоялась как писательница. Он всегда давал мне понять, что я зря пытаюсь писать прозу — только дурака валяю. (По правде говоря, в тот год, когда ко мне пришел первый успех, у Стэнфорда случился нервный срыв.)

Сняв с души камень — выпустив эту книжку, где с множеством неточностей, порой откровенно нелепых, описывалась моя частная жизнь, а также жизнь моих родственников, — Стэнфорд еще на четырнадцать лет буквально пропал из виду. Но в 1977-м вынырнул вновь с мемуарами о 40-х годах, где я выведена на первый план. Его память, не считавшаяся с такими пошлостями, как документы или факты, раскрепостилась и принялась чудить напропалую. За красочность я ставлю Дереку Стэнфорду высший балл. Некоторые из его выдумок поражают оригинальностью. Но тем, кто хотел бы знать подробности моей биографии, лучше не полагаться на уверения Стэнфорда, этого самозваного свидетеля и очевидца: не думайте, будто несколько лет нашего с ним общения — это и есть вся моя жизнь.

В помощь ученым и студентам (кстати, я смиренно прошу их наводить у меня справки, прежде чем использовать любые материалы Стэнфорда, которые невозможно выверить по другим источникам) я приведу ниже несколько примеров мифотворчества, беспочвенных догадок, домыслов или бог весть еще какой стряпни со стороны Стэнфорда.

Он утверждает, будто в жилах моей бабушки текла цыганская кровь. (Интересно, найдется ли специалист по генеалогии, который сможет подтвердить столь романтическое предположение. Стэнфорд счел веским доказательством этого тот факт, что Луиза Джепп из моего романа "Утешители" наполовину цыганка.) Он утверждает, что сопровождал меня к моему "дяде Солли", у которого я просила денег. (Я расспросила всех родственников, кто бы это мог быть. Никто из моих дядьев, двоюродных братьев и так далее не носил имя Солли. Кроме того, никто из моих родственников, как бы их ни звали, не был особенно богат. Остается лишь полагать, что в этом случае Стэнфорд с кем-то меня перепутал.) Он пишет, что до двух лет меня кормили грудью. (Комментарий моей матери: "Ну надо же такую чушь выдумать! Видно, у него не все дома".) Он сообщает, что я была влюблена в Т. С. Элиота. (Мой комментарий: я никогда лично не встречалась с Элиотом. Он принадлежал к поколению моих родителей. И вообще, почему Стэнфорд продолжал увиваться за мной, если думал, что я влюблена в другого?) Он утверждает, что я ходила в "церковь Элиота" на Глостер-роуд. (По-видимому, этим он хочет намекнуть, что я увивалась за Элиотом.) Но никаких церквей, расположенных на этой улице, я не посещала. До обращения в католичество я бывала в англиканской церкви, до которой было ближе все-

го, — Святого Августина на Куинс-гейт-террас, 1. Стэнфорд уверяет, что виделся с мисс Кэй, прототипом моей мисс Броди. (Нет, когда мы со Стэнфордом познакомились, мисс Кэй уже умерла. Учительницей, с которой он познакомился в Лондоне в 1949 году, была моя преподавательница английского языка и литературы в старших классах Элисон Фостер.)

Не думайте, будто, процитировав несколько самых заметных ляпсусов из книги Стэнфорда, я признаю все остальные его утверждения истинными. Список ошибок занял бы много страниц. Почти от всех я могла бы небрежно отмахнуться — ничего не поделаешь, Стэнфорд склонен к мифотворчеству и своеобразно понимает объективность повествователя.

Но интонацию, сквозящую в трудах Стэнфорда, не назовешь доброжелательной. В его утверждениях звучат глумливые нотки то ли школьника, который издевается над одноклассником, то ли журналиста, специализирующегося на светских сплетнях; воспринимать подобный тон как должное и развивать идеи Стэнфорда могут лишь исследователи столь же невысокого пошиба. Я ничем не заслужила того, как стал относиться ко мне Стэнфорд после моего первого же успеха. Наша дружба к этому времени давно выдохлась. Но я и мои родные всегда были с ним любезны.

Я должна поблагодарить его за то, что в период моей болезни он служил посредником между мной и внешним миром и раздобыл для меня у доброжелателей (особенно стоит отметить Грэма Грина) необходимую сумму денег на лечение.

Но сочинения Стэнфорда обо мне, со всеми их дешевыми обертонами, принесли ему больше вреда, чем пользы. Его книга о 40-х годах вызвала бурю возмущения у других ее героев, обнаруживших в тексте ошибки. Сама я в то время была слишком занята, чтобы присоединиться к хору протестующих. Тогда я промолчала. А теперь, на этих страницах, высказалась — пришло время.

Вернемся в 50-е годы. Вынырнув из пучин Поэтического общества, я, к своему удивлению, обнаружила, что мое имя уже знают и что среди рецензентов я достаточно популярна как редактор со вкусом. Но как автор литературных произведений я пока не составила себе репутации. Впрочем, не к репутации я стремилась: страсть к писательству понемногу подчинила себе все в моей жизни. Сидя над раскрытой тетрадью — в руке перо, в голове роятся замыслы, — я чувствовала себя в раю.

На хлеб я зарабатывала в шумной редакции "Юропиэн аффейрз" — журнала политических эмигрантов из Восточной Европы. Его издавали англичанка Элма Дейнджерфилд — светская дама и большая умница — и черногорец Монти Радулович, журналист, автор книги о Тито. Часто в редакции собирались министры "правительств в изгнании" и другие любившие пошуметь изгнанники из Польши, Румынии, России. Они всегда сидели сгорбившись, кутаясь в пальто.

Я с головой бы ушла в этот экзотический мирок, если бы не поклялась ставить во главу угла собственное творчество. Некоторое время я работала в "Юропиэн аффейрз" на полную ставку, а затем пришлось сказать, что я могу уделять им лишь три дня в неделю. Монти Радулович на это согласился, хотя Элма Дейнджерфилд протестовала. Она была дети-

щем 30-х: миниатюрная женщина, всегда носившая короткую, как бы "облегающую", стрижку и короткие, в облипочку платья. Я, по своему обыкновению, слушала Элму, навострив уши, — подмечала ее интонации и любимые словечки. А Монти с его своеобразной манерой выражаться вообще был для меня сокровищем. Тогда я еще не писала прозу, но двигалась в сторону беллетристики и складывала "голоса" в особую "папку" своей памяти. <...>

Теперь я жила в пансионе на Викеридж-гейт, 1, в двух шагах от Кенсингтон-Хай-стрит. Занимала маленькую комнату с односпальной кроватью, газовой конфоркой и умывальником. Примерно в таком антураже разыгрываются многие сцены моего романа "Умышленная задержка". Неподалеку находилась церковь Сент-Мэри-Эбботс. При ней было обширное кладбище, теперь там давным-давно детская площадка. Но тогда, в начале 50-х, оставались на своих местах старинные викторианские надгробия, заросшие сорняками; на них еще можно было различить имена и заковыристые эпитафии. В нерабочие дни, если была хорошая погода, я отправлялась туда, чтобы съесть бутерброд (к этому сводился мой ланч) и сочинять стихи. Дома же на столе у меня теперь всегда лежала рукопись моей собственной книги.

В 1950 году исполнилось сто лет со дня смерти Вордсворта. Первым моим совместным проектом с Дереком Стэнфордом было составление сборника статей об этом поэте. К тому времени Дерек уже выпустил две книги — стихи и критические статьи, но для меня это был первый опыт подобной работы. Нашелся издатель, которому наша затея пришлась по душе, — Андре Дойч, сотрудничавший тогда с издательством "Аллен Уингейт". Он произвел на меня большое впечатление умом и учтивостью. Ради нас он приложил массу усилий, точно мы были не мелкотравчатыми новичками, а мировыми знаменитостями. Среди издателей и редакторов, встретившихся мне на протяжении жизни, Андре Дойч, безусловно, один из милейших.

В книге было два раздела. Дерек взял на себя критиков XIX века — отбирал тексты; а я заказывала статьи нашим современникам. Начало XX века я осветила во вступительной статье. В книге также было предисловие, написанное нами совместно. Помнится, тогда я приняла решение: если мне в будущем опять придется писать или редактировать некий прозаический текст вдвоем с кем-то еще, я буду делать свою часть, а соавтор пусть занимается своей. Обсуждение каждого слова было для меня сущей пыткой. Дерек писал вычурно и цветисто, я же — без изысков. Только это меня и смущает, а в остальном, листая сегодня "Приношение Вордсворту" (так мы назвали сборник), я искренне думаю, что это было отличное учебное пособие. Раздел Дерека получился намного богаче, поскольку бóльшая часть статей XIX века, которые он перепечатал, не охранялась авторскими правами, меж тем как современным критикам требовалось платить из тощего кошелька издателя. Дереку и мне заплатили за книгу по двадцать пять фунтов. В 1949 году я заработала литературным трудом сто двадцать девять фунтов пять шиллингов. Это с учетом гонорара за "Приношение Вордсворту", а также публикации рецензий и стихотворений в нескольких журналах. Вдобавок я продолжала работать на полставки, хотя зарплата была невысока.

Следующую книгу я написала в том же 1950 году и уже в одиночку, без чьей-либо помощи. Это было пространное исследование о Мэри

Шелли, вышедшее в 1951 году в маленьком издательстве "Пен-ин-хэнд" (впоследствии "Тауэр бридж пабликейшенз"). Чтобы сделать эту основательную работу, я окончательно уволилась из "Юропиэн аффейрз", хотя время от времени писала для них уже как внештатный автор. Мне очень много помогал из чисто дружеских чувств (ибо от вознаграждения он наотрез отказался) Х. К. Грант, экс-библиотекарь Поэтического общества, – отыскивал и переписывал необходимую информацию в Британском музее или добывал нужные книги в местных публичных библиотеках. Я назвала книгу "Дитя света" (а позднее, переработав, переиздала под заглавием "Мэри Шелли"). Мне приходилось нелегко: по финансовым причинам я должна была работать быстро, но в то же время старалась скрупулезно проверять каждую подробность. Часто я просиживала за письменным столом до глубокой ночи. От одной приятельницы, поэтессы Айрис Бертуистл, я получила щедрый дар – пишущую машинку, но печатала на ней только чистовик (причем лишь днем, чтобы не беспокоить других жильцов). Мой совокупный литературный заработок за тот, 1950 год составил сто тридцать четыре фунта три шиллинга и три пенса, но в следующем, 1951 году, когда вышла книга о Мэри Шелли, я нашла другую работу на полставки – в агентстве по связям с общественностью. Фактически мои обязанности состояли в том, чтобы сочинять речи для владельцев промышленных предприятий и управляющих, основываясь на крайне скудной информации – иногда я располагала только рекламными буклетами. Насколько помню, особенный успех снискала одна моя речь об отношениях между начальством и подчиненными. Как мне это удалось? Сама не знаю. Наверно, я спародировала все, что краем уха слышала или краем глаза прочла на эту тему, а затем, для внушительности, чуть приправила экзистенциализмом. Как бы я хотела получить текст этой речи сегодня! Даже не могу припомнить, для кого я ее писала.

Работа спичрайтера меня страшно изматывала. Глядя в окно, я вспоминала строки, написанные Верленом в тюрьме:

> Le ciel est, par-dessus le toit,
> Si bleu, si calme![1] –

торопила время и с тоской предвкушала, как пойду домой через парк.

Правда, в газетах появилось несколько положительных рецензий на "Дитя света", а Алан Прайс-Джонс, в то время редактор "Таймс литерари саплмент", заказал мне для центрального разворота своего еженедельника статью о Мэри Шелли, которая появилась еще до выхода книги. Помнится, все это несколько ошарашило Дерека Стэнфорда, но он быстро оправился и немедля – пожалуй, слишком уж "немедля" – написал Алану Прайсу-Джонсу, предлагая себя в качестве автора. Прайс-Джонс Стэнфорду отказал. Такой оборот меня несколько смутил, поскольку я разрешила Дереку при переписке с издателями и редакторами указывать мой адрес. Адрес в Кенсингтоне, особенно в те времена, аттестовал Дерека значительно лучше, чем его истинное местожительст-

1. Небосвод над этой крышей
Так высок, так чист!
Перевод В. Брюсова

во — Хаунслоу. Дерек пользовался моим адресом постоянно, касалось ли дело его собственных произведений или наших совместных (мы иногда сочиняли или переводили стихи вместе, каждый по строфе).

Меня пригласили рассказать о Мэри Шелли на Би-би-си. Моя известность стремительно росла. Вместе с Дереком я составила сборник избранных писем Мэри Шелли. На сей раз вступительная статья имела форму диалога: я писала свой абзац, а Дерек отвечал мне в свойственной ему манере. Такой метод подходил нам гораздо лучше. <...>

В 1951 году я продолжала так же беспрерывно писать статьи и стихотворения; составила свой первый поэтический сборник "Фанфарло и другие стихотворения"[1], изданный Эрикой Маркс в 1952 году. Эрика, нежно любимая мной подруга, владела издательством "Хэнд энд флауэр пресс". Она была довольно богата и финансировала серию поэтических сборников из собственного кармана. Она печатала хороших поэтов, по большей части себе в убыток. (Ее немало позабавило то обстоятельство, что мой "Фанфарло" все-таки принес ей прибыль — правда, спустя годы, когда я обрела настоящую известность.)

Рей Гардинер, директор "Грей уоллз пресс", заказал мне сборник избранных стихов Эмили Бронте для знаменитой серии "Кроун классикс". Сборник я составила, но гонорара мне пришлось дожидаться еще очень долго.

В том же году я начала работать над книгой о творчестве Джона Мейсфилда. Еще в начале зимы 1950 года я послала Мейсфилду письмо, и он пригласил меня посетить его в Беркот-Брук, что неподалеку от Оксфорда. Я нанесла ему визит в холодный день 6 декабря 1950 года. Перспектива встречи с поэтом, которым я восторгалась, очень меня воодушевила. Сама я тогда двигалась от лирической поэзии к эпической, делая первые шаги к прозе — сначала рассказам, а затем и романам. Я страстно увлекалась романом в стихах "Amours de Voyage" Артура Хью Клафа[2], который и поныне не оставляет меня равнодушной. Я также считала, что постыдно мало внимания уделяется таким произведениям Мейсфилда, как новеллы в стихах "Рейнард-лис" и "Мазилка". Книгу "Джон Мейсфилд" я недавно переиздала в переработанном виде. В новом предисловии я привожу пространный фрагмент из моего дневника, где описывается моя встреча с Мейсфилдом и его чудесные рассказы. Особенно интересны его личные воспоминания о Суинберне. Хотя в его доме я замерзла — за ланчем мы грелись у маленьких парафиновых горелок, стоявших у нас под ногами на полу, крепких напитков на стол не подавали, — то был один из счастливейших дней моей жизни. Хорошо помню, как восторженно взирала на пейзаж вокруг дома: все белое, обледенелое. Тогда-то Мейсфилд и произнес слова, вспоминавшиеся мне потом не раз: "Художнику любой жизненный опыт на пользу".

На обратном пути на станцию я заскочила в паб на Брод-стрит по соседству с "Блэкуэллз"[3] и влила в себя двойную порцию рому.

1. Название "Фанфарло" — отсылка к одноименной новелле Шарля Бодлера.
2. "Любовные увлечения во время путешествий" (*франц.*); Артур Хью Клаф (1819—1861) — английский поэт, автор эпических поэм.
3. Сеть английских магазинов.

Весь 1951 год я писала книгу о Мейсфилде. Чтобы не умереть с голоду, подрабатывала в издательстве "Фолкон-пресс", где я была секретаршей Уолтера Мида, обаятельного майора в отставке. Отчасти эта контора изображена в моем романе "Далекое эхо Кенсингтона". Уолтер писал очень хорошие стихи. Кроме того, он был автором сценария фильма "Скотт Антарктический".

В том же 1951-м году моя литературная карьера по-настоящему стронулась с мертвой точки. В ноябре газета "Обсервер" объявила конкурс рождественских рассказов. За первое место полагалось двести пятьдесят фунтов стерлингов — настоящее состояние в те времена.

Условия были следующие: объем — не более трех тысяч слов, имени автора в рукописи не указывать. К рассказу следовало приложить конверт с написанным на нем псевдонимом и листком с настоящим именем.

Отложив книгу о Мейсфилде, я села и в один присест написала рассказ "Серафим и Замбези" на листках тетрадного формата. Оставалось лишь отпечатать на машинке, но подходящей бумаги у меня не оказалось. Я выцыганила несколько листков у хозяина лавки художественных принадлежностей, находившейся неподалеку, перепечатала рукопись, вложила в конверт записку со своим именем и адресом, запечатала, вывела на конверте псевдоним Водолей и в тот же день отослала все это в "Обсервер".

Я вела специальную записную книжку, которую называла "Журнал учета корреспонденции". Она сохранилась в моем архиве. В правую колонку я вносила название издания, куда я посылала какую-нибудь свою вещь. А узнав о ее судьбе, в левой колонке писала одно из двух: "взяли" или "вернули". Второе встречается намного чаще. Например, 1 ноября я послала пародийную пьесу в стихах "Коктейль не для питья" в "Адельфи". Запись: "вернули". 5 ноября я записала: "Конкурс расск. в 'Обсервере', 'Серафим, Замбези и Фанфарло'". На сей раз в левой колонке моей рукой начертано: "Получила". Незадолго до Рождества мне позвонил Филип Тойнби из "Обсервера". Мой рассказ был признан лучшим из шести тысяч семисот, присланных на конкурс. "Пока конверт не распечатали, все мы думали, что автор — мужчина", — сказал Филип. Не знаю уж, радоваться этому или огорчаться.

В следующее воскресенье рассказ был опубликован. К тому времени я уже познакомилась с редактором и журналистами "Обсервера". Они мне понравились. В ночь на воскресенье, едва пробило двенадцать, Дэвид Астор лично привез мне номер. Здорово, когда редактор доставляет тебе газету в качестве почтальона!

Дерек Стэнфорд не одобрял того, что я попусту трачу силы на сочинение рассказов. Теперь же, чтобы его ублажить, я подарила ему на Рождество пятьдесят фунтов. Мой сын — к радости моих родителей, он решил принять иудаизм — также получил пятьдесят фунтов на празднование своей бар-мицвы. Себе я купила синее бархатное платье за шесть фунтов и полное издание "В поисках утраченного времени" Пруста.

Я повела Дерека в паб, где собирались некоторые сотрудники "Обсервера", — захотела его с ними свести. Встреча прошла не слишком удачно. Филип Тойнби надел пасторский воротник, который легко пристегивался и отстегивался. (Если верить Филипу, то в войну он, молодой офицер, развлекался таким образом: проникал "под защитой" свое-

го пасторского воротника в вагоны первого класса и читал полковникам и генералам нотации об их моральном облике.) Увидев это, Дерек сказал: "Мистер Тойнби, а я и не знал, что вы приняли сан". Филип немедленно снял воротник и залпом выпил свое пиво. Он явно не нашел общего языка с Дереком, а тот стал держаться с еще более демонстративным жеманством à la XVIII век.

Мой рассказ наделал много шума.

Вскоре после этого, в январе 1952 года, в "Фолкон-пресс" пришел работать Тони Стрейчен, с которым мы сдружились на всю жизнь. Тогда он уже писал прозу. В письме Тони напомнил мне о помощнике шерифа или, может быть, судебном исполнителе, который "бывал в редакции столь регулярно, что, узнав о его смерти, мы призадумались, не следует ли считать его нашим штатным сотрудником, и в итоге все-таки скинулись на венок".

"Никто никогда так не бедствовал, — пишет мне Тони Стрейчен, — как ты в те годы. Я хочу сказать, никто из образованных людей нашего круга. Ты сама говорила Билли (Билли — жена Тони. — *М. С.*), что у тебя всего одно платье, а туфли протерлись до дыр".

Да, все верно. Мне осточертела такая жизнь. Питалась я тоже какими-то крохами. Тогда продукты продавались по карточкам, причем нормирование стало еще более строгим, чем в военные годы. Если же человек съедал меньше, чем имел право приобрести по карточкам, это означало, что его дела совсем плохи. В 1952—1953 годах на одного человека полагалось полторы унции сыра, четыре унции бекона, два яйца и восемь унций сливочного масла в неделю (в мае 1953-го по случаю коронации выдали дополнительные талоны на четыре унции масла). В мясной лавке можно было совершать покупки лишь на фиксированную сумму; в 1953 году она составляла один шиллинг девять пенсов в неделю. В принципе это могло обеспечить вполне сбалансированный, хоть и скудный рацион. Но я жила одна и мало раздумывала над тем, съедаю ли я столько, сколько требует организм. Дерек, получавший свои карточки, разумеется, по месту жительства и отдававший их родителям, дважды в неделю заглядывал ко мне и безо всяких задних мыслей, совершенно машинально делил со мной мою жалкую трапезу. Я даже не могла вообразить Дерека думающим о пропитании или карточках. Во всей куче его писем ко мне не найдешь ни одного упоминания о еде. Я тоже не затрагивала эту тему в разговорах, но факт остается фактом: я постоянно недоедала. Когда в 1953 году меня послали от "Обсервера" на Эдинбургский фестиваль в качестве корреспондента, я чувствовала себя совсем разбитой — едва понимала, что делаю, куда иду.

Тони Стрейчен все время умолял меня бросить литературную критику, не писать биографий. Тем временем я составляла сборник писем сестер Бронте, который, если не ошибаюсь, был принят читателями весьма благосклонно. Я сознательно старалась, чтобы он читался как связное повествование. Я планировала написать вместе с Дереком книгу об Эмили Бронте: я брала на себя биографическую часть, а он — литературно-критическую. Думаю, что этот очерк об Эмили Бронте — самое толковое из моих творений, не относящихся к художественной литературе. Но Тони был прав. Он взял меня измором в самом позитивном смысле этого слова — постоянно вдалбливал мне, что я зря растрачиваю свой талант. Собственно, не прошло и нескольких лет, как именно Тони

Стрейчен убедил издательство "Макмиллан" и тамошнего редактора Алана Маклина заключить со мной договор на написание романа. <...>

В 1953 году я погрузилась с головой в теологические трактаты Джона Генри Ньюмена. Под его влиянием я в конце концов приняла католичество. Вначале я попробовала ходить в англиканскую церковь, поскольку это казалось мне более "естественным", да и храм был неподалеку от дома. Но там я почувствовала себя не в своей тарелке. Англиканская церковь была в историческом плане слишком "нова", чтобы прийтись мне по душе. Когда меня спрашивают, почему я стала католичкой, я могу лишь сказать, что ответить на этот вопрос мне и слишком легко, и слишком трудно. Простое объяснение состоит в том, что я осознала: католические догматы — именно то, что я знала и ощущала с детства, во что верила интуитивно; внезапное прозрение, блеснувший перед глазами небесный свет — это не мой случай. Если же вдаваться в подробности, пришлось бы описать, как постепенно, шаг за шагом крепла во мне вера; даже Ньюмен, когда его спросили о его собственном обращении в католичество, заметил, что о таких вещах не рассуждают на званых обедах "между супом и рыбой". "Пусть они претерпят все то, что претерпел я", — заявил Ньюмен. И верно, экзистенциальный характер религиозных переживаний невозможно свести к нескольким общим словам.

Позднее вместе с Дереком Стэнфордом я подготовила издание писем кардинала Ньюмена. Дерек взял на себя англиканский период, а я — католический. Отец Филип Каремен (иезуит, редактор "Манс", добрый друг очень многих писателей — знаменитых и безвестных, католиков и прочих) дал мне на время несколько подлинных писем Ньюмена к ряду иезуитов. Я держала их на видном месте все время, пока работала над книгой. Мне было приятно дотрагиваться до листков, которых касалась рука великого отца Ньюмена.

1 мая 1954 года меня приняли в лоно католической церкви. Обряд совершил покойный Доум Амброс Агиус, сердечный и добрый священник родом с Мальты, с которым я познакомилась в Поэтическом обществе. Среди моих друзей было очень много католиков; видимо, человека естественным образом тянет к единомышленникам. Моими восприемниками были Невилл и Джун Брейбрук, оба талантливые писатели. Джун писала изящнейшие романы под псевдонимом Изобель Инглиш. <...>

Мои близкие знакомые, не принадлежавшие к числу католиков, всегда были не прочь поговорить на богословские темы, особенно когда дело касалось очень важного для меня предмета — Книги Иова. Как мне казалось, друзья-"утешители" в Книге Иова вовсе не три разных персонажа: все они скроены по одной мерке. По сути, они ничем не отличаются от современных следователей, которые, сменяясь, глумливо допрашивают жертву. Эту теорию я частично изложила много лет спустя в романе "Единственная проблема". А в моем первом романе, который я нарекла "Утешители" (придя к этому названию после многих проб и ошибок), описывается, как главную героиню преследуют "голоса", которые она слышит. Возможно, как название это слово недостаточно точно.

Из Эдинбурга я приехала еле живая. Написала для "Черч оф Инглэнд ньюспейпер" ("Газеты англиканской церкви") рецензию на пьесу Т. С. Элиота "Секретарь по конфиденциальным делам": ее премьера только что состоялась на Эдинбургском фестивале. Редактор газеты, преподобный Клиффорд Родс, послал рецензию Элиоту, и тот в своем ответе Родсу от 30 сентября похвалил ее: "...это одна из двух или трех наиболее глубоких рецензий, которые я читал". Родс переслал отзыв Элиота мне. Разумеется, я очень обрадовалась. В то время я уже занималась творчеством Элиота: издательство "Шид энд Уорд" заказало мне небольшую книгу о нем.

Но в 1954 году, вскоре после обращения в католичество, со мной приключилось нечто странное. Впрочем, удивляться тут было нечего — уже довольно долго я по глупости принимала для притупления аппетита таблетки, а именно декседрин. Решила заглушить таким путем чувство голода.

Однажды вечером, когда я работала над книгой об Элиоте, буквы на странице у меня перед глазами вдруг перемешались, образуя анаграммы и кроссворды. Наблюдая за ними, я отчасти понимала, что у меня галлюцинация, но не подозревала, что она вызвана декседрином. Трудно выразить, как завораживала эта игра слов, рожденная моим подсознанием. Вначале я решила, что в произведениях Элиота скрыты зашифрованные сообщения, и попыталась их разгадать. Затем меня осенило, что эта игра слов есть и в других книгах, у всех авторов. Мне мерещилось, что это записанные английскими буквами греческие слова, которые складываются в отрывки из пьес греческих драматургов.

Это состояние длилось с 25 января по 22 апреля 1954 года. Я обратилась к старому другу, врачу-терапевту Либеру, и он согласился, пока я не стану вновь зарабатывать, лечить меня бесплатно. Он объяснил: "Сейчас многие женщины страдают от недоедания — они ведь отдают родным часть продуктов, которые получают по карточкам". Я знаю: он догадывался, что я неправильно питаюсь.

Друзья очень мне сочувствовали. Как только я перестала принимать декседрин, галлюцинаторная игра слов прекратилась. Но я вновь почувствовала себя плохо, как в прошлом году в Эдинбурге. Я нашла доброго друга в лице отца Фрэнка О'Молли — он был в некотором роде психотерапевт без диплома, юнгианец. Он рассудил, что психиатр мне не требуется, но часто принимал меня в качестве пациентки сам. Тем временем Грэм Грин через Дерека Стэнфорда вызвался ежемесячно выделять мне двадцать фунтов, пока я не выздоровлю. Грин высоко оценивал мой литературный труд и охотно мне помогал. Вместе с чеком он часто присылал несколько бутылок красного вина, чтобы пособие не казалось подачкой безучастного филантропа.

Вначале моим прибежищем стал кармелитский монастырь в Эйлсфорде, графство Кент, а затем — близлежащий замок Оллингтон в окрестностях Мейдстоуна, принадлежавший терциарной общине кармелиток[1]. Я сняла коттедж на территории Оллингтона. Именно там я решительно взялась осуществлять идею, которая взбрела мне в голо-

1. Члены терциарных монашеских конгрегаций при католических орденах соблюдают ряд обетов и даже могут носить специальное облачение, но остаются мирянами.

ву, — стала писать роман о моем недавнем кратком, но столь увлекательном столкновении с галлюцинаторными анаграммами.

Так уж вышло, что в 1954 году, на самом пике болезни, мое имя впервые приобрело вес в литературном мире. Было очень досадно, что я не могла ответить согласием на многочисленные письма из издательств, журналов и университетов с предложениями написать рассказ или рецензию, прочесть лекцию. Величайшим искушением стало письмо Алана Маклина, возглавлявшего отдел прозы в "Макмиллане". С таким крупным издательством я никогда еще не сотрудничала. Ни один лондонский редактор не снискал такой любви, как Маклин. И вот этот человек предлагает мне написать для "Макмиллана" роман. Официально заказывает книгу начинающей писательнице — беспрецедентный случай для тех времен. Оказалось, что Алану поручили найти новых талантливых авторов, и Тони Стрейкен, работавший тогда в "Макмиллане", дал ему мой адрес.

Чувствуя, что работать я совершенно не в силах, я ответила, что романов не пишу — только рассказы.

Мне ответили в самом сердечном тоне. Книга рассказов вполне подойдет. Интересует ли меня это предложение? Кажется, я сообщила, что согласна, но на составление сборника мне потребуется некоторое время.

Обжившись в Оллингтоне, я задумалась, как лучше подступиться к работе над романом, в особенности над романом о моих галлюцинациях, который я твердо решила написать. Я не чувствовала себя "романистом"; прежде чем уговорить живущую во мне писательницу взяться за роман, я должна была выработать свой собственный метод сочинения романов и, более того, опробовать этот фокус на территории того самого романа, который я вздумала написать. Вообще-то я считала, что роман как жанр является, в сущности, разновидностью стихотворения. Я была убеждена, что любой хороший роман — да, собственно, и любое сочинение, требующее чувства композиции, — по сути своей лишь ответвление поэзии. Всегда отрадно находить подтверждение своих тайных догадок в высказываниях людей более компетентных. Особенный восторг я испытала, наткнувшись на эту мысль в книге "Приглашение к учебе"[1] — литературно-критическом трактате, написанном в форме непринужденной беседы между американскими учеными и писателями Хантингтоном Кэрнсом, Марком ван Дореном и Алленом Тейтом (последний вскоре стал одним из моих ближайших друзей).

Вот оно, это восхитительное место. Речь идет о "Пути паломника" Беньяна:

Ван Дорен: Почему бы нам не сказать, что этот текст стремится стать стихотворением? Любая книга, которая стремится быть хорошей, стремится стать стихотворением.

Тейт: "Путь паломника" — и есть стихотворение, так как в нем есть действие, изображаемое посредством художественного вымысла.

Ван Дорен: Это вполне укладывается в аристотелевское определение поэзии.

1. Invitation to Learning. — New York, 1942.

Вспоминая задним числом свои галлюцинаторные видения, я понимала: они полностью подтверждают этот тезис. Я всегда говорю интервьюерам и литературоведам, изучающим мое творчество, что считаю себя по преимуществу поэтом.

Я понимала: герой, страдающий от словесных галлюцинаций при чтении книги, — это как-то примитивно. Поэтому я заставила главную героиню "слышать голоса" из пишущей машинки, диктующей фразы и абзацы, которые, собственно, и складываются в текст. В феврале 1957 года роман, который я назвала "Утешители", вышел в свет. И тут произошло занятное совпадение, оказавшееся для меня счастливым.

В 1954—1955 годах Ивлин Во был для меня фигурой, стоящей где-то на недостижимой высоте. Но так уж случилось, что именно в 1954 году он принимал выписанные ему по ошибке таблетки и страдал галлюцинациями, а выздоровев, решил написать об этом роман. Ивлин Во, как известно большинству его друзей, действительно "слышал голоса". В результате появилось "Испытание Гилберта Пинфолда", опубликованное летом 1957 года.

Как сам Во сообщал в одном письме: "Пережитое мистером Пинфолдом почти ничем не отличается от того, что испытал я сам. Описанные здесь голоса я слышал почти беспрерывно, и днем, и ночью".

Свой роман я закончила в конце 1955 года. Но опубликован он был с некоторой задержкой — дело растянулось на весь 1956 год, на протяжении которого гранки ходили по рукам в литературных кругах. Попали они и к отличному прозаику, писавшему под псевдонимом Гейбриел Филдинг. Его настоящее имя было Алан Барнсли. Он был врачом и практиковал в Мэйдстоуне. О моей болезни он знал, а о заболевании Во, думаю, все-таки нет. Тем не менее Барнсли переписывался с Во в связи с каким-то делом, а заодно послал ему гранки моего первого романа.

В ответном письме Во отметил, что автор "хорошо чувствует механизмы галлюцинаций. Это меня особенно заинтересовало, поскольку я и сам сейчас разрабатываю сходную тему". Своей приятельнице Энн Флеминг он сообщил:

> Мне прислали гранки романа с очень остроумным замыслом. Это дебют некой Мюриэл Спарк. Главная героиня — писательница-католичка, страдающая галлюцинациями. Книга скоро выйдет. Не сомневаюсь: все подумают, будто автор — я. Пожалуйста, разубеждай всех, кто будет так говорить.

На публикацию моего романа Ивлин Во откликнулся очень сердечно, написав о нем интереснейшее эссе для "Спектейтора".

Недавно я спросила старшего сына Ивлина Во, Оберона (Брона), помнит ли он реакцию отца на гранки "Утешителей", присланные ему в самый разгар работы над "Пинфолдом". Вот что пишет Брон в ответ:

> Помню лишь, что он расхваливал Ваш роман и твердил, как любопытно, что Вы примерно в то же самое время стали описывать похожие ощущения.
>
> Конечно, его приступ был вызван одновременным приемом хлорала и брома, а Ваш — декседрином, который должен, по идее, оказывать прямо противоположное действие. В рецензии Ивлина Во сразу бросается в глаза фраза: "Так случилось, что 'Утешители' попали мне в руки, как только я закончил

вещь на сходную тему, и я поразился, что мисс Спарк поставила перед собой намного более дерзкую задачу и справилась с ней намного лучше, чем я".

В середине 1955 года, продолжая работу над "Утешителями", я вернулась в Лондон совершенно здоровая, со множеством планов. К концу года я подготовила для издания книгу "Птичка-уходи", а в самом начале 1956-го начала писать новый роман под названием "Робинзон".

Однако в 1956 году у меня было все еще очень туго с деньгами. Выход моего первого романа откладывался — издательство "Макмиллан" трусило. Считалось, что "Утешители" — книга чересчур сложная, особенно по тем временам. И действительно, не зря говорят, что писатель сам себе взращивает читательскую аудиторию. Тогдашние читатели романов еще не привыкли к таким, как я, — а многие никогда и не привыкнут. Но после отзыва Ивлина Во и других людей, читавших роман в гранках, "Макмиллан" набрался храбрости.

Мое новое лондонское логово располагалось по адресу Болдуин-кресент, 13, в Камберуэлле, менее фешенебельном районе, чем мои прежние кенсингтонские жилища. Из Оллингтона я привезла бродячую кошку, которую подобрала, — красавицу полуперсиянку по имени Блубелл (Колокольчик). Я воспела ее в стихах и прозе. То было необыкновенное животное, я очень ее любила.

Жилье мне нашли отец О'Молли и его кузина Тереза Уолш. Я сняла несколько комнат в доме, принадлежавшем миссис Лаццари по прозвищу Крошка, чудесной вдове-ирландке. Ее муж был итальянец, виолончелист ("Так что я понимаю Душу Художника", — писала Крошка). Я прожила у Крошки много лет. Ко времени нашего знакомства ей было лет шестьдесят. С первых же дней она принялась меня опекать: призывала усерднее работать, отваживала назойливых гостей ("Выбиральщица ты никудышная", — так подытожила она мои вкусы по части мужчин — не в бровь, а в глаз!) и за очень скромную плату стряпала для меня вкуснейшие блюда. Однажды, когда я впала в депрессию, Крошка заставила меня собрать чемоданы и отправиться вместе с ней "домой" — в графство Корк, где ее дочь с семьей приняли нас по-королевски.

Несколькими годами позже, когда с деньгами у меня стало получше, я однажды увидела, как Крошка поднимается по лестнице с полным ведром угля для своего камина. Мне бросилось в глаза, что вид у нее страшно усталый, и я выпалила: "Крошка, а давай завтра поедем в Париж". Крошка поставила ведро на ступеньку и ответила: "Ладно, поехали". Она никогда еще не бывала за границей. В Париже я отправилась на переговоры со своим литагентом, а Крошка пошла бродить одна. Вернувшись, она привела к ланчу гостя — моего друга Джо Маккриндла, владельца и главного редактора "Трансатлантик ревю", иногда бывавшего у меня на Болдуин-кресент. "Мне тут Джо на улице попался", — небрежно сказала Крошка, словно рю Шерш-Миди ответвлялась от Оксфорд-стрит.

Ожидая выхода романа, я работала три дня в неделю у издателя Питера Оуэна. Мне очень нравилась атмосфера, которая его окружала. Питер, человек молодой, увлекался книгами Кокто, Германа Гессе, Чезаре Павезе и выпускал их в английском переводе. Вычитывать гранки было просто удовольствие. Я выполняла обязанности секретаря, корректора,

редактора и рекламного агента, а дома писала рассказы и свой второй, в некотором роде остросюжетный, роман "Робинзон".

В начале 1957 года, когда наконец-то вышли "Утешители", моя жизнь кардинально переменилась. Правда, в ту пору Дерек Стэнфорд еще иногда заглядывал на Болдуин-кресент, но он был уже нездоров — ощущалось, что нервы у него на пределе.

Мой успех, оплаченный годами упорного труда и лишений, был для Дерека в его тогдашнем состоянии как нож в сердце. Но я-то что могла поделать?! Пытаясь помочь Дереку, я договорилась в "Макмиллане", чтобы нам заказали очередную совместную работу — вторую книгу о кардинале Ньюмене. Издательство выплатило аванс, который мы разделили поровну. Но Дереку пришлось отказаться от работы: слишком уж расшалились нервы. Я и сама остро переживала двусмысленность своего положения. Я охотно согласилась, чтобы "Макмиллан" вычло аванс Дерека из моих авторских отчислений. Но не могла же я сделать так, чтобы моя фамилия не упоминалась в газетах! По собственной просьбе Стэнфорда, позднее очень меня благодарившего, я попросила отца О'Молли его проконсультировать. Тот направил Стэнфорда к специалистам, и вскоре он лег в клинику. Я испытала большое облегчение, узнав, что лечением Стэнфорда займутся профессиональные психиатры. Все то время, пока я болела, он постоянно мне помогал — даже запаковал мои лондонские пожитки и архив, когда я уехала восстанавливать здоровье; и теперь я старалась окружить его вниманием. Дерек писал мне, что ему рекомендуют не видеться со мной — это, мол, вредно для его психики. Однажды вечером, когда я и один мой друг-юрист Тони Линколн, ловили на улице такси, нам попался Дерек с компанией его друзей. Эта встреча — именно со мной, а не с Тони — так расстроила Дерека, что он написал мне об этом отдельное письмо. Но невозможно было ради Дерека сидеть дома и носа никуда не высовывать! Я написала ему ответ, полный сочувственных слов, заверила, что желаю ему только добра. Позднее Дерек известил меня по почте, что собирается жениться на американке по имени Дилайла. В ответном послании я вновь пожелала ему счастья. Женился ли он на ней, мне доселе неизвестно. Я вновь услышала о Дереке, лишь когда он написал свои сомнительные "воспоминания" обо мне.

Как бы то ни было, я действительно начала новую жизнь. Вскоре после выхода моего романа в Англии Алан Маклин нашел мне американского издателя — Липпинкотта. Я смогла взять расчет у Питера Оуэна и все свое время посвящать творчеству. В марте я получила письмо из журнала "Нью-Йоркер": выразив восхищение моим рассказом "Портобелло-роуд", опубликованным издательством "Макмиллан" в антологии "Зимние сказки", они спрашивали: "Не желаете ли прислать нам на рассмотрение несколько ваших рассказов?" Так началось мое долгое и плодотворное сотрудничество с изданием, которое доселе слывет лучшим журналом в мире. Редакция "Нью-Йоркера" дважды жертвовала всеми материалами, чтобы напечатать в номере полный текст моего романа.

До финансовой стабильности мне было еще далеко, но теперь я могла не беспокоиться о том, где взять денег на квартплату за следующую неделю. Мне удавалось чаще выбираться в Эдинбург, а затем и в Нью-Йорк. Мама ликовала, отец удовлетворенно улыбался. Когда меня

не было в Лондоне, в курсе событий меня держала Крошка — на нее всегда можно было положиться. Она была наделена неиссякаемым мужеством. Я храню письмо, где она в своем безыскусном, но чрезвычайно выразительном стиле извещает меня о смерти своего сына Банни, которой мы, как это ни печально, ожидали, а заодно подробно описывает, как идут дела на Болдуин-кресент. Воистину ее дружба была для меня редкостным даром судьбы. Привожу ее письмо, не изменив в нем ни одной буквы:

Моя дорогая Мюриэл!

Наконец-то я набралась духу сообщить тебе наши новости, нехотела писать, пока ни закончишь роман, больше немогу от тебя скрывать. Не хотела бы я еще рас видеть как умирают от рака жестокая болезнь сохрани нас от нее Господи, тут была вся семья Джосс приезжала хорошо выглядит, Чарли вот только что к себе уехал опять я одна но даже хорошо а то все дела стоят. Голубка моя тут вчера звонили из эспресса ("Дейли экспресс". — *М. С.*) спрашивали где ты я конечно сказала, спросили, это она матерьял собирает для нового Романа я говорю у нее матерьяла и так полно ездить никуда не надо она просто по делам поехала надеюсь я все правильно сказала. Тут все отлично Чарли почистил все твои ковры очень опрятные стали. На Рождество поеду домой выезжаю 20 декабря... голубка моя очень по тебе скучаю надеюсь у тебя все идет путем я о тебе всегда думаю и переживаю хорошо ли ты ешь высыпайся береги себя

У меня предчуствие я скоро чтото хорошее о тебе услышу благослови тебя Бог.

С любовью Крошка.

Крошка была хороша собой. Она всегда выглядела очаровательно-свежей и аккуратной. Но ей была свойственна старомодная вдовья стыдливость. Однажды мы беседовали с мистером Джексоном, нашим соседом, умельцем-ремонтником. Обсуждались достоинства и недостатки водосточных желобов определенной конструкции. Мистер Джексон пригласил Крошку пройти к дому наискосок и посмотреть на желоб, который он установил сам.

Крошка отказалась. Чувствуя, что у нее есть какие-то свои резоны, я смолчала. Когда мистер Джексон распрощался и ушел, Крошка призналась: "Ни за что не соглашусь у всех на глазах переходить улицу с мужчиной. Мало ли что люди скажут".

Как-то Ивлин Во посоветовал мне в письме перебраться в более престижный район — ведь моя известность растет. На бумаге этот совет выглядел вполне здравым. Но ничто не заставило бы меня покинуть Крошку Лаццари и дом № 13 на Болдуин-кресент, где прямо из-за письменного стола я могла любоваться тихими садами на задворках домов. Работалось там очень славно.

Я бессильна описать Крошку Лаццари как она того заслуживает. Но в какой-то мере богатство ее натуры запечатлено в моем романе "Далекое эхо Кенсингтона". Жилось с ней очень весело. Последний раз я видела ее девяносточетырехлетней: она была, как всегда, полна энергии и жизнерадостна, голова у нее работала так же быстро. Умерла она девяноста восьми лет, легкой смертью, от старости.

С тех пор как я написала свой первый роман, в моей жизни было много работы, путешествий и приключений. На жизненном пути мне повстречалось немало друзей, среди которых есть и знаменитости, и люди совсем безвестные. Обо всем этом я расскажу в следующем томе.

История моей жизни, изложенная на этих страницах, принадлежит далекому прошлому, но в моей памяти все события и сцены по-прежнему ярки. Особенно живо мне помнится чувство радостного изумления, охватившее меня в тот февральский день после выхода "Утешителей", когда на роман откликнулся не только Ивлин Во в "Спектейторе", но и рецензенты других газет. Алан Маклин (для меня — просто Эл) даже позвонил мне в редакцию Оуэна, чтобы сообщить: "Сегодня ты сорвала джекпот".

На следующей неделе Алан потащил меня в модный ресторан "Каприс" — отпраздновать успех. В руках он держал ворох рецензий. "Осмелюсь заявить, — произнес он, растягивая слова, — что у тебя и дальше все так пойдет".

С его стороны это было рискованное утверждение: часто за отличной первой книгой следует совершенно никудышная вторая. Но меня его слова окрылили, и я продолжала идти своим путем.

"Китаби Деде Горгут" – фантазия на тему

В конце прошлого года в редакции журнала "Иностранная литература" состоялась презентация книги известного азербайджанского писателя, ректора Славянского университета в Баку Камала Абдуллы "Неполная рукопись", вышедшая в московском издательстве "Хроникер".

Древний тюркский эпос "Деде Горгут", лежащий в основе писательского замысла К. Абдуллы, явился отличным и весьма своевременным предлогом для дискуссии на столь животрепещущую тему современной литературы, русской и зарубежной (достаточно вспомнить хотя бы Чингиза Айтматова и Габриэля Гарсия Маркеса), как обращение к эпическому наследию, переосмысление и развитие мифологических архетипов и мотивов. В дискуссии принимали участие автор книги "Неполная рукопись" Камал Абдулла, наши гости критики, литературоведы, издатели, переводчики Лев Аннинский, Александр Ткаченко, издатель "Неполной рукописи" Борис Евсеев, Алла Ахундова, Людмила Лаврова, Инна Ростовцева и заместитель главного редактора "ИЛ" А. Ливергант.

Александр Ливергант. Вы находитесь сейчас в своего рода историческом кабинете: здесь бывали Грэм Грин, Кобо Абэ, Сартр, Умберто Эко, Гюнтер Грасс и так далее. Году в 1994-м главный редактор журнала Алексей Словесный из этой комнаты звонил Иосифу Бродскому в Нью-Йорк с просьбой стать членом нашего Общественного совета. И Бродский в разговоре с ним сказал, что почтет за честь, как, впрочем, и многие другие знаменитые писатели, чьи имена украшают оборот титульного листа журнала.

Сейчас бытует избитая фраза: "Журнал переживает не лучшие времена" – ее можно услышать в каждом толстом журнале. Лучшие времена для толстых журналов, в том числе и для "Иностранной литературы", были в начале девяностых годов, с которых мы ведем отсчет свободе печати. Тогда "выяснилось", что существует огромное количество произведений западных авторов, которые не могли быть напечатаны, такие, например, шедевры, как "Улисс" Джойса, произведения Лоуренса, Генри Миллера, не будем перечислять сейчас всех, – и тираж нашего журнала (да и не только нашего) прямо-таки взмыл. Однако, когда после долгого литературного голода читатель насытился, этот тираж упал до разумных пределов. Поэтому я не согласен с фразой о "не лучших временах". Увы, наши нынешние тиражи соответствуют очень незначительному интересу современного отечественного читателя к литературе. И в этом смысле нашему журналу, по сравнению с остальными, грех жаловаться: у нас все-таки восьмитысячный тираж. Вы прекрасно знаете, что, если книга – в России, в Америке, в Европе – издается таким тиражом, это, в общем-то, для некоммерческого издания тираж очень неплохой. Конечно, жить на него, прямо скажем, нелегко. Все вышеска-

занное — в качестве преамбулы. Тем более приятно сегодня устроить в этих стенах презентацию замечательной книжки Камала Абдуллы "Неполная рукопись". И я уже как профессиональный переводчик хочу сразу же сказать, что книжка замечательно переведена Вагифом Ибрагимоглу. Создается впечатление, что книга изначально написана по-русски — большего комплимента переводчику сделать невозможно. Я очень надеюсь, что и недавний перевод этой книги на французский язык столь же хорош. И последнее, о чем я хотел сказать. Книга не только увлекательна, но и — позволю себе еще один штамп — очень расширяет наши горизонты. Я читал ее с интересом подростка — не отрываясь. А в эпоху литературного постмодернизма авторов мало заботит такое чтение. Сейчас писатель больше рассчитывает на заумного критика, на ценителя высокой литературы, на того, кто не читает, а *исследует* литературное произведение. Лев Александрович Аннинский написал к этой книге, как всегда, живое, яркое, остроумное вступление. Ему и слово.

Лев Аннинский. Надо сказать, это действительно увлекательное чтение, прежде всего потому, что перед нами человек, хорошо знающий народный эпос, и когда читаешь, видишь, что за каждой очередной тайной возникает что-то еще: не познанное, а может, до конца и непознаваемое, не исчерпываемое. Это — эпос, возрожденный ученым, который заботится не только о верности оригиналу. Верность оригиналу в данном случае — вещь зыбкая, потому что оригинал пересказан. Но автор делает это для того, чтобы мы лучше поняли, *что* с нами происходит *сейчас*. И это — второй уровень, второй слой, который вскрывается при чтении. Потому что все мотивы, возникающие в книге, работают в *сегодняшнем* сознании, которое релятивно по своей природе, но и не мирится с этой релятивностью, а ищет все время: где же там подлинная реальность? Почти по теореме Томаса: если это не реальность, но всеми признано, что это реальность, то это и станет реальностью. Такое ощущение очень современно и очень драматично, оно требует сживания с ним, потому что мы воспитаны на марксизме и знаем, что материя дана нам в ощущениях не для того, чтобы испаряться тут же, а каким-то образом все-таки задерживаться. Ясно, что это артистическая ирреальность, играющая роль реальности. Именно таково состояние современной души, им и наэлектризована эта проза. И когда начинаешь соображать, как соотнести то, что с одной стороны — это старинный текст, который реконструирован с известной долей достоверности; а с другой стороны — это нынешняя реальность, которая про себя знает, что она реальность, но в то же время и не вполне реальность? И вот соотношение этих двух факторов образует третий уровень, очень глубокий и драматичный, который я вычитываю в тексте Камала Абдуллы.

Во всем мире идет странное сосуществование того, что говорится, пишется вроде бы на века, к чему если и надо делать какие-нибудь поправки, то исключительно большинством голосов конгресса или сената; и вместе с тем все это — в "дырах", все это натянуто, все это условно, заранее неполно и заведомо нуждается в исправлениях... Но в этих "дырах" запрятано и видно еще больше, чем в авторитетных текстах. И это тоже — ощущение современного человека, для которого вранье есть часть правды. И с этим сейчас живут все люди. Это очень трудное умонастроение, которым обмениваются культуры... великие культуры.

Александр Ткаченко. Когда читаешь "Неполную рукопись", ты начинаешь сочиться, как соты под солнцем, потому что книга сразу вызывает у тебя огромное количество ассоциаций. Каждую книгу, которая считается художественной, я поверяю одной мыслью Андре Бретона: поэзия есть метафорическое искажение мира под воздействием сильного чувства. И книга Камала Абдуллы такую проверку выдерживает — отвечает обоим условиям. Писатель, если он создал свой Чегем, свою Йокнапатофу, — большой писатель. Камал Абдулла создал свою "Неполную рукопись", это — его город, его страна, одновременно и мифическая, и реальная. И я думаю, что автор уже не вырвется за пределы этой книги, как Маркес из Макондо.

Борис Евсеев. Мы выбрали книгу Камала Абдуллы для серии "Мир современной прозы" потому, что хотя нас, уроженцев империи, и ругают: у вас, мол, мифологическое сознание, но выясняется, что мифологическое сознание — наиболее интересное. Я, читая эту книгу, вспоминал своих любимых писателей Томаса Манна и Германа Гессе — "Паломники в страну Востока": переклички, безусловно, есть. В книге слышны и горькие ноты, но пусть лучше писатели говорят неприятное на языке культуры, чем политики плюются друг в друга с экрана. Культура всегда выйдет из положения, потому что она — универсальный инструмент познания. Миф всегда будет выше всяких жалких и часто неинтересных идеологических построений, потому что он гораздо глубже. И в конце концов он всегда современней.

Алла Ахундова. Для меня сегодняшнее событие имеет особое значение. То, что обсуждение книги азербайджанского писателя происходит именно в ваших священных стенах, для меня знак, потому что много лет тому назад, когда за нами было закреплено резервационное, будем так называть, место национальных литератур, для перевода, как тогда говорили, с чучмекского совершенно не обязательно было знать язык. Я еще, помню, как-то даже огрызнулась в "Дружбе народов", что, если такова ситуация, тогда и теорию литературы надо придумать специальную для национальных литератур. Я имела удовольствие читать книгу в оригинале, и сама по счастливой случайности являюсь еще и переводчицей самого памятника, эпоса "Деде Горгут", и мне отрадно, что здесь поняли многослойность "Неполной рукописи", сквозь "дыры" которой, по меткому замечанию Льва Аннинского, видно больше, чем из самого текста. Здесь есть и свободное апеллирование к культурному достоянию, и поразительные аллюзии на сегодняшний день.

Камал Абдулла. Я хочу поблагодарить "Иностранную литературу" за согласие провести презентацию моей книги в этих действительно священных стенах. Это для меня большая честь, потому что я рос на "Иностранной литературе", без нее невозможно было себе представить интеллектуальной жизни каждого из пишущих и думающих людей моего поколения в Азербайджане. Я думаю, что духовно мы настолько близки, настолько слиты друг с другом, что всегда будем чувствовать себя в роли двуликого Януса, одновременно являясь друг для друга и иностранцами, и соотечественниками, как в недавнем прошлом. Я хочу сказать несколько слов по поводу того, что здесь говорилось в связи с мифологизацией. Если бы меня спросили, я бы сказал, что эту книгу можно назвать "фантазией на тему". Темы моей книги начинаются там, где они обрываются в "Китаби Деде Горгут". У нас в Азербайджане мою

книгу, случалось, ругали за вольное обращение с эпическим каноном, а бывало, что за это же и хвалили. Но самое важное, что меня и по сей день изредка спрашивают: а действительно вы нашли рукопись? Вот это для меня самое большое мое писательское достижение.

А. Л. Слушая вас, я подумал, что такой подход к художественной литературе вообще очень характерен для советского читателя. Скажем, в России шел фильм "Евангелие от Матфея", а между тем многие зрители, даже дожив до седых волос, не держали в руках Священного Писания. Я, скажем, во вполне уже зрелом возрасте привез Библию под полой из Польши, к тому времени прочитав уже какое-то количество художественных произведений по мотивам книги книг. И задним числом я удивился, как скромен, краток и в каком-то смысле нехудожествен канон; современный человек, как правило, знакомится с Библией опосредованно, задним, так сказать, числом, посмотрев большое количество картин и прочитав книги по библейским мотивам; иными словами, мы знаем о Евангелии гораздо больше, чем само Евангелие. Поэтому в известном смысле мы сейчас имеем дело, прошу прощения за вольность, с *переписанным каноном*. И прекрасно, что этот канон переписывается, потому что, если не отступать от него ни на шаг, он просто погибнет в конце концов. Он, собственно, и живет за счет переписки, живет в фантазиях на тему — живописных, литературных и прочих.

К. А. А такие фантазии только углубляют понимание канона, возвращают к нему.

А. А. Хочу уточнить, что в отличие от Священного Писания или Корана, бытовавшего у наших бабушек и прабабушек, "Китаби Деде Горгут" разрешено было впервые опубликовать только после смерти господина Джугашвили.

Инна Ростовцева. Надо сказать, что очень трудно зафиксировать тот момент, когда романный жанр начинает терять свою высоту, начинает падать, начинает буксовать. Критический инструментарий здесь достаточно ненадежен. Мы можем только доверять своему ощущению. И у меня как у критика и как у читателя ощущение ото всех почти романов, вышедших в последнее время в отечественной литературе и даже получивших Букеровскую премию, что они не вызывают желания быть прочитанными. И это, пожалуй, самое главное. Книге предпослано предисловие Льва Аннинского "Магия слов: полнота неполного". Я бы заменила слово "полнота" на словосочетание "качество неполного". В чем заключается эстетическое качество неполного?.. Морис Бланшо говорил, что, забывая то или иное слово, мы предчувствуем, что забвение этого слова существенно для речи. Я думаю, что когда художник осуществляет пропуск какого-то звена, или, как в произведении Абдуллы, повествование обрывается и автор говорит, что конец утрачен, — это вызывает у читателя обостренное желание разгадать, что же было дальше, он чувствует какую-то тайну. По сюжету якобы ловят шпиона, потом забывают про него — на самом деле ловят не шпиона, а ловят тайну, которая заключена в каждом человеке. И еще одна особенность этого произведения: преступление и наказание, вся мистерия, которая происходит перед нами, совершается в рамках слова. Нам показано, как при помощи слова происходит уклонение от смысла, строятся ловушки, раскрываются тайны, идет дознание. И прежде всего — изумительно показана

ответственность за слово. Слово непосредственно привязано к наказанию, причем не в будущем, а тотчас — к пыточной яме или и того хуже.

А. Т. Мы все как-то забыли, что в произведении Камала Абдуллы один из главных героев — время. Был такой великий астрофизик Николай Козырев. Он в своей причинной механике еще в 1927 году открыл два хода времени. Одно время движется от единицы до бесконечности, а другое — от бесконечности до единицы. И самое удивительное, что он сделал совершенно мистическое открытие: когда время движется от единицы до бесконечности, то есть вперед, происходит умирание (от жизни к смерти), а когда в обратном направлении (от смерти к жизни) — происходит воскрешение. То есть когда художник, в частности Камал Абдулла, обращается к рукописи, которая была написана несколько столетий назад, идет по времени вспять, он занимается воскрешением, мы получаем из ничего что-то. Он воскрешает события, про которые толком не известно были они или не были, но теперь, получается, что они были. Отныне они существуют.

Людмила Лаврова. Хочется сказать вот о чем: когда Вагиф Ибрагимоглу передавал мне свой перевод, он особо подчеркнул, что намеренно уходил от стилизации. Во всяком случае, пытался избежать малейшего уклона в фольклорную русификацию. А такой соблазн был. Возможно, переводчика удержал от него тот неожиданный ракурс, в котором он почти осязаемо увидел текст Камала Абдуллы на русском. Както в одном из писем Ибрагимоглу привел мне поразительные строки Хлебникова 1908 года:

Огнивом-сечивом высек я мир,
И зыбку-улыбку к устам я поднес,
И куревом-маревом дол озарил,
И сладкую дымность о бывшем вознес.

И мы сошлись с переводчиком в том, что блуждающее "марево" этой своеобразной поэмы в прозе, вот эта "дымность о бывшем" — и есть самое главное, хорошо бы именно этот дух донести в русском варианте "Неполной рукописи". Очень точно Александр Ткаченко говорил о метаморфозах, которые происходят со временем в книге К. Абдуллы. Именно так, путешествуя в прошлое, можно воскресить время.

Зиглинде Гейзель

"*"Танцевать в цепях": переводчики–музыканты–актеры в поисках своего текста*"

Переводческая конференция
в "Литературном коллоквиуме Берлина"

Перевод с немецкого Т. Баскаковой

Осенью 2006 г. в Берлине впервые проводилась совместная конференция переводчиков, музыкантов и актеров, организованная "Литературным коллоквиумом Берлина" и Немецким фондом переводчиков, при поддержке фонда Роберта Боша.

Чему переводчики могли бы научиться у музыкантов, актеров и чтецов? Этот вопрос определил замысел конференции с названием (заимствованным у Вольтера) "Танцевать в цепях", которую подготовили Катарина Раабе и Габриэла Лойпольд. Каждый, кто имеет дело с порождением и рецепцией смысла, уже является переводчиком, утверждает в своей автобиографии "Errata" Джордж Стайнер, чье детство прошло в многоязычной среде. А значит, не бывает даже мышления без перевода. И все же перевод (если понимать его в более узком смысле) не просто остается в голове того, кто им занимается, но обретает "сценическую" жизнь как письменный текст.

Работа переводчика и в самом деле подобна работе актера: он (или, гораздо чаще, она) не только интерпретирует текст, но и заново инсценирует его в языке, на который переводит; для этого переводчик должен примеривать на себя, исполнять чужие языковые роли. Клаус Клавиттер, преподаватель актерской речи в берлинской Высшей школе актерского мастерства им. Эрнста Буша, провел мастер-класс со своей студенткой, дав возможность участникам конференции понаблюдать, как обычно проходят занятия по языку жестов. Переводчики (а их собралось много) неожиданно узнали в увиденном отображение самих себя: так, Хинрих Шмидт-Хенкель сказала, что такие поиски адекватных поз и жестов соответствуют ее поискам верного слова. При переводе ведь тоже чтение вслух или представление читаемого с помощью жестов часто помогает найти удачное решение.

Переводчица Ольга Радецкая в вводном докладе по теории перевода выделила три рабочие фазы. Между первичным постижением оригинала и созданием перевода имеет место, по ее мнению, таинственное третье: метафизическое пред-чувствование, процесс дистилляции истины, смысла или содержательной субстанции текста. А значит, между языками существует некий зазор — очень щекотливое обстоятельство. Тот, кто переводит "со слуха", приближается к языковой реальности с другой стороны. Ильма Ракуза сказала, что, переводя свои стихи с немецкого на английский, она без

© Siglinde Geisel, 2006
© Т. Баскакова. Перевод, 2007

колебаний меняла одни слова на другие, лишь бы спасти звучание. Сославшись на один отрывок из романа Данило Киша[1], она сформулировала свое требование к переводу так: "Перевод должен, как отливка, прилегать к каждому слогу оригинала". При переводе романа Андрея Белого "Петербург", построенного по законам музыкальной композиции, тоже невозможно отделить содержание от языковой формы. Как перевести звуковые лейтмотивы? Гласная "у", например, используется здесь как "зловещая характеристика революционного города", объяснила переводчица Габриэла Лойпольд. Она составляла для себя списки слов, это одна из классических техник перевода, и попутно обнаружила, что в немецком языке словами такого рода особенно богат "криминальный сектор": "Schurke" ("негодяй, мошенник"), "Schuft" ("подлец, плут"), "Lump" ("оборванец, подонок"), "Schuld" ("вина") и т. д.

Что касается музыки, то интерпретатор-исполнитель полновластно распоряжается текстом партитуры. Пианист Сефан Литвин, сыграв несколько отрывков, убедительно показал, сколь серьезные последствия может иметь выбор способа перевода нотных знаков на язык звуков: он рассказал об известной дискуссии о "темпах" у Бетховена и о случае с (ныне устаревшей) демпферной педалью у Шуберта, звуковая окраска которой давно забыта, но которая должна была вызывать у слушателей глубочайшее чувство отторжения. Не только в музыке искажающие интерпретации делают оригинал более "безобидным", упрощают его. Ольга Радецкая (сославшись на теоретика перевода Иржи Левого[1]) напомнила о понятии "логического упорядочения": об искушении, когда делаешь перевод, дополнить текст, пояснить его и добиться однозначности там, где ее нет.

Сколь различное впечатление могут производить на слушателей переводы письменных текстов в сферу устной речи, показал Рейнхарт Мейер-Калькус на примере коллекции записей с рецитациями из Гёте, охватывающей весь XX век. Экстатические декламации кануна Второй мировой войны чужды нам и возбуждают неприятное, тревожное чувство — может, именно потому, что оказывают слишком сильное воздействие на сознание. Они более не могут быть "предметом потребления" — в отличие от многих современных записей для аудиокассет.

Переводчиков, слушавших доклады, больше всего интересовал вопрос о допустимой степени творческой свободы в обращении с оригиналом. Джевад Карахасан, которому, как писателю и преподавателю актерского мастерства, хорошо знакомы обе формы перевода, сформулировал эту проблему так: "Выступая в качестве актера, я должен соединять случайное и необходимое, как они открылись мне — и только мне! — здесь и сейчас". В качестве автора он также не сомневается в том, что его тексты обрели жизнь в других языках только благодаря духовной энергии переводчиков.

1. Данило Киш (1935–1989) — сербский писатель, поэт и переводчик.

1. Иржи Левый (1926–1967) — чешский теоретик перевода; по-русски была опубликована его книга "Искусство перевода" (1974).

Джеймс Патрик Донливи
James Patric Donleavy
[р. 1926]. Американский прозаик и драматург.

Автор культового романа, ставшего теперь современной классикой, *Человек с огоньком* [*The Ginger Man*, 1955], романов *Уникальный человек* [*A Singular Man*, 1963], *Едоки лука* [*The Onion Eaters*, 1971], *Волшебная сказка Нью-Йорка [A Fairy Tale of New York*, 1973], *Не слушаете ли вы рабби Лоева?* [*Are You Listening Rabbi Loew*, 1987], *В Принстоне распространяют ложную информацию* [*Wrong Information is Being Given Out at Princeton*, 1998] и др.; сборника рассказов *Встреча с Создателем. Сумасшедшая молекула* [*Meet My Maker the Mad Molecule*, 1964]; книги *Ирландия Дж. П. Донливи: со всеми ее грехами и некоторыми добродетелями* [*J. P. Donleavy's Ireland: In All Her Sins and In Some of Her Graces*, 1986] и др. В *ИЛ* публиковались фрагменты его книги *Кодекс без изъятий и сокращений. Полный свод правил выживания и поведения в обществе* [1978, № 6], рассказ *Франц Ф.* [1992, № 8] и повесть *Самый сумрачный сезон Сэмюэля С.* [1997, № 2].
Роман печатается по изданию *The Lady Who Liked Clean Rest Rooms* [St. Martin's Press, 1995].

Деннис О'Дрисколл
Dennis O'Driscoll
[р. 1954]. Ирландский поэт и критик, лауреат многих литературных премий.

Автор поэтических сборников *Кист* [*Kist*, 1982], *Скрытые резервы* [*Hidden Extras*, 1987], *Короче говоря* [*Long Short Story*, 1993], *Качественно проведенное время* [*Quality Time*, 1997], *Если позволит погода* [*Weather Permitting*, 1999], *Тест на повреждение* [*Exemplary Damages*, 2002], *Избранные стихотворения* [*Selected Poems*, 2004], сборника высказываний поэтов разных стран о поэзии *Как сказал поэт* [*As the Poet Said*, 1997].
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Стефан Карьер
Stephen Carrière
[р. 1974]. Французский писатель и издатель.

Автор двух романов: *Давний спор* [*Une vieille querelle*, 2004] и *Как герои без войны* [*Comme des hèros sans guerre*, 2006].
Публикуемый роман печатается по изданию *Une vieille querelle* [Albin Michel, 2004].

Михаэль Маар
Michael Maar
[р. 1960] Немецкий прозаик и литературный критик. Член Немецкой академии языка и литературы, почетный профессор Стэнфордского университета [США]. Лауреат премии Немецкой академии им. Иоганна Генриха Мерка [1995], поощрительной премии им. Г. Э. Лессинга за критику [2000].

Автор книг *Комната синей бороды. Томас Манн и проблема вины* [*Das Blaubartzimmer. Thomas Mann und die Schuld*, 2000], *Почему Набокову мог бы понравиться Гарри Поттер* [*Warum Nabokov Harry Potter gemöcht hätte*, 2002], *Лампочки этрусков. Эссе и маргиналии* [*Die Glühbirne der Etrusker. Essays und Marginalien*, 2003].
Публикуемый перевод печатается по изданию *Lolita und der deutsche Leutnant* [Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005].

Хайнц фон Эшвеге-Лихберг Heinz von Eschwege-Lichberg [1890–1951]. Немецкий прозаик и журналист.

Автор сборника рассказов *Про́клятая Джоконда* [*Die verfluchte Gioconda*, 1916] и романа *Плавучий маяк Нантукет* [*Nantucket-Feuerschiff*, 1935].
Публикуемые рассказы переведены по изданию: *Lolita und der deutsche Leutnant* [Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2005].

Элиас Канетти Elias Canetti [1905–1994]. Австрийский писатель, драматург, культуролог, лауреат Нобелевской премии по литературе [1981] и многих других литературных наград, в том числе Международного Парижского приза [1949], писательской премии г. Вены [1966], премии им. Георга Бюхнера [1972], Дортмундской премии им. Нелли Закс [1976] и австрийской премии Кафки [1981].

Автор пьесы *Свадьба* [*Hochzeit*, 1932], романа *Ослепление* [*Die Blendung*, 1935; рус. пер. 2000], филосовского исследования *Масса и власть* [*Masse und Macht*, 1962; рус. пер. 1997], книг автобиографической прозы *Спасенный язык* [*Die gerettete Zunge*, 1977], *С факелом в ухе* [*Die Fackel im Ohr*, 1980], *Перемигивание* [*Das Augenspiel*, 1985] и др.
Афоризмы печатаются по изданию *Aufzeichnungen für Marie-Luise* [München: Hanser, 2005].

Эрнест Даусон Ernest Dowson [1867–1900]. Английский поэт.

Автор поэтических сборников *Стихи* [*Poems*, 1896] и *Декорации* [*Decorations*, 1899], а также книги рассказов *Дилеммы* [*Dilemmas*, 1895] и стихотворной пьесы *Пьеро на час* [*The Pierrot of the Minute*, 1897]. Печатался в журналах *Желтая книга* и *Савой*.
Публикуемые стихи взяты из антологии *Poets of the Nineties* [London: John Baker, 1965].

Лайонел Джонсон Lionel Johnson [1867–1902]. Английский поэт и критик.

Автор поэтических сборников *Стихотворения* [*Poems*, 1895], *Ирландия и другие стихотворения* [*Ireland, with other Poems*, 1897], а также одного из первых исследований творчества Томаса Гарди *Мастерство Томаса Гарди* [*The Art of Thomas Hardy*, 1894].
Публикуемые стихи взяты из антологии *Poets of the Nineties* [London: John Baker, 1965].

Артур Симонс Arthur Symons [1865–1945]. Английский поэт, литературовед и критик.

Автор поэтических сборников *Дни и ночи* [*Days and Nights*, 1889], *Силуэты* [*Silhouettes*, 1892], *Лондонские ночи* [*London Nights*, 1895] и др. Был редактором журнала *Савой*, издал книгу о французском символизме *The Symbolist Movement in Literature* [1899].
Публикуемые стихи взяты из антологии *Poets of the Nineties* [London: John Baker, 1965].

Федерико Гарсиа Лорка Federico García Lorca [1898–1936]. Испанский поэт, драматург.

Автор поэтических сборников *Поэма о канте хондо* [*Poema del cante jondo*, 1921], *Цыганское романсеро* [*Romancero gitano*, 1927], *Диван Тамарита* [*Divàn del Tamarit*, 1936] и др., трагедий *Кровавая свадьба* [*Bodas de sangre*, 1933], *Йерма* [*Yerma*, 1934], *Дом Бернарды Альбы* [*La casa de Bernarda Alba*, 1936] и др. пьес. Произведения Ф. Гарсиа Лорки неоднократно издавались на русском языке, наиболее полно его стихотворения и драматургия представлены в *Избранных произведениях*, т. 1–2

[1986], проза – в книге *Самая печальная радость...* [1987]. В *ИЛ* была опубликована подборка его стихов и эссе [1998, № 6] и *Ода Сальвадору Дали* [2002, № 4].
Здесь будут еще
две строчки

Мюриэл Спарк
Muriel Spark
[1918–2006]. Английская писательница и литературовед. Кавалер ордена Британской империи [1993].

Автор романов *Утешители* [*The Comforters*, 1957], *Memento mori* [1959; рус. перев. 1999], *Баллада о предместье* [*The Ballad of Peckham Rye*, 1960], *Девушки со скромными средствами* [*The Girls of Slender Means*, 1963; рус. перев. 2004], *Теплица на берегу Ист-Ривер* [*The Hothouse by the East River*, 1973], *Аббатиса Круская* [*The Abbess of Crewe*, 1974; рус. перев. *Новый мир*, 1977, № 9], *Переделл* [*Takeover*, 1976; рус. перев. 2004], *Территориальные права* [*Territorial Rights*, 1979], *Умышленная задержка* [*Loitering with Intent*, 1981; рус. перев. 1984]; *Далекое эхо Кенсингтона* [*A Far Cry From Kensington*, 1988], *Реальность и мечты* [*Reality and Dreams*, 1996], монографий *Джон Мейсфильд* [*John Masefield*, 1953]; *Эмили Бронте, ее жизнь и творчество* [*Emily Bronte, Her Life and Work*, 1953], *Мэри Шелли, биография* [*Mary Shelley, A Biography*, 1987; рус. перев. 1991], повестей *Птичка-уходи* [*Go-Away Bird*, 1958; рус. перев. 1994], *На публику* [*Voices at Play*, 1961; рус. перев. 1971], сборников *Избранные рассказы* [*Collected Stories*, 1968], *Рассказы Мюриэл Спарк* [*The Stories of Muriel Spark*, 1987], поэтического сборника *Избранные стихотворения* [*Collected Poems*, 1967], пьесы *Доктора философии* [*Doctors of Philosophy*, 1963] и др.
В *ИЛ* публиковались ее романы *Мисс Джин Броди в расцвете лет* [1980, № 7] и *Пир* [2005, № 12].
Текст печатается по изданию *Curriculum vitae* [Penguin, 1992].

Зиглинде Гейзель
Sieglinde Geisel
[р. 1965]. Швейцарская журналистка, с 1988 г. живет в Берлине.

В 1994–1999 гг. была специальным корреспондентом *Нойе Цюрих Цайтунг* в Нью-Йорке, в 1999 г. вернулась в Берлин, пишет на культурные и социальные темы, интересуется странами Восточной Европы.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *ИЛ-люминатор* [1999].

В его переводе издавались произведения В. Набокова, Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота, Дж. Хеллера, М. Кутзее, С. Миллхаузера и др. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Анатолий Исаевич Кудрявицкий
[р. 1954]. Поэт, прозаик, переводчик с английского. Лауреат поэтической премии журнала *Дети Ра* [2006].

Автор восьми книг стихов — *Поле вечных историй* [1996], *Граффити* [1998], *Книга для посетителей* [2001], *Тень времени* [2005] и др. В его переводе изданы романы Дж. Голсуорси, Э. Гарднера, романы и рассказы С. Моэма, стихи Э. Дикинсон, С. Крейна, Дж. Моррисона, поэтов-имажистов и др. В Ирландии вышла антология современной российской поэзии в его переводах на английский язык *Ночь в Набоков-отеле* [*A Night in the Nabokov Hotel*, 2006]. Неоднократно публиковался в ИЛ.

Татьяна Владимировна Чугунова
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводе издавались произведения С. Г. Колетт, Р. Радиге, М. Пруста, П. Морана, П. Лэне, Ж. Шесекса, А. Маамуфа и. др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Екатерина Львовна Иванова
Преподаватель немецкого языка и литературы, переводчик.

В ее переводе публиковались письма Б. Л. Пастернака американскому издателю Курту Вольфу [*Знамя*, 2005, № 3]. В *ИЛ* была опубликована ее статья *Измерение мира: о чем писали немецкоязычные литературные издания осенью 2005 — зимой 2006 годов* [2006, № 7].

Анна Геннадьевна Кацура
Переводчик с немецкого, кандидат филологических наук.

В ее переводе изданы романы М. Байера, Д. Кельмана, повести и рассказы К. Любомирского, И. Ракузы. В *ИЛ* в ее переводе были опубликованы рассказы Й. Рота *Бюст императора* [1998, № 3], Ю. Герман *Коралловый браслет* [2000, № 11], Даниэля Кельмана *Под солнцем* [2003, № 2], стихи К. Любомирского, И. Ракузы и др.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат премии *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти сборников стихов [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Уоллеса Стивенса *Тринадцать способов нарисовать дрозда* [2002], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], Джона Китса *Гиперион и другие стихотворения* [2004], Джона Донна *Алхимия любви* [2005], сборники *Книга NONсенса* [2000], *Лекарство от Фортуны* [2002], *Единорог* [2003], *Поэты английского Возрождения* [2006] и др. В 2003 г. вышла книга избранных переводов *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов*. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993], *Инолитт* [1995], *ИЛлюминатор* [2001], *Мастер* [2007].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо, Ф. Гарсиа Лорки и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчик с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Джулиана Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. Постоянный автор *ИЛ* и ведущий рубрики *Издательские планы*. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также романов П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4] и Д. Деллило *Мао II* [2003, № 11—12] и др.

Татьяна Александровна Баскакова
Переводчик с немецкого, французского и итальянского языков.

В ее переводе изданы книги А. Роке *Брейгель, или Мастерская сновидений*, И. Фрэн *Клеопатра, или Неподражаемая*, О. Ролена *Пейзажи детства*, Р. Сафрански *Хайдеггер. Германский мастер и его время*, романы К. Крахта *Faserland* и *1979*, А. Шмидта *Каменное сердце*. В *ИЛ* в ее переводе печатались рассказы А. Шмидта [1999, № 7] и И. фон Кизерицки [2002, № 5], повесть Б. Бернхарда *Племянник Витгенштейна* [2003, № 2], роман Ф. Йегги *Пролетарка* [2003, № 3], фрагменты книги Х. Х. Янна *Деревянный корабль* [2003, № 9], письма и афоризмы П. Целана [2005, № 4], пьеса А. Шмидта *Черные зеркала* [2005, № 5] и др.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент видеоинсталляции японской художницы Мотохико Одани *Проказница* [2003].

Художественное оформление и макет
Андрей Бондаренко.
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Надежда Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12:00 до 17:30 часов.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 27.03.2007
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 791.
Тираж 7500 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[5] 2007

ЭНРИКЕ ВИЛА-МАТАС: “БАРТЛБИ И КОМПАНИЯ” / ПЬЕСА ДЭВИДА ХЭЙРА “ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ” / ПОВЕСТЬ ДЖИМА ГАРРИСОНА “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ” / СТИХИ ДАНА ПАГИСА / РАССКАЗЫ ВЛОДЗИМЕЖА КОВАЛЕВСКОГО И СЕРГЕЯ ЦЕЙТЛИНА

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2007, №4, 1-336